

ВАРЛАМ
ШАЛАМОВ

4

ВАРЛАМ ШАЛАМОВ

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ**



**Москва
"ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА"
"ВАГРИУС"
1998**

ВАРЛАМ ШАЛАМОВ

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ 4**

**ЧЕТВЕРТАЯ
ВОЛОГДА**

•
ВИШЕРА

АНТИРОМАН

•
ЭССЕ

•
ПИСЬМА



Москва
**"ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА"**
"ВАГРИУС"
1998

ББК 84(2Рос=Рус)6
Ш18

Составление, подготовка текста, примечания,
послесловие

И. Сиротинской

Оформление художника

Ю. Боярского

ISBN 5-280-03214-X (Т. 4)
ISBN 5-280-03162-3

© Составление, подготовка текста,
примечания, послесловие. Сиротин-
ская И. П., 1998 г.

© Оформление. Боярский Ю. А.,
1998 г.

ЧЕТВЕРТАЯ ВОЛОГДА



1—II

Есть три Вологды: историческая, краевая и ссыльная. Моя Вологда — четвертая.

«Четвертую Вологду» я пишу в шестьдесят четыре года от роду... Я пытаюсь в этой книге соединить три времени: прошлое, настоящее и будущее — во имя четвертого времени — искусства. Чего в ней больше? Прошлого? Настоящего? Будущего? Кто ответит на это?

Прозаиком я себя считаю с десяти лет, а поэтом — с сорока. Проза — это мгновенная отдача, мгновенный ответ на внешние события, мгновенное освоение и переработка виденного и выдача какой-то формулы, ежедневная потребность в выдаче какой-то формулы, новой, не известной еще никому. Проза — это формула тела и в то же время — формула души.

Поэзия — это прежде всего судьба, итог длительного духовного сопротивления, итог и в то же время способ сопротивления — тот огонь, который высекается при встрече с самыми крепкими, самыми глубинными породами. Поэзия — это и опыт, личный, личнейший опыт, и найденный путь утверждения этого опыта — непреодолимая потребность высказать, фиксировать что-то важное, быть может, важное только для себя.

Границы поэзии и прозы, особенно в собственной душе, — очень приблизительны. Проза переходит в поэзию и обратно очень часто. Проза даже прикидывается поэзией, а поэзия — прозой.

Я начинал со стихов, с мычания ритмического, шаманского покачивания — но это была лишь ритмизированная шаманская проза, в лучшем случае верлибр «Отче наш».

Тогда мне было непонятно, что поэзия — это особый мир, что начавшаяся с песни поэзия доходит до высот Шекспира и Гете и что никакие арины родионовны не остановят ее развития. Путь этот — необратим.

Для письменной речи песня акына лишь подножье, почва, окультуренный сад.

Я пишу с детства. Стихи? Прозу? Затрудняюсь ответить на этот вопрос.

Проза тоже требует ритмизации и без ритма не существует. Но писание как особенность мгновенной отдачи, для которой я нашел мне принадлежащий, личный способ торможения, фиксации, — а торможение внешнего мира и есть процесс писания, — я отношу к десяти годам, к времени возникновения моей игры в «фантики», моих литературных пасьянсов, которые так тревожили мою семью.

Вологда — не просто город Большого Севера, Севера с большой буквы, не просто архитектурная летопись церковной старины. Много столетий этот город — место ссылки или кандалный транзит для многих деятелей сопротивления — от Аввакума до Савинкова, от Сильвестра до Бердяева, от дочери фельдмаршала Шереметева до Марии Ульяновой, от Надеждина до Лаврова, от Германа Лопатина до Луначарского. Нет в русском освободительном движении сколько-нибудь значительного деятеля, который не побывал бы в Вологде хотя бы на три месяца, не регистрировался бы в полицейском участке. И далее — либо увязал обеими ногами в жирную унавоженную кровь вологодскую почву, либо, обрывая эти корни, бежал.

Вот этот классический круговорот русского освободительного движения — Петербург — тюрьма — Вологда — граница, Петербург — тюрьма — Вологда — и создал за несколько веков особенный климат города, и нравственный, и культурный. Требования к личной жизни, к личному поведению были в Вологде выше, чем в любом другом русском городе.

В Вологде всегда подвизались профессиональные учителя жизни. Со сцены: Мамонт Дальский, Павел Орленев, Николай Россов. Антреприза городского театра держала курс именно на этих проповедников, пророков, носителей добра, а не красоты — передовых, прогрессивных гастролеров, а не на моду, вроде Художественного театра. Художественный театр признавался Вологодой, но только в ряду подальше, чем пьесы Шиллера, Гюго, Островского и Гоголя, принесенные скитающимися звездами — гастролирующими пророками столичной и провинциальной сцены. То обстоятельство, что в «Лесе» Островского

Несчастливцев путешествует из Керчи в Вологду — было самым документом. Ибо именно в Вологде такой гастролер мог встретить и понимание, и помощь, и поддержку. Вологда была передовым актерским городом, где жили высшие ценители, высшие критики, высшие русские авторитеты — общество вологодских ссыльных.

Ни Ярославль, ни Архангельск, ни Самара, ни Саратов, ни Сибирь — Восточная и Западная — не имели такого особенного, нравственного акцента.

Это относится не только к театру.

Есть три Вологды.

Первая Вологда — это местные жители Сольвычегодска, Яренска, Усть-Сысольска, Великого Устюга, Тотьмы, говорящие на вологодском языке, одном из русских диалектов, где вместо «красивый» говорят «баской», а в слове «корова» не акают по-московски и не окают понижегородски, а оба «о» произносят как «у», что и составляет фонетическую особенность чисто вологодского произношения. Не всякий приезжий столичный житель освоится сразу с вологодскими фонетическими неожиданностями. Первая Вологда — это многочисленное крестьянство подгороднее: молочницы, огородники, привлекаемые запахом легкого заработка на городском базаре.

В этих близких и дальних северных деревнях спокон века есть свои грешники, свои праведники, свои карьеристы и злодеи — человеческий тип синантропа немногим отличается от современника, изучающего кибернетику и ритмы Гете. Фашизм, да и не только фашизм, показал полную несостоятельность прогнозов, зыбкость пророчеств, касающихся цивилизации, культуры, религии.

Но до революции именно в эту зыбкость-то и не верили, убаюкивая себя и своих близких скорым пришествием рая — все равно, земного или небесного.

Сюрприз крестьянства был только одним из многих сюрпризов революции.

Революция вошла в село решительной походкой, удовлетворяя прежде всего деревенскую страсть к стяжательству.

Стяжательство вологодских крестьян имело свои особенности. На вологодском рынке всегда продавалось молоко первосортное. Разрушен мир или нет — на жирности молока это не отражалось. Торговки никогда не доливали молоко водой, что крайне удивляло театрального гастролера Бориса Сергеевича Глаголина. Привыкший ко всему петербургский желудок знаменитого русского актера

испытывал неуверенность в честной, христоролюбивой Вологде.

Царское правительство вербовало из вологодских рекрутов самую надежную тюремную стражу, конвойные полки и часовых на тюремные башни.

Подобно тому как профессия дворника закреплена в Москве за татарами, подобно тому как калужане — землекопы, а ярославцы — торгоши, конвойная служба от века и века в руках вологжан. Свое место в царской империи вологжане заняли, охраняя тюремные замки и зашелкивая тюремные замки.

Выражение «вологодский конвой шутить не любит» вошло в историю революционного движения, укрепилось в тюремной традиции и после революции дошло до наших дней, вписав надлежащие сведения в охрану концлагерей двадцатых, тридцатых, сороковых годов.

Я был поражен, читая в «Былом» протоколы «дела Нечаева» — подготовку его уникального побега из Шлиссельбурга. Вся охрана Шлиссельбурга — а ее судили за подготовку побега Нечаева — состояла из вологжан¹.

Случай Нечаева заслуживает того, чтобы о нем вспомнить подробно.

Нечаев — и это уникальный, единственный случай в мировом революционном движении, — будучи безымянным вечником шлиссельбургской одиночки, лишенный имени и засунутый на самое дно карцера самого глухого в России, не только сам подготовил свой побег изнутри, но связался с Исполнительным комитетом «Народной воли», переписывался с этим комитетом, давал советы. Когда народовольцы хотели освободить Нечаева, Нечаев отказался от побега ради другого варианта — убийства царя. На царубийстве были сосредоточены все силы «Народной воли». Нечаеву самому дали решить этот вопрос, и он его решил в пользу центрального удара, что и привело к 1 марта 1881 года. Нечаев понимал, конечно, что такой выбор обрекает его самого на смерть, ибо неминуемо усилят охрану, живым не выпустят. Действительно, после царубийства, после усиления бдительности была разоблачена и разгромлена попытка солдат подготовить нечаевский побег, и сам Нечаев умер безымянным через несколько лет естественной тюремной смертью. Заговор был открыт, солдаты осуждены военным судом — протоколы их допросов печатались в «Былом».

Каким же путем Нечаев приобрел такое влияние на своих часовых?

Можно допустить исключительный талант Нечаева в конспирации, гипнотическую силу знатока человеческих душ и сердец.

И все же — с чего началась деятельность Нечаева в Шлиссельбургском каземате?

Шлиссельбург знал голодовки, протесты, самосожжения, самоповешения на простынях, на белье. Здесь обливали себя керосином и сжигались, умирая от ожогов, срывали погоны с тюремных генералов.

Нечаев поступил иначе. Он ударил кулаком в лицо шефа жандармов генерала Потапова. Ударив, разбил тому нос в кровь. И — не был расстрелян, избит или задушен.

Угрозы расправиться с Потаповым сопровождали этот поступок.

Случай, небывалый случай, подвергся бурному обсуждению в общежитии конвоиров.

Никто не мог дать сколько-нибудь разумного объяснения. Ждали смерти Нечаева — Нечаев продолжал жить.

— Это, наверное, брат или родственник царя, — вот единственное объяснение, которое нашел конвой.

— А если так, действительно так, — говорили конвоиры, — нам нужно держаться осторожно. Завтра он выйдет на волю и нам отомстит. Сотрет нас в порошок.

Нечаев, гений всяческой мистификации, конспирации, не мог не почувствовать, что солдаты его боятся. Он сам стал играть в брата царя. Через полгода солдаты носили его письма на волю. Златопольский, кажется, дал ему адрес Исполкома и явку к «Народной воле». И переписка Нечаева с народовольцами началась.

А когда Александр II был убит, солдатская организация все еще существовала. Нечаев все еще ею командовал. Но после убийства Судейкина в Шлиссельбург пришел Стародворский — главный физический убийца Судейкина. Стародворский во время следствия стал осведомителем и, придя в Шлиссельбург, выдал Нечаева. Нечаеву-то, конечно, ничего не было. Но его охрану судили, дали каторжные приговоры.

Современный историк почему-то умолчал об этом красочном эпизоде публичной пощечины шефу жандармов Потапову. Потапов умолчал об этой пощечине по очень простой причине — донести об этом царю значило самого себя поставить в положение, приводящее к отставке.

Потапов прослужил царю еще много лет, и о пощечине документы были опубликованы лишь в «Былом» — в 1907 году.

Итак, первая Вологда — это деревенское стяжательство и верная служба режиму.

К этой же, первой, Вологде относится и неяркая северная природа, а также знаменитые на весь мир сливочное масло и вологодские кружева.

Вторая Вологда — это Вологда историческая, город церковной старины, в то же время ярчайшая страница русской истории.

Нужно вернуться в доисторическое время, чтобы ощутить глубину дыхания тогдашней Вологды, силу ее могучих мышц, ее инфраструктуру — говоря современным языком, ее санные пути, ее реки, пристани и причалы, крепости, монастыри, военные склады, транзитные могучие транспортные артерии страны.

Россия Ивана Грозного — Север, Ермак. Россия Петра — Балтика. Россия Николая — Россия Юга, Черного моря.

Вологда была и местом героических сражений — война с поляками второго самозванца проходила именно здесь.

Вологда знала и военные предательства, горестные поражения и радостные победы.

Иван Грозный хотел сделать Вологду столицей России вместо Москвы.

Москву Грозный не любил и боялся.

Грозный бывал в Вологде не один раз.

Софийский кафедральный собор, «Холодный собор», как его звали в нашей семье, был построен в честь царя, и Грозный был на освящении храма.

«Холодным» собор назывался потому, что это был единственный храм в Вологде, где не было отопления. Молиться в соборе можно было только летом. Поэтому рядом стоял другой собор — с печами, более теплый, где и молились.

И пасхальные, и рождественские службы проходили в «теплом» соборе, и только летом железные двери Софийского собора раскрывались, а с первым снегом запирались опять.

На Троицу, Духов день службы служили в Холодном соборе.

Высоченные колонны уносили вверх расписное небо, огромные трубы ангелов тревожили мое детское небо, звали к каким-то необычайным земным свершениям.

Трубы ангелов закрывали все небо. На отсеках были фрески, знаменитые фрески Рублевской школы: князья и отцы церкви.

К алтарю ставился обыкновенный земной иконостас, упрятывая и загораживая святых и воителей на фресках и столбах.

Молиться нужно было не фрескам, а иконам, где тысячи свечей горели. И я ребенком нет-нет да и взглядывал вверх — на ногу ангела, из которой выпал камень.

Предание говорило, что во время молебствия на ногу Грозного упал кирпич, выпавший из ноги ангела в росписи церковного потолка. Кирпич раздробил большой палец ноги царя. Грозный, напуганный приметой, изменил решение — Вологда не стала столицей России.

Дело совсем не в том, что в Вологде не нашлось столь смелого хирурга, чтобы ампутировать раздробленный царский палец. Значение таких грозных примет в жизни любого государя, а тем более русского самодержца, не следует преуменьшать. Именно так, как поется в песне, и обстояло дело.

И тут суть не в том, был ли Грозный свободомыслящим или рабом религии своего века. Ни один политик не мог бы пройти мимо такого события. Кирпич, упавший на ногу царя во время молитвы, был ясным советом, и уклониться от него не мог бы ни один царь мира, начиная с Соломона, ни один политик.

Вологду царь оставил не по своему капризу, а затем, чтобы не пренебречь мнением народным. Ни отец, ни Грозный не были людьми суеверными. Просто они отдавали дань паблисити и не хотели искушать судьбу именно в этом земном смысле.

Я много раз бывал в этом храме, ведь мы жили рядом, в доме соборного причта. Я помню черную дыру в потолке. Пустоту — след, оставленный камнем в небе храма. Эта пустота на ноге ангела береглась много столетий.

Софийский собор — это храм холодный, и даже в официальной переписке и газетных корреспонденциях того времени назывался Холодным собором, с большой буквы, — будто это официальное название храма, возведенного в честь Софии.

В моем детском мозгу слово «Софийский» не отражалось, но держалось. Холодного собора было вполне достаточно не только для детских воспоминаний.

Это — угрюмый храм, хоть и красивый, — нет в нем душевной теплоты.

Желтые трубы ангелов так велики и так тревожны, что заполнили весь потолок, весь купол храма, и сразу дают знать, что близится Страшный Суд — в земной ли его либо в апокалиптической сущности, было для храма, для священников, и для причта, и для молящихся, и, вероятно, для Бога — все равно.

Тревога есть тревога, сигнал есть сигнал.

Рублевские или околорублевские фрески заполняли весь храм, а суть Рублевской школы в ее заземленности — в смешении неба и земли, ада ирая.

И действительно — не звуки этих ангельских желтых труб собирают, трепещат; сами земные люди — ближе к входу (он же и выход) — это уже послерублевские напевы. Рай и ад теснятся поближе к выходу — а сам храм — во власти ангельских труб, тревоги Страшного Суда.

Для того чтобы сгладить, смягчить иконопись Холодного собора, рядом стоит зимний, теплый, уютный собор — где бывать неинтересно, — защищенный от всех ветров и дождей, от всей метеорологии. Потолки здесь низкие, углы сглажены, иконы — робкие, свечи — полупритушены. Никаких ангельских крыльев нет в этом соборном храме — он, с его архитектурой и иконами, держится на отступлении от неба, от слишком серьезной требовательности Холодного собора. Здесь все — современность, столько же древнего, как Государственный банк, присутственные места.

Вблизи нет зданий, которые могли сравниться с Холодным собором. Но на одной из улиц стоит деревянная церковь — ценность зодчества, равная Кижам, — церковь святого Варлаама Хутынского, покровителя Вологды. В честь этого святого назван и я, родившийся в 1907 году. Только я по своей воле превратил свое имя — Варлаам — в Варлама. По звуковым соображениям новое имя казалось мне более удачным, без лишней буквы «а».

Церковь эта — классический памятник русской архитектуры XVII века.

Наречение меня в честь покровителя Вологды тоже дань декоративности, склонность к паблисити, которая всегда жила в отце.

В Вологде жил десятки лет Батюшков, великий русский поэт, помешанный сифилитик. Много лет он прожил в психическом расстройстве и похоронен в Прилуцком монастыре — в семи верстах от Вологды.

Отец никогда не говорил мне о Батюшкове, хотя на доме Батюшкова, где располагалась Маринская женская

гимназия и где учились мои сестры, есть большая мемориальная доска, которую я мог читать не менее десяти раз в день, ибо этот дом — в двухстах метрах от нашего дома.

Из этого я заключаю, что отец не любил стихов, боялся их темной власти, далекой от разума, а главное — от здравого смысла. Поэтому только взрослым мне удалось повторить своими губами и гортанью: «О, память сердца, ты сильнее рассудка памяти печальной», но и понять его удивительную допушкинскую власть над словом — более свободную, чем у Пушкина, более необузданную, хранящую самые неожиданные открытия. Если бы не было Пушкина, русская поэзия в лице Батюшкова, Державина и Жуковского — стояла бы на своем месте. Лермонтова, возможно бы, не было. Но по сравнению с Батюшковым, Державиным, Жуковским Лермонтов не такая уж ощутительная потеря для русской поэзии.

Это — не хула Лермонтову, не хула Пушкинской пляде! Но в допушкинских поэтах есть все, что дает место в мировой литературе русским именам.

К высотам Грозного Вологда никогда не возвращалась.

Петр I постройкой Петербурга взял совсем другой курс: «ногою твердой стать при море» — Балтийском. «Прошло сто лет, и юный град...» Прошло сто лет, и другой выдающийся русский император сумел «ногою твердой стать при море» — Черном.

Строительство Российской империи, начатое Петром, было закончено Николаем.

Николай I — фигура мало оцененная и историками, и писателями как судьями историков. Ошибался — это мы учим ежечасно, ежедневно, только потому, что воспитаны на Герцене и Льве Толстом. На декабристах, а не на стратегии Николая. То, что Николай был декабристом без декабризма — железные дороги, наступающая Россия, отмена крепостного права — как план чрезвычайно энергичного международного политика, — все это забыто.

В отличие от Наполеона Николай не ошибся в оценке роли парового винта.

Отношение Николая к Пушкину, даже к декабристам, в действительности было иным, чем заученные нами с детства эпизоды. Николай — фигура, которая еще ждет в истории своей реабилитации.

Современный историк (Пирумова) выражается о Николае так: «Чего-чего, а уж ума у этого императора хватало».

Строя Петербург, Петр не забывал о Севере. Дом Строгановых до революции сохранял некие торговые позиции и в Сольвычегодске, и в Вологде.

Петр ориентировал Вологду на Петербург — стало традицией поступление в высшие учебные заведения вологжан именно на берегах Балтийского моря. Москва для вологжан стала заштатной столицей, приютом неудачников и ворчунов, вроде Чаадаева, — история России решалась на Невском проспекте во всех ее неожиданностях — в бомбах, в выстрелах, в крестных ходах, в забастовках.

Только в двадцатые годы двадцатого столетия Вологда вернулась к своей допетровской позиции — в инфраструктуре более Ивана Грозного, чем Петра.

Вологда была провинцией и для Петербурга, и для Москвы, но для Петербурга она была городом менее заштатным, городом, где деятели будущего могли отдышаться после бурного бега. Это и была третья Вологда.

Третья Вологда обращена духовно, а зачастую и физически, материально — к Западу, к обеим столицам — Петербургу и Москве — и тому, что стоит за этими столицами, Европе, Миру с большой буквы.

Эту третью Вологду в ее живом, реальном виде составляли всегда ссыльные и по моральным, и по физическим причинам. Для этих ссыльных — сколько бы поколений ни жили они в городе — Вологда была лишь тюремным транзитом, ссыльным этапом их напряженной жизни.

Именно ссыльные вносили в климат Вологды категорию будущего времени, пусть утопическую, догматическую, но отвергающую туман неопределенности во имя зари надежд.

Это будущее России в Вологде было уже настоящим в философских спорах кружков, диспутах, лекциях.

Надежды эти всегда сбывались и сбывались немедленно — ссыльные бежали, их привозили из побегов, и все начиналось сначала.

Именно из Вологды Герман Лопатин увез Лаврова, чтобы тот успел принять участие на баррикадах Парижской коммуны — по железной дороге Вологда — Петербург. Лопатин в Вологде долго ждал поезда и чуть не сгубил дело.

Но поезда не стали ходить медленнее. Напротив, поезда стали ходить чаще, расстояние от столицы до Вологды

все уменьшалось. Бежать становилось все легче и все заманчивей.

Тех ссыльных, кто не бежал, освобождали по заявлению. Вернуться в столицы было легко. Вековать в Вологде никто из ссыльных не хотел и не вековал.

Вот эта устремленность на Запад и создает третью Вологду — Вологду ссыльных — бывших, сущих и будущих. Такие семена никогда не остаются бесплодными.

Почва слишком богата, жирна, пропитана кровью — и в буквальном, и в переносном смысле.

Споры ссыльных между собой — это не споры о пальце Ивана Грозного — а о будущем России, о смысле жизни.

Временность ссылки не подменяет временности земного бытия, свободомыслие цветет в Вологде ярким цветом — свободомыслием Джефферсона, Франклина.

Доклад о современных, революционных движениях любой вологодский ссыльный может сделать вполне квалифицированно — на уровне самых последних философских, религиозных, экономических течений.

Политика здесь, как всегда, выступает в смысле рычага общей культуры. Вологда осведомлена и о Блоке, и о Бальмонте, о Хлебникове, не говоря уж о Горьком, или о таком кумире русской провинции, как Некрасов. «Колокол» Герцена — а не только «Кто виноват» — идет нарасхват.

Естественно, что отец — шаман и сын шамана² — вернулся после двенадцати лет заграничной службы европейски образованным человеком — вернулся не к первой Вологде — оттуда он вышел родом, не ко второй — исторической, от имени которой он уже научен был говорить, а к третьей Вологде — Вологде освободительного движения. В эту третью Вологду отец и вошел со всеми своими знакомствами, интересами, связями и идеалами — по возвращении из Америки, в 1905 году, за два года до моего рождения. Уже замысел моего рождения продиктован другим человеком, чем тот священник, который уезжал в прошлом столетии на Алеутские острова.

Я не был экспериментом отца, я был ставкой, шашкой в его игре — в шахматы отец не умел играть, а то бы я применил другое сравнение, — отнюдь не азартной, а рассчитанной, продуманной, разумной, победоносной партии.

И не вина отца, что силы, с которыми он столкнулся, были слишком неожиданны. Масштабы их нельзя было определить ни в каком политическом клубе.

Даже Достоевский, который много угадал, прошел мимо практического решения этого теоретического вопроса.

Отец мало обращался к Достоевскому, к художественной литературе вообще. Позитивист до мозга костей, он не верил никаким пророчествам. Напротив, пророчества оскорбляли его разум — отец не нуждался в пророчествах. Поэтому в будущем он ничего не угадал... Он только воспитал в себе вкусы, понятия, пытался по этим понятиям жить и учить как-то других.

У Вологды была еще одна важная сторона. Там создавалась как бы «обязательная школа», «техминимум революции», выражаясь языком тридцатых годов. Эта обязательная школа, может, была и побольше, чем техникум, — вроде гимназического диплома.

Вологда была легкой ссылкой, и в то же время обязательной, как бы почетной и зависящей от самого ссыльного.

В этой легкости — ссылка могла быть прервана в любой момент по заявлению ссыльного, да еще близость к столицам — ночь до Москвы, ночь до Питера, — создавалось для либеральных высших чиновников статистическое оправдание. Ведь в тюремных заведениях статистика всегда в почете.

Сколько сослали — столько-то. Борьба, значит, ведется. А куда же сослали? В Вологду. Цифры успокаивали верхи и радовали либералов.

Вологду не сравнивайте с Сибирью. Вологда — это Москва и Петербург. Только об этом не говорите при начальстве.

Вологодская ссылка была отпиской либеральных царских министров начала XX века. Потому-то в Вологде и не проходило дня без рефератов, диспутов, споров.

Конечно, как во всякой ссылке, в Вологде были свои драмы, свои вожди и пророки, свои шарлатаны.

Но я не пишу ни истории революции, ни истории своей семьи. Я пишу историю своей души — не более.

Но: публичность этой третьей Вологды, ее ориентация на глобальность, на современность создает особую страну в северном русском городе.

Эта третья Вологда не писала своей истории, как написали Нерчинск, Акатуй и — в более широком смысле — Сибирь.

Для русского освободительного движения Вологда — это своеобразный Барбизон для французской новой живописи.

Третья Вологда была вся в живой борьбе, глубоко дыша воздухом обеих столиц. Укрепляла свои силы мышцами традиций поисков смысла жизни, решения вечных вопросов.

Энтузиастов хватает в каждом русском поколении.

Во время моей юности я слушал лекцию Владимира Александровича Поссе³— тоже одного из праведников прошлого столетия. Сама лекция его так и называлась: «В чем смысл жизни?» В. А. Поссе был только одним из сотен, из тысяч других.

Все эти речи обращались именно к третьей Вологде. Традиции города в этом смысле были чрезвычайно плодотворны. И хотя меня не лекция Поссе заставила задуматься над смыслом жизни— Поссе немного опоздал,— все же я слушал его с большим мальчишеским вниманием и пиететом.

Поссе был седой краснощекий старик в вельветовой куртке, размахивающий маленькими короткими руками над затаившим дыхание залом женской гимназии.

Дорог для утверждения добра Поссе предлагал очень много, слишком много для такого юного догматика, каким был я.

Третья Вологда знала пути на любые вкусы. Третья Вологда организовывала народные читальни, библиотеки, кружки, кооперативы, мастерские, фабрики.

Каждый уезжающий ссыльный— это было традицией— жертвовал свою всегда огромную библиотеку в книжный фонд Городской публичной библиотеки— тоже общественного предприятия, тоже гордости вологжан.

III

Резкой металлической дробью шелкал рукомойник, и где-то совсем близко за стеной на этот звук отзывались колокола. Чесучой шуршала одежда отца, вздыхала с чуть слышным скрипом тяжелая дверь в парадное, выпускающая отца на улицу, звякал тяжелый крюк, возвращаясь в гнездо под рукой матери. Все стихало. Через какое-то время звуки возвращались в обратном порядке. Стучал откидываемый крюк, скрипела дверь, шуршала одежда.

Колокола негромко отыгрывали какую-то поспешную, торопливую мелодию, металлом гремел рукомойник на кухне.

Семья садилась за утренний завтрак, который у нас почему-то назывался чаем, хотя меньше всего тут было чая.

Каждому выдавалась серебряная ложка; ставилось молоко — топленое и обыкновенное — и сахарный песок наполнял сахарницу — отец не признавал другого. Ни пирожных, ни конфет никогда не давалось. А если пироги, то только собственной материнской выпечки, да и то если остались от праздничных трудов.

Праздников, впрочем, в городе было немало. Я как-то подсчитал все царские дни, церковные и светские праздники. Насчитал около 120 дней в году — когда пироги могли быть традицией.

Большой раздвижной стол с обеих сторон занимали дети — отец на главном месте со своим стаканом с серебряным подстаканником и огромной, какой-то особенной ложечкой, которая щелкала весьма выразительно, аккомпанируя то заочным мыслям, то открытым поучениям отца.

Для матери тут не было места. Она только носила посуду, подавала самовар, успевала все нужное сварить и приготовить. Вдобавок отец любил черный хлеб собственной материнской выпечки. Это заставляло мать ежедневно заводить опару, выпекать хлеба, хотя в магазине хлеб был гораздо вкуснее и дешевле, и все дети любили магазинный хлеб.

Но дома подавался хлеб только домашний, и притом самой свежей сиюминутной выпечки, теплый.

Отец вечно спешил на какие-то заседания, собрания — уже за завтраком было видно, что он давно вне дома.

И вот он вынимал свои огромные золотые часы, резко щелкала крышка, привлекая всеобщее внимание к солнечному лучу зайчика, прыгавшего на этой крышке. Крышка закрывалась, и отец уходил.

Эти золотые часы — американский полухронометр — хорошо известны мне с детства. Именно по ним мама моя проверяла, заводила и переводила свои дешевые кухонные ходики с гириями. Никаких других часов, настольных, например, в нашем доме не было.

Когда наступило время продажи этих часов, выяснилось, что часы — не золотые, а только позолоченные, —

тоже одно из открытий моей юности. Но как бы то ни было, часы пережили разрухи, революцию и войны, пережили и лагерь — были со мной на Колыме, после освобождения и вернулись в Москву и живут до сих пор у меня.

IV

Крошечная казенная квартира из трех комнат и кухни для семьи из шести, а когда родился я — из семи человек;⁴ в казенном соборном доме для причта — старинной постройки, охраняемой государством сейчас, — дом уцелел из-за близости к собору Ивана Грозного, к ценному архитектурному комплексу.

Устраивал он отца и не только по своим архитектурным качествам.

Жизнь соборного священника, живущего на жалованье, а не на сбор подаваний во время «славления», привлекала его, и ни старшие дети, ни я никогда к этой стороне поповской жизни не обращались — отец просто выключал свою семью из разнообразного круга влияний специфического быта духовенства.

Вторым достоинством этой службы была близость к реке — от реки Вологды дом отделяла минута ходьбы, что отец — рыбак и охотник — считал весьма важным.

Недалеко был и базар.

При квартире во дворе стояли сараи — «дровеники» на ярком вологодском диалекте, — были огороды, сад, где у всех были участки, чтобы духовенство не заболело архиерейской болезнью, описанной Лесковым.

Вплотную к огородам примыкал большой архиерейский сад, правильнее назвал бы его парком, где иногда прогуливался архиерей, живший тут же, только в особых палатах.

Тут было чем компенсировать некоторую квартирную тесноту. Ни сыновья, ни дочери никогда не имели в доме отца даже подобия отдельной комнаты — ни в детстве, ни в молодые годы.

Отец — полузырянин, выходец из самой глуши усть-сысольских деревень — считал, видимо, такую возможность излишней, и прежде всего по педагогическим соображениям.

Позднее я попал в гости к своему гимназическому товарищу Виноградову, сыну ссыльного меньшевика, и был просто поражен, что в его собственном двухэтажном деревянном доме у городского театра все дети имеют отдельные комнаты.

Но, разумеется, и не только потому, что авторитет отца был в нашей семье непререкаем, а просто мне своим детским разумом казалось, что столь просторной жилплощади и не нужно. И я не завидовал.

По резкому звонку — электричества в доме нашем не было — открывалась обитая клеенкой дверь парадного, и я перешагивал порог своей квартиры. Не очень нам разрешалось пользоваться парадным для повседневной жизни, существовало черное крыльцо, но гости, визитеры попадали именно через это парадное крыльцо, на котором была приколоты визитная карточка отца.

Дверь эту я вспоминаю по двум причинам. Во-первых, именно эту дверь я затворил за собой, навсегда покинув город своей юности, дом, где я родился и вырос. Это было ветреной дождливой осенью 1924 года в листопад боярышника, березы. Вихри метелей кружились по городским улицам, взрывались при неожиданном изменении направления ветра.

Другая причина та, что этой тяжелой дверью в мальчишеской драке мне оторвали палец — палец попал в самый замок и был оторван, как срезан, и мне слепили в больнице и кое-как срастили. Но случай этот с пальцем я и сейчас не могу забыть.

Да, как-то вышло, что я уходил не с черного крыльца. В прихожей, где, впрочем, нам (или мне) не давали играть, стояли вешалки и открывалась дверь в зало. Другая дверь вела в кухню, но мне пользоваться этой дверью не приходилось — для детей было открыто только черное крыльцо.

Слева стоял огромный дубовый шкаф с тяжелой дверью, которой надлежало распахиваться, открывая свои тайны в полутьме — свет доходил только через дверь, ведущую в зало, и дверь, ведущую на кухню, — но этих двух лучей было недостаточно, чтобы осветить внутренность шкафа, и летом, и особенно зимой, тогда зажигали лампу-пятилинейку, вешали на стену. Мы действовали в шкафу на ощупь. Дубовый шкаф заключал в себе только отцовские вещи.

Отец не без основания в своей общественной карьере придавал большое значение паблисити.

В шкафу висела повседневная одежда отца — хорьковская шуба с бобровым воротником, бобровая шапка, шелковые рясы самого модного и дорогого покроя.

Второй шкаф был отведен для домашних вещей нашей остальной семьи — мамино пальто, Наташино, Галино пальто, а также и одежда двух братьев, а позднее и трех. Прикоснуться нам к отцовскому шкафу, именуемому «гардероб», запрещалось.

Из прихожей прямо против входной была другая дверь без стекла, ведущая в проходную комнату, где спали три брата. В углу прихожей располагался уверенно и просторно багажный сундук, в каком плавали в заморское путешествие вещи семьи. Сундук был заклеен всевозможными путевыми заграничными клеймами, что, по тайной мысли отца, содействовало паблисити. А может быть, и без всякого паблисити отцу просто нравилось, чтобы вещи напоминали ему о чем-то важном или любимом, о чем-то дорогом.

Поэтому этому сундуку всегда находилось достойное место. Сундук отвечал на внимание хозяев удобствами, и в нем на легчайших крестообразных прокладках помещалось множество вещей. В революцию были проданы вещи, а потом и сам сундук, увезенный в какую-то крестьянскую обитель, чтобы в свою очередь напоминать деревенскому хозяину о времени, о победе, успехе.

V

Глухая дверь с двумя створками — свет шел только из фрамуги — открывалась в зал, или, по домашнему диалекту, — «зало».

Это была проходная комната с такой же двойной створчатой дверью справа, ведущая внутрь квартиры, в комнату сестер. В мое детское время комната эта была наглухо заперта на ключ и никогда не открывалась, а в мое юношеское время была отобрана, и в ней жили жильцы по ордерам горжилотдела. Дверь в комнату сестер забили гвоздями, и пользоваться парадной дверью нам уже почти не пришлось.

На окнах висели легкие кружевные занавески — отец не переносил штор, а между окнами стояли зеркала от потолка до полу в дорогих рамах черного дерева.

Диван и два глубоких кресла черного дерева с плетеными сиденьями стояли слева у стены, еще один диван того же гарнитура с плетеным сиденьем стоял у стены напротив удивительного предмета — ящика тоже черного дерева, застекленного параллелепипеда с открывающейся стеклянной крышкой, со стеклянными стенками вроде аквариума. Но это был не аквариум, а коллекция редкостей, которую вывез отец с Алеутских островов. Коллекция эта была составлена по знаменитому принципу Музея естественной истории в Нью-Йорке. В том музее отец бывал неоднократно за свою двенадцатилетнюю службу в Америке.

Бывал он и в других музеях — в Берлине, в Гамбурге.

Принцип подлинности — вот что отличало черный ящик в зале. Тут не было никаких копий, никаких муляжей, а труды отца Марины Ивановны Цветаевой, наверное, не были одобрены моим отцом.

Не муляжи в натуральную величину, не фальшивые подделки, а подлинность, вот что хранилось в этой стеклянной коробке.

Индийские стрелы, алеутские топоры, культовые предметы эскимосов и алеутов — маски шаманов и орудия еды, моржовый клык во всем его желтоватом блеске лежали тут же...

Тут же лежала бутылка с кораблем внутри — известный портовый сувенир массового производства. Хранил ее отец, наверно, в память океанских своих путешествий. Тут же лежала фотография парохода, на котором отец двадцать лет назад уехал в Америку.

Даже я сумел сделать вклад в эту этнографическую коллекцию. Пойдя в годы революции по подвалам архиерейского дома, по закоулкам Вологодского кремля, я нашел два каменных ядра, которые после проверки у музейных работников — такие проверки отец считал необходимыми, и приговор официальных работников такого рода был для него непререкаем, — каменные эти ядра он запер собственной рукой в нашу домашнюю естественнонаучную коллекцию.

Создание такой коллекции вполне отвечало тщеславию отца, служило темой для «светских» разговоров во время приемов и визитов и семейных праздников, вообще было подходящим материалом для бесед отца, — ненавидящего пустые разговоры.

Эта коллекция должна была высечь искру из моего «медного лба», чтобы загорелся свет не столько Божий, сколько Прометеев.

Лбы моих братьев, наверно, уже были испытаны этим домашним музеем и не дали желаемого результата. Но, критически относясь к педагогической деятельности своего отца,—а он считал себя великим педагогом,—при воспоминании об этой коллекции я могу только восхищаться принципами, правилами, океанским ветром, залетевшим в наши комнаты, и следом великих походов.

Отец хорошо понимал разницу между подлинным и муляжом. Напрасная трата денег в музее Александра III возмущала его.

На стенах не висело никаких портретов — ни священнослужителей, ни царских, ни мертвых, ни живых.

Стены были оклеены обоями, пол выкрашен.

В комнате находилась еще одна экзотичность, вызывавшая разговоры во всем городе,—ее я приберег на конец.

Это висевшая в правом углу большая, даже огромная, икона с огромным ликом Христа в терновом венце. Перед ней круглые сутки горела лампада на серебряной цепи.

Отец и молился перед этой иконой и служил молебны, когда приезжали в праздники «славильщики»,—это была традиция, от которой отец уклониться не мог. Но все молебны служили именно перед этой иконой. Это не была старинная икона, не Рублев и не Феофан Грек, хотя Рублевская школа сильная имела в Вологде — в Прилуках, Кириллове, Белозерске, и старинных икон видел отец, наверное, немало.

Отцовская икона была — репродукция картины Рубенса, простая олеографическая картинка, наклеенная на фанеру и заключенная в узкую раму. Эту репродукцию отец надлежащим образом освятил, освятил по всем каноническим правилам, и молился перед ней — до самого конца жизни.

Бешенство, в которое приходила «черная сотня» Вологды при виде этого кощунства, было в городе хорошо известно. И в столицах тоже.

Митрополит Александр Введенский, приятель отца, при сходных обстоятельствах, пользуясь своим правом епископа, причислил к лику святых свою собственную мать.

Я не епископ и не священник. Но свою маму хотел бы причислить к лику святых.

Тщеславие отца питали другие, вполне земные истоки.

Это была проходная комната с одним окном и тремя дверями, где жили два моих брата Валерий и Сергей. Кровати их стояли, как и кровати сестер, под прямым углом друг к другу, и подоконники, и кровати, и стены в этой комнате были завешаны охотничьим оружием и рыболовными снастями. Под кроватями спали две собаки: сеттер Спорт и пойнтер Орест, визжавшие при каждом движении братьев, когда они собирались на охоту.

У каждого из братьев было свое ружье — двустволка центрального боя, традиционный подарок отца мужчинам в нашей семье с незапамятных времен.

У Сергея, младшего, талантливого охотника и беззаветного рыбака, были еще два ружья, которые он купил самостоятельно, и что, конечно, вызывало всегда одобрение отца. О брате Сергее, которого я считаю не менее известным в городе человеком, чем отец, хотя и своеобразной известности, я напишу отдельно...

Комната была в беспрерывном движении — заряжали патроны, пробовали двустволки, новые охотничьи приборы.

В этой же комнате слева от двери — сразу у стены стоял большой купеческий сундук «со звоном». Этот сундук ни в какой Америке не бывал, но оказался очень удобной вещью гардероба в большой семье — сундук было удобно открывать, и мать держала в нем всякие свои вещи.

А на крышке сундука на тюфячке спал я всю тамошнюю жизнь, тюфячок только становился все длиннее.

Тут я рос и вырос и научился раскладывать длинные литературные пасьянсы. Оружие братьев, их дела не вызывали у меня ни малейшего интереса.

У меня были свои дела — школа, товарищи, чтение, игра в фантики.

Я по возрасту далеко отстаю от братьев и сестер. Ближайшая ко мне по годам сестра Наташа старше меня на семь лет. В 1914 году мне было семь лет, а ей четырнадцать — разница очень велика.

Потом на моих глазах охотничье оружие сменилось боевым — оба брата вернулись из армии — один офицером, другой солдатом. Они привезли, особенно второй брат, большое количество боевого оружия: винтовки, револьверы, пулеметные ленты. После все это было сдано

на военные склады — один брат демобилизовался, а второй, Сергей, продолжал служить до 1920 года, когда был убит взрывом гранаты. А собаки были все те же, Спорт и Орест, стали чуть постарше, но выли и в упоении бросали лапы на плечи братьев.

А я все так же спал на том же сундуке и раскладывал свои литературные пасьянсы, свои таинственные фантики.

Позднее, уже в юности, я переехал с сундуком в комнату родителей — в угловую с тремя окнами на двор, где стоял обеденный стол раскладной, самой дешевой фабрики, и семейная кровать с пружинным матрасом и решеткой с шишечками. Ширма отделяла кровать от комнаты. Здесь же стояло единственное кресло отца, домашнее, с высокой спинкой, но не вольтеровское, а со скошенными перилами. Это кресло придвигалось к обеденному столу. Перед письменным же столом стояло кресло отца типа венского стула — легкое, твердое и сухое.

Письменный стол только в юности казался мне огромным — это был фабричный письменный стол с двумя парами тумбочек, в которых хранились отцовские бумаги.

Чернильница, письменный прибор, икона, лампада.

Картина Рубенса после жилищного ограничения переехала именно сюда.

Тут же стоял комод довольно затрапезного вида с всегда раскрытыми ящиками, буфет ломаный-переломанный — и все. Никаких других буфетов и комодов у мамы не было.

В нашем детстве за этим столом обедала вся семья, а в юности моей только мама с отцом и я, а сестер и братьев уже не было дома.

В праздник стол накрывался в комнате сестер.

VII

В комнате сестер с двумя окнами по фасаду стояли две кровати с пружинными матрасами под прямым углом друг к другу, а вдоль стены два шкафа — один вроде комода, поверх которого стоял шкаф карельской березы — многополочный, многоящичный — кустарное изделие какого-то местного искусника. Это была аптечка — царство отца: всевозможные рецепты на сигнатурках, порошки,

пластыри. В те времена не было таблеток, поэтому все лекарства готовились и принимались только порошками. Тут же стояла склянка с йодом и следы брызг от нетерпеливой руки отца — единственного авторитетного лекаря в доме. Какие-то отвары, декокты — все это остатки от каких-то исключительных событий — отец не любил ни лечиться, ни лечить. Он твердо держался курса Земляники: что «если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет».

Смеясь над этой репликой в театре или в домашнем чтении, отец твердо держался этих высмеиваемых правил.

Никаких кавалеров сестры тут принимать, конечно, не могли, и вся их девичья жизнь проходила вне дома.

Рядом со старым комодом, задевая за шкаф карельской березы, стоял большой книжный шкаф отца — средоточие моих детских мечтаний. Если мебель в гостиной была из черного дерева, — книжный шкаф, огромный, глубокий, застекленный, был из красного дерева.

Это тоже было отцово царство, с ключом от верхней и нижней половин. Нижняя была двустворчатая, глухая — не было видно, какие книги там лежат, а верхняя — под стеклом. И я в детстве забирался в комнату сестер, разглядывал, встав на табуретку, отцовские книжные сокровища.

Не давая рассмотреть ничего другого, том в том стояли книжки «Знания», переплетенные, со штампом городской библиотеки Общества трезвости.

Остальные части занимали евангелия и потертые отцовские требники, несколько таких же затертых служебных книг.

Далее на тех же полках стоял «Петербург» Белого, курс «Новая история», сборник «Вопросы идеализма», книга Булгакова «Капитализм и земледелие», Флоренский — «Столп и утверждение Истины», несколько брошюр Маркса, Толстой — «Война и мир» в четырех томах, хрестоматия Галахова для средней школы, трехтомник Михайлова, переводы Гейне без переплета — приложения к журналу «Семья и школа» или «Природа и люди» — и все.

Очевидно, сокровища скрывались в нижней половине, и мне еще только предстояло их разглядеть.

С этими мыслями я слезал с гигиенического венского стула — в квартире не было мягкой мебели — и переходил в следующую комнату, где спал я сам.

Брат мой Сергей, исключенный из пятого класса вологодской гимназии за неуспеваемость, был в высшей степени примечательным человеком, талантливым и одаренным в не меньшей степени, чем отец, хотя и в несколько ином роде, не менее популярной в городе личностью.

В шестидесятых годах в Москве, в беседе со мной, коренной вологжанин — художник Сигорский⁵ сказал: «А я и жил напротив Шаламовской горки».

Шаламовская горка — это Соборная горка, но прозвище получила отнюдь не от отцовской фамилии. Она названа, прозвана и спокон века называлась в Вологде по имени моего брата Сергея.

Выросший на Алеутских островах — знаменитый в городе пловец, удачливый охотник, он был главным организатором знаменитого в Вологде народного катанья — ледяной горки с высокой Соборной горы, где сани взлетали на противоположный берег реки, и свист саней заглушал моторы первых самолетов, поднимавшихся в небо Вологды.

Эта гора строилась под непосредственным руководством брата.

Во всяком любительском общественном деле есть человек, который найдет поливщиков льда, срубит елки в лесу, не менее трехсот, — вколотит эти елки в снег вдоль ледяной дорожки, достанет провода, электрические лампы, осветит фонарями эту бесплатную городскую гору — любимое зимнее развлечение вологжан. Само собой вышло, что этим делом всегда занимался Сергей.

Он был хозяином Соборной горы, главным инженером. Гору открывали к Рождеству для катания всего города, а таяла она в марте. На следующий год все начиналось сначала.

Все это делалось, разумеется, в порядке, как теперь говорят, субботников, но гораздо раньше события на Казанской дороге. Молодежь трудилась самозабвенно — с утра до ночи. А Сергей управлял всем этим строительством как безусловный и окончательный авторитет.

Я тоже был однажды освещен отблеском его славы.

Брат привел меня на воскресное катанье и поручил какому-то мальчику постарше меня.

— Ну-ка подвинься, пацан,—весело сказал мне усаживающий свою даму на сани «тормозки», как они назывались на ярком вологодском диалекте.

— Это не пацан,—холодно сказал мой провожатый,—это брат Сережки Шаламова.

Пареньку пришлось усадить свою даму чуть пониже, а я остался стоять, разглядывая гору сверху.

Рядом город всегда делал большой каток, где не было, правда, беговых дорожек. Это был прямоугольник льда, который тоже поливали, чистили, загоразивали елками.

Ходил Сергей и на лыжах в большие походы.

Летняя известность брата в городе превосходила его зимние успехи.

Знаменитый пловец на великие скорости еще без секундомера, на стайерские дистанции еще без стайерских правил и марафона. Плаванье в одиночку из устья реки Тошни до Вологодского моста — на спор. Каждое лето приносило подвиги брата в таком же роде.

Брат — самый лучший в городе ныряльщик за мертвецами.

Мертвецов — в пьяном, разумеется, виде — в Вологде тонуло очень много. Всегда ездил вдоль берега лодка, нащупывая шестом тело. И уж если тело было не прибито к берегу, а найдено шестом и нащупано — три четверти успеха обеспечены.

Я сам подошел к такой лодке, караулившей что-то в воде или на дне.

— Что это?

— Мертвец.

— Ну что, чего ж его не ташат?

— Сережку Шаламова ждут. Он будет тащить.

И действительно, примчавшийся брат быстро разделся, по какой-то лодчонке перешел на лодку, державшую мертвое тело шестами, и по одному из шестов скользнул вниз и вынырнул вверх, таща за собой за волосы мертвеца. Сдав мертвое тело родным, брат направился для совершения своих очередных подвигов, вроде уличных драк.

Но самая главная слава брата была в его удачливой охоте, брат дышал охотой, вся жизнь была подчинена охотничьему ритму, начиная с ранней-ранней весны, с половодья, где в топях брат убивал уток во время перелетов. Эта охотничья страсть не может быть удовлетворена одним ружьем. Одно ружье — это прогулка, даже охотничьи поездки брата на собственной лодке, с собственным ру-

жем напоминали охотничьи экспедиции, когда длились по несколько дней.

В конце какого-то дня еще с берега начинался крик: «Едут, едут, Сережка едет!» — и к городской пристани, где полоскали белье, причаливала лодка, осевшая от тяжести уток.

Добыча тащилась к нам на двор, и мама распределяла на крыльце все это богатство поровну между всеми участниками — только за лодку Сергей получал лишнюю часть. Это я хорошо помню. В его охотах никто не стрелял «на себя», а дележка всегда была у нашего крыльца.

Толпы зрителей, радостный вой похудевших охотничьих псов — все нравилось и отцу, и матери чрезвычайно.

В компании городских охотников Сергей был авторитетом. Он знал на тридцать верст кругом города все охотничьи места. Подружейная охота — прогулка с сеттером по лесам и полям подгородним — мало как-то занимали Сергея. Он ходил и на эти прогулки, но оживлялся только во время больших экспедиций, подготовленных им самим.

Брат был столь же удачливым рыболовом, — отцовские сети — закидной невод и ботальница — всегда были к его услугам. Так подплывали лодки, доверху груженные рыбой, и рыба взлетала на нашем дворе, подброшенная рукой матери.

Кончалось лето — охота, рыбная ловля, плаванье, и начиналась ледяная гора.

В этот круговорот природы брат вписался необычайно удачно.

Весь день с нашего двора шла стрельба — проверка кучности боя и прочих достоинств централок.

Точно так же на сборы ягод, грибов уходили отцовские лодки, и в этих экспедициях Сергей играл немаловажную роль.

Именно Сергей ездил за мукой во время разрухи в какой-то «Ташкент — город хлебный» и привез мешок муки.

Сергей был любимым сыном и матери, и отца.

И хотя я был самым младшим, на десять лет моложе Сережи, последним ребенком матери, я не мог занять в ее сердце первого места. Первое место было отдано целиком Сергею.

Матери — потому, что именно он был вполне реальной поддержкой в семье. Семейный авторитет был для него выше всего на свете, за исключением охотничьих прогнозов. Сергей почти никогда не забывал во время много-

численных охотничьих поездок привезти матери что-нибудь в хозяйство, что всегда было и нужно, и полезно.

Для отца и выбора не было. Сергей был его незаживающей раной, вечной обидой — проигранной картой в общественных сражениях отца.

И хотя ничего особенного в исключении брата из гимназии не было, — родившийся где-то на острове Кадьяк, выросший в морской свободе, эту свободу он считал своим идеалом и мог заниматься действительно плохо, — отец никогда не простил отцам города исключение сына из гимназии.

В отцовском понимании, и мать разделяла это мнение, — исключение сына вызвано исключительно политикой — способ личной мести отцу за его смелую борьбу за лучшее будущее России.

Отец не хотел подумать, что Сергей действительно плохо занимался — вырванный из жизни и природы и поставленный в унижительные школьные условия — непосильные по дисциплине, по ненужности занятий.

Сергей был, безусловно, авторитет, идеал, которому подражали все уличные мальчишки. Но не только по уличным подвигам, не только охотой вошел Сергей в сердце отца и матери.

Сергея всю жизнь преследовала смерть.

Череп брата, левое темя было разрублено в детстве тяжелым ударом — звездчатый рубец прикрывал детскую травму.

В детстве, в состязании луков на Алеутских островах товарищ брата запустил индейскую железную стрелу. Стрела вернулась и рассекла череп брата. Сергей лежал дома, не вставая, там ведь не было больницы, несколько месяцев, между жизнью и смертью. Спор был решен в пользу жизни. И Сергей поднялся.

Весной город управляет ручьями, ищущими выхода, грозящими половодьями. Соборная гора не укреплена и требует внимания и заботы всего населения, чтобы снеговые ручьи отошли по канавам, канавкам, канавицам в большие оттоки — протоки. Сотни мальчишек по берегам орудуют, ставя плотины, разрушая заторы. Брат самым естественным образом занимал командное положение в этой работе — она кончалась с ледоходом.

Река Вологда — медленного течения, и ледоход спокоен, как бы ни были велики снегопады. Важно только управлять лесным снегом весной на ее последнем этапе, когда снеговая вода по побуревшим от грязи и солнца ле-

дяным откосам сольется с потоками весенней воды, несущей разбитые льдины.

Ручьи, водотоки — все это работа нескольких дней в вологодской весне.

Вот тут человек самым естественным образом сливается с природой — традиционное единство.

На Соборной горе стояли испокон века деревянные скамейки, врытые в землю скамейки без всяких спинок, — просто длинные доски прибиты к врытым в землю столбам. Там отдыхали горожане летом и осенью. Да и весной тоже.

В 1914 году с началом войны, с победными реляциями о подвигах генерала Самсонова и Кузьмы Крючкова, с обилием конфетных бумажек с портретами генералов, спичечных коробок, оклеенных физиономией геройского казака, подцепившего на пику десятки тевтонов, в Вологду стали прибывать первые доказательства силы, мудрости и военного таланта наших генералов — захваченные в плен немецкие солдаты и офицеры. Немецкие каски показывались в каждой семье.

Вологда всегда была местом, где размещались военнопленные — и австрийцы, и чехи, и галичане, после Брусиловского прорыва. Но в начале войны — только немцы. Ходили они по улицам города свободно, дышали той же самой весной. Гуляли немцы обычно компаниями — возгласы ликующих мальчишек не смущали их.

И вот в весну 1915 года немецкие солдаты затеяли перебранку с той группой весенних гидрологов, которую возглавлял брат...

Немцы не знали русского языка, русские — немецкого, а на незнакомом языке любое оскорбление принимает неожиданно значительные формы. Возможно, что немец, ругавшийся с Сергеем, был тоже из молодых каких-нибудь дрезденских героев, который боялся отступить, показаться недостаточно храбрым в глазах своих же товарищей. Этот дрезденский герой, возможно, был похож на вологодского героя — моего брата.

Как уж можно оскорблять, не зная языка? Брат потом говорил, что напомнил о зверствах над Панасюком. Фотография Панасюка с отрезанным носом и ушами обходила тогда газеты. Рукой, что ли, Сергей показывал немцу историю с Панасюком.

Эта военная пантомима, завуалированный танец, громкий спор двух врагов с помощью рук — боевое сближение двух городских героев привело к паузе, — и хотя не-

мец был взрослым солдатом, а Сергей мальчишка пятнадцати лет, Сергей, конечно, не побежал и не отступил. Говорят, немец ударил брата кулаком, а Сергей ударил немца палкой, той самой палкой, которой проводил ручьи.

И тогда немец вынул кинжал военный и ударил брата кинжалом, целясь в сердце. Сергей отклонился, и кинжал немца пропорол ему живот. Нож — страшное оружие для брюшных ранений — гораздо хуже пули, дроби.

Сергея увезли в больницу. Хирургом там был Мокровский — знаменитый хирург и энтузиаст, в совершенстве знавший свое дело, достойный наследник Пирогова.

Но в 1915 году Александр Флемминг еще не изобрел пенициллин — до открытия оставалось еще поколение, и жизнь брата повисла на волоске.

Мокровский поступил по самым совершенным рецептам, которые, впрочем, мало отличались от рецептов Пирогова: удалил пораженные кишки, сшил остальные. Сергею надлежало перебороть инфекцию самому.

На начавшийся перитонит Мокровский ответил новой операцией, новым удалением всего опасного. И после этой двойной операции Сергей выздоровел.

К этому времени относится странное детское воспоминание — раздраженный шепот отца, даже не шепот, а приглушенный голос. Будто я сплю, а где-то рядом шуршит газета, и отец гневно комментирует: «Ша! Жэ! Не могли напечатать полностью, что ли?»

В памяти моей осталась газетная заметка строк на шестьдесят, где описывается этот случай так, как я только что рассказал. Но заметки такой в «Вологодском листке» сам я никогда не читал, — запомнил с чужих слов, что ли?

В 1968 году, перебирая «Вологодский листок» военных и революционных лет, пока газета не преобразилась в «Известия Вологодского Совета», я нашел странную заметку в марте или апреле — не помню сейчас.

«Что касается происшествия на Соборной горе с гимназистом Ш., то редакция обещает, по расследовании обстоятельств дела, опубликовать все, что интересует читателей»⁶.

Вот такие бывают чудеса памяти.

Ранение брата входило в область международного права, и решения по этому делу никогда не были сообщены семье.

Впрочем, не прошло и двух лет, как Вологда, и страна, и наша семья были потрясены событиями, оттеснившими

ранение Сергея в самый глухой угол. Только я о нем помню. У брата <не было> ни невесты, ни жены, когда он умер. Только в зыбкой памяти моей хранится его рана и судьба.

Меня вместе с сестрой Наташей мама водила к Сергею, когда он уже шел на выписку. Издали он мне показывал, отогнув рубашку, звездчатый рубец, коричневый, в правом углу живота.

— Попутно удалили аппендикс,— сказал Мокровский, стоявший тут же. Я тогда не понял, о чем тут идет речь, о каком аппендиксе, и только через много лет сообразил, что Мокровский был сторонником раннего удаления червеобразного отростка слепой кишки и проводил свою идею постоянно, не теряясь в самых неожиданных ситуациях.

Сергей вернулся домой, пошел добровольцем в армию в 1917 году простым солдатом — образование не давало ему права на офицерскую школу, как старшему брату, приезжал в революцию домой, потом поступил в Красную Армию красноармейцем химической роты и был убит в 1920 году <осколком> от разрыва гранаты. Отец сам ездил за телом.

Сам он стоял около гроба в первой комнате, в зале. Оттуда были вынесены все красоты паблисити, и отец остался лицом к лицу со смертью своей главной надежды. В эпитрахили, измятой, перекосившейся, отец сидел на стуле около тела сына всю ночь. Оторванный нос брата, ухо дали надежду поверить, что это не брат, что погиб кто-то чужой, и когда отец вышел куда-то, я проскользнул в комнату и отогнул простыню для самой надежной проверки. Именно я открою семье, что произошло, что тело — совсем не Сергея. Я воскрешу семью, возвращу ее к жизни. Но звездчатый шрам в правом углу живота был на месте, грубая толстая кожа брата была мертвой, холодной, и я выскользнул из комнаты.

IX

Старший мой брат Валерий был ничтожеством. Отец совершенно подчинил его волю своей.

Валерий окончил Вологодскую гимназию и мог и хотел получить высшее образование. Право на поступление без экзамена в университет у него было. Но Валерий не

имел склонности к медицине, а отец не представлял иного высшего образования для мужчин из Шаламовского рода, исключая духовное, к которому у Валерия не было склонности.

Но ведь можно было окончить традиционный для вологжан Лесной. Выбор был достаточный. Однако отец заставил его в порыве патриотизма поступить в офицерскую школу, и как только школа была окончена — пойти на фронт, на передовую, в Действующую армию, как это тогда называлось.

Валерий заикнулся было, что хотел бы жениться, и невеста уже есть, но отец наотрез отказал.

— После первой раны. Приедешь в отпуск, и сыграем свадьбу.

Так и было. Была торжественная офицерская свадьба, где я сидел по левую руку отца. Отец, верный своим обычаям, не пил и не считал нужным пригубить.

Невесту Валерий показал отцу. Она понравилась обходительностью, бойкостью.

— Она умнее тебя,— сказал отец сыну.

Свадьба не была удачной, ибо измены начались чуть ли не со свадебного дня. Потом она как-то скоро умерла, уже в разводе с Валерием,— от туберкулеза.

На фронте Валерий встретил революцию, приехал домой, и вот тут-то я был свидетелем одного важного разговора. Отец меня не стеснялся, мальчиком, что ли, считал, а может быть, его вечная привычка — учить детей извлекать поучительные уроки из самых разнообразных жизненных ситуаций — такой вариант возможен вполне.

— Я слышал,— сказал отец,— что ты хочешь демобилизоваться из Красной Армии.

— Да,— сказал Валерий,— я так решил.

— Не советую тебе этого делать,— сказал отец.— Подумай хорошо. Ведь военное дело — это твоя специальность, твоя профессия. Так какого черта ты не идешь дорогой, которую уже выбрал и даже успел получить образование и стаж? Ты не хочешь служить в Красной Армии? Напрасно. Боишься разговоров о классовом враге? Пойми, что именно в армии будут наибольшие послабления. Разве не делает так Брусиллов, Бонч-Бруевич? Разве ты один? Все они служат России. В России сейчас Советская власть. Вот и служи ей, как военный специалист. Ни в коем случае именно сейчас не уходи.

Но желание родственников жены оказалось сильнее, и Валерий демобилизовался.

Это было страшной ошибкой, исковеркавшей всю его жизнь, хотя отец, за исключением популярного примера из лучших людей России, ничего, наверное, и не имел в виду в своих опасениях и предостережениях.

Но оказалось, что кроме высоких слов о долге русского гражданина — есть еще такая неприятная, но весьма реальная вещь, как ЧК.

Всю жизнь потом Валерия до самой его смерти вызывали в ЧК, время от времени задавая один и тот же вопрос:

— Почему вы, царский офицер, уже служивший в Красной Армии, демобилизовались в такой важный, в такой ответственный момент, час, как 1918 год? Почему вы оставили Красную Армию?

Валерия сделали осведомителем, унижали, топтали, и подняться он уже не мог.

Валерий — сын, который публично отказался от отца-священника; в дальнейшем понадобились и такие демонстрации.

Я бывал у него во время моей учебы в университете; он работал в секретариате Наркомзема на какой-то канцелярской должности и ретиво принимал участие в выпусках Наркомземовской стенгазеты — прошлое и душа художника, которые он еще не забыл при выпиливании рамок по чужой канве, уметь растворять краски, хотя бы клеевые. Валерий был главным оформителем праздничной стенгазеты Наркомзема и очень гордился пользой, которую он как художник не перестает приносить.

Я встретился с ним на похоронах отца неожиданно, потому что он никогда не помогал отцу и матери — ничего, кроме проклятий по их адресу, не слышал я из его уст, — и вдруг лямка отцовского гроба.

Уезжали мы не вместе — он попозже, я пораньше. И когда пошли прогуляться, выяснилось, что он чего-то ждет.

— Да, Валерий, вот возьми отцовскую цепочку и игрушку — моржового слоненка. Я их приготовила в столе.

Наташа, которая в нашей семье олицетворяет справедливость и которая лучше всех знала материальные возможности матери и отца, бросилась на Валерию тут же.

— Да как ты смеешь просить такой подарок? Ведь мама на эту цепочку проживет не один год.

Но мама ясно и твердо сказала:

— Он ничего не просил и не просит, это я так хочу.

Валерий умер в тот самый день и час 12 ноября 1953 года, когда иркутский поезд дальнего следования подошел к московскому перрону и я вылез после шестнадцатилетнего отсутствия.

Х

Сестра Наташа была старше меня на семь лет. Значит, в 1917 году ей было 17, а в 1918 — восемнадцать.

Эти два рубежа — возрастной и исторический — тесным образом переплелись в жизни моей сестры.

Семнадцатый год Наташа встретила в белом платье с сияющим лицом. Представители городской думы поздравляли Наташу с окончанием женской гимназии.

— Он сказал нам — товарищи! — без конца повторяла Наташа, кружась по комнате, целуя отца и мать, тиская меня.

Все горизонты мира распахивались перед Наташей, и она настроена была использовать все возможности — образования, путешествий, свободы.

А в 1918 году перед семьей стоял суровый человек, переживший вместе с семьей тягчайший удар — и моральный, и материальный.

Никакой возможности куда-то ехать внезапно не стало, и на Наташу самым тяжелым образом упала ответственность за семью. Наташа сразу как-то поняла, что не время трепать языком, а надо искать какую-то реальную опору для своей жизни, чтобы реально помочь семье и себе.

Наташа сейчас же поступила в сестринский техникум двухлетний, с военного времени существующий в Вологде, и как было ни ничтожно это образование — это давало возможность помочь семье.

Брат Валерий, женившийся в 1915 году, оставил дом. Его же путем пошла сестра Галя. Сергей был в армии, я — в школе.

Путем исключения легко догадаться, что вся ответственность и материальная тяжесть легли именно на хрупкие плечи Наташи. Ее работа дала ей хлебные карточки, сохранила квартиру от дальнейших уплотнений — сколько ни мала была эта помощь, сколько ни жалким

был общественный вес, все же в ней было единственное спасение.

Именно Наташа сохраняла семью целый ряд лет гражданской войны.

Именно она бегала на приемы ко всем председателям новых городских организаций, доказывая, протестуя и добиваясь.

Потом Наташа вышла замуж за одного профсоюзника, работала, уехала из дому, родила сына — воспитала \langle этого \rangle сына и дочь от первого мужа и уехала из Вологды в Нижний Новгород, где ее \langle второй \rangle муж работал на высокой должности, а потом в Москву, где он устроился в какой-то наркомат, получила квартиру в Москве на Потаповском, работала медсестрой в поликлинике ВЦСПС.

Наташа была олицетворением справедливости на наших семейных совещаниях, превосходя в этом отношении даже мать. Наташа смело бросалась во всякие домашние сражения, обличая неправоту, фальшь и ложь.

Наташа безоговорочно поддержала меня в отказе от духовной карьеры, одобрила все решения, связанные с моим отъездом из города.

Совещание это происходило на печке в кухне, на лежанке русской печи, где лежали Наташа и я, а снизу отец и мать задавали мне последние вопросы о моем будущем.

— Я мог дать тебе письмо для Духовной академии, к Введенскому.

— Я не хочу учиться в Духовной академии.

— Тогда — на свободу. Будешь искать свое место в жизни сам.

— Пусть так.

Мать, которой хотелось видеть меня именно в Духовной академии, грустно молчала.

Но я выбрал другую дорогу, и все охотничье оружие, все славное наследство братьев было продано до последней рыболовной снасти, до последней гильзы — и я уехал в Москву.

Вот в этом-то совещании Наташа и одобрила именно это мое решение.

Потом Наташа вышла замуж и ей пришлось выдерживать большую борьбу не за свою семью, а за нашу — ибо начался очередной жилищный бум — выселение с милицией. Наташе почему-то везло именно на выселения.

Второй ее муж — профсоюзный работник получил комнату в квартире барачного типа в Потаповском —

верх мечтаний тогдашней Наташи, воспитывавшей двух-летнего сына, семилетнюю дочь от первого брака.

Еще в Нижнем Новгороде выяснилось, что муж Наташи, профсоюзный работник,—запойный пьяница. Запой—это страшная русская болезнь. Человек пропивает абсолютно все, до старого чужого белья, все, что видит и может схватить, унесет в кабак.

Трезвый, организатор Общества трезвости, отец едва ли был польщен родством с алкоголиком.

Муж Наташи был парень хороший, как все запойные алкоголики, доброжелательный. Наташа выходила за него замуж под честное слово, что он бросит пить.

Таких честных слов в истории русского общества, в семейных архивах хранятся не миллионы, а миллиарды.

Наташе хотелось верить и в себя, и в него, и вместо того, чтобы бежать от него, как от чумы, она вышла за него замуж. Он не сдержал слова, да и не мог сдержать—нет таких примеров в истории, и Наташа шагнула обеими ногами в разряд мучениц.

Когда муж стал не только пропивать все свое, но и чужое, и детское, Наташа с ним развелась, поступила на работу снова медсестрой в поликлинику своего Наркомтруда, а потом ВЦСПС, когда жилищный фонд был передан профсоюзам. Это было в 1934 году. Я был в Москве.

Объявили ремонт—ликвидацию всех перегоронок, а после ремонта весь этаж должен был превратиться в одну квартиру, не то для секретаря ВЦСПС, не то для какого-то министра, или наркома—как их тогда называли.

Все было сделано абсолютно по закону—всем живущим в доме, имевшим отдельные комнаты, дали отдельные же комнаты, а то и квартиры—даже отдельные дачи. Беда была только в том, что эти дачи, ордера на которые выдал жильцам райжилотдел, были в Перове. История эта—обычная для тридцатых годов,—когда министр топтал подчиненных, и все подчинялись и освобождали помещения.

А Наташа не поехала, обжаловала решение, но, инстанция за инстанцией, проигрывала решение и дело.

По этому делу Наташиного выселения я ходил на прием к прокурору города Москвы, к Филиппову, и получал от него отказы. Был назначен срок, подана машина, и милиционер с представителями ВЦСПС стали выносить в коридор немудреные Наташины пожитки.

Вот как раз в это самое время, по этому самому Наташиному жилищному делу, я обратился к Сосновскому,

известному фельетонисту «Известий». Сосновский вернулся после ссылки и работал в «Известиях». Попасть к нему было очень легко.

Сосновский спокойно выслушал все обстоятельства дела — я не давал себе увлечься всякими аналогиями — и тут же позвонил прокурору Филиппову, посадив меня около стола.

В трубке был хорошо слышен голос Филиппова, догадываться мне было не надо. Я записал этот разговор тотчас же по возвращении домой.

— Товарищ Филиппов, это Сосновский говорит.

— Здравствуйте, товарищ Сосновский, чем могу служить?

— Вот у меня сидит человек по делу об одном выселении медицинской сестры Шаламовой.

— Товарищ Сосновский, — заговорил прокурор, — я хорошо знаю лично это дело, и брат медсестры был у меня еще вчера. Тут все сделано по закону, все совершенно правильно.

— У меня складывается другое впечатление, — холодно сказал Сосновский. — Но дело не в этом. Я попрошу вас лично, городского прокурора, остановить это выселение своей властью. Пошлите милиционера от себя — там уже выносят вещи. Потом мы увидим, кто тут прав, но выселение надо остановить.

— Хорошо, товарищ Сосновский, я сейчас же пошлю милиционера, — сказал городской прокурор.

— И позвоните мне завтра.

Я пожал руку, поблагодарил Сосновского.

Вот мой единственный разговор с Сосновским по личному делу...

Все дело в том, что сзади этого вопроса стояло очень многосложное, болезненно пережитое Москвой дело Зорича, фельетониста «Правды», пострадавшего в сходных обстоятельствах несколько лет назад.

Дело Зорича было одной из самых первых административных расправ сталинской эпохи, расправ принципиальных, означавших какой-то важный поворот в принципах партии и страны.

В чем было дело? Жены видных партийных работников старались вести себя в большинстве вроде Аллилуевой, Крупской, Цюрупы, не только не давая повода для злословия, но крайне болезненно относясь к репутации чисто личного плана.

И Бухарин, и Сталин, и Рыков — также жили очень скромно. Еще скромнее жили их жены.

Исключение составляла только жена Кирова, которая еще по Баку прославилась захватом буржуазных квартир для родных своего мужа. Притчей во языцех была эта дама. Подвиги ее говорили, что у Кирова не хватает времени, чтобы одернуть ретивую жену.

В 1926 году Киров получил назначение в Ленинград на борьбу с оппозицией и выехал громить троцкистов. А жена его осталась в Баку и — когда она позднее прибыла к мужу — замучила всю железную дорогу. Она ехала в двух вагонах — сама в одном, в другом кировские собаки. Управление дороги было приведено в трепет ее телеграммой в Ленинград Кирову для ускорения движения спецпоезда в северную столицу.

По прибытии в Ленинград дама эта бросилась выбирать и отбирать уже квартиры побогаче, чтобы дать наконец отдых мужу, мучающемуся в «Астории», не имевшему угла отдохнуть.

Перебрав несколько квартир, переехав из одной в другую за неделю, жена Кирова не оставила вмешательства во всевозможные дела.

Вот об этом странном путешествии по железной дороге Баку — Москва этой энергичной дамы и был написан Зоричем фельетон. Ясно, что документов в таком деле у фельетониста было более чем достаточно.

Зорич работал тогда фельетонистом в «Правде» наравне с Кольцовым. Фельетон был напечатан в 1927 году под названием «Дама с собачкой».

Зорич ждал, как поставят Кирова на место, укажут, чего можно и чего нельзя руководителю советскому и партийному.

Всего год назад на пристани Энгельс — Саратов председатель Совнаркома Республики Немцев Поволжья (Курс) ударил кулаком в лицо комсомольца, не пустившего Курса в пьяном виде на пароход.

Курс не успел еще проспать после пьянки, как был снят со всех постов, и вынырнул много лет спустя директором Московского отделения «Интуриста».

Именно таких результатов и ждал Зорич от «Дамы с собачкой».

Результат разбора «Дамы с собачкой» в ЦКК принес неожиданный результат:

- 1) Зорича исключили из партии.
- 2) Запретили работать в печати пожизненно.

3) Уволили из редакции «Правды».

Все материалы данного решения — сделать широко известными всей партии снизу доверху.

Киров, энергично поддержанный Сталиным, среагировал самым принципиальным образом.

Партийные решения не должны касаться ошибок, клеветы, неверной информации.

Факт, по мнению Кирова, с опубликованием «Дамы с собачкой» (хотя там не было опубликовано ни фамилии, ни названия дороги), есть только один.

Журналист замахнулся на члена Политбюро, первого секретаря обкома — ничего другого Киров и знать не хочет и ставит вопрос о принципиальном примерном наказании фельетониста. Вопросы правды-неправды тут вовсе не встают и не могут вставать.

Решением по делу Зорича на много лет номенклатурные работники были ограждены от критики, тем более в печати.

Так и было сделано. Зорич до самой смерти не имел возможности писать в «Правде» — перешел на очерки, на рассказы. Смерть не очень задержалась. Зорича расстреляли в 1938 году как троцкиста, хотя он ни к какой оппозиции никогда отношения не имел⁷.

Сосновский, который знал про это дело (еще бы!), смело вступил на путь защиты маленьких людей. Сосновский был расстрелян в том же 1938 году, но это я так, к слову.

Дело о выселении кончилось победой министра над медсестрой. Наташа выехала в Перово.

У Наташи мне было хорошо бывать, можно было поест и подумать над своим без ущерба для чувства гостеприимства. Можно было встать и уйти, ничего не объясняя и ничего не обещая.

Последний раз я видел Наташу в Перово над стиркой в мыльном пару, выжимающей с усилием не то скатерть, не то простыню.

Как легко может догадаться внимательный читатель, Наташа умерла тридцати семи лет от туберкулеза в Кратовском тубсанатории. А ее запойный алкоголик-муж, уморив трех жен, одной из которых была Наташа, умер персональным пенсионером в возрасте 84 лет от инсульта.

Я никогда не видел маму красивой, хотя и прожил с родителями целых семнадцать лет. Я видел распухшее от сердечной болезни безобразно толстое рабочее животное, с усилием переставлявшее опухшие ноги и передвигающееся в одном и том же десятиметровом направлении от кухни — до столовой, варящей пищу, ставящей опары, с опухшими руками, пальцами, обезображенными костными панарициями.

В деревнях приходилось мне встречать единственный способ облегчения женщинам кухонного дела — варить щи, а мясо в горячем вареном виде резать. Так я видел в рабочих артелях, например.

Но в нашей семье делали и вторые блюда — жаркое какое-нибудь, котлеты, рыба, дичь или свинина своего убоя. И третье — гороховые, овсяные кисели. Каша обязательно гречневая, рассыпчатая — по вкусу отца.

Мама печь хлеб и варить суп не умела, но семейная жизнь на Алеутских островах выучила ее и печь хлеб, и стряпать.

Какие тут потрачены нравственные силы, нервы — я боюсь и сейчас подумать.

Даже хлеб выпекался у нас ежедневно, той же маминой рукой, — значит, должна быть всегда опара. Ежедневно свой свежий хлеб — это отец считал элементарным, обязательным.

В магазинах города хлеб продавался и дешевле, и вкуснее, но нами покупной хлеб приобретался только в большие праздники. И мы отдавали ему честь среди бесчисленных домашних пирогов, которые умеют и любят печь в Вологде, — Вологда славится пирогами.

Но мама не любила печь, мама любила стихи, но не рецепты поэтической кухни довелось ей выполнять, а самые важные — из поваренной книги. Поваренных книг у нас было две. Популярная Молоховец, засаленная, затертая, оправдавшая себя на двести процентов, и переплетенная в изящный фиолетовый переплет, особая книга вегетарианской кухни под названием «Я никого не ем».

Но отец не был вегетарианцем. Напротив, он считал вегетарианство фокусничеством, извращением — его языческая сущность, его охотничье прошлое, его ясное понимание законов природы — где существуют и охотники,

и волк, и капуста, и только в гармонии взаимного убийства развивается видимый мир.

Пошлые советы Толстого или Репина вызывали у отца только смех. У нас никогда не готовили вегетарианского. Вопрос этот никогда даже не обсуждался в семье. Зачем же отец приобрел сборник вегетарианских рецептов? Я думаю, из того же паблисити сделал он этот подарок матери. Стараясь показать, между прочим, что вегетарианская пища сложнее, дороже — и чтоб был какой-нибудь справочник под руками.

Слева от входа была дверь в «зал», а справа дверь на кухню, в мамино царство.

Стояли лари с мукой, бочки соленья, варенья, квашенья, висели нитки грибов, батманы лука, связка лука на вологодском языке называется «батман», — весом батман может быть до десяти килограммов.

Посреди кухни был вырублен подвал, который был забит обязательно каким-то особенным, по рецепту отца — синим льдом с реки. Дверь в просторный подвал, лестница вниз шла посреди кухни. Подвал был набит битой птицей покупной и дичью, стрелянной сыновними руками, тушами баранов, колотых кабанов, выкормленных матерью.

Кабаны визжали на дворе, блеяли козы — несколько коз. Отец, по каким-то своим экономическим подсчетам, еще без помощи электронных машин, вычислил, что три козы по удою заменяют корову, а козье молоко — козьим молоком отец увлекался всегда, до самой смерти.

Ловя детей, две охотничьи собаки плясали среди этого звериного царства.

Кошка была единственным домашним животным, которого никогда не было в нашей семье. Ее независимый характер не устраивал отца.

Несколько полениц березовых дров, купленных на базаре, — сухих, уже черных березовых поленьев. Полено и косарь — щепать лучину на самовар.

Древесный уголь на растопку и огромная русская печь, где с ухватом тяжелыми чугунами круглые сутки ворочала мама моя.

И все это я ненавидел с самого раннего детства, как помню себя.

Моя оппозиция, мое сопротивление уходит корнями в самое раннее детство, когда я ворочался с огромными кубиками — игрушечной азбукой — в ногах моей матери.

Я был педагогическим маминым экспериментом,

единственным опытом, который провела мать для себя и по своему собственному соображению.

Козы у нас были и в довоенное время, и в разруху, и в гражданскую войну, словом — всегда.

Кудахтали куры — отец был куровод, менял породы. По десятку-два кур яйценоских, вроде итальянских леггорнов, держались у нас всегда.

За грибами, за ягодами в нужное время плыла вся семья на двух лодках — две лодки отец имел постоянно, с миллионом корзин, и мама делила грибную или ягодную удачу.

Варенье вот варить только мама никогда не выучилась — все то жидко, то перестоит или изойдет пеной, и для варки варенья приглашались посторонние люди, умевшие обуздать медный сверкающий таз.

Стоя на крыльце, мама встречала целые лодки рыбы, которые привозил брат Сергей, целые лодки уток, застреленных братом во время его охотничьих поездок, делила мама.

Хлюпали в лужах домашние утки, и гусаки гоготали. И все это я ненавидел.

Мама печь хлеб не умела и не любила кухни. Мама любила стихи, а не ухваты.

Мама моя была тяжелая сердечная больная, ковылявшая по комнате, где жила она с отцом, из огромной квартиры их давно выкинули, выселили, — держась за стенки, за мебель — от кухонной печки до семейной кровати под образами.

Передвигаясь на огромных опухших ногах, мама что-то стирала, что-то мыла, а отец сидел в кресле в углу у окна, полузакрыв глаза. Отец ослеп после смерти сына, моего брата Сергея, и прожил слепым четырнадцать лет. Вот эти четырнадцать лет мама кормила и себя, и отца.

Так чем же жила мама эти четырнадцать лет? Ведь надо есть двоим четыре — или по крайней мере — три раза в день. Какие тут рецепты? Это одна из тайн, которую я никогда не узнаю.

Конечно, и я после женитьбы, и Наташа еще раньше, предлагали переехать в Москву. Но и мать и отец категорически отказывались, и были правы, конечно.

Когда мать осталась одна — то есть в 1934⁸ году, — я еще раз предложил ей переехать в Москву.

Мама смеялась:

— Как я уеду из города, где я прожила всю жизнь вместе с отцом.

— Я умру скоро,— сказала мама.— Есть примета. Если живут дружно столько лет...

— Да,— сказал я.

— Так вот, мы не жили дружно. Мы жили трудно. Дело не в последних четырнадцати годах, когда он был слепой,— это все другое, более ясное и простое. Трудно было раньше. Ах, как мне хотелось, чтобы ты женился в Вологде. Тебе я могла рассказать.

Я слушал, затаив дыхание.

Но больше мама ничего не сказала.

У мамы было собственное, эсхатологическое, в высшей степени своеобразное учение о конце мира.

Успехи науки, особенно химии, вдохновляли маму на соображения о Страшном Суде и воскресении мертвых. Постепенно люди превратятся в тончайших духов, существ почти бестелесных. К воскресению мертвых все люди превратятся в духов и одновременно воскреснут, и не будет на земле тесно.

Я слушал все это с величайшей внимательностью, просто с жалостью и болью.

Отец мой человек светский, то есть гражданский, мирской до мозга костей.

Все, что могло служить успеху, то и одобрялось.

Но потом, взрослым, уже сидя в тюрьме, я изменил это детское мнение.

Не то что изменил, а из большой тени, что отбрасывала фигура отца на прошлое, выползала вдруг на самый яркий свет опухшая грубая фигура моей матери, судьба которой была растоптана отцом.

С мамой моей отец никогда и ни в чем, даже в мелочах, не считался — все в семье делалось по его капризу, по его воле и по его мерке.

Но — при его жажде успеха — зачем он стал священником, зачем взял на себя несправедное право — право давать советы другим.

Трудно? Почему же? Почему же трудно?

Отец мой был человек абсолютно мирской, никаких потусторонних интересов не было у него в Вологде. Конечно, я — пятый ребенок в семье, да трое родились мертвыми — мама испытала обычную русскую женскую судьбу. Мама посвятила всю себя интересам отца... Мама — способная, талантливая, энергичная, красивая, превосходящая отца именно своими духовными качествами. Мама прожила жизнь, мучаясь, и умерла, как самая обыкновенная попадья, не умея вырваться из цепей семьи и быта...

Этого я долго не понимал. Мне все представлялось, что именно отец, блестящий диалектик, умелый оратор светского толка, популярный городской священник, принял на себя столь жестокий удар судьбы, как слепота! Отец — герой.

Я могу понять какого-нибудь аскета, пророка, внимающего голосу Господа в пустыне. Но обращаться к Богу за мирскими советами и испрашивать советов Бога для других, чтобы передать благодать, — это было мне чуждо и не вызывало ни уважения, ни желания подражать...

XII

Отец мой родом из самой темной лесной усть-сысольской глуши, из потомственной священнической семьи, предки которой еще недавно были зырянскими шаманами несколько поколений, из шаманского рода, незаметно и естественно сменившего бубен на кадило, весь еще во власти язычества, сам шаман и язычник в глубине своей зырянской души, был человеком чрезвычайно способным.

Сама фамилия наша — шаманская, родовая — в звуковом своем содержании стоит между шалостью, озорством и шаманизмом, пророчеством.

И того, и другого в избытке хватало в характере отца.

Успеху своему на выбранном пути отец был обязан самому себе, а путь был выбран еще в юности.

Отец родился в 1868 году близ Усть-Сысольска и учился в Вологодской семинарии, идя по традиционной для рода дороге. Отец проявил блестящие способности и, поработав года полтора учителем среди коми-зырян, женился и принял священнический сан. В Духовную академию, куда отцу была открыта дорога, отец не пошел, а сразу, с молодых лет пошел на заграничную службу — поехал в Америку, на Аляску, на Алеутские острова православным миссионером среди алеутов и проработал там двенадцать лет.

Заграничная служба в православной церкви давала большую пенсию, достаточную для того, чтобы безбедно кормить большую семью. Эта пенсия давалась за двадцать лет службы. Но можно было уволиться, вернуться и после десяти лет службы — тогда пенсия была половин-

ной, платилась пожизненно и сохранялась при всех условиях — продолжал ли пенсионер церковную службу или нет.

Отец вернулся в 1905 году⁹, привлеченный революционными ветрами первой революции — свободой печати, веротерпимости, свободой слова, надеясь принять личное участие в русских делах.

К этому времени заграничная служба отца достигла двенадцати лет, и отец пользовался правом на половинную пенсию.

Отец не поехал в столицу, а вернулся в тот город, где он учился в семинарии и женился. А мать моя — не из духовного звания, как это бывает по традиции, не из епархиального училища, а из самой нормальной светской Мариинской женской гимназии — той самой, которая расположена в доме Батюшкова, где мемориальная доска.

Мать — учительница, из чиновничьей семьи, ее сестра пыталась поступить на Бестужевские курсы и получила медицинское образование, работала всю жизнь фельдшерницей в Кунцеве.

Замужество матери тоже было встречено с удивлением в либеральной семье чиновника, где нет людей из поповского рода, но мать выбрала отца, вместе с ним уехала в Америку и разделила его судьбу и его интересы в многочисленных общественных начинаниях.

Мать — коренная вологжанка, и выбор службы отца в Вологде связан с корнями матери. У отца никаких родных нет, или, если и были, связи с ними разорваны из-за заграничного жития, и в доме у нас никто из родственников отца — если они и были — никогда не бывал¹⁰.

Отец получил службу четвертым священником городского собора. Для церковных властей это было хорошим решением — молодой проповедник из заграничной службы, владеющий английским в совершенстве, французским и немецким со словарем, лектор, миссионер и насквозь общественный организатор — кандидатура отца у Синода не вызывала, конечно, возражений. А что он стригся покороче, носил рясы покороче, чем другие, крестился не столь истово, как остальные, — все это не пугало Синод.

Место городского священника было почетным местом — движением ввысь по служебной лестнице духовенства.

Служба в городском соборе — как ни тесна была наша крошечная квартира на Соборной горе — устраивала отца еще по одной немаловажной причине.

Соборный священник получает жалование или подобие жалования вполне официально и избавлен от унижительного «славления», собрания «руки», подачек в рождественские, пасхальные праздники. А ведь из этих подарков-подачек и складываются главные заработки приходского священника — все равно, в деревне или в городе.

Отец не любил этих унижительных молебнов «на дому» с закуской и выпивкой — от закуски можно было бы еще отбиться, от денег — никогда.

Соборный же священник избавлен от этих поездок.

Даже после собора, когда отец нашел службу у ссыльной миллионерши-анархистки баронессы Дес-Фонтейнес — там тоже он получал оговоренное жалование, а не жил на «поборы».

Однако первая же проповедь отца вызвала усиленное внимание духовной цензуры.

Вологда — город «черной сотни», где бывали еврейские погромы.

Отец самым резким образом выступал в соборе против погромов, а когда в Петербурге был убит председатель Думы депутат Герценштейн, отец отслужил публичную панихиду по Герценштейну.

Эта панихида отражена в истории русского революционного движения — не один отец поступил таким же образом¹¹.

Отец был отстранен от службы в соборе и направлен в какую-то другую церковь, кажется, Александра Невского. Отец обжаловал решение местных церковных властей, и с этого времени начинается длительная, активная борьба с архиереями, которые, на грех, приезжали один черносотеннее другого.

Естественно, что поведение сразу его отбросило в лагерь вологодских ссыльных. Ссыльные, которых в Вологде было много, — стали друзьями. Это — Лопатин, меньшевик Виноградов, активные сионисты вроде Митловского, значительный слой тогдашних эсеров.

Отец, чрезвычайно активный общественник, беспрерывно открывал то Общество трезвости, то воскресные школы, то участвовал в митингах, которых было тогда очень много.

Центром приложения сил, прогрессивных и черносотенных, была в Вологде ряд лет постройка по подписке Народного дома. Этот Народный дом выстроен на месте теперешнего городского театра (бывшего Дома Революции), и отец на митингах в нем выступал несколько раз.

Этот Народный дом был сожжен дотла осенней ночью черносотенцами, виновники не найдены¹². Здание отстроено лишь после революции, хотя поднимались стены и раньше, до первой войны, и восстановление было прервано именно войной.

Дом Революции был открыт (в 1924 году) киносеансом Гриффита «Нетерпимость». Тогда в Вологде существовал городской театр, деревянный, который не перенес поджогов, ибо не был «Народным домом», а обычным театральным зданием. Театр старой архитектуры сгорел все же — и никогда не был восстановлен.

Дом Революции, построенный вместо Народного дома 1905 года, стал называться городским театром.

Но в мое время был и театр, и Дом Революции.

У отца, чрезвычайно активного общественного деятеля, была и своя собственная социологическая теория, основанная на глубоких выводах, солидных основаниях, надежных перспективах.

Отец уверял, что будущее России в руках русского священства, и именно русскому священству сужден самой судьбой путь государственного строительства и обновления — и государственных реформ, и личного быта.

Для этого — по мысли отца — есть все основания. Священство — четверть населения России. Простой цифровой подсчет убеждал в серьезности этой проблемы. Составляя такую общественную группу, духовенство еще не сыграло той роли, которая ему предназначалась судьбой — дав им право исповедовать и отпускать грехи всех людей — от Петербурга до глухой зырянской деревушки, от нищего до царя.

Никакое другое сословие не поставлено в столь благоприятные условия.

Эта близость к народу, знание его интересов начисто снимает для разночинцев проблему «интеллигенция — народ», ибо интеллигенты духовного сословия — сами народ, и никаких тайн психологии народ для них не приносит.

Это не разночинство отрицания типа Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Кибальчича, Гапона, а разночинство созидания, типа Ключевского, Пирогова, Павлова, Булгакова, Флоренского, Григория Петрова.

Это должно быть священство мирское, светское — живущее вместе с народом, а не увлеченные ложным подвигом аскеты вроде старчества, монастырей. Монастыри — это ложный путь, как и распутинские прыжки.

Церковь должна быть светской, мирской, жить мирскими интересами, а в самой мирской жизни быть началом разума, культуры, образования, цивилизации.

История хранит бесконечное количество подвижников, пророков из духовного сословия.

Но задачи XX века более сложны, более земны.

Русское священство должно обратить внимание не на личное совершенствование, на личное спасение, а на спасение общественное, завоевание выборным путем государственных должностей и поворачивать дело в надлежащем направлении. Не в старообрядчестве и не в сектантстве нужно искать, а в самом современном церковном служении.

Даже такой вопрос, как распад семьи — профессиональная болезнь русской интеллигенции, — может быть решительным образом ослаблен, и не только примером многочисленных семей духовенства. Но эта проблема, по мысли, разрешится сама собой.

Что плохо — не безбожие, а малая культурность народа. Безбожие исчезнет вместе с неграмотностью.

История русской культуры должна гордиться своим духовным сословием.

Славные имена выходцев из духовного сословия — знаменитых хирургов, агрономов, ученых, профессоров, ораторов, экономистов и писателей известны всей России. Они не должны терять связи со своим сословием, а сословие должно обогащаться их идеями.

Русское священство, белое духовенство — вот кому принадлежит главная роль в воспитании общества.

Не аскеты монашества, не истерические старцы, а традиционная форма грамотного культурного русского священства.

Не истерические проповеди Иоанна Кронштадтского, не цирк Распутина, Варнавы и Питирима.

А женатое, семейное священство — вот истинные вожди русского народа. Духовенство — это такая сила, которая перевернет Россию. Надо только сделать ниву культурной — совершенно земные задачи совершенно земных людей.

Себя отец и считал человеком, посвятившим себя высокой цели освобождения России...

Умение хорошо одеваться отец, не без основания, считал важным и надежным средством паблисити. Зимой он ходил в дорогой бобровой шапке, в хорьковой шубе с широким воротником морского бобра, в шелковой щегольской рясе. Все это было пошито в столицах у модных

портных — по чуть укороченному, далеко видимому, но все же не нарушающему канон фасону.

Серая шляпа, вроде котелка, самого дорогого качества, уверенно сидела на уверенно посаженной, коротко подстриженной голове.

Мать обычно ножницами доводила отцовскую прическу до желаемого ему конца.

Щелкали ножницы в руках матери, раздавался резкий голос отца: «Короче! Короче! Еще короче!» — потом начиналось оглядывание прически в зеркало.

Камилавки — служебный церковный головной убор отца — всегда были высшего качества и всегда свои. В церкви для службы даются и казенные камилавки — но камилавки с другого человека, со следами чьей-то чужой головы внутри — этого бы отец не перенес.

Обувь — щегольские полусапожки с резинкой, тщательно начищенные. Дома отец переодевался в домашнее, но тоже добротное, удобное, хотя и недорогое. Был у отца и штатский костюм весьма невыразительного свойства. Поскольку для паблисити священнику костюм не был пригоден в те времена — брюки в полоску, сапоги или плащ брезентовый для дождя.

На всех церковных службах отец выглядел самым красивым, самым картинным во всяком случае, чем мать немало гордилась.

Скромность отец не считал достоинством. В программу паблисити, которую отец перенес как педагогический прием в воспитание своих детей — дочерей и сыновей — входило всегда публичное утверждение достоинства, преимуществ — всяческих соревнований, начиная от состязания умов, вроде диспута, и кончая гонкой лодок, плаванием, стрельбой, охотничьей удачей.

— Надо взять себе за правило — не скрывать своих преимуществ перед сверстниками, — учил отец, — знаешь вопрос — смело поднять руку на вопрос учителя и смело отвечать, только надо знать, а не молоть пустяки. В состязаниях юности всякий ложный стыд вреден, а смирение паче гордости — чушь!

Скрывать свое умение, свое превосходство отец не имел привычки.

У нас было две лодки, и лодки эти отец выбирал всегда сам — ездил куда-то в верховья Сухоны в надежные места и на барже или пароходе привозил, тащил лодку в свое собственное хозяйство. Но лодки северные — это долбленные челноки. Для того, чтобы превратиться в рыболовную,

в охотничью лодку, челнок должен обрасти бортами. Это немалое умение, и не всякий столяр успешно нарастит в нужном весе, размере борта. Этой работой отец занимался всегда сам, выполняя ее в высшей степени эффективно и уверенно.

Столярный верстак становился поперек двора, отец взмахивал рубанком, и сотворение лодки начиналось. Собирались зеваки, а также жаждущие инструктажа, и отец под взмах рубанка, срезающего легкие осиновые стружки, читал соответствующую лекцию о новом способе наращивания бортов, которому он выучился или в юности в Усть-Сыольске, или почерпнул у алеутов на острове Кадьяк, либо вычитал из книжки и сейчас хочет попробовать.

Я думаю, эти спектакли имели многие значения, как всякое действие отца, всегда многозначное, всегда с подтекстом.

Помимо прямого паблисити — поп с рубанком — было еще удовлетворение жажды физических движений — чисто спортивная форма отца. Давал примеры сыновьям, учил друзей техническим приемам стружки. Просто отводил душу в любезных сердцу разговорах. Что еще?

С детства меня раздражало совмещение приятного с полезным, а для отца это было испытанным педагогическим приемом, даже принципом.

За чайным столом мы всегда видели отца аккуратно одетым и куда-то спешащим.

В семье у нас не знали кофе — пили только чай. Отец покрепче, дети — пожиже.

Мать сидела у самовара. Самовар отец считал важной приметой быта. У нас было два самовара, большой ведерный, блестящий, но дешевый — он сохранился надолго, и малый, желтой меди, на десять стаканов, который мы очень любили. В гражданскую медный был продан за муку, а побольше — стоял на кухне, потом был починен и какое-то время служил отцу и матери...

На торжественные службы отец надевал крест червонного золота, который сам же в торгсинное время разрубил топором на куски. Я написал об этом рассказ «Крест», входящий в «Колымские рассказы».

Мою мать отец тоже заставлял носить новое, делал ей подарки. Деньгами в доме распоряжалась мать, но как-то так выходило, что семейные лодки, козы, собаки диктовались потребностями и вкусами отца. Личных же ценных вещей у мамы не было; кроме дорогой шали черного кру-

жева и венчальных свечей, ничего мать в своем сундуке не хранила. Наверное, были подарки вначале, но дети — восемь человек детей, из них трое умерших — заставили мать или передаривать или перешивать детям — либо сам вкус ее изменился и вошел в привычный круг потребностей и планов отца.

Кроме этой черной кружевной шали, никаких вещей у мамы не было. Да и шаль полетела на рынок много раньше отцовских вещей. Муфта была еще у мамы модная, шляпка какая-то с перьями.

Как и подобает потомственному шаману, отец был у нас главный лекарь, лечил всех без врачей, полистав модный лечебник, терапевтический справочник и ограничившись визуальным осмотром. Лечить бы ему по-алеутски, по-шамански, — успехов было бы больше. Лечение давало плачевные результаты...

Никак не хотел согласиться на операцию при своей глаукоме, болезни мучительной, сводящей больного с ума. Достаточно было перерезать нерв, и боли исчезли бы. Время операции, когда можно было рассчитывать на успех, он прозевал, и хотя объехал буквально всех главных специалистов Москвы — Страхова, Головнина, — вылечить его было нельзя. У меня хранится письмо Страхова ко мне — я просил его написать по поводу отцовской болезни. Почему отец не согласился на операцию — не знаю. Исход, наверное, был не ясен, и решил, преодолевая боли, прожить в полуслепоте. Очки отец носил с юности. Но это решение ждать совпало со смертью сына Сергея, и процесс слепоты полетел под откос. Отец ослеп в 1920 году, а умер в 1934. Четырнадцать лет слепоты. Надежда была, наверное, наивная — что вот-вот найдут какое-нибудь средство против глаукомы. Средство такое не найдено и сейчас.

Со своей безграничной верой в силу печатного слова, главным образом, газетного — американская школа публицити, заокеанская надежность газетных объявлений — он и лечил по книгам в физическом смысле и в духовном. В физическом — он доверялся популярному «лечебнику» — толстой книге, в которую заглядывал много раз, а также унаследованному от русских и алеутских шаманов «умению» управлять холодом и теплом в их почти безграничной клавиатуре.

Души он лечил советом, как исповедник, исповедующий вместо лечебника — Евангелие или требник, давал советы по всем случаям жизни.

Лечение физическим методом было всегда удачным — ведь неудачи в практике такого рода не регистрируются.

Не регистрируются и утешения, и пророчества.

В Вологде он вмещался в мою болезнь, не понял ее, и я промучился целую жизнь с хроническим насморком, да не пустяковым, а таким, что заполняет нос. Я навсегда лишен обоняния, слух мой испорчен бесповоротно и безнадежно. Только потому, что меня не показали в раннем детстве врачу. У меня природное искривление носовых перегородок — пустячная операция, и мне возвратился бы орган обоняния.

Мать много раз просила показать меня врачу-специалисту. Ответом был только презрительный хохот. Именно отец дал мне в семье прозвище «тяптя» — ты сопли — из-за вечного насморка. Сопли эти не вылечились и на Колыме и заливают мой нос и по сей день. В день я трачу два носовых платка.

Отец все толковал слишком просто: «Не хочет высушить ноги, дрянь. Пройдет».

Но сопли и потеря обоняния — это еще не все.

Вторым моим позором в глазах отца была моя болезнь, нарушение моего вестибулярного аппарата, то, что называется болезнью Меньера.

У меня — боязнь высоты. На вологодской колокольне — триста ступеней непрерывного ежедневного страха, шатаний. А ведь колокольня — единственное развлечение вологжан, да еще ребят вологодских.

Каждое воскресенье колокольня открывается — такие виды на весь город, и весь город тянется пролезть к железным перилам, весь город, кроме сына отца Тихона, который шарахается от высоты, плачет и бежит вниз.

Все это было расценено как заговор против доброго имени отца — вырастил неженку.

Болезнь Меньера не дала мне побеждать на гимнастическом бревне, прыгать через ручьи, переходить по бревнам лесные рвы, лазить за яблоками, зорить птичьи гнезда, пробегать по одной доске, прыгать на одной ноге, гонять железное колесо по городу. Во всех этих играх я был самый последний. Ничего, кроме многолетних издевок, я не услышал от отца.

Мать тоже не понимала моей болезни и тоже плакала, что я не хочу зорить гнезда, хотя это истинно мужское занятие для мальчишек и Шаламовского, и Воробьевского рода¹³.

Но и нераспознанный Меньер не был концом моих детских страданий.

У меня — своеобразное устройство глаз: правый близорукий, а левый дальнозоркий — редчайшее сочетание, которое без очков позволяет и читать, и глядеть вдаль. У меня нет очков и сейчас. Эту мою особенность открыл мне доктор Страхов — бывший главный врач Алексеевской больницы, тогда мне было уже 27 лет, и я явился к нему за советом.

Страхов проверил, лучше ли я вижу обоими глазами, чем одним, при добавлении на другой глаз усиления или уменьшения, убедился, что зрение мое при любом добавлении стекол остается тем же самым, и предсказал мне всю мою редчайшую глазную судьбу.

Это пророчество — на сей раз научное пророчество — исполнилось самым абсолютным образом. Я до сих пор, до 65 лет, читаю без очков и хожу без очков, не обращаюсь к глазным врачам.

Но у Страхова я побывал после смерти отца. А все мое детство я прожил под градом оскорблений.

— Не хочет стрелять! Врешь, что не видишь мушки! Ведь ты читаешь? Как же ты можешь не видеть мушки?

Мое нежелание убивать, стрелять, охотиться, резать кроликов и кур, закалывать кабана — тоже привело к тяжелому конфликту. Пока я категорически отказывался от охотничьего ружья, богатый семейный арсенал был продан — к позору отца, и сын уехал в Москву.

Вот к какому тяжелому, многолетнему конфликту привела медицинская неграмотность и самоуверенность отца.

То, что я прекрасно плаваю, управляю лодкой — без всякого обучения и показывания, — тоже казалось отцу вредным ударом по его авторитету, — значит, можешь, не инвалид.

Не выдержав экзаменов в королевскую гвардию — охотничью дружину, отказавшись от рыболовства, я был передвинут в ряды домашней обслуги — ухаживать за скотом.

Тут я нашел себе применение, нашел себя — но скоро выяснилось, что я не переношу смерти коз, кроликов, и сам не хочу, не могу убивать.

По книгам выбирались козы. Книга князя Урусова «Коза — корова бедняка» всегда лежала на его письменном столе вместе с трепником и была надежным пособием в отцовских экспериментах.

Охота, рыбная ловля, кролики, куры, огород,— все это было и до революции, все это отец держал из чистого любительства. В революцию это чистое любительство вдруг обернулось и вполне реальной пользой, хотя и не такой значительной, как хотел представить отец. А когда он ослеп, уход за козами в течение нескольких лет дал ему отвлечение, сознание какой-то пользы, которую он утверждал с всегдашней своей самоуверенностью. Мать не спорила с ним. Ведь именно матери нужно было и покупать коз, и варить им корм, заготавливать сено на зиму. Кроме своей еды — должна была заготавливаться еда козам. Все это ведь каждодневно...

Куроводство у нас тоже велось по книгам. Покупались необходимые проспекты. Отец писал заказ в магазин, выписывались семена каких-то трав, огурцов, необыкновенного редиса.

У нас никогда не выписывали семян цветов, и даже на куст сирени, расцветшей в общем огороде, отец смотрел подозрительно. На своем участке он выращивал помидоры. Отец провел свою семью мимо цветов.

На сей предмет читались, впрочем, и лекции — как хорошо собирать полевые цветы,— и все братья, все сестры, особенно брат Сергей, привозили матери охапки полевых васильков, кувшинок, лилий из своих охотничьих поездок. Но никто никогда не привозил в наш дом цветов оранжевых.

Не было у нас ни фикусов, ни герани. Помню какой-то олеандр в бочке — единственное оранжевое растение, которое пыталось прижиться в нашей квартире, но из-за невнимания к поливке как-то этот олеандр не нашел себе места в моей памяти.

Никаких цветочных горшков не было на окнах нашей квартиры. За окном при входе на наше крыльцо цвел вологодский боярышник, а не сирень.

Странной и страстной, постоянной мечтой отца было участие во всяких сельскохозяйственных выставках, особенно со своими экспонатами — тыквой или парой кроликов.

Отец — один из организаторов в Вологде сельскохозяйственных выставочных дел.

В голодные годы важной культурой стал картофель. Отец высаживал картофель строго по книжке — по самой модной, хоть и советской инструкции,— был ли в этом толк, ответить сейчас не могу.

Гроб сыну — моему брату Сергею — отец хотел выбрать тоже по какому-то кладбищенскому проспекту — но в то время было не до проспектов. Помню, мы вдвоем с отцом везли откуда-то с горы, из-за города, тяжелый сырой деревянный крест — санки разъезжались по грязи, крест был сырым, тяжелым, тот самый Голгофский крест Христа. Санки — обыкновенные вологодские «тормозки» — заносило, и тогда тяжелый крест сам командовал этим движением, сам отдыхал и сам двигался дальше по грязи, по лужам, по льду. Мы — я и отец — только сопровождали, только присутствовали при этом неторопливом движении.

Самой главной личной проблемой отца во время его двенадцатилетней службы в качестве православного миссионера на Алеутских островах было своевременное и разумное полноценное обучение детей.

Я, к счастью, родился после этих педагогических экспериментов отца.

У отца была философия: «каждый пробьется сам», принцип, который он считал пригодным и для гуманитарного апостольства XIX века, и для жестокой конкуренции XX-го, хотя практические рецепты философии Максима Горького явно не годились для послереволюционных лет.

И в этом вопросе отец поступил в полном согласии со своими убеждениями, сводом правил, из которого не было исключений.

Выписал на Алеутские острова заочный курс «Гимназии на дому» — было такое халтурное издание — и со всей страстью убежденного заочника занялся подготовкой и педагогической деятельностью вполне во вкусе яснополянских упражнений Толстого, кое в чем — по тайной гордости отца — и превосходящей затеи графа.

К счастью, рядом с отцом была моя мать — профессиональный педагог, сменившая указку городской учительницы на ломаное алеутское копые, совершившая с отцом заокеанское путешествие. Мать организовала несколько алеутских школ, а своих детей учила сама по школьным программам казенных учебных заведений, ни много ни мало целых двенадцать лет.

Так учились Валерий, и Галя, и Наташа. Только второй сын, Сергей, отставал из-за лени. Отец, получив своеобразный сигнал, взялся за обучение Сергея сам, чтобы показать матери, насколько прогрессивны методы, разработанные лучшими людьми России — цветом русской профессуры — для популярного издания «Гимназия на дому».

В 1905 году отец с семьей вернулся в Вологду, второй мой брат, Валерий, поступил в гимназию — в тот самый класс, куда и надлежало ему поступить, сдал и вступительные, а позднее — и выпускные экзамены.

Так было и с сестрами, Наташей и Галей. Галя даже получила серебряную медаль при окончании Мариинской женской гимназии. Все братья и сестры проходили в Вологде одинаковые испытания, все сдавали вступительные экзамены, соответственно возрасту, и, один за другим переходя из класса в класс, доходили до выпуска. Наташа, младшая сестра, кончила гимназию в 1917 году.

Иначе пошло дело с Сергеем, которого готовил для верности сам отец по прогрессивной «Гимназии на дому».

Сергей был принят, но только в пятый, а не в шестой, как было задумано. В пятом классе брат был оставлен на второй год, а потом — исключен за неуспеваемость.

Этого оскорбления отец никогда не простил хозяевам города. Со своей холерической мнительностью, привыкший все усложнять, менять масштабы явлений, отец не хотел и подумать о самом простом ответе на этот столь важный для него вопрос, перебирая различные варианты подспудного борения высших сил. О том, что Сергей просто не имеет способностей для учения в школе — в том классе, который намечался отцом, а «Гимназия на дому» есть только «Гимназия на дому» — учебник для заочного образования. Не хотел поглубже заглянуть в психологию собственного сына.

А если бы заглянул, увидел бы, что по своим качествам, физическим и моральным, по праву на карьеру, на успех, по беззаветной способности показать личный пример — Сергей для нашего города не менее яркая и не менее характерная фигура, чем отец — того же нравственного ряда, но физического, а не духовного порядка.

Здесь я продолжаю рассказ о педагогических воззрениях отца, с которыми столкнулся и не согласился его третий сын — я.

Было ясно, что я поглощаю и способен проглотить огромное количество книг.

Но книг-то у отца и не оказалось. Кроме справочников по животноводству и профессиональных требников в книжном шкафу отца не было ничего.

И это одно из самых поразительных моих детских открытий.

Книжный шкаф красного дерева, который так выгодно был продан в годы голода, выменян на целый пуд муки, не скрывал за собой никаких книжных сокровищ.

Ни Достоевского, ни Шекспира не было в библиотеке отца. Но был Розанов — «Легенда о великом инквизиторе» — и это все. Кто-то сюда же поставил «Войну и мир», переводы Михайлова, Гейне в переводах Вейнберга, однотомник Жуковского. Но это были все не отцовские книги. Старшие мои братья и сестры удовлетворялись хрестоматией Галахова.

Я помню чей-то разговор, чей-то вопрос по этому поводу. А может, я этот разговор и вопрос выдумал сам. И отцовский ответ.

«Передовая русская интеллигенция должна удовлетворяться народной библиотекой. Кропоткин и Лавров для этого и жертвовали свои книги и библиотеки, чтобы каждый мог пользоваться. Мой сын может пользоваться».

К счастью, мне удалось получить разрешение на получение книг в новой «Рабочей библиотеке» — образованной из конфискованных помещичьих библиотек. Там я досыта начитался Дюма, Буссенара, Жакоба, капитана Марриэта.

Наиболее ценные книги шли в Публичную библиотеку.

Но и этого было, конечно, мало, хотя я читал дни и ночи напролет. К счастью, у нас никогда не запрещали читать за столом во время обеда и ужина.

Отец читал газеты, журналы. Мне, конечно, сейчас же выписали журнал «Семья и школа», но я давно очень далеко ушел в чтении вперед, и «Семья и школа» могли только льстить тщеславию моего отца.

В это время, кроме быстрого чтения, я открыл в себе еще одну способность, о которой не знали и не подозревали ни отец, ни мать, ни сестры.

Лет примерно восьми с помощью так называемых фантиков — сложенных в конвертики конфетных обложек — легко проигрывал для себя содержание прочитанных мною романов, рассказов, исторических работ, а впоследствии и своих собственных рассказов и романов, которые не дошли до бумаги и не предполагалось, что дойдут. Это оказалось в высшей степени увлекательным занятием в виде литературного пасьянса. Я играл в эти фантики сам с собой несколько лет — тюрьма Бутырская, кажется, остановила эту игру.

Мы жили очень тесно. Мое место было последним, а мир фантиков был моим собственным миром, миром видений, которые я мог создавать в любое время.

Сестры, да и мать думали, что я таким способом зубрю или учу уроки. Но никаких уроков с помощью этих фантиков я не учил. Я увез коробку фантиков в Москву, и только после моего первого ареста сестра, уничтожая всю мою жизнь — все мои архивы, — сожгла и эту драгоценную коробку вместе с моими дневниками и письмами.

Так вот, отключаться в этот мир мне было очень легко, и, в сущности, все читанные мною книги я с помощью фантиков повторил.

Отец уже начинал слепнуть, и то, что я не занимаюсь, читаю только за обедом, раздражало отца. Он пытался иногда вмешаться в этот мир.

— Что ты делаешь?

— Читаю.

Все мы трое — мать, отец и я — сидим очень тесно у керосиновой лампы семилинейной, в ее керосиновых лучах я ловлю буквы, перелистывая толстую книгу.

— Что ты читаешь?

— Книгу.

— Какого автора?

— Понсон дю Террайля.

— Как называется?

— «Похождения Рокамболя».

Отец встает, и мне следует выволочка и длительное объяснение, что чтение таких книг не приведет к добру.

— Мой сын должен читать Канта и Шеллинга, — важно говорит отец, — а не Понсон дю Террайля, не Контан Дойля.

Отец что-то думает и выносит решение в своем энергическом стиле:

— Надо сходить к дяде Коле.

Дядя Коля — старший брат матери, единственный ее родственник, с которым у отца хорошие отношения. Дядя Коля — чиновник Казенной палаты. У него свой дом двухэтажный. Жена его давно умерла, а жена, которая жила с ним без венца, — хозяйка местной типографии, тоже приятельница отца. Она умерла первой, и отец служил панихиду на ее могиле.

Дядя Коля одинок в большом новом двухэтажном доме. Оба этажа — в стеллажах действительно большой библиотеки тысячи на две, а то и на три тысячи названий. Дядя Коля выписывает много журналов самых передовых, ведет дневники — каллиграфическим почерком, сочиняет сатирические стихи, обличающие местное начальство.

Мать показывала мне дяди Колину эпиграмму на очередного губернатора.

Когда подобострастно
льстивые уста
Ему лизали жопу
с чувством наслажденья,
А у него была вся
жопа нечиста,
То это, господа, достойно удивленья.

Эта эпиграмма закончила служебную карьеру дяди. Тогдашний «самиздат» работал достаточно проворно и с хорошей отдачей.

Мать показывала мне несколько дядиных поэм и в более приличном, несколько мечтательном и вполне самокритичном роде.

Хранил от всех их много лет
Затем, что не был я поэт.

Не только любителем литературы, дядя был и квалифицированным судьей тоже.

— Вот Андерсен.

— Это все я читал.

— Ну, лишний раз прочтешь,— миролюбиво сказал отец.

— А Канта?

— Да! Вот стоит у вас «Критика чистого разума».

— Это тебе еще рано,— сказал отец.

— Видите, какие проблемы,— сказал дядя Коля неуверенно.

— Ну, вот что, Николай Александрович,— сказал отец, поднимаясь уходить.— Я зачем к вам— жизнь есть жизнь. Оставьте вашу библиотеку Варламу.

— Охотно,— сказал дядя Коля с улыбкой.— Можешь считать себя наследником моей библиотеки.

Меня покорило от бесцеремонности отца. Но разговор был весь в его стиле.

Случилось так, что Галя— красавица и скромница— скоропалительно вышла замуж вовсе не в ту семью, о которой думал отец,— за сына местного жандармского офицера. Муж ее дослужился до штабс-капитана, был ранен и отсиживался в Вологде.

Молодые искали квартиру, и дядя Коля предложил отцу поселить их у себя. В ту же зиму дядя Коля умер от инсульта, а муж сестры продал все книги букинистам, кроме томов энциклопедий Брокгауза и Граната. У дяди было

несколько словарей, которые сестра и муж сожгли зимой, не заботясь о покупке дров.

Это потрясло отца, и он проклял дочь. Разумеется, тут дело не в продаже букинистам, не в краже, а именно в сожжении, в физическом участии дочери в таком варварском акте.

С этого часа и до самой смерти Галя в Вологду не являлась. И никакие материнские мольбы не могли изменить отцовского решения.

Это был тот самый муж, который выдавал Гале рубль в день на хозяйство в течение нескольких лет, пока она не бросила его и не уехала в Сухум со своим вторым мужем.

Старший сын Валерий был человек, раздавленный отцом,— первое из его многочисленных семейных разочарований. Любитель-художник, вернее, рисовальщик, достигший немалой искусности в выпиливании по дереву по готовым рисункам. Эти рисунки, к позору брата, украшали его стену в братской комнате (проходной).

В юности отец дал ему возможность съездить в Третьяковку, к передвижникам, конечно, ибо другой живописи для отца не существовало.

Визит этот краткий не дал желаемого результата. Вообще отец практиковал своеобразный педагогический прием: любого знакомить с любым искусством—хоть с эстрадой, хоть с цирком, с модерновыми стихами и Четьи-Минеями, с живописью и философией, с животноводством и огородничеством, охотой и плаваньем.

Получив этот первичный толчок, сын, по мысли отца-творца, должен откликнуться и в унисон тому толчку, который дан, зазвучать сам.

Так и меня он водил то в церковь, где служил сам, то на бумажную фабрику, то в синагогу.

То заставлял участвовать в каком-то детском спектакле. Влечения лицедействовать в пять лет я не получил, но впоследствии не один год был связан с литературно-драматическим кружком школы и через этот кружок—с городским театром.

Для первого моего посещения театра отец сам выбрал пьесу—было это в восемнадцатом году. Пьеса и автор были выбраны умело—«Эрнани» Виктора Гюго. Умело выбран был и актер Россов, восьмидесятилетний старец, игравший двадцатилетнего короля Карла.

Впечатление было ошеломляющим. С театральным правом на возраст я соглашаюсь всю жизнь.

Следующий спектакль, на который мне были куплены

билеты, были «Разбойники» Шиллера, где Россов играл Франца.

А затем последовало бесконечное количество показанных в Вологде в те годы спектаклей.

В Вологодском театре я даже жалованье получал, как статист, один какой-то сезон в бумажных миллионах. Театр полюбил, но актером не стал.

Тогда была мода на диспуты, на обсуждение репертуара.

Борис Глаголин там ставил и играл ряд сезонов. Кончался спектакль, Глаголин выходил на сцену, не разгримировываясь, и начиналось обсуждение спектакля.

Актера из меня не получилось, даже для школьной драмы. Но любовь к театру я сохранил.

Театральные кружковые дела давали мне официальную возможность поздно приходить домой. Матери было запрещено спрашивать что-либо о проведенной ночи. И мать обычно говорила, отпирая дверь и зажигая лампу: «На шестке там стоит суп — ешь».

Этой вольной жизнью пользовался не только я — десятилетний мальчик, но и мои старшие братья и сестры.

За чтением детей следили, но по каким-то старым, давно установленным правилам, которые никто из старших детей и не думал нарушать и которые внезапно выплыли в самом моем раннем детстве.

Так выяснилось, что мне можно читать — кроме школьного чтения — Уэллса, Майн Рида, Жюль Верна, Густава Эмара, Киплинга «Маугли», Виктора Гюго. Стендаля, Анатоля Франса я прочел много позже.

В индексах запрещенной литературы числились почему-то Александр Дюма, Жаколио, Луи Буссенар, капитан Марриэт и особенно Конан Дойль. Почему такая жесткая дискриминация постигла Александра Дюма с Конан Дойлем — я не знаю.

Александра Дюма я ввел в наш дом всем девяностопяти томным изданием сразу — из новой библиотеки, составленной из конфискованных книг помещичьих усадеб. Штампов я уже не помню. Штампы были, их не вырезали, а просто ставили новый: «Рабочая библиотека г. Вологды». Все эти тома, их было очень много, были переплетены в веселенькие ситцевые переплеты.

А с Конан Дойлем случилась такая поучительная история. Я как-то открыл чулан — он был под лестницей — и вытащил из-под пыльного хлама бумажный, выгоревший на

солнце полуистлевший клад. Это были приключения Шерлока Холмса, неразрезанной пачкой, хранящей следы веревки. Я понял, что это приложение к сойкинскому журналу «Природа и люди», который выписывали моему старшему брату несколько лет.

Отец отобрал приложения и запер в чулан, судя по истлевшей бумаге, несколько лет назад.

Я, конечно, прочел это чудное чтиво. А потом уж из библиотеки достал и другие романы Конан Дойля вроде «Затерянного мира», «Похождений бригадира Жерара».

Конечно, чтение и знание — разные вещи. Но ни на какое земное счастье не променяю ощущения жажды чтения, которое нельзя насытить никаким количеством книг, страниц и слов, это сладостное чувство еще не прочтенной хорошей книги. Я глубоко понимаю людей, которые не хотят слушать даже беглого изложения сюжета принесенной, врученной, но еще не прочитанной книги.

Сам я прочел бесчисленное количество книг в любом порядке и давно. Научился разбираться — интересная книга или нет. Я не считаю свой метод познания мира идеальным, но даже в университете не научился отделять полезное от чтения вообще.

Уэллс, Жюль Верн, Майн Рид, Фенимор Купер — суховатое чтиво, вовсе недостаточное, чтобы залить просыпающуюся жажду чтения. Все эти авторы и в подметки не годятся Александру Дюма — романисту, и Киплингу, Джеку Лондону.

Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Достоевский — все это школьное чтение, и на него нет эмбарго.

Катастрофа, которую потерпел отец в обучении своего сына Сергея, исключенного из гимназии за неуспеваемость, действовала на отца самым угнетающим образом.

Третьего сына — меня — отец готовить в школу не стал и бросил мое обучение на руки матери.

Мать, вместе со своими обязанностями кухарки, поварихи и скотницы, стала меня готовить к школе. Никаких игрушек. Только кубики с буквами.

Быстро выяснилось, что у меня хорошие способности и что меня могут принять раньше на год — то есть семи лет.

Отец при известии о таком успехе приободрился и велел обучать меня по самой лучшей, самой модной, самой прогрессивной, самой современной «Новой азбуке» Льва Толстого.

Выяснилось, что педагогические способности графа ко мне нельзя применить, ибо мне не нужна «Новая азбука»... я читаю с трех лет и пишу печатными буквами с этого же возраста, без помощи прогрессивной азбуки. На учебнике «Новая азбука» я написал несколько слов и цифр печатными буквами, мать обвела их чернилами и строгой своей учительской профессиональной рукой написала дату. Эта «Новая азбука» долго хранилась у матери и сожжена лишь во вторую мировую войну — в моем архиве.

Ознакомившись с результатами моего соревнования с Львом Толстым, отец решил подать мои бумаги в Вологодскую гимназию — ту самую, где учились мои братья и где Сергей потерпел столь тяжелый крах всего несколько лет назад.

В Вологде два средних учебных заведения для мальчиков — гимназия и реальное училище. Реальное училище было обеспечено педагогами лучшими — да и время тянуло в сторону техники, науки, — словом, более современным было бы учиться мне именно в реальном училище. Но окончание гимназии давало право поступления без экзамена в университет, что дальновидный отец имел в виду, во избежание каких-нибудь конфузов.

Через десять лет я мог поступить на медицинский факультет — никакого другого образования отец не представлял для своего сына, идущего по светской части.

В реальном училище я был бы, конечно, избавлен от произвола гимназических учителей и отцов города, командующих в гимназии Александра Благословенного, — выгода немалая для мнительного отца.

Реальное же училище не давало таких прав, как гимназия, — там давали знания, а не права. Но все это было отклонено отцом, ибо никакой другой карьеры, кроме карьеры врача, он не представлял.

Словом, обдумав все «за» и «против», в которых немалое значение имели мои личные способности, расчет доказать всему свету и произвол русский, и талантливость нашего рода, которую опровергали черносотенцы, отец лично за руку отвел меня в гимназию — подавать документы.

В вестибюле, прохладном и полутемном, люстры не зажигались, отец подвел меня к мраморной доске, где были высечены золотыми буквами фамилии первых учеников, окончивших мужскую Вологодскую гимназию имени Александра Благословенного с года ее открытия и по 1913 год.

— Вот здесь, — протянул руку отец, — в таком-то году, — отец подсчитал в уме чуть-чуть нетвердо, — должна быть высечена твоя фамилия.

— Хорошо, папа, — сказал я покорно.

Осенью 1914 года я начал там учиться. Из подготовительного класса я перешел в первый — с лучшими отметками по всем предметам.

В течение всей жизни своей я никогда не учил уроков — с первого до последнего класса, все запоминалось в школе. Немудрено, что я всегда был плохой педагог, никогда не умел толком объяснить другому решение задачи, хотя бросался помогать другим много раз.

Все задания на дом я делал в первый же час по приходе домой, часто еще до обеда, пока мать разогреет суп — с тем чтобы ничего не оставалось не только на завтра, не только на сегодняшней вечер, но и на следующий час после прихода домой.

Не знаю, сам ли я научился такому способу занятий или мама подсказала, только я этим способом учусь всю жизнь.

Во время революции целый ряд лет ученикам вовсе не давали «домашних заданий» — принципы и практика Дальтонова плана¹⁴ устраивали меня вполне.

Вскоре я обнаружил, что обладаю даром, который в нынешней науке называется быстрым чтением.

Тяжело мне досталось в семье мое быстрое чтение.

В мое зрение попадают двадцать—тридцать строк сразу, и так я читаю все книги всю жизнь.

Способность эта обнаружена мной в самом себе еще до школы за нашим общим чайным или обеденным столом. Читать у нас за столом не запрещалось, так сказать, юридически, и пока отец справлялся с «Русскими ведомостями», я обычно успевал пролистать полромана, а то и целый очередной роман. Уэллс, Жюль Верн, Майн Рид, Фенимор Купер входили в индексы дозволенных к чтению книг.

— Ты не читаешь ведь, а проглядываешь.

— Нет, читаю...

Школьные дневники мои были в пятерках, но отец не верил никому, кроме себя. Постоянное мое чтение за столом не нравилось отцу — хотя всегда декларировалось в нашей семье весьма часто. Отец решил лично и публично разоблачить вундеркинда, открыть его тайну, изобличить и разоблачить.

Великий вечер настал. Для эффективного сокрушения восьмилетнего грешника была собрана вся семья, и отец

приступил к публичному допросу, то глядя на свои золотые часы, то опять убирая в карман свой американский «полухронометр», как нам объяснялось всегда, когда нам удавалось дотронуться до этого священного отцовского предмета.

В нашей семье не вертели спиритических блюдецек — занятие, которым увлекалась вся интеллигентная Вологда. В нашей семье не играли в лото — любимое препровождение времени чиновничьими вечерами, кроме преферанса.

Но карты были запрещены отцом и даже для пасьянса, для гостей береглась одна колода, но она никогда не вскрывалась, и мать не раскладывала пасьянсов.

Поэтому я не знаю, есть ли у меня флюиды в пальцах — и что нужно кричать, вытаскивая из мешка бочонок с цифрой «90».

Не умею я прикупить втемную, как, впрочем, и светлую.

Все это я считаю лишним — как музыку, как живопись — способности мои не сумели развиться.

И если в живописи я имею какие-то любительские, но все же устойчивые вкусы, то к музыке и подступиться не решался. Учитель пения Александров захлопнул эту дверь.

Можно было бы ведь что-то слушать на музыкальных вечерах — ходить на концерты и вести себя в этом зыбком море.

Способностей музыканта у меня не было. Но вот мать предьявляла какие-то мои новые качества, не менее тонкие, как какие-нибудь «до-диез», и не менее необъяснимые.

Отец был преисполнен решимости разоблачить зазнавшегося медиума, зарвавшегося спирита, свившего гнездо в собственной его семье, положить конец шалостям новоявленного гения, дать публичное представление на манер спиритического сеанса, где восьмилетний медиум — отец не любил спиритизма, которым увлекалась вся Вологда тогда, — под твердой научной рукой будет разоблачен.

Горела керосиновая лампа с резервуаром в форме капустного кочана. В темноте вздыхали сестры, Наташа и Галя, — и где-то вглуби, почти растворившаяся во тьме, стояла мать, вышедшая из кухни.

Мы сидели друг против друга. Венские стулья потрескивали, у отца — почаще, у меня — пореже.

Цирковое представление не обещало быть долгим — об этом можно было судить по нервным пальцам отца, перебиравшим стопку книг на этажерке.

— Ну,— сказал отец громко и раздельно.— Возьмем что-нибудь такое, чтобы сразу стало ясно. Вот — «Строитель Сольнес» Ибсена — это ты читал?

В руках отца была тоненькая книжка «Универсальной библиотеки» в издании Сытина.

— Читал,— сказал я.— Еще в прошлом году.

— Расскажи содержание.

Я напрягся, и губы сами собой начали выговаривать фразы тем способом, который внесли в мою жизнь «фантики».

— В норвежские горы приезжает архитектор, чтобы построить храм Богу.— Голос мой креп с каждой фразой, и я уверенно пересказал «Строителя Сольнеса». Я ничего не забывал, а тем более читанное год назад.

— Да, вроде правильно,— сказал отец, поигрывая часами и что-то соображая. Не то он сам не мог вспомнить содержание ибсеновской пьесы, не то, наоборот, с удовольствием вспоминая.

— Правильно! — вздохнули сестры в темноте.

— Правильно! — показала на свет мать.

Но спектакль еще не был окончен.

— Но ведь ты рассказываешь сюжет? — озаренный какой-то новой педагогической идеей, спросил отец.

— Сюжет,— подтвердил я.

— Сюжет,— торжествующедохнули сестры.

— Сюжет,— подтвердила мать, растворясь во тьме.

— Тонкостей не улавливаешь? — строго спросил отец.

— Тонкостей не улавливаю,— покорно согласился я.

— Он не улавливает тонкостей,— задышали сестры.

— Не улавливает,—дохнула из кухни мать.

— Так зачем же такое чтение? — отец уже уселся на своего любимого коня.— Зачем же такое пустое чтение? Прочтя художественное произведение, человек должен уметь увидеть характеры героев, увязать их с эпохой, со средой, а не тратить время на это бесполезно, прямо-таки вредно. Ты понимаешь, если чтение бесполезно, то оно тем самым и вредно?

— Понимаю,— сказал я.

— Вот видишь, понимаешь. А сам читаешь этого капитана Марриэста. Где ты берешь этого капитана Марриэста?

Я сказал, что беру у одного из школьных товарищей, Воропанова.

— Надо записаться в школьную библиотеку, или даже в городскую библиотеку. И там читать. Эти библиотеки создавали лучшие люди России. И сами лучшие люди России в свои школьные годы читали в таких библиотеках.

— Там мало дают,— искренне сказал я.

— Как мало дают?

— Две книги в неделю. Третью я успеваю прочесть, пока в очереди стою.

— Это совсем не мало. Над вопросом, сколько давать книг читать, думали лучшие люди России — Рубакин, Владиславлев. Норма эта — результат глубокого изучения вопроса, а не высосана из пальца, не взята с потолка. Ты должен читать в той же библиотеке, где читает вся русская интеллигенция, а не пользоваться какой-то контрабандой вроде капитана Марриэта. Я завтра же скажу директору Публичной библиотеки, и он даст распоряжение, чтобы тебе давали три книги в неделю. Библиотечные книги, кстати, нельзя будет читать за чаем, это отучит тебя загибать страницы, что ты допускаешь в отношении капитана Марриэта.

Залить эту жажду чтения не удалось. По совету кого-то меня отвели к вологодскому ссыльному, содержавшему библиотеку. Визит этот и его последствия описаны мной в рассказе «Ворнегофер».

Мычанье, шепот искали выхода и слова. Никакие «Ай-ду-ду» не могли заменить того, что существовало помимо меня, жило помимо меня, хотя и во мне. Владея грамотой с трех лет, я к пяти годам научился пересказывать своими словами то, что я прочел в книжке. Но это были не сказки, не детские «Ай-ду-ду», а странным образом прозаические пересказы для старших классов мужской гимназии. Я подобрал хрестоматийного Знойко, попавшегося мне в учебниках брата Валерия. Вот из этой-то хрестоматии я почерпнул свои импровизации, которыми развлекал сестер, тревожил мать.

Мне было предложено показать случившееся со мной высшему арбитру — отцу, и отец выслушал не без интереса Плутарха и Овидия Назона из уст своего собственного сына.

Никакого решения по этому вопросу в семье принято не было, но с этого времени меня каждый вечер заставляли являться пред светлые очи отца, который сидел с гостем или в зале, если гость был дальним, либо в комнате

сестер, если гости были близкими — родственниками, хорошими знакомыми, соратниками отца по его кооперативным сражениям, и меня заставляли без подготовки рассказывать миф Назона либо биографии из Плутарха. Сначала я делал это охотно, но мне это осточертело, такая профанация того таинственного дара, который стучал в моем сердце. Как я ни старался варьировать какой-нибудь миф о Ниобее и биографию Цезаря, мне было тесно в границах прочтенного, и отец легко обнаружил, что я не всегда барабаню одинаково, а пытаюсь, как он выражался, «подвирать». Это подвирание нарушало какой-то его тайный идеологический принцип, и вскоре меня не стали вызывать для рассказа о мифах.

Разумеется, хотя речь шла об адаптированной для средней российской школы хрестоматии без «Метаморфоз» Овидия и страстных биографий Светония — где все было целомудренно по-вегетариански, все же гости ожидали от способного мальчика, что он шагнет за страницы учебника Знойко и угостит слушателей настоящим Овидием, поэтом науки страсти нежной, или воскресит Агриппину, задушившую мужа, чтобы сделать императором сына.

Но я не уходил далее Знойко, не было у меня и сведений об этом.

Плутарха, конечно, нужно читать в юности, в детстве. Это книга вроде Библии. Но не в адаптации для школьников. Поэтому Плутарх не мог оказать на меня влияния ни вредного, ни полезного — просто потому, что это был не Плутарх...

Когда я поступил в Вологодскую гимназию в подготовительный класс в 1914 году — и переходил далее в первый, второй — революция застала меня в третьем классе гимназии, — я был предупрежден отцом и мамой, чтобы я не огорчался, если буду получать плохие оценки, хотя буду заниматься хорошо. Не плакал, словом, не обижался, — на это есть высшие причины.

Однако никаких высших причин не оказалось, я окончил и подготовительный, и первый, и второй классы первым учеником. Родители внимательно рассматривали все мои пятерки — в дневнике, а также в свидетельстве об окончании четверти, полугодия всегда были пятерки.

— Меня бояться! — комментировал презрительно отец.

Стихи отцом презирались. Вот газетные заметки или статьи — другое дело — это патент на признание, а уж ра-

бота в редакции журнала — я заведовал в тридцатых годах двухнедельным журнальчиком в Москве¹⁵ еще при жизни отца — такая деятельность вызывала в нем одобрение и уважение, хотя что может быть менее солидно. Отец не мог оценить и художественную прозу.

Я читал его очерки (мать показывала) о Кадыжке в церковном журнале, читал воспоминания о вологодских епископах, напечатанные в церковной прозе двадцатых годов.

У отца не было литературного таланта, американскими очерками он очень гордился, гордилась и мать.

Гимназическое учение начиналось с подготовительного класса, который считается теперь первым. В подготовительный класс принимали с восьми лет, но делалось и исключение. Я сел за гимназическую парту этой гимназии осенью 1914 года. Все экзамены, опросы шли в высшей степени благополучно для тщеславия отца, за исключением урока пения.

Пение преподавал городской капельмейстер по фамилии Александров, по кличке «Козел», чьи белые перчатки я часто видел мелькающими почти в цирковом темпе у городского военного оркестра, духового оркестра, хлещущего летний вологодский воздух резкими звуками, как бы пощечинами по вологодской тишине.

Малышом, затерянным в толпе, я часто вглядывался в неподвижное маскообразное лицо капельмейстера и удивлялся, как по взмаху именно его палочки то бушует, то смирятся оркестр. Как можно при таком неподвижном лице указать какие-то аллегро и престо, сразуходящие до глубины души слушателей, ибо оборванные небрежной рукой в белой перчатке туши, гимны сейчас же вызывали движение, возгласы толпы. Ни одного лица оркестрантов я не видел. Лица были закрыты геликонами, корнет-а-пистонами, и что за тайна скрывается там, я еще не знал. Но лицо капельмейстера я видел ясно, вглядывался в его черты напряженно, хорошо запомнил его маскообразность, равнодушие.

И вот сейчас этот изученный мной на всех городских парадах человек подходит ко мне, но не с геликоном, не с флейтой-дубинкой, чтоб оглушить, навсегда лишит слуха мои бедные уши, а со скрипкой, чтоб тончайшим ликованьем, движеньем смычка извлечь сокровенную суть детской души. И звенит струна, поет, пищит струна учителя над самым ухом.

— Ну! Тяни за мной! А-а-а...

Я протянул, подчинившись этой все сметающей воле, погрузившей меня в невидимый, неслыханный дотоле мир.

Учитель пения поглядел на меня с интересом, и тщеславное мое сердце уже забило ожиданием очередной победы, ибо и арифметика, и русский язык — все это уже были проверенные рубежи.

Все в классе остановилось, замерло.

— Ну, потяни еще раз.

Я потянул еще раз.

Учитель сказал:

— Слух у тебя, Шаламов, как бревно.— И перевел внимание своей скрипки на следующего ученика.

Я расплакался нервными истерическими слезами, ничего не понимая. На перемене парту мою окружили товарищи.

— Дурак,— кричали они.— У тебя же нет слуха.

— Нет слуха,— в отчаянии ревел я.

— Так что же ты реवेशь, дубина? Тебе не надо будет ходить на спевки.

Но я был неутешен, обижен этой неожиданной дискриминацией.

Отчет мой дома был выслушан не то что недоброжелательно (с отцом всякое бывало), а просто.

— Нет так нет...

Отец, вероятно, не имел бы ничего против, если бы я пел в каком-нибудь детском хоре — но законами физики отец командовать не мог, и семья примирилась с этой моей утерей.

А утеря была очень большая. Я так и вырос без музыки, представляя уже взрослым музыку мира по Блоку — как некий шум времени. Но шум этот вовсе не был музыкальным. Ритмы, которые слышал Блок, скорее уж относились к конкретной музыке, а к ограниченности гамм никакого отношения не имели.

Между тем малыш так тосковал именно по ритму, что задумал быть даже певцом — не художником, не скульптором, а певцом, и именно эта тяга к музыке и свела мальчика со стихами.

Капельмейстер «Козел» — Александров — появляется в моей жизни еще дважды. Не пройдет и пяти лет, как в послереволюционной школе я буду раздавать посылки «Ара»¹⁶ и делить школьный хлеб — всем школьникам в тот год давали, кроме четверки — четверти фунта по общей карточке, — еще и восьмушку в школе. Прямо приво-

зила черная теплая буханка ржаного хлеба, лишкого, грязного, и делилась — всегда мной в нашем классе.

После резки и раздачи обычно я вытряхивал мешковину, на которой резали хлеб, кому-то в руки. Но на этот раз не сумел сделать этого последнего движения.

Из темноты класса, откуда-то из коридора приблизилась фигура, в которой я с трудом узнал нашего учителя пения из первого класса гимназии, нашего городского капельмейстера Александрова. Он был, разумеется, в штатском, в каком-то кургузом пальто не по росту. Пение у нас давно, разумеется, не преподавалось, как буржуазная наука, и не было жертв — дискриминированных только потому, что у них музыкального слуха нет.

Я с трудом узнал капельмейстера.

— Разрешите мне, — сказал Александров приглушенно, — собрать эти крошки хлеба. У меня — курочки, курочки есть просят.

— Собирайте, — разрешил я. И Александров умелым движением повернул мешковину и вывел все хлебные крошки себе на ладонь. С ладони он пересыпал крошки в какую-то торбочку, мешочек, но торбочка была невелика.

Я спрятал мешковину, нож и пошел домой. Выбираясь из коридора школы, я увидел Александрова, вытряхивавшего себе в рот крошки.

Третий раз судьба свела нас еще через два года.

Начался нэп, и в родной город к отцу явилась его родная дочь. Ни более ни менее как балетная артистка. И не просто балетная артистка, а сама Мария д'Арто — таков был псевдоним этой популярной, прогрессивной, вошедшей в историю русского балета артистки, подруги Веры Комиссаржевской. Мария д'Арто провела в Вологде несколько концертов, но сразу было видно, что балерина отяжелела, что ей не поспеть за бойкой чечеткой местной «Синей блузы». И Мария д'Арто покинула Вологду.

Александров, ее старик отец, посещал, разумеется, все концерты своей любимицы, да еще артистки такой прогрессивной славы. Александров, одетый в лучший костюм, чуть припахивающий нафталином, сидел в первом ряду, ловя каждое слово, каждое движение знаменитости.

Следующим важным рубежом на моем пути к музам был урок рисования. Рисование началось не с начала года, как пение, и я был уже предупрежден дома, что я — не Рембрандт и не Репин, спросу с меня в школе будет немного, как и интереса к моим многочисленным рисункам — зверькам, человечкам, домам, — похожим больше на ико-

ны в церкви, чем на произведения настоящего художника, обладающего знанием перспективы. Однако я должен очень внимательно вести себя на уроках рисования — ибо учитель Трапицын, преподававший две науки — чистописание и рисование, — родной брат нашего архиерея Александра Трапицына и даже живет в архиерейском доме — в соседстве с нами.

Рыжий, пухлый господин Трапицын, по-видимому, и от своего брата получил указание, как действовать с дерзкими школьниками, потому что никакого интереса моя личность в нем не вызывала. Я срисовывал какие-то кубы, цилиндры, сдавал контрольные работы, получал оценки — пятерки, не ниже четверок, ибо главное тут оценивалось — внимание, добросовестность выполнения задания — и все.

С революцией Трапицын исчез из нашего города, из нашей гимназии, из нашего класса, из моей жизни — навсегда.

Уроки рисования не были для меня ни скучными, ни веселыми, не хуже и не лучше математики и русского языка. И пятерки за них я получал так же, точно таким же способом, как и за решение арифметических задач. Но первого и единственного урока пения я не забыл никогда.

После архиерейского брата, носившего фамилию Трапицына, а не Тряпицына, как легко запоминалось, перебирая в уме звуковую основу фамилии — первые уроки геометрии мы уже получили, — я подумал, что наш учитель рисования — не от «тряпки», что было бы слишком для архиерейского брата, а от трапеции. Трапицын от трапеции. В этом нечто благородное, достойное. Но исчез с революцией Трапицын, и я перестал думать о правильном произнесении его фамилии; тем более что имя у учителя рисования было вполне подходящее — «Аполлон», Аполлон Александрович!

Я уже забыл думать о своем живописном образовании, продолжал рисовать свои домики, как вдруг году в восемнадцатом, что ли, было объявлено, что наш класс примет новый учитель рисования Александр Николаевич Россет — прямой родственник фрейлины Смирновой, приятельницы Пушкина и Гоголя, калужской губернаторши.

Но о калужской губернаторше мы еще ничего тогда не знали и встретили нового учителя со страстным интересом. Казалось, что именно он написал «Евгения Онегина» и «Пиковую даму».

Россет нас не разочаровал. Одетый в черный отутюженный костюм, в сверкающей белизной накрахмаленной рубашке, с платочком, сложенным каким-то необыкновенным углом,— новый преподаватель был сама учтивость.

Сейчас же все ученики засели за рисунки — поставлен был для всех не то цилиндр, не то куб — белый, на подставке, и каждый на ватмане или просто белой бумаге попытался уловить душу этого белого куба.

Все еще рассчитывая, что пламя Микеланджело наверняка горит в моей душе, я, не жалея времени, изображал белый куб со всей строгостью того небольшого реалистического багажа, который был внесен в мою душу Аполлоном Трапицыным, а также и всем уровнем и вкусом тогдашнего русского искусства.

Все мои тридцать соседей сделали то же самое.

Россет собрал рисунки и сел за учительский стол.

— Ну,— сказал он, смешивая и перекладывая наши листочки, тасуя вверх-вниз, как колоду карт,— художников среди вас — нет. И я не ставлю задачу сделать из вас художников. Художниками надо родиться. А вот графически грамотными людьми можно стать, и этому я вас выучу.

К сожалению, Россет исчез из Вологды после первого же урока. Но еще долго мне чудился в классе запах его отличных духов, его крахмальная сорочка.

Живописную культуру мне пришлось уже пройти попозже — в музее Западной живописи на Кропоткинской, на выставках тогдашних — их было немало. Третьяковка меня угнетала с первых дней. В живопись передвижников я никогда не верил.

Врубель? Но про деятельность Стасова с Горьким против Врубеля на Нижегородской выставке¹⁷ мне, к сожалению, не было известно. Врубеля в моей жизни было очень мало, и я очень медленно ощутил и принял его силу.

Рисунки мои, тетрадочки и показать было некому. Проклятый куб закрывал дорогу моим домикам, медведям и лисам в моем саду.

После приговора Россета надежды отца на мою живописную одаренность, которую, по его мнению, мог скрыть архиерейский брат Трапицын, умышленно мстя отцу,— развеялись в дым...

Участие в драмкружке давало возможность не бывать дома вечерами на законном основании, без всяких доводов, докладов и разрешений.

Деятельность этого кружка описана мною в очерке «Некрасовский вечер в клубе «Красная Звезда».

К тому же у нас был кружок литературно-драматический, и я именно литературной силой-то и был — издавал рукописный журнал, делал доклады о поэтах, читал стихи на вечерах.

В двадцать первом году доползла до Вологды книга — один экземпляр на целый город — однотомник Некрасова под редакцией Корнея Чуковского с ГИЗовской маркой. Книга была отпечатана очень бледно — смутный текст на плохой оберточной бумаге — но это был новый, невиданный некрасовский текст стихов и поэм, заученных нами ранее в ином, в куцем варианте.

Прибытие книги вызвало энтузиазм в городе, и в нашем школьном литературно-драматическом кружке было решено кое-чем дополнить программу вечера памяти Некрасова, чье столетие со дня рождения отмечалось в нынешнем году. Мы уже давно готовили «Мороз — Красный нос», «Железную дорогу», «Размышления у парадного подъезда», и наш руководитель давно уже вел борьбу с потоком шипящих «Рыцаря на час». Все это было выбрано и заучено еще нашими старшими братьями и старшими сестрами. Дорога для нас была давно проторена.

Но теперь был новый текст. Стихотворение, посвященное Комиссарову¹⁸, исчезло, а вместо точек в «Княгине Трубецкой» появились слова.

Решили инсценировать разговор с губернатором, который затеяла княгиня в Иркутске. После долгих проб, сцен зависти, ревности и огорчений решили, что губернатором будет Лев Шиловский, пятнадцатилетний сын председателя местной талмуд-торы, врача-психиатра городской психиатрической лечебницы.

Его уверенный басок напоминал отцовское покрикивание на городских психов в сумасшедшем доме — отец работал психиатром в загородной психиатрической лечебнице много лет, там жил и отдыхал.

Губернатор в тогдашнем нашем понимании должен был иметь начальственный басок — да и для наших зрителей только такой губернатор произвел бы впечатление реализма и жизненной правды.

Княгиней Трубецкой была Лида Перова, бывшая гимназистка из Мариинской женской гимназии, сушая школьница женской трудовой школы — в Вологде долго не вводили совместного обучения. Пятнадцатилетняя Лида была единственная старая сотрудница нашего литературно-

го кружка. Главной задачей Лиды было донести до слушателей этот новый, найденный и опубликованный Чуковским некрасовский текст.

Сцена на станции нас не смущала: стол из фойе, две табуретки, коробка есть, чтоб чиркать спичкой и зажечь спектакль. Но княгиня! Меха! Соболя! Правдой был бы реальный тулуп ямщицкий, сибирский — только в такую овчину кутали княгиню в ее долгой морозной скачке. Но нам казалось — тулуп это не то, это не для княгинь. У самой же Лиды дома никаких мехов драгоценных не нашлось.

Выручила учительница немецкого языка Елизавета Николаевна. Она только что вышла замуж и «справила» себе к свадьбе беличью муфту и беличью шапку — да не ушанку, а цилиндром. Елизавета Николаевна, узнав про наши меховые затруднения, дала на время муфту и шапку княгине Трубецкой. Вопрос аппликации для княгини был решен.

А губернатор? Как быть с мундиром губернатора? С любым военным мундиром... Года четыре назад это в Вологде не было проблемой. Но через четыре года после революции? Затруднение казалось непреодолимым. В конце концов кто-то принес адмиральскую двуголку, новенькую, с атласной подкладкой, пахнущей нафталином.

— А вы меня не угробите, ребята?

Ребята не угробили. Потом эта двуголка так и осталась у нас — никто не хотел брать обратно.

Литературный вечер должен был состоять из двух частей. «Княгиня Трубецкая» была вторым, заключительным отделением. А первое было — концертом.

От ликующих, праздно болтающих,
Обагривших руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви.

.....
Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то всё косточки русские...
Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?

Концерт был большой. По два стихотворения никто не читал — в кружке было более ста школьников. Я тоже читал в том концерте стихотворение, но не Некрасова, а Игоря Северянина, из «Поэзоантракта». Стихотворение называлось «Сеятель» и было посвящено и адресовано

Некрасову. В этом стихотворении не было никаких ананасов в шампанском.

А еще учкомом школы я был уполномочен попросить у заведующего школой две керосиновых лампы-«молнии» по 30 «линий», как это тогда называлось, ибо в клубе «Красная Звезда» электрического света не было. Эти две керосиновые лампы со стеклянным резервуаром и высокими ламповыми стеклами были величайшей драгоценностью для заведующего школой, ибо училась наша школа второй ступени, наша ЕТШ № 6, где придется, часто по вечерам, в темноте, и керосиновая лампа была единственным светочем, ведущим нас к высотам знания. Школу гоняли из помещения в помещение — лазареты, госпитали, военные курсы вытесняли нашу школу из одного помещения в другое: без керосиновой лампы в нашем пути нечего было делать. Лампы берегли. Керосин был тоже ценен, но тут не в керосине было дело. Лампы были большие и осветить сцену должны были, по нашему мнению, отлично. Переговоры об этих лампах велись с заведующим школой давно, но Леонид Петрович отказывал наотрез, — все, что у ламп можно было разбить, уже было разбито, — это были последние две лампы, я пошел к заведующему школой последний раз.

— Хорошо, — сказал Леонид Петрович. — Даю, Шаламов, под вашу ответственность личную. И если что-нибудь...

— Я даю вам слово, что ничего не случится. Я буду сам наблюдать.

На том мы и порешили. Почему понадобились эти лампы на сцену: ведь мы уже ставили вечера Пушкина в Доме Революции, Лермонтова — в городском театре, вечер Островского — в бывшей гимназии, но там в дни спектаклей работал свет. А Некрасовский вечер должен был быть в новом, свежесрубленном клубе 6-й армии «Красная Звезда». Электричество туда еще не было проведено. Наш некрасовский спектакль и начинал жизнь этого клуба. Этот дом, этот клуб и сейчас показывают туристам, если городской музей закрыт по случаю выходного дня и туристов возят на автобусе по улицам Вологды глядеть на образцы деревянного зодчества — северную архитектуру в дереве — теплую, живую, в отличие от знаменитого, но мертвого камня южных стран.

У строителей северных храмов, деревянных церквушек был большой перерыв — война, революция, гражданская война. Накопленное уменье мастеров, религиозный пыл

зодчих деревянных храмов нашел выход в яростном возведении клуба «Красная Звезда». Это было первое здание после революции, где методам топора и пилы было что сказать, доказать и показать. Укороченные церкви, превращенные в кинотеатры, в народные дома, мало что говорили прохожим о северном зодчестве, о деревянной архитектуре.

Клуб был выстроен на пустыре, на углу двух улиц к четырехлетию Октябрьской революции. Достраивался клуб в спешке, в фойе валялись балки, не ставшие балками. Еще занавес ходил туго, останавливался, когда хотел, и нарочно поставленные люди раздвигали и задергивали занавес изнутри — дополнительное зрелище сатирическое и лирическое. В клубе пахло еловой смолой, а не табачным дымом.

Программа Некрасовского вечера должна была начинаться с выхода бирючей с ручными трещотками перед закрытым занавесом. Трещотки мы брали в городском театре, где за контрамарки служил статистом один из наших школьников.

Трещотки эти и бирючи остались на Некрасовский вечер от Лермонтовского. При инсценировке «Песни про купца Калашникова» там эти трещотки и бирючи среди всяких «Гой-еси» были весьма к месту.

К месту бирючи были и в Пушкинском спектакле, привлекая внимание к перипетиям сюжета «Бориса Годунова». Было ясно, что и в Некрасовском вечере обойтись без бирючей нельзя.

Оба эти мальчика-бирюча были нашими же школьниками. Они привыкли к трещоткам, и трещотки привыкли к ним. Трещотки иногда заедало, но наши бирючи действовали весьма уверенно. Бирючи выходили на авансцену, в зал давался свет и только после бирючинского пролога выключался. Выключался свет и в Доме Революции — том самом Пушкинском доме, который был сожжен черносотенцами в 1906 году. Выключался в городском театре — крошечном деревянном здании, где в зрительном зале были при партере ложи, бельэтаж и галерка.

В клубе «Красная Звезда» сцена была крошечная, а света совсем не было — только две школьные керосиновые лампы на полу. Слышно было, как тяжело дышит, как переполняется зал. Никто не снимал полушубки — в зале было морозно. Махорочное облако плыло над залом, где сидели вразвалку в левом углу бойкие парни в ярко-синих или ярко-красных галифе, в которых отплясывали они на

всех вологодских вечерах падеспани и падекатры, падепатинеры, матчиши, и вальсы, и краковяки. На этот Некрасовский вечер висела рукописная афиша — «Танцы до утра! Фейерверк!». Танцы эти шли под трехрядку — один из бирючей и был гармонистом.

Долго не налаживался занавес, долго в последний раз устанавливалась очередность участвующих в концерте. Наконец школьник-сценариус — тогда помощники режиссера назывались сценариусами — толкнул бирючей в спину. Пошли. Бирючи выходили с разных сторон занавеса. Пространство до края рамп было так мало, что, отодвинув ногой занавес назад, бирюч зацепился и разбил лампу. Лампа вспыхнула и сейчас же была потушена. В щель занавеса я увидел искаженное от злобы лицо Капранова. У другой лампы стоял караульный, чтобы при первой тревоге погасить свою лампу. Так он и сделал, и бирючи остались в полной темноте. Это были ребята опытные. Зная, что в зале света не будет, по давно заученному счету «раз! два! три!» бирючи запустили трещотки.

Тут же в зале раздался винтовочный выстрел, второй, слова короткой команды. Бирючи наши смолкли. Как-то удалось зажечь оставшуюся лампу и развести занавес.

В зрительном зале была уже построена круговая оборона — почти у всех оказались винтовки, наганы; вперед, замаскированный скамейками, был выкачен пулемет «максим». Пулеметчик уже заложил ленту.

Немногие штатские — в том числе и наш заведующий школой Капранов — были положены на пол, в сторону.

Два красноармейца-латыша пробежали по сцене, под сценой, выскочили во двор, пробежали вокруг дома, вернулись, доложили командиру, и Некрасовский вечер продолжался. Скамейки были расставлены по местам, и заведующий школой с его штатским спутником был усажен на почетное место.

Все номера обоих отделений прошли с огромным успехом, воодушевлением и артистов, и зрителей, которое все росло от стихотворения к стихотворению. Княгиня Трубецкая произвела фурор.

Злосчастный бирюч приблизил пальцы к ладам трехрядки, и падеспани и падекатры зашуршали по новенькому полу. Красноармейцы, шаркая валенками, крутились в бесконечных падеспанях.

Усталый бирюч ждал сигнала на вальс, ведь вальс — последний танец, такова традиция вологодских вечеров,

а вальса все не было. Но прошел и вальс, и толпа высыпалась на ступени клуба — и исчезла в безлунной ночи.

— А где же фейерверк? Фейерверк!

Я вытащил пять военных ракет, пять картонных трубок с военного склада. Это тоже, как губернаторская двууголка, как беличья муфта княгини Трубецкой, было сюрпризом. Я сорвал крышку, обнажил запал. Зеленая парабола взлетела в вологодское небо.

Уже ушедшие домой красноармейцы кинулись к клубу обратно, пулеметчик тащил пулемет, а губвоенком еще не ушел.

— Опять он зеленое пускает, товарищ комиссар!

— Это мы пускаем,— сказал военком. И повернулся ко мне: — Больше не надо фейерверка.

На другой день меня потребовали к заведующему школой. Но что я мог сделать? Да и он — что он мог сделать? Футляр лампе смастерили цинковый вместо стеклянного, но вот стекла лампового не было уже никогда. Консервная банка была для него приспособлена, а когда достали новое ламповое стекло в 30 линий, пришел нэп, а я — кончил школу.

В коридоре у директора ждал меня незнакомый человек.

— Я главный режиссер театра,— сказал он,— и хотел бы с вами поговорить.

— Пожалуйста,— сказал я с облегчением.

— Я был вчера на вашем вечере в клубе «Красная Звезда». Лежал там среди стружек рядом с Леонидом Петровичем. Вы читали там Северянина, да?

— Да, Северянина,— сказал я, все еще не понимая, в чем дело.

— Вы не могли бы прочесть это самое стихотворение сегодня в Доме Революции? Я ставлю там Некрасовский вечер. Вечер кончается апофеозом. Нечто вроде живых картин. Но эти живые картины — мертвы. Их надо оживить. Поставить стихотворную строчку. Вот это самое ваше стихотворение. Так как? Согласны прочесть в конце вечера то, что вы читали вчера?

— Хорошо,— сказал я.— Только...

— Без всяких только. Вы приходите, оба отделения — у нас тоже два отделения, как и у вас,— посмотрите из зала, а после занавеса приходите за кулисы и читайте стихи во время апофеоза... Я махну вам рукой, когда начинать.

В тот же вечер я прошел в театр и поднялся в антракте на сцену. Главный режиссер ждал меня.

— Вот тут и встаньте и лицом к залу прочтете. Здесь холодно, вы шубы не снимайте, а шапку, пожалуй, снимите, в руках ее, что ли, держите.— Главный режиссер удалился, и ко мне сейчас же подступил человек, вышедший из-за кулис.

— А чем кончается ваше стихотворение?

— Как, чем кончается?

— Какая последняя фраза?

Сразу я не мог вспомнить последней фразы и стал читать стихотворение с самого начала.

— Нет, избавьте,— остановил меня новый мой знакомый.— Только последнюю фразу вашего стихотворения.

— Это не мое стихотворение.

— А чье же?

— Игоря Северянина.

— Игоря Северянина? Некрасову? Это — оскорбление. Игорь Северянин — не поэт. Это — футурист. Ну — какая последняя фраза этой бездарности?

— «Слава тебе».

— «Слава тебе!» «Слава тебе», «слава тебе», — энергично повторил мой новый знакомый, — а Виктор Николаевич, режиссер, говорит, что малыш... сочинил... Все обман!

Главный режиссер мчался мне на выручку.

— Это машинист сцены, — объяснил он мне, — ему надо знать, когда закрывать занавес, на какой фразе. Ни Северянин, ни Некрасов его не интересуют.

— «Слава тебе» — вот эта фраза, — сказал я.

В апофеозе участвовали загримированные актеры городского театра, размещенные на сцене по принципу физкультурпаузы в спортивном параде, или так, как размещал фотограф группу своих клиентов, — чтобы все попали в объектив, а на почетном месте оказался самый знатный из клиентов. Самым знатным в том некрасовском апофеозе был сам Некрасов. Некрасовым был загримирован актер Вологодского театра с заношенной до предела театральной фамилией Ленский.

В городе не было второго экземпляра нового издания под редакцией Чуковского, поэтому о «Княгине Трубецкой» не могло быть и речи. В концертной программе жали на «Княгиню Волконскую», на декламацию и мелодекламацию, на лирическое сопрано и меццо-сопрано, на басы и тенора — все это имелось в вологодской труппе. Впрочем, иркутский губернатор участвовал в апофеозе, напялив на лоб двууголку похуже, что была на нашем вечере.

Был дан свет на сцену, и я, держа шапку в руках, не расстегивая ватного пальто, прочел стихи Северянина. Легко побежал занавес, отгородивший искусство от жизни...

Когда я увлекался футболом, да еще в школьной команде играл, отцу это не понравилось. Посмотрев один из календарных матчей городских команд, отец сообщил:

— Смотрел я эту новую игру. Бегаете в поту, в пыли, в грязи. Что за интерес? Пойди к матери и дров наколи! Но отучить меня от футбола отцу не удалось.

Отец верил в личный пример. Всякое отрицание в его душевном строе выглядело как символ веры, немедленно подтвержденный. Отцовский символ веры последовательней и неуклонней самого символа веры из молитвенника, ибо тот, как казалось мне, — литература, а отцовский пример — вот он.

Отцовская проповедь в Обществе трезвости — а этих обществ он открывал немало — была вовсе не пустые слова.

Отец не пил, не курил, и никто из его гостей не пил и не курил в его присутствии. Даже в самые большие праздники, так называемые двенадцатые, даже на Пасху и Рождество, в нашем доме не подавалось никаких алкогольных напитков — ни виноградного вина, ни настоек или наливок, ни пива — ничего, что могло бы скрывать в себе алкоголь.

Это страстное воздержание имело и одну чисто личную причину. Отец отца — мой дед, деревенский священник где-то в усть-сысольской глуши, — был пьяница. Часто ссорился с бабкой. Однажды он напился и дошел пьяный до дома, стучался, но бабка не открывала. И дед мой умер на крыльце собственной избы, замерз¹⁹.

Мне это рассказала мать. Отец не считал нужным в своих действиях с детьми ссылаться на какие-то примеры, из жизни или из книг — все равно. Единственный пример, на который он ссылался, — это была ссылка на лучших людей, но я хорошо знал, что вслед за упоминанием о лучших людях России последуют щипки и толчки.

Хоть ты тысячу раз почетный гость, но если ты хочешь курить, то вылезай из-за стола и иди на кухню или на улицу, если лето. Кухня была мамино царство с более либеральным принципом жизненного устройства.

Исключений не делалось ни для кого.

Естественно, что при таких традициях, да еще трактуемых как символ веры, гостей у нас было очень мало. Даже в большие праздники приходили братья матери, и то ненадолго. Своих родственников в городе у отца не было.

Результат этого догматического воспитания подтвержден личным примером.

Все три брата и две сестры — нас в семье было пятеро — курили все. Я сам курю с восьми лет. Дома, конечно, не курил никто, никогда. Я первый раз закурил на похоронах отца, закурил дома открыто.

Потянулся за пачкой в карман и рефлекторным движением встал, чтобы пойти на кухню. Мать рукой удержала меня на месте.

-- Кури уж здесь.

Я сел и закурил.

После смерти отца стала курить и мама, понемножку, целый год курила, а потом умерла.

Конечно, при таких жестких правилах воспитания любая брань не только изгонялась и осуждалась. Даже за слово «черт» следовал немедленный шлепок, а то и поостроже что-нибудь. Никто из детей, разумеется, и не думал о ругани, любой — это было вытравлено в нашей семье. И сам отец, конечно, никогда не ругался: ни «сволочь», ни «черт» — вообще никаких бранных слов не могло быть в его лексиконе.

Но однажды я случайно услышал, как отец бранится про себя, и этот единственный случай запомнил на всю жизнь.

Я и он в темном сарае поили коз. Козы — животные чрезвычайно дисциплинированные. Перепутать порядок кормления просто невозможно. Та, которой дано не в очередь, принятую в этой группе коз и установленную самими козами, — не возьмет ни за что свою еду. Услышав матерную брань отца, я подумал, что какая-нибудь Тонька или Машка кинулись не в очередь хватать хлебово. Но оказалось, что матерная брань отца относится не к козам, а к Финляндии, которая только что отделилась. По этому воспоминанию я могу рассчитать и месяц — вроде декабря 1917 года...

Ни к живописи, ни к музыке, ни к театру способностей у меня не оказалось, оставались одни стихи, но о стихах отец и думать не хотел.

Я пишу стихи с детства, и это неприятно удивляло отца, не подозревавшего, что настоящая поэзия начинается очень поздно.

Ломая дурную привычку, отец подарил мне к пятилетию, узнав от матери, что я читаю с трех лет, типографским способом изготовленную, тисненную золотыми буквами толстую тетрадку «Дневник Варлаама Шаламова». Вся страсть отца к паблисити была в этом подарке. Отец произнес небольшую речь, общий смысл которой был таков: вот, дескать, тебе дневник — мы будем совершать героические поступки, а ты — их описывать. Но, конечно, в прозе: факты там всякие, делать вклейки.

Словом, ни одной страницы в этом дневнике так и не было записано.

Сестра Галя, заглянувшая в дневник, подивилась моему упорству. С того момента, как сестра заглянула в дневник, он был для меня осквернен.

Я никогда в жизни не вел дневников. Жизнь, правда, сложилась так, что и возможности вести дневник не было. Моим дневником были стихи. Это я отчетливо чувствовал, ибо по поводу этого подарка я сочинил стихи о том, как мне подарили дневник.

В самом этом факте уже был ответ на отцовский вопрос. Но отец этого никогда не почувствовал.

Когда я поступил в гимназию и стал учиться на пятерки, это не удалило меня от стихописания. Одно из стихотворений — военных, разумеется, — было показано отцу, но отец перенес решение в официальную организацию — велел показать преподавателю русского языка Ширяеву.

Я помню и сейчас одну из строф, разумеется, беспощадно слабых:

Вот кавалерия неслась,
В столбах пыли извиваясь.
Невдалеке гром пушек грохотал,
Свистели ядра, в воздухе взрываясь.
И страшный взрыв людей
там убивал.

Я ждал, разумеется, одобрительного приговора, но приговор Ширяева был неодобрительный.

Более всего меня поразил разбор этого стихотворения, сделанный тут же:

— По-русски надо писать:

Вот в столбах пыли извиваясь,
Кавалерия неслась.

В этом роде, отвергая начисто пушкинскую инверсию и даже более элементарные вещи.

Я со страхом увидел и услышал, что наш преподаватель литературы, как и мой отец, вовсе не понимает, не «слышит» стихов.

Отзыв Ширяева — мне было тогда восемь лет, — разумеется, упрочил мнение о моем графоманстве.

Через все мое детство, через все мои вечера проходит крик отца:

- Брось читать!
- Положи книгу!
- Туши свет!

Лампа у нас была одна, но речь тут шла не о лампе, а о свете в его самом высоком значении. По мысли отца, далеко не всякая книга полезна, а беллетристика и стихи определенно вредное чтение.

Мать заботилась о керосине в смысле физического света, отец же разумел свет духовный.

Ссоры отца с архиереями — притча во языцех в городе — все дальше толкали нашу семью в сторону дружбы с политическими ссыльными.

В доме бывали эсеры, меньшевики из ссыльных. Семья Виноградова, где мне разрешили бывать, — как раз семья ссыльного меньшевика, обосновавшегося в Вологде. Алексей Михайлович Виноградов был присяжный поверенный²⁰.

В это время началась первая мировая война. Война изменила положение отца в глазах и светского, и духовного начальства, точно так же, как изменила положение всех ссыльных «оборонцев» от Керенского до Плеханова и Мартова, от Кропоткина до Лопатина, от Савинкова до Николая Морозова.

Во время войны тиран сближается с народом — это свидетельство истории. Не было исключения и в войну 1914 года.

Ораторская энергия отца, которому было тогда всего 46 лет, нашла выход в бешеной прямо-таки военной пропаганде. Отец, конечно, немедленно попросился на фронт, в Действующую армию, на «театр военных действий», как это официально тогда называлось, — но, получив отказ из-за многосемейности, сейчас же послал старшего сына, моего брата Валерия, в офицерское училище, сорвав ему высшее образование, хотя брат никакого патриотизма не обнаруживал.

Неудачу армии Самсонова отец переживал как свой личный позор.

Вступление немцев в Бельгию, Реймс и бомбардировка Роттердама — все это соответствующим образом комментировалось отцом и публично — во время служб, панихид, и дома — за чайным столом. Отец каждый день читал газеты — «Русские ведомости» и «Вологодский листок» — о чем, о чем, а о немецких зверствах наша семья была осведомлена более чем достаточно...

Галоши — великая вещь в русской провинции с ее вековой липкой грязью, глинистой грязью, облизывающей сапоги, распутицей, разрушающей обувь.

В 1956 году в Озерках, после Колымы, после многих лет сухой горной устойчивой почвы, несмотря на всю ее гибельность, я видел, как родители носят детей в школу на руках круглое лето, чавкая резиновыми сапогами, и только в крайнюю жару трещины и провалы поселка превращаются в гигантские впадины, похожие на калифорнийские каньоны, и становятся доступны пешеходу.

Вологда любого, в том числе и семнадцатого года, была такой же опасной, грязной, засасывающей, как и среднерусские тверские Озерки. Жить в городе нельзя было без галош, которые в Вологде почему-то назывались «калоши» и в устной, и в письменной транскрипции, и только в Москве я с трудом отучил себя от вологодского произношения сего важного предмета.

Существовало даже выражение «поповские галоши» — глухие, с пряжками — того самого фасона, что в Москве пятидесятых годов был модой. Потом уже пошли галоши на «молнии».

Все городское священство носило как бы форменные, глубокие теплые галоши на застежке. Но отец не носил поповских галош, он подчеркнуто шлепал по грязи в светских, коротких, блестящих галошах.

В раннем детстве я гляделся в отцовские галоши, как в зеркало. Светлые, блестящие, новенькие отцовские галоши всегда стояли в передней. Разумеется, дети подрастали, им покупались галоши такие же, новые.

Свою же столь стеснительную обувь я ненавидел. Но правила вологодские требовали галош.

Поэтому одно из воспоминаний связано, сцеплено с сияющим ясным днем, солнцем, заливающим все тро-

туары и особенно ярко играющим на двух парах галош — отцовских и моих.

Февральская революция начинается для меня с блеска галош.

Февральская революция встречена была в городе восторженно. В ясное голубое утро началась в Вологде манифестация — так это тогда называлось.

Отец взял меня с собой, твердя: «Ты должен запомнить этот день навсегда», — и вывел меня на городскую улицу. Оба мы, сняв шапки, шли к городской Думе. Туда же со всех сторон города текли ряды людей с красными бантами, снявших шапки, взявшихся за руки. Все пели. Пели разные песни — каждая колонна свою, но главными были: «Смело, товарищи, в ногу», «Отречемся от старого мира», «Вы жертвою пали» и «Вставай, проклятьем заклейменный».

Было слышно и видно, что текст любой песни еще не заучен всеми на память. Песня рвалась и продолжалась снова. В семьях города и городских школах учили эти песни наизусть, переписывая друг у друга слова.

Но уже через несколько дней в Вологду был привезен из Петрограда выпущенный каким-то энергичным издателем целый песенник революционных песен. Песенник на газетной бумаге, в белой обложке, с краткой надписью «Гимн свободы». Там были тексты всех песен революции, вплоть до анархического гимна «Черное знамя», «Вставайте же, братья, под громы ударов...». Открывался сборник «Марсельезой» — «Отречемся от старого мира...».

Был там и «Интернационал», амфитеатровская «Дубинушка» и «Утес Стеньки Разина» Навроцкого заняли свое законное популярное место.

Но во время манифестации пели неуверенно, завидуя тем, кто по счастливой случайности или семейным обстоятельствам знал все слова.

Полиции не было — движением управляла новая молодая вологодская милиция с красными повязками на рукавах.

— Звездани его! — советовал товарищам какой-то милиционер, пользуясь вологодским глаголом.

Поющая толпа плыла к городской Думе, где на балконе стояли люди, которых я не знал, но городу они были известны.

Мы с отцом пошли к нашей гимназии. Около гимназии была толпа, а с фронтона гимназии старшеклассник в гимназической шинели сбивал огромного чугунного

двуглавого орла. Чугунный орел был велик, с размахом крыльев метра полтора. Гимназист никак не мог ломом вывернуть птицу из ее гнезда.

Наконец это удалось, и орел рухнул на землю, плюхнулся и засел в сугробе снега. Мы двинулись дальше, а отец твердил что-то о великой минуте России.

Февральская революция была народной революцией, началом начал и концом концов.

Для России рубеж свержения самодержавия был, может быть, внешне более значительным, более ярким, что ли, чем дальнейшие события.

Именно здесь была провозглашена вера в улучшение общества. Здесь был — верилось — конец многолетних, многостолетних жертв. Именно здесь русское общество было расколото на две половины — черную и красную. И история времени так же — до и после.

Февральская революция была в Вологде праздником, событием чрезвычайным. В русском обществе водораздел сил шел именно по трещине, щели, линии свержения самодержавия. К длинному плечу этого рычага второго рода было приложено множество сил.

Февральская революция была народной революцией, стихийной революцией в самом широком, в самом глубоком смысле этого слова.

Десятки поколений безымянных революционеров умирали на виселицах, в тюрьмах, в ссылке и на каторге — их самоотверженность не могла не сказаться на судьбах страны.

Для того чтобы раскатать эту твердыню, было нужно больше, чем героическое самопожертвование.

Героизм должен быть безымянным. История не сохранила имен тех людей, кто взорвал дачу Столыпина, а ведь чтобы искать такие имена, открыть архивы, нужна революция.

Люди эти, столько раз менявшие фамилии, что нет никаких надежд напасть на их след, как, впрочем, они хотели и сами.

Разве мы подробно знаем о Тетерке? Об Ошаниной? О Климовой? О Клеточникове?²¹

Ошанина и Климова в галерее русских женщин более значительны, чем прославленная Перовская или некрасовские героини.

Февральская революция была точкой приложения абсолютно всех общественных сил, от трибуны Государ-

ственной думы до террористического подполья и до анархических кружков.

И, конечно, в первых рядах жертв, борцов шла русская интеллигенция. В этой борьбе было всякому место: профессору и священнику, кузнецу и паровозному машинисту, крестьянину и аристократу, либеральному министру и колоднику-арестанту. Каждый старался вложить все свои силы. Это было моральным кодексом времени — встречать репрессии царского правительствa с мужеством. Эти репрессии более всего касались партии эсеров, которая неожиданно стала партией миллионов.

Тут нет никакого чуда — эсеры в 1917 году было более миллиона. Февральская революция в значительной степени была сделана руками эсеров, и они получили большинство мандатов в Учредительное собрание.

Я не собираюсь здесь делать никаких подсчетов, хотя этот подсчет уже давно есть.

Для меня речь идет о детских впечатлениях, о юношеском восприятии событий, отраженных в нашей семье.

Отец мой был оборонец самого патриотического толка — как Кропоткин, Лопатин, Савинков, Горький, Сологуб, Бальмонт, Григорий Петров, Александр Введенский, Николай Морозов. Та борьба с царизмом, в которую вступил отец на своем месте, которая привела его в ряды освободительного движения еще при возвращении из Америки и свела с культурным священством — вроде Булгакова и Флоренского, при Временном правительстве оказалась отцу недостаточно левой.

Силу освобождения России отец увидел в эсерах — в Питириме Сорокине²², земляке и любимом герое отца — по теории «живых Будд».

Известна статья Ленина «Ценные признания Питирима Сорокина»²³ и статья, написанная Сорокиным после беседы с Лениным в Бутырской тюрьме. Эта-то беседа и сохранила жизнь Сорокину, арестованному в Великом Устюге ЧК, и дала Ленину возможность написать «Ценные признания Питирима Сорокина».

Питирим Сорокин — будущий гарвардский профессор, президент Всемирного союза социологов, историк культуры, создавший многотомную теорию конвергентности. Истоки этой теории уходят в вологодскую глушь.

В Учредительное собрание отец голосовал по списку эсеров. В семнадцатом году после свержения самодержавия естествен поворот влево на несколько десятков граду-

сов — от 90 до 180. Оценки, переоценки, заскоки и недо-скоки.

Вот этот поворот и нуждается в жертвах, в живой крови.

Уже недостаточна была деятельность культуризма, воскресных школ, тут отец разошелся со своими всегдашними советчиками — Флоренским и Булгаковым.

Отец считал, что сам поворот этого огромного колеса, какими бы соединенными силами, разными силами ни вызывался, обязывает не тормозить его движения — в церкви, в воскресной школе, а, наоборот, ускорить ход, раз уж этот механизм пришел в движение.

Конечно, все это теперешние мои соображения.

Для «полежавшего» отца — слишком ясной была беспомощность в физическом смысле кадетской партии: отец стал искать себе новых кумиров.

Вне всякой связи с отцом, а, наоборот, как бы в пику его вкусам, как бы вызовом недостаточной левизне его взглядов, в наш дом, в мою душу хлынул поток новых книг. Их немало было издано в 1917—1918 годах, на оберточной бумаге с бледной типографской краской. Хлынули книги, которых раньше не бывало.

«Андрей Кожухов», «Штундист Павел Руденко» Кравчинского, «Взаимная помощь, как фактор эволюции», «Записки революционера» Кропоткина, «Овод» Войнич, сборники «Былое» и особенно книги автора, который оказал сильнейшее влияние на формирование и укрепление моего главного жизненного принципа, соответствия слова и дела, — определили мою судьбу на много лет вперед.

Этим автором был Борис Викторович Савинков, романист Ропшин, особенно его книги «Конь бледный» и «То, чего не было».

Тогда говорили очень много, каждый был оратором, митинговал, мобилизовывал: каждый, во всяком случае, испытывал себя на ораторской трибуне.

Даже поговорка существовала: «При Романовых мы триста лет молчали, работали. Теперь будем триста лет болтать и ничего не делать».

Но митинги, устная агитация, ораторские баталии — хотя и с немедленным вывозом на фронт против Колчака — «Бей буржуя!» — то была лишь наиболее парадная часть этого перелома, этого землетрясения.

К этому же времени все типографии России на все запасы бумаги, до последнего фунта типографской краски

печатали огромное количество книг — еще невиданных, неслыханных российским читателем. Какая-то брешь была пробита в 1905 году, теперь в эту брешь направлялся поток — не только листовок, что было и в военное время средством борьбы регулярным и действенным, классическим средством, а поток книг, брошюр самых разнообразных политических направлений — анархисты Бакунин и Кропоткин, эсеры Савинков и Чернов, Степняк и Вера Фигнер, Войнич «Овод». Ропшинский роман вдруг приобрел популярность и ответственность катехизиса, учебника жизни, не говоря уже об «Оводе» Войнич.

«Спящий пробуждается» мирного Уэллса толковали как взрыв, как лозунг.

«Записки цирюльника» Джерманетто разрывались на части рядом с романом о Спартаке. Этих книг оказалось не так мало.

Я не знаю, включил ли Керенский себе в заслугу эти многочисленные издания, которые вышли к душе читателя.

Не «Антон Кречета», не Ната Пинкертона, не «Пещеру Лейхтвейса» требовал новый читатель, а то, что было вокруг него и где он сам мог найти сразу в день, в час свое самое активное место.

Соответствие слова и дела этих авторов определило мою судьбу на много лет вперед.

Герцен и Чернышевский, явившиеся в магазинном издании, много теряли в своей привлекательности, не были столь жизненно важными — кислорода в них было маловато, то есть попросту таланта.

Книгу Ропшина «То, чего не было» всю почти помню на память. Знаю все почему-то важные для меня абзацы, целые куски помню. Не знаю почему, я учил эту книгу наизусть, как стихи. Эта книга не принадлежит к числу литературных шедевров. Это — рабочая, пропагандистская книга, но по вопросу жизни и смерти не уступала никаким другим. Дело тут в приобщении к сегодняшнему дню, непосредственной современности. Это — книга о поражении революции 1905 года. Но никогда еще книга о поражении не действовала столь завлекательно, вызывая страстное желание стать в эти же ряды, пройти тот же путь, на котором погиб герой.

Этот фокус документальной литературы рано мной обнаружен и учтен. Судьба Савинкова могла быть любой. Для меня он и его товарищи были героями, и мне хотелось только дождаться дня, чтобы я сам мог испытать

давление государства и выдержать его, это давление. Тут вопрос не о программе эсеров, а об общем моральном климате, нравственном уровне, которые создают такие книги.

Запойное мое чтение продолжалось, но любимый автор уже был определен.

Первая за триста лет свободная манифестация продолжалась.

Как всегда, кто-то кого-то толкнул, вырвал из рук кулачовый лозунг, разорвал ряды людей, пытавшихся спеться на ходу, хотя бы на «Вы жертвою пали...».

— Звездани его! — кричал вологодским глаголом молодой милиционер с красным бантом своему товарищу про нарушителя, прорвавшего ряды.

У праздника был свой план, диспозиция.

Отец неодобрительно покачал головой и вывел меня в сторону от перебранки.

— Толпа — это толпа, — прошептал отец.

Эти слова я вспомнил позже, когда читал дневник комиссара Временного правительства Панкратова²⁴, народовольца и бывшего шлиссельбуржца. Панкратов караулил царя в Тобольске, был комиссаром Временного правительства при царе, когда Временное правительство уже не существовало. Панкратов запретил царю и его семье молиться в соборе, хотя собор был через площадь в несколько десятков метров.

Когда царь попросил объяснений и заявил протест, Панкратов, сам шлиссельбуржец, сам испытавший немало расправ русского православного народа с врагами царя, заметил царю так:

— Да, это я запретил. Мой приказ. Поймите, гражданин Романов, толпа — есть толпа.

И Николай Романов понял и больше не просил разрешения ходить в собор, а молился в домашней церкви.

Было тут что-то общее не в ситуации, а в самом существе дела.

Если бы я пробежал на улице этот день один, а не прошагал, держась за руку отца, я больше бы почувствовал, больше бы понял, настолько был тонок мой нервный механизм, всегда напряженный. Но отец и не думал о таком варианте. Он считал, что, если он сам, своей рукой будет водить меня по праздничной России, я крепче запомню все, что увижу, запомню, во всяком случае, и его собственное участие в моем приобщении к «великим вопросам России».

Во всяком случае, кроме глухого недоброжелательства к отцу и недовольства этим путешествием, — память моя ничего не сохранила.

Мне все время было всюду тесно. Тесно было на сундуке, где я спал в детстве много лет, тесно было в школе, в родном городе. Тесно было в Москве, тесно в университете. Тесно было в одиночке Бутырской тюрьмы.

Мне все время казалось, что я чего-то не сделал — не успел, что должен был сделать. Не сделал ничего для бессмертия, как двадцатилетний король Карлос у Шиллера.

Я опаздывал к жизни, не к раздаче пирога, а к участию в замесе этого теста, этой пьяной опары.

Даже в первой моей семье дело кончилось крахом — двадцатью двумя годами тюрьмы заплатил я при столкновении интересов семьи и государства. Государство топтало любые семьи, дробило их на мелкие. Можно было сказать что-то, что-то склеить, если бы моя семья опиралась на семью, не прибегая к помощи государства.

Увы, в нашей семье при всех обстоятельствах делался выбор всегда в пользу государства, хотя это никого и никогда не спасало.

Но сейчас не время, да и не место вспоминать что-либо, кроме Вологды, — все мое прошлое было еще впереди.

Незадолго до революции в Вологодскую губернию была выслана знаменитая анархистка — миллионерша, баронесса Дес-Фонтейнес.

Наследница огромного состояния, баронесса не дала его в фонд какой-нибудь революционной партии России — как это часто делалось, традиция даже была, а нашла возможность использовать свои колоссальные деньги в высшей степени эффективным и оригинальным способом.

Ее люди скупили все бумажные фабрики Севера, все леса Вологодского, Архангельского, Великоустюгского, Тотьменского, Сольвычегодского края и приступили к постройке бумажных фабрик в этих краях.

Старый фабрикант Печаткин, имевший бумажную фабрику на тряпье на Сухоне, продал ее баронессе. Баронесса расширила Печаткино, а рядом с ним выстроила фабрику «Сокол» — под таким названием эта фабрика на Сухоне работает и сейчас. Это название было дано баронессой.

Такому фабриканту бумаги, как Сумкин, пришлось уступить свои торговые связи баронессе.

В тридцати верстах от Вологды баронесса возвела эту фабрику «Сокол» по самой модной модели. Иностранные инженеры — англичане, бельгийцы, получавшие бешеные деньги, составляли технический штаб баронессы.

Там был восьмичасовой рабочий день. Поселок для семей рабочих был выстроен по самому прогрессивному плану. Зарботки и на фабрике, и на лесозаготовках, принадлежавших также баронессе, были гораздо выше, чем в соседних селах, районах, городах, вплоть до Вологды, где и жила сама баронесса.

Я учился с ее сыном — сын мой сверстник, только он учился в реальном училище, а я — в гимназии.

Вокруг этих фабрик в деревнях Вологодской губернии росли школы — преподавание там велось по лучшим заграничным образцам.

Все ее дела развернулись наглядно в огромное культурное начинание.

Для рабочих была выстроена и церковь — новая церковь, деревянная, как резная игрушка, поставленная на снег среди высоченных елей, и сама деревянная, еловая, резная. Вот в эту-то церковь и приглашен был фабричным священником мой отец в 1917 году, после Февральской революции ушедший со службы в соборе.

В 1917 году после резкого конфликта с духовным начальством отец ушел из собора вовсе. На этот раз он не был лишен сана, ему не было запрещено священнослужение, только городской собор ему пришлось оставить. Отец принял предложение ссыльной миллионерши, анархистки, баронессы Дес-Фонтейнес и перешел фабричным священником на ее бумажную фабрику.

Отец перевез туда книжный шкаф красного дерева, письменный стол белого дуба и переехал сам.

Дети, сестра Наташа и я, жили у него там поочередно.

Лагауэр, учившийся в Брюсселе пожарник, развлекал гостей за табльдотом, который держала его жена.

Я был очередной жертвой неистощимого дружелюбия брюссельского брандмейстера. Со мной брандмейстер немедленно заключил пари, что встанет с кровати, где спит в белье, и наденет свою амуницию в одну минуту по секундомеру. Я — человек еще далекий от прикладной физкультуры, заинтересовался опытом. Действительно, надел брюки и всунув ноги в стоящие наготове сапоги, брандмейстер уже надел плащ и каску, когда еще не исполнилось и минуты.

Что там Россия! Там пожары!

По окончании моего кратковременного визита отец объявил, что перед моим отъездом мне, десятилетнему мальчугану, покажут всю фабрику, ни много ни мало.

Хотя меня и не очень интересовало, я согласился, чтобы не огорчать отца.

Бумажная фабрика, бумажная машина — это зрелище очень эффектное: ведь на одном конце заталкивают в дробилку бревно, а на другом — машина сама вяжет готовую бумагу в тетради.

Мне подарили кучу тетрадей в желтой обложке. Я осмотрел все производство. Инженер, или кто-то из начальства, сопровождал меня — именно меня, а не отца — в этом был весь фокус: сам отец эту фабрику уже, конечно, знал.

На этой-то фабрике для отца и строили новую церковь. Он участвовал в ее освящении и был первым священником там. Отец выбирал иконы для иконостаса и алтаря, советовал в росписях храма. Я был у него на одной из таких служб зимой 1917—1918 года.

Крошечная церковь стояла в густом еловом лесу. Снег был густой, и это еще увеличивало игрушечность новенькой церкви.

Люди сходились туда тропками с высокими бортами, почти коридорами снежными. На отцовских службах присутствовали все иностранные инженеры — американцы, англичане, служащие баронессы. Им тоже весьма импонировало и то, что отец владеет английским языком, и вся его биография, и то, что он служит на русском языке, а не на славянском.

К сожалению, эта кратковременная удача быстро была прервана рукой судьбы. Баронесса уехала за границу, церковь закрыли. Фабрику конфисковали.

Зимой восемнадцатого года, возвращаясь с «Сокола» в Вологду, отец заболел крупозным воспалением легких.

Поезда тогда ходили плохо. Из-за поднявшейся метели отец ожидал поезда на каком-то полустанке. Следующий шел утром. Ждать отец не стал и пошел пешком по шпалам в город с чемоданом сквозь жестокую метель. Дойти-то он дошел, но продуло его насквозь, и он заболел крупозным воспалением легких с последующим плевритом — это были дофлемминговские времена. Ничего, кроме тепла и собственного сердца, человек не мог противопоставить болезни. Началось воспаление легких, плеврит, но он все же поднялся, хотя в это время по городу уже шли постоянные обыски и больного каждую ночь подни-

мали с кровати, вытаскивали и ощупывали самым жестоким образом.

Церковные дела моего отца были в высшей степени связаны с борьбой обновленческого движения против патриарха Тихона. Службы в церкви отцу не нашлось.

Выздоровев после воспаления легких, отец поступил заведующим книжным магазином «Жизнь и Знание», принадлежавшим той самой кооперации, чьим организатором и членом правления был отец с незапамятных времен, и несколько недель работал там — это не только давало карточки на хлеб, но было гораздо большим в жизни отца.

Но после газетной заметки в «Известиях Вологодского исполкома», заменивших «Вологодский листок», «Поп в книжном магазине»²⁵ — отец был отстранен от работы...

Отец не понял чего-то очень важного, что случилось со страной, чего не могли предсказать никакие футурологи из русской интеллигенции и что, с другой стороны, было давно предсказано, угадано, но от этих предсказаний и пророчеств отец отвернулся, ибо он не был поклонником ни Достоевского, ни Леонтьева. Этим пророчествам отец боялся поверить — все его прошлое бунтовало в его крови.

Девятнадцатый век боялся заглядывать в те провалы, бездны, пустоты, которые все открылись двадцатому столетию.

Слепому добраться до любой новой истины нелегко. На церковную службу отец вернулся уже слепым — в момент взрыва, подъема так называемого обновленческого движения. Вот тут-то отец и познакомился с Александром Введенским, знаменитым вождем радикального крыла обновленческого движения, встречаясь с ним неоднократно лично.

Об этом обновленческом движении бытует мнение, что вот были борцы с патриархом Тихоном, затем патриарха Тихона сменил патриарх Сергей, и Сергей ликвидировал обновленческий раскол, приняв покаяние всех обновленческих епископов, кроме Введенского.

На самом деле все было гораздо сложнее и гораздо проще.

В обновленческом движении — новом церковном движении в России, в котором имелись другие истоки, судьбы и пути, чем пути реализации философских исканий русского священства, — отец принял самое горячее участие. Именно это движение несло дорогую сердцу отца рефор-

му — служба на русском языке, второбрачие духовенства, борьба белого духовенства с черным монашеством. Но самый главный свой вклад отец внес в тогдашнюю борьбу за веру — в антирелигиозные диспуты, которые с благословения или разрешения новой власти проходили во всех городах в открытом ораторском состязании. Вот тут-то отец и принимал самое горячее участие.

Опытный полемист, хороший оратор — все были ораторами в наш ораторский век, — отец не пропустил ни одного такого диспута. Их было очень много и в школах, и в мастерских, и в рабочих клубах, и в городском театре.

Слепого, я водил его на все эти диспуты и по сигналу председателя подводил к кафедре или столу, а после выступления отводил на место. Случалось, отец ошибался в направлении — в волнении, в жестикуляции, поворачивался лицом не к залу, и тогда я подходил, поправлял его позицию. Успех его речей был в Вологде велик, да в самом деле он был хороший оратор, опытный полемист. Речь его была абсолютно светская, со множеством светских примеров, что, конечно, производило хорошее впечатление.

Я помню его замечание на речь анархиста Герца, отбывавшего ссылку в Вологде, царскую еще...

Герц повторил вольтеровский каламбур о том, что верующий лавочник обманет меньше, чем неверующий лавочник.

«Если это так, — говорил отец, — одного этого достаточно, чтобы оправдать существование религии, если вас не будут обманывать в лавках».

Второе хорошее замечание запомнилось по поводу моднейшего тогда лозунга «Религия — опиум для народа», вывешенного на всех фронтонах театров, на всех площадях страны.

— Мы можем принять этот лозунг Маркса. Да, религия — опиум. Лекарство. Но кто из вас, — следует обводящий зал жест, — может сказать, что нравственно здоров?

Знаменитого столичного оратора двадцатых годов митрополита Александра Введенского я слышал много раз в антирелигиозных диспутах, которых тогда было очень много. Введенский разъезжал с лекциями по России, вербуя сторонников в обновленческую церковь, да и в Москве его проповеди в храме Христа Спасителя или диспут с Луначарским в театре — собирали неисчислимые толпы.

И было что послушать.

Александр Введенский из всех ораторов был самым выдающимся, самым ярким, значительно превосходя Троцкого, Бухарина, Луначарского, Зиновьева, Керенского — все они были тогда ораторами.

Человек колоссальной эрудиции, исключительной памяти, цитировавший во время речи на десятке языков философию, социологию всех лагерей и наук — для того, чтобы, процитировав, разбить и сразить острейшим оружием своей сверкающей мысли.

Его службы в храме Христа \langle Спасителя \rangle собирали тысячи людей.

Дважды на него совершалось покушение, дважды ему разбивали лоб камнями, как антихристу, какие-то черносотенные старушки. Дважды Введенский лежал в больнице после этих покушений, и в то время, когда я его слушал на диспуте, — носил черную повязку на лбу.

Смугловатый, худощавый, высокий, в черной рясе, с крестом и панагией — знаками епископского достоинства, черноволосый, коротко подстриженный, Введенский производил сильнейшее впечатление еще до того, как ему удавалось, прервав овации, начать речь, разинуть рот. Оратор абсолютно светский, длиннейшие речи Введенский произносил без бумажки, без тени конспекта, записи какой-то, и это тоже производило впечатление.

Радикальное крыло православной церкви, которое возглавлял Введенский, называлось «Союзом древле-апостольской церкви». Несмотря на некоторую грузность термина, уступавшего более краткому «Живая церковь», что из-за своего удобства в запоминании вошло в историю, хотя «Союз древле-апостольской церкви», возглавляемый Введенским, был гораздо многочисленнее, чем «Живая церковь», возглавляемая Красицким и его группой.

Литературность, звучность формулы в истории много значат. Но в «Союзе древле-апостольской церкви», сокращенно СОДАЦ, что тоже было данью моде, данью влечения к всевозможным растущим как грибы «аббревиатурам» тех лет, была главная мысль Введенского — жить по заветам древних христиан, самих апостолов.

Героическая пробоина во лбу митрополита, прикрытая черной повязкой, свидетельствовала, что это не пустые слова. Какая-то старуха, агент тихоновской церкви, пробила Введенскому голову, когда тот выходил из храма Христа \langle Спасителя \rangle в Москве.

Таких покушений, после которых митрополит лежал в больнице, было два — в 1922 и 1924 году.

В практической жизни, в каноническом плане Введенский действовал весьма решительно, ставя все точки над «і».

Подобно тому, как мой отец освятил рубенсовскую репродукцию головы Христа и перед ней молился дома, митрополит Введенский, пользуясь своим правом епископа, причислил к лику святых свою собственную мать.

Любой епископ может выдвигать в святые любого человека, нужно только пропеть определенное количество или число молитв определенного чина в определенном порядке.

Ничего неканонического в поступке Введенского не было. Его святительская уверенность производила сильное впечатление.

Проповедь Введенского о Блоке, сказанная в храме Христа 〈Спасителя〉, распространялась с энтузиазмом самиздата в наши дни.

Митрополит Введенский был не из церковных кругов. Сын директора гимназии в Витебске и сам учитель гимназии, он принял сан в 1912 году. Уже во время войны он выдвинулся своим ораторским талантом и деятельностью, весьма заметной. В 1917 году Введенский участвовал как делегат в Демократическом совещании в Москве, произнес там речь в поддержку Временного правительства, а перед наступлением 18-го июня поехал на фронт, где, по примеру Керенского, пытался вдохнуть боевой дух в русские войска.

После Поместного собора 1917—1918 года, избравшего патриарха Тихона руководителем русской церкви, Введенский возглавлял борьбу церковной оппозиции, резко выступая против призыва патриарха Тихона не сдавать церковные ценности для помощи голодающим. Введенский был в числе тех пяти священников, добившихся у патриарха Тихона отказа от патриаршей власти, отказа от руководства русской церковью.

Именно в руки Введенского патриарх Тихон передал письменное заявление о том, что Тихон отказывается управлять русской церковью и поручает управление ярославскому митрополиту Агафангелу. В это время патриарх Тихон был арестован и начался его процесс. Арестован был и митрополит Агафангел, принявший церковную власть. Русская церковь осталась без управления. Вот

тут-то Введенский вместе с другими и организовал свое обновленческое Высшее Церковное управление.

Начался обновленческий раскол, продолжавшийся более двадцати лет и оконченный в 1946 году со смертью митрополита Александра Введенского.

Обновленческое движение — яркая страница истории русской, ибо патриарх Сергей, решительно боровшийся с обновленчеством, взял на вооружение именно идеи Введенского.

На церковной сцене был разыгран не очень новый сюжет.

Победив Введенского, патриарх Сергей взял на вооружение именно его идеи — за исключением вопросов о монашестве, бесплатных требах — и победил.

Суть победы Сергея была в том, что он (а все заявления Сергея в правительство написаны в тюрьме) казался Сталину более надежным представителем русской церкви, более типичным, более авторитетным, чем модернист Введенский, соратник Керенского, постигающий тайны Блока. Само образование Введенского было помехой на его пути к переговорам с властью, хотя именно Введенский провозглашал, что коммунизм — это Евангелие, напечатанное атеистическим шрифтом. Луначарскому это суждение казалось тонким, Ленину смешным, Сталину опасным. Поэтому правительство поддержало более ему знакомые формулы патриарха Сергея.

Проповедь Сергея — за советскую власть — по радио, решавшая пути церкви и русских православных мирян, решила судьбу и Сергея, и Введенского.

Тут-то и было покончено с обновленчеством.

Этой известной проповедью и начал свой победоносный путь Сергей — митрополит, но еще не патриарх (патриархом Сергей стал в 1943 году, что имеет свои подробности). Когда Сталин выразил согласие на предложение Сергея о поддержке правительства по радио, именно Сергию доверялась эта речь. Пospelов²⁶ вел эти переговоры: Сергей — Сталин. Сталин сказал: «Надо получить текст речи и можно разрешить». С этим явился Пospelов к Сергию. Сергей наотрез отказался.

— Я произношу проповеди, говорю без подготовки всю жизнь. Я никогда не выступал и не буду выступать по бумажке. Если товарищ Сталин хочет, чтобы я выступил, пусть разрешает без подписанного текста.

С этим ответом Пospelов приехал к Сталину, и было решено рискнуть.

Митрополит Сергей говорил два часа.

Доверие власти здесь было ему оказано, им — оправдано.

В 1943 году Сергей стал патриархом, разгромил обновленцев, взяв их программу, а в 1944 году умер, передав бразды правления Алексею.

Но в 1923 году все было еще впереди.

Введенский был создателем собственной оригинальной концепции в христологии, отличающейся, скажем, от Ренана или Штрауса.

Христос в понимании Введенского — земной революционер невиданного масштаба.

Толстовскую концепцию о непротivлении злу Введенский высмеивал многократно и жестоко. Напоминал о том, что евангельскому Христу более подходит формула «не мир, но меч», а не «не противься злему насилieм». Именно насилie применял Христос, изгоняя торгующих из храма.

В работах всех христологов концепция Введенского обязательно излагается.

Обновленческое движение погибло из-за своего донкихотства: у обновленцев было запрещено брать плату за требы — это было одним из основных принципов. Обновленческие священники были обречены на нищету с самого начала; и тихоновцы, и сергиевцы как раз брали плату — на том стояли и быстро разбогатели.

Идея союза с передовой наукой, борьба со всякой магией, колдовством, понимание обрядности в свете критического разума — тоже было идеей Введенского.

В обновленческом расколе было много личного, много мелкой политики, много от пресловутой «конкретной ситуации».

В идейном же смысле церковная смута закончилась полной победой Александра Введенского.

Но тогда, сорок лет назад, Введенский казался разрушителем, лже-Христом, то есть Антихристом. Так его черносотенцы и называли.

Удивительным образом договоренность правительства с вождями церкви велась как бы в тюрьме. Именно из тюрьмы писал свои послания Тихон Белавин, его местоблюститель Агафангел. Не изменил этой русской традиции и митрополит Сергей — его проект об организации русской церкви прислан из Бутырской тюрьмы в 1927 году.

Введенский же в тюрьме не сидел. Он проводил в 1925 году Третий Поместный Собор²⁷ в Москве и сам

был докладчиком по всем важнейшим вопросам церкви.

По просьбе отца я ходил на открытие Собора в 1925 году — чтобы не упустить, пользуясь словарем отца, великий день России.

Введенский был очень эффектен на фоне монашеских либеральных клобуков в самом темном подвале Троицкого подворья на Самотеке — месте баталии за высшую церковную власть.

На самом Соборе обновленческое движение не захватило, к моему удивлению, никаких новых рубежей.

Среди всевозможнейших диспутов, лекций, ораторских сражений, конгрессов, совещаний, когда дня не хватало студенту, чтобы пробежать по всем этим чудесам, когда каждый день мы стояли перед выбором — куда же пойти? Кого же послушать — анархиста Иуду Гроссмана, Розанова или обер-прокурора Синода Львова? или Бухарина или Кони? Чью проповедь выслушать? Куда пойти — в подпольный анархический кружок или к Мейерхольду в буденовке, размахивающему пистолетом? В Кривоколенный к Воронскому или в Колонный зал к Троцкому? Послушать лекцию в РАНИОНе²⁸ о Фурье или выслушать Густава Инара, участника Парижской коммуны?

Горький был прогнан за границу, и не было известно, вернется ли он в Россию.

Но из самых высоких ораторских зрелищ того ораторского века были, безусловно, диспуты Луначарский — Введенский. Их было много: «Бог ли Христос?», «Христианство и коммунизм».

Попасть на эти диспуты было очень трудно, не потому, что они были платные, — но ограждение пройти было совершенно невозможно даже таким специалистам, как я и мой ближайший друг, студент того же курса и факультета МГУ, что и я.

У нас сорвались все попытки хоть какой-нибудь бумажкой заручиться. Оставался день до диспута, и я решил на крайнюю меру. Шапиро пришла мысль пойти и попросить контрамарки, но не у Луначарского и его многочисленного окружения — а у Введенского. «В этом есть что-то — комсомолец МГУ у архиепископа — обязательно даст», — рассуждал Шапиро. Но кто пойдет? Кто будет говорить? И что?

Но у меня сразу же сверкнул в голове план, и мы помчались в Троицкое подворье отыскивать Священный Синод, а там получить домашний адрес епископа.

По узким, заставленным шкафами коридорам, мы добрались до канцелярии Священного Синода. Одинаединственная комната с единственным столом. Сидевший за столом человек встал и сказал, что архиепископа сейчас нет.

— А где он живет?

— Да тут и живет, — сказал канцелярист, — вот тут за дверью. Что ему сказать, если он дома? Кто его спрашивает?

— Скажите, что его спрашивает сын священника Шаламова из Вологды.

Закрытая дверь сейчас же распахнулась, и Введенский вошел в комнату, очевидно, стоял за дверью и слышал наш разговор. Дома он был в вельветовом пиджаке и полосатых каких-то брюках.

Я изложил нашу просьбу.

— Охотно, — сказал Введенский, сел к столу и, выдвинув ящик стола, взял тонкий листок с типографским адресом и написал: «На два лица. А. В.».

— С удовольствием выполняю просьбу, — сказал Введенский. — Прекрасно помню вашего отца. Это слепой священник, чье духовное зрение видит гораздо дальше и глубже, чем зрение обыкновенных людей.

Я, разумеется, написал об этом отцу и доставил ему большое удовольствие.

Обрадованные, с заветной контрамаркой, не зная, где только ее сохранить ночь, мы помчались на ближайший митинг во втором Госцирке — на Садовой-Триумфальной, — от Самотеки, с Троицкого подворья было рукой подать. Вернее, «ногой», ибо трамвай и по Садовой ходил, кольцевой «Б», увешанный людьми, да еще ползущий мимо базара всех времен и народов, Сухаревки, которая в те времена действовала еще по всем правилам и во всей силе.

Мы добрались до Госцирка, где был митинг — протест по поводу поражения английской забастовки, — даже Триумфальная площадь была заполнена народом, и оттуда доносился резкий высокий тенор председателя Коминтерна Зиновьева: «Продали! Предали!» — осуждая английских профвождей, предавших английскую стачку.

Митинг закончился только с темнотой, и мы пешком добрались: Шапиро к родным на Арбат, а я в Черкасский — в общежитие.

Мы спали спокойно, обладая чудодейственными контрамарками с инициалами А. В. Это было силой, которая

дала бы нам возможность не только пройти все контроли, но и разгромить театр, если понадобится.

Но все же, оценивая ситуацию, мы собрались на диспут на два часа раньше. Все улицы, все подходы вокруг театра Зимина — к Дмитровке (теперь Театр оперетты) были заполнены народом.

Диспут «Бог ли Христос?» — Луначарский — Введенский. Быстро работая локтями, мы добрались до первого контроля и попали во внутреннюю цепь — добровольцев, которые сами, каждый вызвался на эту работу, чтобы послушать двух знаменитых ораторов.

Мы постарались проникнуть в партер, и нам это удалось. Хотя, конечно, все время пришлось стоять. Но это не имело никакого значения.

Все понимали отчетливо, и сам Введенский в первую очередь, что он выступает впервые за время существования советской власти открыто в защиту веры, поднимает перчатку, брошенную властью атеизма, безверия — как государственной религии тогдашней России. Если раньше сражение с попами велось в ЧК или в приемных народных комиссаров, то из церквей христианская религия впервые выходит сегодня на открытое сражение с властью в одном из главнейших вопросов идеологии.

Атеистические власти обязательно должны были бросить перчатку вызова на такой диспут — герольды ЧК должны были обязательно проскакать по всем площадям России, вызывая Бога на турнир словесный — другие турниры были выиграны властью давно. Крайне было важно для церковников, для верующих мирян, чтобы представителем религии — религии, не церкви — был достаточно талантливый, достаточно яркий и достойный человек.

Таким человеком и был Александр Введенский, священник в войну, протоиерей в революцию, епископ после церковного переворота, архиепископ во время диспута, митрополит в будущем, — а в самые последние годы имевший чин «митрополита-благовестника», то есть митрополита-пророка, предвещателя побед.

Александр Введенский вышел в черной рясе, перекрещенной цепями креста и панагии, черноволосый, смуглый, горбоносый. Вышел и сел за длинный красный стол без всякой застилки, где в президиуме уже сидели лица разного революционного калибра — от народовольца вроде Николая Морозова до социал-демократов вроде Льва Дейча.

Сел Луначарский в весьма пристойном пиджаке, перебирая пачку конспектов пальцами — собирал и раскладывал стопку листов. Ему надо было начинать доклад, а время уже истекало. Взрывы аплодисментов, требующих начала — существует такой вид аплодисментов, — становились все чаще.

Наконец Луначарский встал и пошел к трибуне, разложил на ней листки и начал свой доклад — одно из тех пятидесяти выступлений Луначарского, которые довелось слушать мне, тогдашнему студенту.

Луначарский был нашим любимцем. Это был культурный, образованный человек, чуть-чуть злоупотреблявший этой культурой, почему недруги из нашей же среды звали его «краснобай». Эта интеллигентность, мягкость Луначарского в то время не нравилась не только скептикам из студенческой среды.

Я сам слышал своими ушами доклад Ярославского в Театре Революции к десятилетию Октября, где позиция Луначарского во время штурма Кремля вызывала всякие поношения твердокаменного Емельяна в наглухо застегнутой кожаной куртке, произносившего с авансцены Театра Революции свои осуждающие слова по адресу Луначарского. Ярославский в Октябре в Москве был комиссаром ЦК при Москве.

Но мы не разделяли столь сурового ригоризма. Нам Луначарский казался барином, присоединившимся к революции барином, который, если его держать в узде и надеть ошейник, может принести большую пользу тому же Ярославскому.

В годы революции и гражданской войны Луначарский не играл в Москве большой роли и тем более не поправлял, не учил Ленина, как замечено и некоторыми документальными картинками последнего времени («Шестое июля»).

При Луначарском в Наркомпросе всегда был комиссар — сначала Крупская, потом Яковлева, потом Вышинский. Любой вольт и загиб наркома можно было вовремя удержать.

Хозяевами Москвы тогда были Сапронов, Бухарин, Преображенский — все РАНИОНовцы, строившие новую жизнь. Практика Луначарского насчет Маяковского и Большого театра неоднократно осуждалась Лениным.

Все это нам было известно. Известно было и то, что Луначарский вступил в партию лишь около 1917 года — в числе межрайонцев — на Шестом съезде партии.

Его сражения с Лениным после 1908 года — каприйская школа и школа Болоньи, где командовали Богданов, Луначарский и Горький и откуда был вышиблен Ленин,— так и вторично в Париже, школа Лонжюмо — без Луначарского, вопреки Луначарскому.

Все это было нам хорошо известно.

Не питая никакого политического доверия к Луначарскому, тогдашняя молодежь просто любила его послушать.

С авторитетом Троцкого речь Луначарского ни в какое сравнение не могла идти ни в политическом, ни тем более — в литературном плане. Троцкий — оратор более талантливый, чем краснойбай Луначарский. Троцкий — оратор стиля особого, где сначала делался вывод, а потом он доказывался.

Луначарский же принадлежал к классической школе — накопление аргументов и — логический вывод.

В этом накоплении аргументов Луначарский пользовался весьма широким привлечением фактов, имен и идей, — подчас даже возникало недоумение — как увязывает Луначарский свой только что рассказанный факт, случай с темой его речи, доклада, от которых он отступил довольно далеко.

Было особенным удовольствием следить за путаными извивами мысли наркома, предвидеть их, угадывать или не угадывать — и с восторгом или осуждением принимать какой-то логический сюрприз, логический парадокс.

Но Луначарский обычно благополучно выбирался из всех сетей, из всех неводов, которые сам себе расставлял, и срывал гром аплодисментов.

Иначе говорил Троцкий. У Троцкого не было лишней фразы, не служащей главной мысли, которая уже высказана. Тебе предстояло лишь подсчитывать бесконечные аргументы — одетые, конечно, всегда в оригинальную, блестящую даже одежду.

Студенческие скептики даже говорили, что из-за этого постоянного блеска слушатель, зритель отвлекался от глубины суждений Троцкого, которые были бы яснее при более простом, более шаблонном изложении дела.

Диспуты Луначарский — Введенский были построены тогда по весьма примитивной схеме. Докладчик — Луначарский, один час. Содокладчик — Введенский, сорок пять минут. Прения — по десять минут всем записавшимся. В случаях интереса выступлений время добавлялось при немедленном голосовании в зале.

После прений — заключительное слово содокладчика — двадцать минут, а заключительное слово докладчика — тридцать минут.

Регламент таких диспутов был построен самым, конечно, выгоднейшим образом для первого докладчика. Но это никого не обижало. На Введенского надеялись, и он всякий раз оправдывал все надежды.

Луначарский начал свой доклад — полемика эта издавна, — привлекая большое количество самых современных мнений, а также и самых древних, от Эпикура до Вольтера. Доклад звучал в высшей степени убедительно.

Оставалось только послушать — какие стрелы, какие камни бросит из своей пращи Давид — Введенский в правительственного Голиафа — Луначарского.

Введенский встал, поправил на груди крест и резкими шагами вышел прямо к трибуне, где еще собирал свои листки Луначарский. В руках Введенского не было ни одной бумажки.

Введенский встал. В возникшей тишине отчетливо и громко выговорил: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Перекрестился и сделал шаг вперед, начал говорить, быстро овладевая вниманием зала.

Утверждение Луначарского было самым смелым образом подвергнуто открытой иронической критике. Камня на камне не осталось от положений Луначарского. В том диспуте «Бог ли Христос?» Луначарский слишком много напирал на противоречия в Евангелии, опровергая историчность Христа.

Именно в этом видел Введенский подтверждение историчности Апостолов — не стенографичность. Это свидетели. Возьмем любой протокол суда — шесть свидетелей казни описывают объект и только по-иному.

В историчности Христа Введенский не хотел сомневаться, не только потому, что в этом не сомневается Ренан.

Словом, каждое положение, которое мы с такой надеждой принимали, было высмеяно открыто в самой блестящей форме.

Введенский цитировал на память целые страницы из трудов философов, отцов церкви, современных политических деятелей на десяти языках, современных и древних, что, разумеется, производило сильное впечатление. Тут же делался перевод (все без всяких бумажек) и следовала критика уже на русском языке.

Луначарский был явно побежден.

Прения были довольно серыми. Выступали какие-то митрополиты и просто любители, чьи речи я не запомнил.

Я ждал второго выступления Введенского.

Второе выступление Введенского было посвящено разбору аргументации оппонентов в прениях, всякий раз с тем же уничижительным блеском.

«Избави нас Бог от таких друзей,— сказал по поводу какого-то сомнительного комплимента Введенский,— а с врагами мы и сами справимся».

Понимая, что после заключительного слова будет выступать Луначарский, Введенский не преминул пустить наиболее эффектную стрелу в качестве предварительного удара, заранее предвидя, что последует и возражение. Эта стрела была вот такая.

— Иногда думают — да и вы сами тоже, наверное, что мы с Анатолием Васильевичем враги, ибо мы так яростно сражаемся здесь. На самом деле мы хорошо относимся друг к другу. Я уважаю Анатолия Васильевича, он — меня. Мы просто расходимся с ним по ряду вопросов. Так вот, Анатолий Васильевич считает, что человек произошел от обезьяны. Я же держусь другого мнения. Ну что ж, каждому его родственники лучше известны.

Буря аплодисментов приветствовала эти слова. Зал встал и аплодировал целых пятнадцать минут. И мы ждали, как же ответит Луначарский на такой удачный удар противника. Обойти этот вопрос было нельзя — по законам диалектических турниров того времени. Промолчать — значит признать поражение.

Но Луначарский не промолчал. Все заключительное слово он посвятил разбору аргументов содокладчика, и казалось, что он уже от ответа уходит. Но Луначарский не ушел, и мы удовлетворенно вздохнули.

— Вот архиепископ Введенский упрекнул меня за такое родство с обезьяной. Да, я считаю, что человек произошел от обезьяны. Но в том-то его гордость, что на протяжении сотен тысяч поколений он поднялся от пещеры неандертальца, от дубинки питекантропа до тонкой шпаги диалектики участника нашего сегодняшнего турнира, что все это человек сделал без всякой помощи Бога, а сам.

Таким образом, удар шпаги Введенского был отбит, и мы успокоились. Побежали — я в общежитие, а Лазарь — к родным на Арбат.

Если в Москве в сражениях с Введенским Луначарскому приходилось трудновато — а это было весьма заметно, то уж в Вологде выступления Введенского напоминали избиение младенцев.

Тогда власти разрешали устраивать такие диспуты в целях общего просвещения. Отец мой активно участвовал в этих диспутах со стороны религии, хотя был уже вовсе слепым.

Введенский пользовался широчайшей популярностью, приезжал на эти диспуты в Вологду, вербуя себе сторонников в свое радикальное крыло русской церковной смуты.

Диспуты в Вологде велись по московским правилам. Докладчиком с заключительным словом был кто-то из местных — лектор совпартшколы Кондратьев или любитель-диспутант, скептик, вроде ссыльного анархиста Герца.

Обновленческое движение завоевало себе прочные позиции в Вологде — власти отдали им собор, из которого в революцию был выброшен отец. Служить как священник отец уже не мог из-за слепоты — провел только какую-то службу, где наградили его митрой. Но как консультант, как автор воспоминаний — в Вологде был и журнал «Церковная заря», номера три или четыре вышли, где были напечатаны воспоминания отца о кое-каких вологодских иерархах.

Но дело, конечно, не в этом. То, что отец оказался нужен, чрезвычайно его оживило. Я водил его на все диспуты как поводырь.

К сожалению, глаукома не хотела ждать, боли все увеличивались, а отец все не хотел перерезать нерв, все ждал, что вот-вот наука одержит решающие, возвращающие зрение победы. Операции Филатова над катарактой усиливали его надежды.

В конце концов он так и умер. Да и сейчас нет средств от глаукомы. Глаукому оперируют, но в более раннем периоде болезни, чем тот, который уже был у отца, когда он обратился к глазникам.

Наука не подвела отца. Его ждало буквально вот-вот после его смерти в 1934 году наступление радиомира, мира радиоприемников — огромного количества информации, которое получил бы отец, будь он жив.

В те годы были повсеместны лишь детекторные приемники, щелкавшие в ухе, нащупывавшие камешком радиоволны.

То, что можно было втыкать в розетку в электросеть, в России еще не было известно.

До радиоприемников отец не дожидился пустяков — одного или двух лет.

Обновленческое движение имело хорошие корни в Вологде и обещало победы, но Тихон, сидевший в тюрьме, оказался хитрее. Он признал советскую власть, раскаялся и покаялся публичным заявлением в газеты. С этого часа обновленчество пошло на убыль. Обновленчество было добыто патриархом Сергием уже во время войны.

Александр Введенский и был тем церковным реформатором — их очень много в истории, и не только России, — чьи идеи одержали победу, отстранив и уничтожив самого новатора.

Разве Петру с его западной политикой надо было убивать Софью? Софья была гораздо западнее Петра, гораздо более европейской. Не сражение католицизма и протестантства за завоевание русской души тут надо видеть, а нечто более грубое, более свойственное человеческой природе.

Разве Петру нужно было казнить стрелцов таким диким способом, да еще лично, — ведь во времена стрелецких бунтов казнено две тысячи человек, втрое больше, чем погибло в крупнейшем сражении века — Полтавской битве...

Разве надо было Николаю I вешать Рылеева, чтобы выполнить рылеевские идеи — индустриализацию России, внешнюю политику, железные дороги, освобождение крестьян. Все это сделал Николай, казнив декабристов.

То, что в русской церковной истории называется наследством патриарха Сергия, — это и есть идеи Введенского, принятые на вооружение при отстранении их автора и главного идеолога.

Введенский умер в 1946 году, так и не помирившись с Сергием. Борьба идей весьма отличается от борьбы людей.

На эту тему следовало бы написать не роман (рассказы, наверное, есть), а хорошее историческое исследование.

Самым худшим человеческим грехом отец считал антисемитизм, вообще весь этот темный комплекс человеческих страстей, не управляемых разумом.

Обдумывая, наверное, разные варианты, желающий дать наглядные результаты, как опасное зло можно заду-

шить в зародыше, отец решил проблему этого духовного воспитания в обычной своей догматической и эксцентрической методе.

Старший мой брат родился в Вологде же, еще до отъезда в Америку, а две сестры и брат Сергей — за океаном, на Алеутских островах. Там он воспитывался отцом и на глазах отца по собственной его методике.

Я родился в 1907 году, через два года после возвращения отца в Вологду. Вологда — город, знававший еврейские погромы.

Когда я пошел в школу, отец сделал самое простое, чтобы получить из личности своего сына самый надежный результат.

В школе мне было разрешено приглашать к себе домой только товарищей-евреев. Так вышло с самого детства, что у нас дома постоянно — Желтовский, Букштейн, Кабаков, а также Виноградов, Алексеев — те лица, родители которых вели себя так же, как отец.

Так была успешно решена одна из важнейших педагогических проблем, беспокоивших отца.

Разумеется, в наш дом мне разрешали принимать кого угодно. То же относилось и к моим братьям и сестрам. Всех, кроме антисемитов.

Отцовская методика давала вполне надежный результат. Принцип срабатывал сам собой, как кибернетический автомат, закладывавший в юный мозг доброе и вечное.

Я думаю, что с отцами моих товарищей отец говорил и сам. Отец считал сионизм естественной еврейской религией и поддерживал еврейство не в горьковском, а в сионистском смысле. С удовлетворением, наверное, отец видел, как хорошо срабатывает его педагогический прием. Но отец не ограничился таким приемом в этой проблеме. Еще до войны, еще до школы, когда мне было лет пять, отец брал меня на свои прогулки — тут мы просто гуляли, но всегда в этих маршрутах была какая-нибудь важная тайная цель.

В одну из осенних прогулок отец привел меня к зданию синагоги и коротко объяснил, что это дом, где молятся люди другой веры, что синагога — это та же церковь, что Бог — один.

Встревоженный сторож — синагога была заперта — хотел побежать за раввином. Намерение отца было войти в храм, увидеть службу. Но время было не молитвенное.

В 1917 году сионисты по выборам в Учредительное собрание шли отдельным списком, и отец это одобрил. Сам он голосовал за Питирима Сорокина, правого эсера,— своего земляка...

* * *

Поток истинно народных крестьянских страстей бушевал по земле, и не было от него защиты.

Именно по духовенству и пришелся самый удар этих прорвавшихся зверских народных страстей.

У каждого дворянина находился родственник из свободомыслящих, а то и просто революционеров, и справки эти спасали семью, давали ей какие-то права.

У духовенства не было таких справок.

Особенно тяжелым был удар по узкой прослойке ученых либеральных священников от Булгакова и Флоренского. Если Булгаков, Флоренский, Бердяев, Сорокин с трудом, но еще могли найти для себя защиту или выход в Москве, в столице, то уж для провинциальных свободомыслящих не было пощады. Их била — уничтожала, оскопляла — и «черная сотня», мстя за борьбу, и власть — по принципиальному догматическому положению.

Этот тяжелый удар перенес и отец. Вдобавок у него убили любимого сына, и он сам ослеп. Но мама, повторяю, не писала пьесы о мертвом Боге, а целых четырнадцать лет в одиночестве сражалась за жизнь.

Потом умерла.

Отцу мстили все — и за всё. За грамотность, за интеллигентность. Все исторические страсти русского народа хлестали через порог нашего дома. Впрочем, из дома нас выкинули, выбросили с минимумом вещей. В нашу квартиру вселили городского прокурора.

И пусть мне не «поют» о народе. Не «поют» о крестьянстве. Я знаю, что это такое. Пусть аферисты и дельцы не поют, что интеллигенция перед кем-то виновата.

Интеллигенция ни перед кем не виновата. Дело обстоит как раз наоборот. Народ, если такое понятие существует, в неоплатном долгу перед своей интеллигенцией.

Новые силы, новые краски вошли в мою жизнь с приходом в наш класс моего сверстника — Алешки Веселовского. Алешка был маленький литературоведческий вундеркинд, имевший научные публикации уже в десятилетнем возрасте. Этот Моцарт литературоведческий болел туберкулезом.

Алешка был сыном племянника Александра Николаевича Веселовского, крупного литературоведа Алексея Николаевича²⁹. Сам Алексей Алексеевич, отец Алексея также имел ряд напечатанных трудов и после смерти отца в 1918 году бежал всей семьей в город хлебный, в Вологду, спасаясь от голода. На Север бежали немногие, и бегство профессора Веселовского не было связано с «Чайковскими событиями» в Архангельске³⁰. Алексей Алексеевич просто искал хлеба, заработка и подходящих условий для больного туберкулезом маленького сына. Такие условия Веселовский нашел в Вологде и прочно там обосновался. Он преподавал историю, литературу в Вологодском рабфаке, новом привилегированном заведении, где оплата «шкрабов» была выше, чем в какой-нибудь жалкой школе 2-й ступени, которая не давала ни хороших карточек, ни места для учеников.

Сам же рабфак был размещен в Вологодской духовной семинарии.

Алешка Веселовский был родом из знаменитой литературоведческой семьи, где поколение за поколением укрепляло литературоведческие высоты, завоевывало новые рубежи, семьи, где подобно музыкальному гену в гении Бахов можно было говорить вполне и о литературоведческом гене.

К сожалению, этот ген не был проверен — дальнейшие поколения русских литературоведов были остановлены смертью Алешки в Вологде от туберкулеза — в 1921 году.

Вот в его-то семье — мать и отец оба историки литературы — я и встретил впервые в жизни настоящую библиотеку — бесконечные стеллажи, ящики, связки книг, набитых под потолок, — царство книг, к которому я мог прикоснуться.

В семье у нас не следили за опозданиями детей, и я широко пользовался этим разрешением.

Впервые тогда в мою жизнь вошел эпос — французский, мы читали на голоса «Песнь о Роланде», с Алексеем же вместе мы выучили наизусть всего Ростана в переводе Щепкиной-Куперник и разыгрывали целые сцены то из «Орленка», то из «Сирано де Бержерака», то из «Принцессы Грезы», то из «Шантеклера».

Эти вечера со скромным чаепитием, изредка с сахаринном, часто кончались спиритическим блюдечком, до которого и отец, и мать Алешки были большие охотники.

В преферанс у Веселовских не играли, но блюдечко вертели весьма усиленно. Иногда и Алешка, и я, и еще

кто-то из товарищей Алексея принимали в этом участие. Не помню, каких именно духов вызывали взрослые, какие именно вопросы задавали, но в наших детских спиритических вечерах мы вызывали по книжкам Роланда, Наполеона. Путных ответов мы не получали — возможно, оттого, что у меня были какие-то «флюиды» в пальцах, которые не дали явиться духу.

Эти спиритические попытки общаться с загробным миром всегда кончались — именно по предложению Алешки — немедленным доказательством устойчивости: посещением ночью кладбища. Кладбище Духова монастыря было под боком, и вот мы, после душевной тесноты спиритического сеанса, выбирались на морозный воздух к Северной звезде.

Тут же Алешка требовал — посетить кладбище, прикоснуться к могиле и выйти на дорогу, где ждут товарищи испытуемого.

Я эти ночные проверки переносил легко.

Именно с Алешкой я был и в театре — на «Разбойниках», на «Эрнани». Театр был нетопленный, и мы на галерке, застывая в каких-то кацавейках родительских, боялись пропустить хоть слово из дымящихся белым паром актерских уст Карла Моора.

Сережа Воропанов был третьим нашим другом в этих литературно-спиритических экскурсиях.

Учились дружно мы всего года два учебных. Но уже на последнем году было известно, что Алеша болен и в школе учиться не будет. Я пришел к нему домой. Алешка хотя двигался хорошо — не лежал, а глаза его блестели, щеки были восковыми. Я рассказал школьные новости. Помахал ему рукой с порога.

А потом я узнал, что Алешка умер. Мать долго лежала — не туберкулез, а какое-то нервное потрясение свалило ее с ног. Но у Веселовских я больше не бывал.

Через год после смерти Алешки я встретил его отца, профессора истории Алексея Алексеевича Веселовского, на улице. Отец был вроде бодрее, чем при нашей последней встрече. Оба они — и профессор, и его жена — были страстные курильщики, курильщиками и остались. Алексей Алексеевич любил махорочные трубки. Закуривая ее, закашлялся.

— Ну, как вы живете, Алексей Алексеевич?

— Да так же, все вертим блюдечки. Приходите. Мы ведь с Алексеем говорим каждый день. И вы поговорите.

Но я не пришел к Веселовским.

В каких отношениях был мой отец с Богом? Этот вопрос занимал меня и в юности. Уж если он выбрал себе такую претенциозную, такую неблагодарную профессию, то должно же быть наитие, «транс», в который впадал, например, Александр Введенский — из близко виденных мной церковных ораторов. Но Введенский был человек не духовного звания; сын директора Витебской гимназии, Введенский принял священнический сан чуть ли не во время войны — первой мировой. А отец был потомственным профессионалом.

Я часто наблюдал, как молится отец, особенно в то время, когда после очередного «уплотнения» мой сундук передвигали из проходной в комнату отца с матерью, а сестры выезжали в проходную на мое место.

Отец молился всегда очень мало, кратко — минуту, не больше, что-то шептал привычное, пальцы обеих рук не прекращали свой вечный, бешеный бег, ладони вращались, кружились в обычном своем вращении, и было видно, что светские мысли не оставляли его мозг. Это — молитва на ночь.

Никаких утренних молитв, да еще громких, дома не видел я никогда. И почти не слышал, ни раньше, то есть во время спокойной жизни, ни позже.

Возможно, когда-нибудь он и молился. Возможно, что он считал, что его служба в церкви — достаточное свидетельство его смирения, усердия. Возможно.

Дома, во всяком случае, он сообщал Богу в двух словах собственные проблемы, а перед сном и вовсе не мог оторваться от мирских дневных мыслей.

Молитва — теоретическое занятие. Психологическое настроение, не спокойствие — вроде позы йога. Йога в отце не было...

Отец мой жил жизнью культурного русского интеллигента. Летом вся семья жила в деревне, в шести верстах от города, на реке мелководной, как все тамошние реки.

У отца была лодка, и нам разрешалось брать весла, перегонять лодку на тот берег, возвращаться. Разрешалось, кроме двух дней в неделю — субботы и воскресенья. Если у отца была священническая служба, то на субботу.

Отец приходил из города пешком вечером каждый день — сама дача подбиралась ради этих его ежедневных прогулок. И я часто выходил на холмы, откуда было видно издали, как идет отец по ржаному полю, как качается

в колосьях его серая, легкая ряса из шелка, как сноп золотой ржи.

Утром отец уходил в город — мы еще спали. Иногда в какие-то дни нам не разрешалось пользоваться лодкой — у отца была рыбалка.

Эта рыбалка — отец владел неводом да еще и другими сетями — была, по его мысли, первым приучением к природе, ее законам. Вся семья очень охотно принимала участие в этих рыбалках. Вся, кроме меня.

Я как-то не мог вызвать в себе тот дикий энтузиазм рыболовства неводом. Отец отрицал удочку и никогда удочкой не ловил сам. Но неводу он отдавался весь.

А однажды мне довелось стоять близко от отца, когда вытаскивали невод, и я был просто поражен неожиданной его злостью, азартом охотника.

В неводе была очень крупная красавица щука — фунтов на десять, а то и больше. Щука упрыгнула в песок прямо около ног моих, и я загляделся на красоту рыбы. Резкий окрик отца вернул меня на землю и воду. Отец, видя, что я упустил рыбу, бросился сам, бросился ничком, удержал рыбу на песке и почти мгновенно выхватил из кармана перочинный нож и воткнул в хребет рыбы. Щука бросилась, плеснула, но сразу заснула.

Презрительный взгляд отца был наградой моей неловкости, моей чуждости этих охотничьих страстей.

Потом я мало бывал на этих тонях, а на ночных поездках с отцом — никогда...

Меня перевели на обслугу коз, которых я усердно доил, ходил за ними, принимал козьи роды — нашел свое место в отцовском хозяйстве. Козы ведь умные, но привередливые. Была у меня одна из привередливых — коза по кличке Тонька. Коза заболела и умерла от рвоты неукротимой. Я помогал ей по указанию отца — ставил клизму, промывал желудок, но Тонька умерла у меня на руках. И я расплакался, забился почти в истерическом припадке, что вызвало крайнее неудовольствие отца — я заслужил ряд бранных кличек.

Выяснилось, что резать козлят я тоже не могу — надо «нанимать» человека.

Все это было уже в гражданскую, во время голода, когда отец уже ослеп, а брат был убит; вопрос — кому колоть и резать — получил неожиданную остроту.

Я, конечно, помню этих козлят с головы до ног и сейчас могу вывести их зрительной памятью отчетливо и ясно.

А с Мардохеем был вот какой случай. Обычно на длинной веревке коз привязывали за рога, хотя у коз были ошейники. Но я поленился и привязал веревку прямо к ошейнику. Мардохея привязывали в саду за забором и сараем. Вербка была достаточно длинная, и козел вскочил на забор, спрыгнул оттуда по эту сторону — удушенный, но еще живой.

Слепой отец вышел на крыльцо, глядя на мои беспомощные попытки сделать искусственное дыхание. Стали мы делать это вдвоем — не получилось ничего, тело Мардохея чуть похолодело.

— Надо зарезать его быстро! Вот тычь сюда! — отец нащупал сонную артерию козла. — Режь, режь! Надо кровь ему спустить, тогда можно будет съесть.

Ощупью отцу удалось прирезать козла — из перерезанной артерии синеватая кровь почти не текла.

— Повесь его на забор вверх ногами и сними шкуру, пока еще теплая. — Я снял шкуру. — Голову отруби! — Я отрубил голову.

Вот это охотничье искусство, с которым действовал отец, меня поразило.

Это и есть одна из причин, почему я потерял веру в Бога.

В моем детском христианстве животные занимали место впереди людей.

Церковными обрядами я интересовался мало.

Вера в Бога никогда не была у меня страстной, твердой, и я легко потерял ее — как Ганди свой кастовый шнур, когда шнур истлел сам собой.

Драмы рыб, коз, свиней захватывали меня гораздо больше, чем церковные догматы, да и не только догматы.

— Самое главное — это успех в жизни, успех.

На эту тему отец удостоил меня беседой — к сожалению, поздно; в четырнадцать лет я уже был вооружен книжной мудростью, с какой никакой здравый смысл отца справиться не мог.

Я уже поспорил с Мережковским, почитывал книжки.

Отец старался внушать это не всегда прямо, но и примерами.

— Ты должен завоевать успех. Сначала профессия — твердая, врачебная, например, если ты не хочешь по духовной части, а только потом политика. Совершенно не важно, какие ты принципы исповедуешь, — все равно. Лучшее всего — это научные занятия, профессура, кафедра.

Аргументы насчет божественной сущности человека отец не принимал главными.

Его главным героем был Питирим Сорокин — зырянин, земляк отца по родине, по Сыктывкару.

Стихи отец не то что презирал — некрасовский уровень считал наивысшим. Некрасов — кумир русской провинции, и в этом вкусе отец не отличался от вкусов русской интеллигенции того времени.

Я кончил школу пятнадцати лет, первым учеником. И хоть давно было известно, что в высшее учебное заведение можно попасть только по командировке, а командировку не дадут сыну священника, отец продолжал на что-то надеяться.

Наша классная руководительница Екатерина Михайловна Куклина подготовила мне аттестацию высшего качества: «Юноша с ярко выраженной индивидуальностью», и поскольку я интересовался только литературой и историей, — «имеет склонность к гуманитарным наукам».

Я показал характеристику отцу. К моему величайшему удивлению, она привела его в бешенство, да что такое бешенство! — вызвала длительный истерический взрыв.

Отец усмотрел в моем школьном свидетельстве ту же руку его каких-то тайных врагов. «Теперь дураку дают нарочно такую характеристику, чтобы не поступал на медицинский. Разве я их не понимаю!»

Отец разорвал бумагу: «Неси назад. Пусть тут будет ясно сказано — к естественным наукам. Меня не обманешь!»

Вся радость от выпуска, от окончания школы улетучилась. Но — слепой отец бился в кресле в истерическом приступе, белая пена выступала на губах. Я вернулся в школу, к Куклиной.

— Вы будете гордостью России, Шаламов. Высшее гуманитарное образование раскроет ваши большие способности.

— Я поступаю на медицинский, — попросил я, — и характеристика поможет.

И она, и я, и заведующий школой Катранов хорошо понимали, что ничего не поможет.

Не споря со мной, переписали мою характеристику, и я принес улучшенный вариант отцу.

Тут же выяснилось, что никаких командировок в вуз детям духовенства никакого роно давать не будет.

Выяснилось той же осенью, что все мои школьные товарищи — абсолютно все: из детей дворян, купцов, торговцев — все поступили в Ленинграде — туда, куда хотели, и на каникулы приехали в студенческих фуражках. У всех оказались какие-то связи, какие-то знакомства.

Отец обвинял и меня, и мать — всех, кого он мог услышать и почувствовать в комнате, он ослеп уже года два назад вовсе, — упрекал, что я не хочу учиться, а мать меня защищает, лентяя. Отец решил добиться приема у заведующего роно — того учреждения, которое занималось выдачей таких документов.

Я записался на прием к тогдашнему заведующему роно товарищу Ежкину. В жизни я не забуду этот визит.

Комната роно была на втором этаже присутственных мест.

Ежкин принял нас стоя, сам не садясь и не сажая нас. Отец держался за мое плечо, чтоб не ошибиться — в каком направлении ему говорить, и изложил просьбу.

— Вот мой сын кончил среднюю школу. Ему не дают поступить в высшее учебное заведение, лгут в школе — из-за какой-то мести старой.

Товарищ Ежкин был возмущен до глубины души такой наглой просьбой: «Поп в кабинете!» Голос Ежкина звенел:

— Нет, ваш сын, гражданин Шаламов, не получит высшего образования. Поняли? Никто его в школе не обманывает. Поняли?

Отец молчал.

— Ну, а ты, — обратился заведующий роно ко мне. — Ты-то понял? Отцу твоему в гроб пора, а он еще обивает пороги, ходит, просит. Ты-то понял? Вот именно потому, что у тебя хорошие способности, — ты и не будешь учиться в высшем учебном заведении — в вузе советском.

И товарищ Ежкин сложил фигу и поднес ее к моим глазам.

— Это я ему фигу показываю, — разъяснил заведующий роно слепому, — чтоб вы тоже знали.

— Пойдем, папа, — сказал я и вывел отца в коридор.

Всю дорогу отец молчал и вообще больше со мной не говорил на эту тему, не давал никаких советов насчет моего высшего образования.

В 1926 году, когда я поступил в университет, отец моллился на коленях всю ночь. Но, как всегда, напрасно.

С товарищем Ежкиным мне пришлось познакомиться раньше, той же зимой 1922—1923 года, но в обстоятель-

ствах, которые начисто исключают пристрастие Ежкина или его классово направленную злопамятность, ибо при этой встрече я был заgrimирован, а товарищ Ежкин находился в состоянии, когда человек не способен отличить добро от зла. Даже классовое добро от классового зла. Я не хочу сказать — Ежкин был пьян. Отнюдь, совершенно отнюдь, как говаривал Максим Горький. Товарищ Ежкин скорее всего был трезвенником, даже фанатиком трезвости. А может быть, и нет, все это не суть важно.

Дело тут вот в чем. Наш городской театр ставил спектакль силами любителей. Руководил постановкой один из режиссеров городского театра Бордин. Шла «Каширская старина» Аверкиева. Это хорошая, сценическая пьеса, имевшая большой успех у зрителей десятых годов и естественным образом шагнувшая в двадцатые. Пьеса эта в четырех актах, причем третий акт кончается бурной сценой объяснения, во время которой герой ранит героиню и плачет над ее телом. Вот этого героя играл губвоенком Мазо, при обязательном условии — не отстегивать кавалерийских шпор. Марицу же, его невесту, играла вологодская любительница Нина Николаевна Кашинова, будущая заслуженная артистка РСФСР из театра Моссовета.

Губвоенком Мазо был знаком с этой пьесой и раньше и играл на репетициях не без блеска, если бы не кавалерийские шпоры, но к началу второго акта выяснилось, что Мазо где-то сильно заложил. Спектакль в третьем акте кончился тем, что губвоенкома едва оторвали от артистки Кашиновой. Да еще после занавеса на аплодисменты механик привычным движением раскрыл занавес снова, обнажив так неудачно одну из тайн вологодских кулис.

Занавес задернули, и заведующий Главполитпросветом Вологды товарищ Ежкин отправился в качестве цензора объясняться к губвоенкому Мазо.

Мазо под руку с Кашиновой по ошибке попал в общую артистическую уборную, куда собрались и мы, статисты городского театра.

Мазо распорядился принести для всех артистов из армейских запасов пива — быстро приволокли целый ящик пива неизвестного происхождения со знаком вологодской марки. В это время явился товарищ Ежкин и, подступив к Мазо, стал внушать губвоенкому все неприличие его поведения.

Мазо речь Ежкина не понравилась, и он вытащил наган.

— Ты трех минут не проживешь, гад. Ну, руки вверх! Ежкин поднял руки.

— Считаю до трех — и ты на том свете!

При счете «два» любительница Кашинова обняла губвоенкома за шею и повалилась с ним на пол. Выстрел Мазо пришелся в потолок.

Товарищ Ежкин юркнул в дверь и больше, мне кажется, в Вологодском театре не бывал.

Губвоенком же вдруг захрапел и уснул. В четвертом акте роль главного героя доиграл сам режиссер Бордин. У него был большой опыт работы на провинциальной сцене, а там такие случаи бывали нередко.

* * *

Я много раз думал — почему в Вологде, таком традиционно свободолобивом городе не было ни одного восстания, ни одного мятежа против новой власти.

Ведь нет городов, где бы не поднимался мятеж. Вологда — исключение. Это имеет свое объяснение.

Объяснение это — в жестоком терроре, осадном положении, в котором город находился, в видах предварительной цензуры, что ли.

Человеком, возглавившим и организовавшим этот террор, был Кедров, командующий Северным фронтом, председатель известной «Ревизии».

Слишком дорогой ценой, а проще сказать, — головой пришлось бы заплатить любому гимназисту. Потерпев неудачу в Архангельске, Кедров со своим Особым отделом обосновался именно в Вологде, в штабе Шестой армии, возглавляемой царским генералом Самойло.

Странный человек был Кедров — Шигалев³¹ нашей современности, Шигалев — в таком невероятном сочетании явившийся на вологодскую, русскую, мировую сцену.

Кедров был не только Шигалевым. Тут было нечто страшнее. Юрист и сын юриста — московского нотариуса, отдавшего все личное состояние на революцию еще в начале века.

Врач, учившийся в Брюсселе, где учат не только лечебным знаниям, но и гуманизму. Музыкант, окончивший консерваторию по классу рояля, сам вдохновенный пи-

нист, развлекавший Ленина глубочайшим исполнением «Аппассионаты» еще на швейцарских вечеринках.

Кость от кости, плоть от плоти московской интеллигенции.

Именно Кедров заставил меня подумать, что все это не облагораживает.

Знаменитый военный руководитель, командующий Северным фронтом, а когда его сняли, через месяц после командования, он уже успел расстрелять немало людей.

Кедров был снят через полтора месяца после назначения — за перегибы, по представлению Ветошкина³², боявшегося, что Кедров завтра расстреляет и его, председателя Вологодского губисполкома, за провал мобилизации. Мобилизация на Северном фронте — сама по себе ничтожная — тысячу человек надо было мобилизовать, но и этой цифры не удалось добиться.

Но историки гражданской войны считают, что борьба Кедрова в гражданской войне с контрреволюцией может быть приравнена к самой большой битве в истории, и роль Кедрова не должна быть забыта.

Не знаю, так ли это?

Вряд ли масштабы подобны битве за Берлин.

Триста тысяч человек убиты — какое тут может быть сравнение с кедровскими возможностями.

Словом, командующий Северным фронтом был снят и заменен другим.

Кедров был назначен после Севера командующим разгрузкой картофеля в Московском узле — пока, разумеется, решается его дело.

На следствии по делу о перегибах, о расстреле заложников, которое велось в Москве, Кедров предъявил ленинскую телеграмму, — она широко комментировалась, — телеграмму, которая кончалась словами: «Прошу вас не проявлять слабости — Ленин»³³.

Ленин сказал на следствии, что он не думал, что под слабостью следует понимать расстрел заложников.

Дело это кончилось полной победой Кедрова — он вернулся на Север в роли начальника Особого отдела, и все, что хотел, задумал, — выполнил.

Именно Кедрову принадлежит идея регулярных обысков, облав, проверок.

Трудно сказать, приносили ли его усилия толк или нет. Вся информация такого рода основана на слухах, на доносах, на «информации».

У Дзержинского Кедров возглавлял весьма специфический отдел: по борьбе с предательством в партийных и военных рядах. Поле деятельности было и достаточно глубоко: Кедров возглавил целый ряд следствий по этой части. Первая его нагрузка — еще до Севера — расследование мятежа левых эсеров — в своем специфическом плане — предательство в Красной Армии. След этой работы остался, и Дзержинский предложил Кедрову продолжить ту же работу.

Кедров возглавлял комиссию по проверке ряда фронтов, без конца находил и уничтожал врагов, — словом, занят был по горло.

На тех же ролях Кедров остался и при Менжинском, и при Ягоде, и при Ежове.

Работая на Кавказе, Кедров собрал досье на Берия и отправил доклад и материалы Дзержинскому, но в силу каких-то обстоятельств Дзержинский не успел познакомиться с документами Кедрова. Дзержинский умер в 1926 году, а в 1939 году к руководству НКВД пришел Берия, тот самый Берия, на которого у Кедрова собиралось когда-то досье. Кедров чувствовал достаточно крепкую поддержку Сталина и решил действовать открыто.

Сын Кедрова, Игорь, работал вместе с отцом в Чека. Договорились так, что Игорь вместе со своим товарищем подадут записку прямо по начальству.

Если что-нибудь случится, Кедров известит сам Сталина. Такие ходы у него были.

На следующий день Игорь и его товарищ были арестованы и расстреляны.

Кедров тут же вручил Сталину свою докладную, заготовленную заранее. В тот же день Кедров был арестован и посажен в одиночку, где его допрашивал сам Берия. Во время допроса Берия сломал Кедрову железной палкой позвоночник, добиваясь признания во вредительстве.

У Кедрова и здесь нашлась возможность известить Сталина, и Кедров написал Сталину письмо, рассказав о своем сломанном позвоночнике и требуя ареста Берия.

В ответ на это вторичное письмо к Сталину Берия застрелил Кедрова в тюрьме самолично.

Письма Кедрова Сталин показал Берия. Оба эти письма были найдены в сейфе Сталина, после его смерти. Именно об этих-то письмах и говорил Хрущев в докладе на XX съезде. Таков был конец Кедрова.

В 1918 году в Вологде аресты шли день и ночь.

О ночных облавах, сгубивших отца, я уже рассказывал.

Но бдительность Кедрова не ограничивалась ночным временем. Город жил в облавах, в ежедневных арестах.

Рыночная площадь была переименована в площадь «Борьбы со спекуляцией». Там шла борьба со спекуляцией. Но не только она.

Я — десятилетний мальчик — торговал пирожками и заметил, что особенно много скопилось людей вокруг самодельной рулетки — табуретки с прибитой фанерной доской, разделенной на 10 секторов, совершенно равных.

Звонкий голос безрукого хозяина табуретки: «Ставьте ваши ставки, граждане. Плачу за пять — двадцать пять, за двадцать пять — сто двадцать пять, — ответ до двух миллионов». Хозяин портативного Монтекарло был всегда настороже, чтобы подхватить табуретку и сигать через забор при тревоге. Действительно, не проходил и день, как свисток звенел, раздавался крик: «Облава!», и всех загоняли в подворотню ярмарочного дома и процеживали по человеку. Вскоре я с удивлением заметил, что рулеточника, во всяком случае, не ищут — он возвращался после каждой облавы на то же место. Возможно, что он давал взятки милиции и чоновцам, проводившим облавы, — ведь ответ был до двух миллионов. Но возможно и другое. Рулетка была постоянной приманкой, развлечением приезжих, которых-то и ловила кедровская ревизия — бывших офицеров и прочее.

С помощью табуретки Монтекарло Кедров пытался нащупать и прервать связи с дипломатическим корпусом, который жил тогда в Вологде.

Возвратить дипкорпус в Москву Кедрову не удалось. Корпус уехал в Архангельск. Так что рыжий безрукий рулеточник мог иметь и особое поручение, и особое задание.

Меня, как местного, да еще малыша, тоже отпускали с облав, и я пристально наблюдал, как охорашивался рулеточник, выжидая, пока соберутся толпы людей, чтобы снова кричать насчет пяти и двадцати пяти.

Там же была и другая игра — угадывать карту или наперсток, — где надо было заметить, под какой крышкой деньги. Но эти игры собирали меньше людей.

Наш учитель химии Соколов внезапно исчез, только потом я узнал, что Соколов расстрелян.

Этот недочет в моем среднем образовании едва не имел трагических последствий, о которых я рассказал в своем рассказе «Экзамен» — где испытание при поступлении в фельдшерскую школу в лагере — вопрос жизни

и смерти для меня — выявило, что я не знаю, что такое химия, что такое H_2O .

В этом пробеле именно Кедров повинен.

Конечно, я видел знаменитый вагон Кедрова, стоявший на запасном пути у вокзала, где Кедров творил суд и расправу.

Я не видел лично расстрелов, сам в кедровских подвалах не сидел. Но весь город дышал тяжело. Его горло было сдавлено.

Кедров был чекистом без ордена. Только значки Почетного чекиста — к 5-летию Чека и к десятилетию, которые Кедров носил на своей гимнастерке. Кедров отнюдь не был врагом орденов и чинов. Напротив, выйдя из гражданской войны без единого ордена, Кедров обвинял врагов, которые мстят ему, контрразведчику, таким способом.

В 1927 году — к десятилетию советской власти — Кедров не был даже представлен к награждению. Дзержинский умер в 1926 году, и некому было вступить за Кедрова. Кедров был возмущен. Еще бы! Столько убивал, и вдруг! Кедров решил добиваться справедливости. Обратился к Сталину, и Сталин внял его мольбам. В 1928 году он был награжден орденом Красного Знамени за работу в период гражданской войны. Этот единственный орден Кедров и носил. Кедров получил орден при Ягоде.

Когда в Архангельске высадился белый десант и было образовано правительство Чайковского, Ленин обвинил Кедрова в том, что тот «проворонил Архангельск», — дал ему строгий выговор и подстегнул телеграммой. Кедров в Вологде превзошел сам себя. Его поезд подошел к Плесецкой, уже занятой белыми, и из Плесецкой Кедров дал телеграмму в Архангельск, чтобы оттуда прибыли инженеры для разборки завала путей. Инженеры прибыли, и Кедров тут же, у вагона, их расстрелял, обвиняя в измене. Этот поступок описан в книге одного из биографов Кедрова³⁴.

* * *

1918 год был крахом всей нашей семьи. Прежде всего — это был крах материальный. Все пенсии за выслугу лет, за службу в Северной Америке были отменены и никогда более не воскресли.

Немедленно выяснилось, что четыре раза в день надо есть, не только людям, но и собакам, и курам.

Отец, большой семьянин, был поражен в самое сердце и никогда не оправился от этого удара.

Семья осталась нищей внезапно. Самый обыкновенный голод — восьмушка хлеба, жмых, колоб стали едой нашей семьи.

Мама и позже плакала, что из меня, из такого крепыша в детстве, вышел астеник, но мама, стихийная лamarкистка, — ошибается. Это у меня гены. только астенические. А мама ведь плакала, целовала мне руки — просила прощения, что вырастила меня таким физически некрепким. Но моему астеническому телосложению главные испытания были еще впереди — в золотых колымских забоях...

Мама пекла какие-то пирожки, что-то меняла на хлеб, я эти пирожки продавал на базаре.

Мама моя превратилась в скелет с хлопающей по животу морщинистой кожей, но не унывала — варила и пекла, пекла и варила гнилую картошку.

Одно из самых омерзительных моих воспоминаний — это посещение нашей квартиры крестьянами из ближних да и из дальних деревень. Новые хозяева мира хлюпали грязными валенками, толкались, шумели в наших комнатах, уносили наши зеркала. Вся мебель исчезла после визитов.

Вот тут и сказалась отцовская любовь к хорошим вещам — шкаф красного дерева, шкафы карельской березы, воротники, шапки, бобровые шубы.

У мамы не было никаких бобровых шуб, и своей одеждой в трудный час она помочь не могла.

Навсегда из моей жизни исчезла мебель нашей квартиры именно в 1918 году. Вот тогда я хорошо запомнил, что такое крестьянство — вся его стяжательская душа была обнажена до дна, без всякого стеснения и маскировки.

В это же время я продавал жареные пирожки какие-то. Тут дело в том (это было время бумажных миллионов), что для выкупа карточек — а по ним не давали ничего — нужна была валюта советская, вот эти самые миллионы.

До червонцев было еще далеко — года два.

От церковных властей именно в тот момент после революции отец помощи и не мог получить, ибо черносотенное начальство — сам архиерей Трапицын — позаботилось, чтобы убрали отца из собора.

Вот тогда отец поступил на фабрику «Сокол», но потом заболел воспалением легких, а когда поправился,

уже не было ни фабрики «Сокол», ни баронессы Дес-Фонтейнес.

У отца не было абсолютно никакого стремления ставить какие-то палки в колеса новой власти.

Трудно сказать, считал ли он институт семьи выше института государства. В революцию эти коллизии были беспредметны.

Наоборот, уже слепым, он самым внимательным образом следил за моими выступлениями в школе — и когда мне от школы была поручена речь на выпускном вечере, заставил меня переписать черновик — и все острые места, а их у меня было немало, — заменить на пейзажные сравнения насчет паровозных колес. Отец испортил мою речь. Я должен был поклясться, что не произнесу ничего лишнего. Эта речь запала у меня в памяти как свидетельство духовной капитуляции, моего слабодушия.

Хотя это и было сочинено по законам гомилетики — речь разочаровала всех, и в том числе, и в первую очередь, меня самого.

Тут дело, наверное, было в том, что отец все еще верил, что мне при моих способностях открыты все дороги, — отец ошибался.

Я тоже лежал и спал в той же комнате, где кашлял и тяжело дышал отец с воспалением легких. Тогда ведь не было пенициллина и сульфадимезина. Отец встречал пневмонию один на один. Помощь врачей была в компрессах, в прослушиваниях, выстукиваниях. Выслушивание и простукивание — это ведь не лечение.

Каждую ночь во время этой болезни отца поднимали с кровати для обыска. Кедровские обыски были каждую ночь более года, — по тогдашней квартальной профилактике.

Обыск был еженочный и очень тщательный, иногда — дважды в ночь. Не знаю, какие мотивы повторных обысков, кроме устрашения.

Отец поправился, но это не было нужно — ни ему, ни семье, ни судьбе.

Общением с революцией были не только обыски, но страшные фигуры подлинных грабителей, — выволакивавших вещи при униженной улыбке матери.

Эти самореквизиции запомнились мне самому навечно.

Семья наша не попадала в реквизицию — кроме шуб, у нас не было ничего. Но под обысками квартира была не

один год. Все ценности вытаскивались цепкими руками. За месяц исчезла крупа — все исчезло.

Второй, тоже впечатляющей картиной тех же лет было вселение, уплотнение.

Тут разговаривать не приходилось — матери оставалось молить Бога, чтобы квартиранты попадались попримечнее. И действительно, у нас жил сначала какой-то Сергей Иванович, а потом семья военного инженера Красильникова. Их было трое. Мать-старушка, сам инженер и его жена, лет двадцати пяти. Но нам случайно повезло тем, что комната попала в руки приезжих.

Гораздо хуже было уплотнение. Во флигеле, где жил дьякон, в одну из квартир был вселен Рожков, кузнец ВРМ — ударник производства, как теперь говорят, — и член партии. Ордера на квартиры давались только членам партии — лучше, если до февраля 1917 года.

Во всяком случае, первые вселения, первые ордера давались только членам партии.

В одну из комнат был вселен Рожков с женой и годовалым ребенком, гигант-алкоголик.

Каждый день Рожков возвращался с работы, выпивал самогон — водка ведь была запрещена в России целых десять лет, с 1914 по 1924 год, — выгонял к утру жену простоволосую, и спектакль начинался. Оскорбления матерной руганью в лицо этой женщины. Пудовый кулак Рожкова хлестал по лицу, по ребрам, по спине. Кончалось это тем, что кузнец сбивал жену с ног и топтал. Женщина только стонала.

Никто из зрителей никогда в таких случаях не вступает. Не вступались и в Вологде. Я стоял у дома, глядя на всю эту сцену из щели дверей. Сердце мое билось.

За спиной я услышал дыхание матери.

Рожков погнал жену куда-то на улицу, догнал и поддал ей жару.

— Вот таким, — сказала мама моя, — я не хотела бы, чтобы ты вырос.

Я таким и не вырос, мама!

Второй случай такого же рода коснулся меня. Я красил лодку отца — все остальное было продано, но лодка осталась. Никто на ней не ездил, но краску берегли для кого-то, для чего-то. Потом и эта лодка исчезла.

Наверху, над нами, в порядке такого же уплотнения, поселилась семья столяра заводского Корешкова. Туберкулезный больной, лет сорока, Корешков работал в железнодорожных мастерских.

Пока я красил лодку, Корешков тоже смотрел, как спускается котенок сверху по трубе водосточной, я хотел помочь этому котенку спуститься и снял его на землю, но сверху раздался истерический гром угроз истребить все поповское семя, и через две минуты Корешков был передо мной и размахнулся, чтобы ударить; была, к счастью, мама, красила лодку со мной, не дала ему этого сделать. Но ругани, истерической брани тут было много.

Первую комнату слева, нашу гостиную, уплотнили еще с самых первых дней вселенского уплотнения. Это оказалось неожиданной удачей — казалось, не надо бояться дальнейшего уплотнения, и сразу освободилась для продажи мебель — зеркало, диван красного дерева, два кресла. Это было время, когда царские деньги хранились у крестьян мешками в почти безнадежном ожидании, и на царские деньги ни крошки хлеба купить было нельзя. В лучшем положении были керенки — ассигнации в двадцать и сорок рублей, выпущенные Временным правительством. Этим керенкам, как и Временному правительству, верили в народе гораздо дольше, чем всему царскому — как в глобальном масштабе по «Займу свободы», по деньгам. Эта удивительная переключка глубокого низа деревенского и верхушки валютных бирж Лондона, Нью-Йорка и Парижа — имела какое-то основание. Керенки эти печатались листами — их уже не резали на отдельные купюры. Крестьянские обладатели этих тугоскатанных простыней, денежных рулонов все еще ждали.

Но у нашей семьи и керенок не было, и в деревню повезли зеркала и мебель красного дерева. За какие-то полпуда муки и бутылку подсолнечного масла все это было продано к общей радости всех, ибо ставить эту мебель было некуда, и сестры с того времени стали обходиться настольным складным зеркалом, которое отыскалось у мамы.

Комнату эту занимали разные люди. Первым квартирантом был Сергей Иванович, приезжий какой-то лектор. Приходил он поздно, долго звонил, пока ему не открывали, подолгу просил извинения, никогда ничего не варил и не ел. Потом он простился и уехал — он был командированный из Ленинграда пропагандист.

После Сергея Ивановича недолгое время в комнате жил Корешков, столяр, со своей женой, ожидавшей родов. Жена вернулась из родильного дома одна, ребенок был мертвый. После этого каждый день из комнаты Корешко-

вых доносилась матерная брань, удары: «Третьего мертвого рожаешь, сука!»

Корешков, к счастью, получил другую квартиру — на нашем же дворе — и переехал туда.

После Корешковых на какое-то время комнату занял новый городской прокурор по фамилии Шалашов, приехавший на новую очередную работу с очень молодой женой. Размещаться ему у нас было неудобно, ему подыскивали квартиру. Неудобство обострилось и тем, что у нас похожие фамилии, и не особенно грамотные почтальоны не разбирали ящиков, которых, конечно, было два. То в наш ящик всунут какой-нибудь секретный донос, адресованный на его имя, то повестку в милицию на имя отца уложат в ящик прокурора. Словом, прокурор торопил переселение.

Жили прокурор и прокурорша у нас недели две или три, когда произошел один странный случай. Прокурор был на работе, молодая его жена хлопотала у печки, носила дрова с улицы, а я возвращался из школы. В наши комнаты я еще не прошел, как вдруг ветер вошел со мной в квартиру, открыл комнату прокурора, распахнул створки двери, и я невольно заглянул внутрь.

Половину комнаты прокурора перегородивала занавеска до самого пола, но отгораживала эта занавеска не семейную кровать — семейная кровать стояла в другом углу, — а нечто другое. Занавеска сейчас была отодвинута, и было видно все, что за занавеской.

Там стояло тесно, плотно, поднимаясь наверх до уровня занавеса, нечто подобное книгам в библиотеке Веселовского. Но это были не книги и не тетради, а двухфунтовые пачки чая Высоцкого в фирменной обертке. Поставленные в несколько рядов, они напоминали кирпичную стену. Только кирпичами были двухфунтовые пачки чая. Стена была пятиметровая в длину, чай был уложен в несколько рядов, чуть не на полкомнаты.

Я прошел к себе, прокурорша вернулась, закрыла плотнее дверь.

Вскоре прокурор Шалашов получил квартиру. Он долго работал в Вологде.

А к нам переехала большая семья из Ленинграда и прожила у нас около двух лет. Мать и дочь, и ее муж — командир Красной Армии Краснопольский. Краснопольский, как и все жильцы, которых поселяли у нас, был членом партии. Он был командиром каких-то технических частей. Жена его носила красноармейскую форму, как

и он,— а мать сидела дома. Каждый вечер все трое зажигали лампу и садились играть в преферанс: яростно, иступленно, каждодневно. Кажется, что все, что скопилось за день в душе у каждого, очищается, освобождается в этой карточной игре. Это было вроде литургии для отца, и, отслужив эту преферансовую вечерню, успокоенные Краснопольские ложились спать. Ни рассказов о положении на фронтах, ни сплетен, ни выпивок — ничего. Только преферанс. Это радовало маму.

И когда Краснопольский уехал в длительную командировку, его теща обратилась к маме с просьбой отпустить меня к соседям, которых мать упорно называла «квартирантами», по вечерам в качестве третьего партнера для игры в преферанс. За это соседи обещали обучить меня всем тонкостям игры в преферанс, что, по мнению тещи Краснопольского, «дает молодому человеку положение в обществе». И хотя отец карт терпеть не мог, и в доме карт у нас не водилось даже для гаданья или пасянсов — в этом вкусы Наполеона и отца расходились,— а гаданье отец считал вредным предрассудком, и дочери его никогда не бросали башмачка, не лили воска и не глядели в зеркало,— когда встал вопрос о том, что мне можно «получить положение в обществе» с помощью преферанса, мать из дипломатических соображений решила пойти навстречу «квартирантам». И я провел там немало вечеров, обучаемый самыми высшими профессорами этой непростой науки. Положения в обществе с помощью преферанса достигнуть мне не пришлось. Но случилось вот что.

Как-то летом в комнату к соседям принес вещи еще один человек — тоже красный командир с кубиками — сын хозяйки, брат ее дочери, тоже ленинградец. Два дня он прожил, а потом соседка вызвала меня в комнату и затворила за собой дверь. Я думал, что сын ее скрывается, и готов был оказать посильное участие в выполнении его задачи. Но нет, отпускной билет у сына был в полном порядке. Нет только махорки.

— Махорки? Но ведь я не курю. Да и дома нет ничего курительного.

Соседка курила, не выпуская трубки изо рта, кроша туда смородинный корень, и даже размалывала окурки легкой папиросы и крошила в трубку для крепости. Но ни легких, ни крепких, ни самосада или махорки у старухи давно уже не было. Вся надежда на сына, но и сын явился без махорки.

— Слушайте,— сказал сын, глядя мне прямо в глаза,— а марки вы не собираете?

Марки я собирал в каком-то давно прошедшем школьном времени. Мне, спорящему с Мережковским, управляющему судьбой школы, обсуждающему вопросы жизни в их реальности! Свой первый и единственный марочный альбом я давно забросил.

— Нет,— сказал я, также не отводя глаз от глаз нового своего знакомого,— нет, марок я не собираю.

— А товарищи, которые собирают марки, у вас есть?

— И товарищей нет.

— Ах, какое несчастье,— сказал командир с кубиками.— Я бы мог предложить хорошие марки. Для знатока. За махорку. Либерийскую серию. Вы знаете, что такое либерийская серия?

Мой новый знакомый вкратце мне все это объяснил.

— Ну, что, мама?

— Да, да, да,— сказала старуха, размахивая пустой трубкой.— Да! Да!

Сын соседки расстегнул свою полевую сумку и вынул оттуда легчайший конверт из тончайшей бумаги: «Вот!»

Таковыми конвертами у него была полна вся полевая сумка.

Все это — за пачку махорки. Либерийская серия была африканским уникамом и входила во все каталоги марок. Но куда ее продать? Кому? Я знал только Непенина³⁵, марочника из любителей, но Непенин был из другой школы, да и постарше меня. Я сбегал к Непенину. Условие было: продавать от себя, не называть ни соседку, ни ее сына. Непенин тоже пользовался консультацией какого-то подпольного филателиста, и вся игра шла через несколько рук. Для начала я оставил одну марку из серии у себя, а остальные отдал Непенину, и тот почти мгновенно приволок три пачки махорки — мою цену... Помчался домой и мгновенно вернулся обратно.

— В этой серии должна быть еще марка.

— Да,— сказал я, вынимая марку,— вот она. Эта марка стоит еще две пачки махорки.

Непенин умчался, принес махорку, с чьим-то советом не упустить всего, что можно купить из этих рук. Я вручил пять пачек махорки нашим соседям, но от встречи он отказался.

Сын вскоре уехал, и штурмы нашей квартиры филателистами всего города затихли.

— Это марки сына, а не мои,— сказала старуха, поку-
ривая крепчайшую полукрупку № 2, «ярославку».

Отец оставил ему в наследство целый марочный мага-
зин «Пепуолады» на Фонтанке. Магазин этот знает весь
филателистический мир. После удачного проведения ком-
мерческой операции старуха меня уже не стеснялась: «Су-
ки проклятые!» Но я так и не выяснил, к кому относилось
это замечание о суках...

К моменту смерти отца мама уже выгородила себе
жизненное пространство и документально подтвердила
свою пригодность для житейского сражения и только то-
гда решилась на советы, разумеется, необязательные,
крайне осторожные, и торопливо высказалась любимо-
му сыну— мне.

О том, что никакой любви нет, что есть только любовь-
жалость, что жить с отцом было очень, очень трудно в са-
мые лучшие времена, что все ее девичьи мечты разбиты
именно отцом, его самоуверенностью, капризностью, не-
желанием считаться с чужой судьбой. Что если в стихах
можно найти какой-то жизненный рецепт, то он уложен
в майковские формулы о русском мужичке:

Рад он жить, не прочь в могилу --
Лапти сплесть, да сбыть.
Где ты черпал эту силу,
Русский мужичок?

Что нэп, вологодский нэп — это царские «черные со-
тни», появление «у руля» тех же самых живых лиц, с кото-
рыми всю жизнь боролся отец и которые удивительным
образом оказались нужнее новой власти, чем жертвенное
принципиальное служение высоким идеалам, которые
проповедовал и по которым жил отец.

Что отец гораздо меньше нужен новой власти, чем вся
эта «черная сотня» — купечество, инженерство, дворян-
ство.

Что нужно есть четыре раза в день, что нужно кормить
детей и его, слепца, что он ничему не может ее научить.

Что она — единственный помощник для пятерых
своих детей, единственная их кормилица, единственная их
надежда.

Что никто ничем не может ей помочь, что все это она
должна не только обдумать, но и сделать сама своими
руками и своим умом.

Что настал час, когда ей надо продумать все, решить
самой.

Так мать и приняла на свои плечи небосвод нашей семьи. Мама никого не учила, никого не упрекала, а только стремилась накормить детей и мужа.

Так мама прожила четырнадцать лет, отец умер в 1934 году, а мама — в 1935³⁶, от гангрены. Колола дрова и разрубала топором ногу.

В 1934 году, при паспортизации, мама, имевшая, по моим справкам, право на пятилетний паспорт, неожиданно получила одногодичный. Я попросил ее написать, в чем дело.

Оказывается, не было пятилетних бланков, и ей дали годичный, с тем чтобы потом заменить. Паспортист повологодски пошутил: «Тебе, старуха, не надо паспорта более чем на год».

И мама умерла. <нрзб>

Темные силы ворвались бурей, не могли успокоиться и насытиться. Самое главное — они существовали, эти темные силы, утверждали свою вечность, прячась, маскируясь до нового взрыва, — до войны, террора.

Мы, младшие дети — Сергей, Наташа и я, — мы представители маминых генов — жертвы, а не завоеватели, представители высшей свободы по сравнению с грубой отцовской силой, сказавшейся в Гале, в Валерии — старших детях. Кстати, даже имя «Гали», встреченное где-то на острове Кадьяк, тоже было фокусом. Русское имя Галина было изменено отцом на полутатарское «Гали», а вечные вопросы, ожидавшие девушку на ее жизненном пути при всяком представлении метрики, при любой анкете, должны были — по извращенной мысли отца — заставлять любую девушку или юношу подумать о смысле жизни или о русской истории или церковной истории, а на самом деле приносили лишь ненужное для юности молодечество, чье-то чужое, вроде участия Зевса в определении поступков повседневной жизни уже взрослого человека.

Лично у меня эти отцовские фокусы с крещением всю жизнь вызывали неодобрение, я не люблю свое имя — предостаточно бы назвать лучшим русским именем Иван, и уж дочь свою я назвал именем традиционным из традиционных — Елена.

Да, мы трое — представители маминых генов, мы жертвы, а не завоеватели, и именно поэтому мы — судьи, мы хорошо понимали, что отцовские фокусы должны опираться на какую-то многолетнюю личную жертву кого-то близкого, чья личность раздавлена и растоптана.

Мы понимали, что главная причина и задача в нашей семье — не забывать о маме, не топтать ее в кухонную грязь.

У всех нас выражено и душевное, даже духовное сопротивление. Это-то сопротивление в семье мы и представляли. Мы понимали, что стоит за этими козами, опарами, ухватами, и помогали в меру сил маме мы — никто из нас троих не мог этого одобрить.

Наша формула такая: сначала жертва, а потом право на советы. Личный успех все мы ценили в грош. Именно потому, что мы — жертвы, мы не считаем нужным подчиняться.

Восьмой ребенок в семье, я, родившийся в 1907 году, не был ребенком, для которого отец ломал бы голову. Правила чтения, поведения, учения были выработаны, наверное, давно, и я только попал под автоматически действующий механизм семейных ограничений, запретов и правил.

У отца был один педагогический принцип: принцип первотворения, первоначального толчка от Бога, толчка от отца, и на этот толчок ребенок должен был откликнуться всей своей натурой, умом. Отец должен был только сказать о том, что хорошо, что плохо, и не повторять сказанного.

Те железные рамки нарочитой духовной свободы, в которые втискивал отец юные души своих сыновей, не имели ни единого исключения.

Подход, план жизни, ежедневные советы были для всех одинаковы — делились только по признаку пола: к дочерям несколько менялись требования.

Жизнь каждого была запрограммирована от рождения, и неудачи были лишь неполадками из-за внешних причин, нарушавших внутреннюю гармонию отцовского замысла. Забегающих вперед, по его правилам, следовало осаживать, отстающих — подгонять — советом, примером собственной жизни, щипком.

Я вспоминаю одну из самых деликатных проблем юности, проблему, которой не найдено решения и сейчас — все законодательные решения были отступлением от бешеного бега утопизма, фаланги Фурье, царства Сен-Симона, в которых я принял самое горячее личное участие позднее.

Эта проблема не состояла в педагогическом кодексе отца. По его мысли, все тут надо предоставить самой природе. Природа покажет верное решение.

Если у нас в семье говорили с детьми взрослым языком о взрослых вещах, то советы на тему полового воспитания вовсе были исключены.

Ни отец, ни мать, ни братья, ни сестры никакой разъяснительной работы хотя бы в классическом плане тычинок не вели.

Может быть, ждали моих вопросов? Вопросов я не задавал.

Для того, чтобы все вести в соответствующем плане практической позитивной философии, чтобы оборвать мои книжные грезы, шепот дневной и ночной,—меня заставляли водить на случку коз...

В Вологде за случку козы с хорошим козлом-производителем надо было заплатить какую-то сумму, чуть ли не рубль. Помню, я мял в ладонях рублевку, трепеща, никак не решаясь вручить ее хозяину, который наконец сам вырвал рублевку из моих дрожащих пальцев, продолжая поучать, что если не забеременеет, то через две недели я могу привести нашу Машку бесплатно.

Впрочем, неистовые пляски, петушинный крик над распластанной курицей—все это скорей отвлекало меня от чтения, от какого-то школьного собрания. И не оставило никакого следа в моей детской душе.

Кусты вологодских лесов и садов были полны обнимающимися парами, примеров было много.

Преподаватели биологии, естествознания менялись один за другим, а когда пришло время пестиков и тычинок, и краснеющая преподавательница Монетович начала, бойко постукивая по школьной доске указкой, объяснять секреты природы, оказалось, что я их давно знал. Я только удивился, как это все похоже на знакомые мифы...

Поэтому, уезжая из Вологды навсегда, я не оставил разбитых сердец.

Был в Вологде в то время и бордель один с классическим красным фонарем.

Купринская «Яма» в приложениях не то к «Ниве», не то к «Семье и школе», не то к «Природе и люди» читалась у нас в семье и даже обсуждалась, как реальный факт. Отец был поклонником горьковского «Знания». Все эти сборники занимали первое место в его книжном шкафу красного дерева. Правда, эти сборники были в казенном переплете и имели штамп библиотеки Общества трезвости. Я часто размышлял над таким странным штампом. Сборники эти никуда не исчезали и всю мою вологодскую

жизнь простояли в отцовском шкафу. Я думаю, что отец просто «зачитал» эти книги в библиотеке, чтобы держать под руками полезное чтение. Вряд ли он там их покупал, эти альманахи.

В альманахах печатался и «Поединок» Куприна.

Когда хвалили «Яму» и я, мальчуган, вложив весь свой личный опыт в суждения по такому вопросу, объяснил, что «Яма» — скучное чтение, отец сказал: «Может быть. Прочти «Поединок», — и показал на шкаф. Но и «Поединок» мне не понравился, и детский Куприн (которого в Вологде почему-то называли Куприн) вырос со мной в ранге второстепенного писателя, каким, впрочем, он является и по большому, по русскому, и по малому, вологодскому счету.

Отец говорил о «Яме», как о чем-то отвлеченном, о хорошо известной ситуации из литературного реалистического произведения, заранее отбрасывая мысль, что его сын посетит такое заведение, — этого он не сделает прежде всего потому, что бережет честь отца.

Мать же толковала «Яму» по-другому и ничего полезного в семейном чтении купринского романа не видела.

У мамы всегда были наготове какие-то стихотворные строки, соответствующие ее настроениям, проблемам, требующим ее решения.

И не только Некрасов — кумир русской провинции — занимал тут почетное место, но и Алексей Толстой, и Пушкин, и Никитин.

В самые последние школьные годы — зимы 1921—1922 и 1922—1923 — я несколько разошелся со своей постоянной школьной компанией.

У меня появилась другая жизнь, где драматический кружок, школьные дела по Дальтон-плану отошли на второй план.

В этой школьной компании не было любителей книг, и жажда чтения раздирала меня. Я оставался секретарем драматического кружка — кружка человек из двухсот, — сам был организатором, собирал культурные силы в тогдашней Вологде, делал всяческие доклады в школе — о Глюке, о Бальмонте, находил время и учиться с той же уверенностью, что и раньше, находил время на работу дома и для дома.

Но настоящей моей привязанностью, определяющей все мое поведение, было чтение книг вместе со своим но-

вым школьным товарищем Сергеем Воропановым, головастым крепышом, с которым нас свела беззаветная страсть к чтению. И не только к чтению. Сережа Воропанов понял истинный смысл моей игры в фантики и сам отдался этой игре с увлечением.

Мы отыгрывали роман за романом — в полном беззвучии.

Здесь же мы отработали и Мережковского — не его трилогию, а его публицистику. Здесь впервые прочел я «То, чего не было» Савинкова, прочел Куна и — всего Шекспира, Достоевского, Толстого. Читал или перечитывал все подряд — от «Божественной комедии» до капитана Марриэта — и давал всему свои оценки.

Мы вдвоем переверотили все библиотеки Вологды. Сережа читал помедленнее, но тоже неуголимо и жадно.

Сережа в 1923 году поступил в Лесной институт, кажется.

Мое знакомство с ним, дружба, душевное согласие были гораздо более бескорыстными, чем любое мое знакомство в юности.

Жизнь моя сложилась так, что я никогда не искал старых товарищей, и не потому, что боялся разочароваться, а потому, что меня всегда занимали новые мысли, новые события.

Я не верю в пользу возобновления старых знакомств.

«Да», — думал я, четырнадцатилетний мальчуган, слушая, как отец упрекает мать за ее культурную отсталость, за ее «печные горшки», мать, знавшую наизусть Пушкина и Лермонтова — поэтов не нужных, по его мнению, для житейского успеха, в отличие от кумира русской провинции Некрасова, — слушая, как он поучает сестру в вопросах семейного счастья, ссылаясь на свой пример.

Я думал так: «Да, я буду жить, но только не так, как жил ты, а прямо противоположно твоему совету. Ты верил в Бога — я в него верить не буду, давно не верю и никогда не научусь. Ты любишь общественную деятельность, я ею заниматься не буду, а если и буду, то совсем в другой форме. Ты веришь в успех, в карьеру — я карьеру делать не буду, — безмянным умру где-нибудь в Восточной Сибири. Ты любишь хорошо одеваться, я буду ходить в тряпках, в грош не поставлю казенное жалованье.

Ты жил на подачки, я их принимать не буду. Ты хотел, чтобы я сделался общественным деятелем, я буду только опровергателем. Ты любил передвижников, я их буду не-

навидеть. Ты ненавидел бескорыстную любовь к книге, я буду любить книги беззаветно. Ты хотел заводить полезные знакомства, я их заводить не буду. Ты ненавидел стихи, я их буду любить.

Все будет делаться наоборот. И если ты сейчас хвалишься своим семейным счастьем, то я буду агитировать за фалангу Фурье, где детей воспитывает государство и ребенок не попадет в руки такого самодура, как ты.

Ты хочешь известности, я предпочитаю погибнуть в любом болоте.

Ты любишь хозяйство, я его любить не буду.

Ты хочешь, чтобы я стал охотником, я в руки не возьму ружья, не зарежу ни одного животного».

* * *

Я уехал, но приезжал еще раз после лагерного срока и говорил с отцом, не скрывая своей судьбы.

— Мы ведь отцу не говорили,— сказала мама.— Просто сказали, что ты — на Севере.

— Напрасно не говорили. Разве я — убийца? Вор?

— Прежде чем заниматься политикой,— миролюбиво сказал отец,— надо получить специальность, окончить высшее учебное заведение. Получай специальность и тогда смело принимай участие,— как бы для себя и про себя сказал отец, глядя или, вернее, не глядя в сторону,— куда глядеть, ему было совершенно все равно...

— Ну,— столь же миролюбиво ответил я,— не всегда это возможно.

— Я тоже был на Севере,— продолжал отец свою мысль.— В молодости. Как и ты. Учителемствовал полтора года.

— Мой Север,— жестко сказал я,— это тюрьма, каторга.

И мы расстались навсегда.

Отец умер через год после этого разговора. Не потому, что судьба сына сказалась на его нравственных силах, а случайно заболел третьей в жизни крупозной пневмонией — болезнью, приводящей в могилу, из которой по тем дофлемминговым временам не было возврата. Два раза отец возвращался на землю из-за своего жизнелюбия, жизнестойкости. В третий раз — не вернулся.

Никаких советов, никаких пожеланий на прощанье ни отец, ни мать не дали мне. Впрочем, это было в традициях семьи.

Осенью 1924 года я сел в вагон Вологда — Москва. В одном вагоне ехала сестра мамы — тетка моя, Екатерина Александровна, работавшая в Сетунской больнице под Москвой. Тетка была бестужевкой, с отцом они дружили в молодости, и отец доверил мою судьбу в эти надежные прогрессивные руки.

Был нэп, расцвет нэпа со всем его коварством, несбыточными надеждами, и разочарованиями, и неожиданностями.

Школа не привила мне любовь ни к стихам, ни к художественной литературе, не воспитала вкуса, и я делал открытия сам, продвигаясь зигзагами — от Хлебникова к Лермонтову, от Баратынского к Пушкину, от Игоря Северянина к Пастернаку и Блоку. Единственным исключением был кумир русской провинции Некрасов, но Некрасов ведь поэт-прозаик, лишенный многого, что было у Пушкина. Никак не наследник Пушкина.

Наследником Пушкина не был и Лев Толстой. Нет писателя в России более далекого от пушкинского света, от пушкинской формы. Белинский, с его страстным убеждением в том, что стихи можно читать как прозу, и далее — Чернышевский, Добролюбов — все это воспитывало в мальчишке не стихи, а нечто другое.

Стихи — это очень тонкая механика, особый способ познания жизни, даже не познания, а существования, ощущения.

В школе моей не было человека, старшего товарища, который открыл бы мне стихи, поэта. Это достигается запойным чтением, подчеркиванием фонетических обстоятельств возникающей мысли, мысли, особенно еще не превратившейся в мысль, и в то же время могучей, неодолимой.

Вологда моей юности могла мне предложить только Некрасова.

Отец не понимал и не любил стихов, справедливо боясь их секретного яда, их замедленного действия, взрыва в самый неподходящий момент, порабощения беспредельного.

Так же, в сущности, относился мой отец и к художе-

ственной литературе — с недоверием, как к пустому чтению.

Для отца чрезвычайное значение имели авторитеты, разумеется, не авторитеты в школьном смысле, а принципы и вкусы какого-то определенного круга, к которому он сам принадлежал.

Так, Жюль Верн и Уэллс считались полезным чтением, хотя это плохие, скучные писатели. К Александру Дюма он относился настороженно, а о существовании Дюма-сына и не подозревал.

Джек Лондон, Киплинг — все это допускалось, но, разумеется, считалось ниже Майн Рида...

Школа не могла и не хотела дать больше того, что дала. Программы были сокращены, девятый класс отсечен, куцее наше образование в единой трудовой школе закончилось на восьмом классе. Программа гимназии была значительно урезана. К тому же Дальтон-план, бригадный метод и все модные эксперименты тех лет именно на провинциальной школе отразились очень жестоко.

Что я учил? Чему меня учили? Все было случайно, зависело от случайно попавшего в город, завязшего преподавателя — даже профессора, как Веселовский. Но Веселовский был привлечен в рабфак, вологодский рабфак, а не к нам, хотя у нас учился его сын, мой одноклассник. Веселовский для трудовой школы был слишком жирным пирогом. Все его время было занято в рабфаке.

У нас был случайный географ Ельцов — хороший географ, но что нам география, когда мы собирались перевернуть мир.

Очень много сделала преподавательница литературы Екатерина Михайловна Куклина, много она вложила беззаветного труда именно в это смутное время. Куклина пыталась привить какие-то важные основы в понимание предмета, познакомить с Бальмонтом, Блоком. Литературно-драматический кружок при ее шефстве существовал в школе ряд лет. Я пользовался расположением этой преподавательницы.

Не раз мне случалось писать письменные работы по литературе за себя и за своего друга Германа Щеглова — я успевал, и обе работы, написанные мной же, но разными почерками, получали зачеты по высшему баллу, то есть «весьма удовлетворительно».

Этот способ использовал я последний раз на приемных экзаменах в Текстильный институт, куда я поступал вместе со своим приятелем Кальварским и за зачетное

время действительно написал две разные работы, и обе получили «удв».

Потом, поскольку у меня успешно шла сдача приемных испытаний в Московский университет — на факультет советского права, я взял документы из Текстильного института обратно.

Куклина запомнилась мне и еще по одному случайному поводу.

В классе заспорили — кто выше, Шеллинг или Гегель, — заспорили весьма бестолково. Спор был не о преимуществах философских систем, а пари — каких взглядов держится Екатерина Михайловна.

— Спроси ее, — настаивали ребята. А я был секретарем драмкружка.

— Так спросите сами!

— Нам она не скажет.

Я решительно подошел к Екатерине Михайловне и спросил:

— Кто вам, Екатерина Михайловна, нравится больше — Шеллинг или Гегель?

— Вы это для себя спрашиваете?

— Да, — сказал я, краснея.

— Шеллинг, — сказала Екатерина Михайловна тихо и проникновенно, и я почувствовал, что она отвечает на какой-то важный для нее самой вопрос.

Победа гегелевских традиций уже гремела во всех совпартшколах страны.

Вологда была тихим провинциальным городом, где даже река текла вспять в определенное время года, где любимым исконным развлечением горожан была охота за белками, собиравшая густую толпу убийц всех возрастов и всех общественных рангов.

Где на пожары скакали три части — каждая по цвету коней, грохоча по булыжникам города, с трубачом, не уступающим по звукам трубам Страшного Суда в Софийском соборе, построенном Иваном Грозным.

Кедровские расстрелы разорвали вологодскую тишину.

Веру в Бога я потерял давно, лет в шесть. Потому в дальнейшем меня мало трогали истеричность Кириллова и метания Ивана Карамазова. И уж вовсе казались надоевшими, ненужными, а главное — очень плохо написанными многочисленными притчи Льва Толстого.

Бог уже был мертв для меня. Гальванизация Достоевским всех этих проблем спасти ничего не могла, а рассу-

ждения о гибнущих невинных детях, как аргумент существования Бога, и вовсе кощунственны.

Вообще же Достоевский самый антирелигиозный русский писатель.

Потеря веры совершилась как-то мало-помалу, вдруг оказалось, что мешок Санта-Клауса пуст. Разоблачение сестрами рождественского Деда Мороза на меня не произвело никакого впечатления. Не Санта-Клаус, так мать или отец. В рождественских подарках не было для меня проблемы.

Очевидно, у человека существует какой-то запас религиозных чувств — тоже вроде шагреновой кожи, — тратится повседневно. И так как сложность жизни все возрастает, в этой возросшей сложности жизни нашей семьи для Бога у меня в моем сознании не было места. И я горжусь, что с шести лет и до шестидесяти я не прибегал к Его помощи ни в Вологде, ни в Москве, ни на Колыме.

* * *

Свой крест отец разрубил ошупью на глазах матери, язычник и шаман, и наследник шаманов, уничтожающих Бога собственными руками, как эскимос, зырянин, пермяк, чья кровь не разжижена никакой посторонней кровью от иной цивилизации с эритроцитами, несущими мир, красоту, добро. Этих эритроцитов не было в шаманской крови отца.

Действие удара топором по кресту было необычайным. С самого начала нэпа мать безуспешно пыталась связаться с Америкой, Аляской и Сиэтлом, где двенадцать лет прослужил еще в прошлом веке отец.

С начала нэпа государство стало торговать на золото по ценам царского времени, лишь бы не керенки, лишь бы не бумажки. Государственные магазины открыли товары, которым позавидовал бы сам Пантелеев — хозяин лавки, где мама брала на книжку и где только два раза в год рассчитывалась пенсионным американским золотом — такие магазины тоже были открыты.

Они принимали и валюту — но, разумеется, не бубенчик батыки Кныша — а доллары, доллары, фунты, франки, иены.

И вот вместо писем, вместо известий о старых знакомых с острова Кадьяк из Аляски вдруг пришел чек на пять долларов, чек на имя мамы. Вскоре пришло и письмо.

На острове Кадьяк был монастырь. Иосиф Шмальц сменил отца, монах Иосиф Шмальц³⁷. Он не знал отца, но работал на его месте. Вот эти пять долларов и были собраны среди обращенных алеутов на Кадьяке. Рассказать о знакомых отца монах сумел немного, но он сделал самое главное — послал деньги, спас отца. Шмальц писал, что в дальнейшем будет собирать, посылать, помогать, в этих, разумеется, — центов, долларов — пределах.

Государство самым охотным образом приняло этот чек, выслало матери квитанцию, и это решило судьбу и матери, и отца на целый ряд лет вперед.

Обнаружилась тогда интересная вещь, о которой мать сказала лишь на ухо, — доллара, если его тратить на муку, хватает очень надолго.

Родители мои воскресли. Монах Иосиф Шмальц собирал и еще несколько раз, но мало раз, увы, вскоре он умер, обеспечив моей матери и отцу бессмертие. Даже фотографии мать туда посылала и получала.

Кончилась золотоскупка, и началось царство Торгсина. Торгсин продолжался очень долго, чуть не до войны, когда отца и матери уже не было в живых и надобности в Торгсине не было.

От матери осталось даже живое золото — разрубленный кусок креста, цепочка, слоник какой-то золотой. Мать разумно пользовалась сначала квитанциями Торгсина, а золото держала в резерве. Валютных бурь она не боялась.

Вот этот разрубленный крест и эти доллары и спасли отца и мать.

Хотя у нас была большая семья, но она не выполнила главного назначения многодетных семей — пенсионного обеспечения стариков. В нашей семье дети не заплатили долга родителям. Валерий, старший сын, отказался от отца публично. Галя, старшая сестра, свой долг выполняла только символической посылкой винограда из Сухуми, винограда, неизменно гнившего в дороге. Никаких денег ни Галя, ни Валерий никогда маме не посылали.

Сергей был убит в 1920 году. Я посылал только тогда, и то в очень скромных пределах, когда не сидел в тюрьме.

Всю помощь вынесла бы Наташа, но Наташа, которую бросил алкоголик муж с двумя детьми, Наташа — медсестра с нищенским окладом — помочь не могла.

Вологжане — не такие люди, чтобы собирать бывшему попу, да еще обновленческой церкви.

Причины сохранения жизни, уверенности в своих старческих силах — в этих нищенских посылках монаха, которые, если в них разобраться, вовсе не нищенские,— а могут реально кормить реальных людей.

Мама, испытав всякое, поступала крайне расчетливо, крайне экономно. Существование отца и матери не зависело от детей.

Зачем я все это записываю? Я не верю ни в чудо, ни в добрые дела, ни в тот свет. Записываю просто так, чтобы поблагодарить давно умершего монаха Иосифа Шмальца и всех людей, с которых он собирал эти деньги. Там не было никаких пожертвований — просто центы из церковной кружки.

Я, не верящий в загробную жизнь, не хочу оставаться в долгу перед этим неизвестным монахом.

Я мог бы, наверно, и подробнее осветить эту историю, но в годы войны сожжен мой архив, где хранилось все, что осталось мне от отца и матери.

⟨1968—1971⟩

ВИЩЕРА

АНТИРОМАН



БУТЫРСКАЯ ТЮРЬМА (1929 год)

19 февраля 1929 года я был арестован. Этот день и час я считаю началом своей общественной жизни — первым истинным испытанием в жестких условиях. После сражения с Мережковским в ранней моей юности, после увлечения историей русского освободительного движения, после кипящего Московского университета 1927 года, кипящей Москвы — мне надлежало испытать свои истинные душевные качества.

В наших кругах много говорилось о том, как следует себя держать при аресте. Элементарной нормой был отказ от показаний, вне зависимости от ситуации — как общее правило морали, вполне в традиции. Так я и поступил, отказавшись от показаний. Допрашивал меня майор Черток, впоследствии получивший орден за борьбу с оппозицией как сторонник Агранова, расстрелянный вместе с Аграновым в 1937 или 1938 году.

Потом я узнал, что так поступили не все, и мои же товарищи смеялись над моей наивностью: «Ведь следователь знает, что ты живешь в общежитии с Игреком, так как же ты в лицо следователю говоришь, что не знаешь и не знал Игрека». Но это — обстоятельства, о которых я узнал в 1932 году, после моего возвращения в Москву. В 1929 же году мне казалось все ясным, все чистым до конца, до жеста, до интонации.

Следователь Черток направил меня для вразумления в одиночку Бутырской тюрьмы. Здесь, в мужском одиночном корпусе, в № 95 я и просидел полтора месяца — очень важных в моей жизни.

Здесь была возможность обдумать, продолжить и закончить дискуссию с Мережковским, начатую в школе

второй ступени. Здесь была возможность понять навсегда и почувствовать всей шкурой, всей душой, что одиночество — это оптимальное состояние человека. Написаны горы философских трактатов на тему об отчуждении — об истинном праве духовных и душевных качеств человека. Написаны десятки книг о цифровой символике, где цифра единица представляет собой самую важную цифру нашего счета — духовного, технического, поэтического, бытового!

Если лучшая цифра коллектива — два: взаимопомощь, как фактор эволюции, продолжения рода, то уже коллектив из трех человек, трех живых существ, три и больше — вовсе отличается от заветной «двойки». При двойке прощаются все ошибки, улаживаются все споры по тем же причинам, что при тройке возникают. Ребенок, семья, общество, государство. Эти бесконечные споры двоих вовсе не неизбежны, но отнюдь не идеальны.

Идеальная цифра — единица. Помощь единице оказывает Бог, идея, вера. Только здесь — во взаимной помощи, в проверке и справедливости — допустима двойка. В практической жизни эта двойка — второй человек, а может и не быть *〈человека〉*.

Достаточно ли нравственных сил у меня, чтобы пройти свою дорогу как некоей единице, — вот о чем я раздумывал в 95-й камере мужского одиночного корпуса Бутырской тюрьмы. Там были прекрасные условия для обдумывания жизни, и я благодарю Бутырскую тюрьму за то, что в поисках нужной формулы моей жизни я очутился один в тюремной камере.

Я принимался к лизолу — запах дезинфекции сопровождает меня всю жизнь.

Я не писал там никаких стихов. Я радовался только дню, голубому квадрату окна — с нетерпением ждал, когда уйдет дежурный, чтобы опять ходить и обдумывать свою так удачно начатую жизнь.

Никакой подавленности не было, точно все это — и цементный пол, и решетки — все это было давно видено мной, испытано в снах, в мечтах. Все оказывалось таким же прекрасным, как в моих затаенных сновидениях, и я только радовался.

Нам давали газеты. Если был выходной — «Правду». Впервые в жизни я так солидно *〈подначитался〉* прессы.

Заключенный сам убирает парашу, ходит на opravку по тому же звенящему железному коридору, который снят в фильме «Крах» при сцене побега Павловского. Была

прогулка в одном из тюремных дворишков с «выводным» конвоиром. Книжки же давали только ⟨по бумаге⟩, по заявлению. Обход коменданта — комендантом был толстый грузин Адамсон — ежедневный.

Одним из главных моих требований к людям и всегда было соответствие слова и деяния, «что говоришь — сделай» — так меня учили жить. Так я учил жить других. Нет вождей, нет авторитетов. Перед тюрьмой все равны.

Я надеялся, что и дальше судьба моя будет так благоклонна, что тюремный опыт не пропадет. При всех обстоятельствах этот опыт будет моим нравственным капиталом, неразменным рублем дальнейшей жизни.

Мне очень хотелось встреч в тюремной ⟨камере⟩, в свободной обстановке с вождями движения, ибо вожди есть вожди, и было бы хорошо взять у них какое-то ценное моральное качество, которым они, несомненно, обладают. Я почувствую, если не пойму, присутствие этого тайного бога. И по ряду предметов хотел бы скрестить с ними шпагу, поспорить, прояснить кое-что, что было мне не совсем ясно во всем этом троцкистском движении.

Стремление скорее встретиться с вождями движения уравновешивалось возможностью обдумать свою жизнь в камере Бутырской тюрьмы. Именно здесь, в стенах Бутырской тюрьмы, дал я себе какие-то честные слова, какое-то слово, встал под какие-то знамена.

Какие же это были слова?

Главное было — соответствие слова и дела. Я не сомневался, даже в тайниках души не сомневался в том, что уже вышел на яркий тюремный свет, пронизывающий насквозь человека.

Способность к самопожертвованию.

Я и сейчас могу заставить себя пройти по горячему железу, и не в рахметовском плане — как раз этот герой меня никогда не увлекал. И не как факир идет — просто ⟨чтобы⟩ сделать физическое движение. Я был тем сапером, который разрезает колючую проволоку. Жертва должна быть достойна цели. Вот об этой-то цели мне хотелось побеседовать где-нибудь в политизоляторе с кем-нибудь постарше. Жертва была — жизнь. Как она будет принята. И как использована.

Физические неудобства классического вида давно уже были для меня предлогом и поводом для душевного подъема. Этот подъем, который я почувствовал в Бутырской тюрьме за все полтора месяца одиночки, не был при-

поднятостью нервной, которую так часто ощущают при первом аресте. Подъем этот был ровен: я ощущал великое душевное спокойствие. Мне удалось найти ту форму жизни, которая очень проста и в своей простоте отточена опытом поколений русской интеллигенции. Русская интеллигенция без тюрьмы, без тюремного опыта — не вполне русская интеллигенция. И в Бутырской тюрьме, и раньше у меня не было преклонения перед идеей движения — тут много было спорного, неясного, путаного. Поведение мое мне отнюдь не казалось романтическим. Просто — достойным, хотя на протяжении многих лет мои старшие товарищи, старшие не по движению, а по судьбе и быту, упрекали (не упрекали, а квалифицировали, что ли) мое поведение как романтизм, тюремный романтизм, романтизм жертвы.

Как раз ничего романтического в моем поведении не было, просто я считал эту форму поведения достойной человека, может быть, единственно достойной в тот миг, в тот год для себя — без предъявления требований вести себя так. Я никого не учил, учил только самого себя. Никого не звал к подражанию. Вся романтика подражательная, хорошо освоенная людьми, меня особенно не привлекала.

В Бутырской тюрьме я выходил на какое-то особенное, определенное место в своей собственной жизни.

За полтора месяца меня вызывали два или три раза на допрос, но я, как и в начале следствия, не давал никаких показаний. Последнюю подпись об окончании следствия дал я в марте, а уже 13 апреля 1929 года пришел пешим этапом в концентрационный лагерь Управления Соловецких лагерей особого назначения — в 4-е отделение этого лагеря, расположенное (на Вишере).

Я пришел с приговором — три года концентрационных лагерей особого назначения. По окончании срока дается свидание с родными и — высылка в Вологодскую область на пять лет. Я отказался расписаться в том приговоре. Приговор был громовый, оглушительный, неслыханный по тем временам. Агранов и Черток решили не стесняться с «посторонним». Опасен был троцкизм, но еще была опасней «третья сила» — беспартийные знаменщики этого знамени.

Если оппозиция — это комсомольцы, партийцы — свои люди, над их судьбой надо еще подумать: быть может, завтра они вернутся в партии к силе. Тогда чрезмерная жестокость будет обвинением. Но беспартийному на-

до было, конечно, показать пример истинной мощи пролетарского меча. Только концлагерь. Только каторжные работы. Только клеймо на всю жизнь, наблюдение на всю жизнь.

Майор Черток вел мое следствие по статье 58, пункт 10, и 58, пункт 11,— агитация и организация. А в приговоре, в той выписке из протокола Особого совещания, которую мне вручил комендант Бутырской тюрьмы в коридоре тюремном, было сказано: «...осужден как социально опасный элемент». Я приравнивался к ворам, которых тогда судили по этой статье.

С ворами в одном вагоне отправился в лагерь на Урал. Высшие власти просили меня запомнить, что они не намерены со мной считаться как с политическим заключенным, да еще оппозиционером.

Высшая власть рассматривала меня как уголовного. Эта чекистская поэзия коснулась не одного меня.

Следствие было начато и закончено по 58-й статье. А приговор был вынесен по уголовной, как потом у писателя Костерина, которого Берия судил в 1938 году на Колыме как СОЭ. Это — традиция <не> новая.

Для Сталина не было лучшей радости, высшего наслаждения во всей его преступной жизни, как осудить человека за политическое преступление по уголовной статье. Это и есть одна из сталинских «амальгам» — самая поначалу распространенная в 1930 году в Вишерских лагерях статья.

ВИШЕРА

На каждой станции я просовывал в щель записки: перешлите в Москву, в университет, меня везут в лагерь, везут вместе с уголовниками, протестуйте, добейтесь моего освобождения... перевода к своим. Голодовку было поздно объявлять, меня взяли прямо из 67-й камеры Бутырской тюрьмы, после полуторамесячной одиночки № 95 МОКа — мужского одиночного корпуса. В этой одиночке я сидел вместе с Попермейстером, но ушел раньше, чем он.

Приговор — три года концлагеря — был по тем временам жестким. Давали ссылку, политизолятор, но со мной

было решено рассчитаться покрепче — показать, где мое место.

Со мной не было никаких вещей, никаких денег — пайка и дорожная селедка уравнивали меня в социальном отношении с обитателями вагона.

Татуированные тела, технические фуражки (половина блатных маскировалась в двадцатые годы инженерскими фуражками), золотые зубы, матерщина, густая, как махорочный дым...

Подлое мщение, удар в спину Особого совещания, великого мастера пресловутых амальгам. Но я еще мало тогда знал об амальгамах. Через четверть века, через двадцать пять лет, в 1954 году в кабинете районного уполномоченного МВД, когда я устраивался на работу агентом снабжения Решетниковского торфопредприятия, «начальник» просмотрел мои документы — «социально опасный».

— Вор?

— Да вы с ума сошли! Тогда так давали...

— Ну, не знаю, не знаю...

И я едва не был выброшен за порог.

Много раз в жизни я мог оценить пресловутую амальгаму.

В 1937 году в Москве во время второго ареста и следствия на первом же допросе следователя-стажера Романова смутила моя анкета. Пришлось вызвать какого-то полковника, который и разъяснил молодому следователю, что «тогда, в двадцатые годы, давали так, не смущайтесь», и, обращаясь ко мне:

— Вы за что именно арестованы?

— За печатание завещания Ленина.

— Вот-вот. Так и напишите в протоколе и вынесите в меморандум: «Печатал и распространял фальшивку, известную под названием «Завещание Ленина».

И полковник, любезно улыбнувшись, удалился. Было это в январе 1937 года в городе Москве, во Фрунзенской «секции революционной законности», как именовались тогда местные НКВД.

В дневнике Нины Костериной ее отцу дают в 1938-м — СОЭ. Мне этот литер давали в 1929 году. Следствие вели по 58-й (10 и 11), а приговорили как СОЭ, чтоб еще больше унижить — и меня, и товарищей. Преступления Сталина велики безмерно.

И все-таки я не один был в уголовном вагоне с пятьдесят восьмой статьей. Со второй полки глядели на меня

добрые серые глаза, крестьянские глаза молодого парня. Терешкин была его фамилия. Это был красноармеец, отказавшийся от службы по религиозным соображениям.

Вагон наш то отцепляли, то прицепляли к поездам, идущим то на север, то на северо-восток. Стояли в Вологде — там в двадцати минутах ходьбы жили мой отец, моя мама. Я не решился бросить записку. Поезд снова пошел к югу, затем в Котлас, на Пермь. Опытным было ясно — мы едем в 4-е отделение УСЛОНа на Вишеру. Конец железнодорожного пути — Соликамск.

Был март, уральский март. В 1929 году в Советском Союзе был только один лагерь — СЛОН — Соловецкие лагеря особого назначения. В 4-е отделение СЛОНа на Вишеру нас и везли.

Соседи мои хвалили вагонных конвоиров. Это хороший конвой, московский. Вот примет лагерный, тот будет похуже.

В Соликамске сгрузились — арестантских вагонов оказалось несколько. Тут было много людей с юга — с Кубани, с Дона, из Грузии. Мы познакомились. «Троцкистов» не было ни одного.

Была даже женщина — зубной врач — по делу «Тихого Дона». Этап был человек сто, чуть побольше.

Всех завели в сводчатый подвал Соликамской городской милиции, в бывшей церкви. Крошечный низкий подвал. А нас 100 человек. Я вошел одним из первых и оказался у окна, застекленного окна на полу, с витой церковной решеткой.

Коротким быстрым ударом ноги мой знакомый по вагону — опытный урка — выбил стекло. Холодный воздух хлынул в подвал.

— Не бойся, — сказал он мне. — Через десять минут здесь будет нечем дышать.

Так и оказалось. В подвале было бело от дыхания, пара, а людей все вталкивали и вталкивали. Не то что сидеть, стоять было тяжело. Люди проталкивались к двери, к тяжелой двери с «глазком», чтоб подышать. За дверь стоял конвойный и время от времени тыкал в глазок наугад штыком. Удивительным образом никто задет не был.

Начались обмороки, стоны. Мы лежали лицом к разбитому стеклу, нам было немного легче. Мы даже пускали «подышать» других.

Бесконечная ночь кончилась, и дверь в коридор распахнулась.

— Выходи!

«Выгрузка» из подвала на улицу длилась не меньше часа. Мы выходили последними. Туман в подвале уже развеялся, открылся потолок, белый, сводчатый, низкий потолок. На нем крупными буквами углем было написано:

«В этой могиле мы умирали трое суток и все же не умерли. Крепитесь, товарищи!»

Построили всех без вещей, вещи сложили на телегу. Засверкали штыки. Вперед вышел гибкий рябой начальник конвоя — Щербаков. Помощником был одноглазый Булаков — лицо его было разрублено казацкой шашкой во время гражданской войны.

Этап двинулся. Первый отрезок — километров пятнадцать.

К моему величайшему удивлению, в конвое оказался один знакомый. Я был с ним в 67-й камере Бутырской тюрьмы. Это был Федя Цwirко — начальник какой-то пограничной заставы. Он приехал в отпуск в Москву, напился в «Континентале» и открыл ночью стрельбу из маузера по квадриге Аполлона над Большим театром. Очнулся он в тюремной камере на Лубянке без ремня, со споротыми петлицами, получил три года лагерей и был отправлен в нашем же этапе. Шинель со следами от петлиц была еще на нем. Он уже успел переговорить с конвоем и перейти «на сторону победителя», — он был уже в охране, ехал как «передовой» для подготовки помещения для этапа. Я было сунулся к нему с какой-то просьбой (по Бутырмам я знал его отлично), но встретил такой отсутствующий холодный взгляд, что больше на протяжении многих лет не обращался к нему. Цwirко сделал большую лагерную карьеру — был начальником «командировки» Потьма близ Вижаихи, любимцем Берзина¹, с ним уехал на Колыму, был там начальником Северного горного управления в тридцатые годы, во второй половине, и вместе с Берзиным был расстрелян.

Идти нам было пять дней — сто с чем-то километров — до Вижаихи, до Управления 4-м отделением СЛОНа.

Уральский апрель — везде ручейки, проталины, горячее жгучее солнце бледную тюремную кожу наших лиц превращало за несколько часов в коричневую, а рты делало синими. «И кривятся в почернелых лицах голубые рты» — это сказал про весенний этап уральский сибиряк.

Идти было не тяжело. Было много привалов, сзади этапа плелись сани-розвальни, в них ехали зубная врачиха и начальник конвоя Щербаков.

Засветло мы подошли к деревне, где нам отвели две избы для ночевки — одна побогаче, обыкновенная северная изба, а другая — сарай с земляным полом, на который была брошена солома.

Весь этап вели мимо Щербакова, и, глядя в лицо каждому, начальник конвоя изрекал:

— В сарай!

— В избу!

— В сарай!

Способ этот — выбирать «на глаз» — очень распространен в лагерях, где только опытный может справиться с отбором. Как отбирают: крестьян — без промаха, блатных — без промаха, грамотных — без промаха.

Старые начальники гордились этой своей «опытностью». В 1930 году близ станции Березники выстраивались огромные этапы, следующие в управление, и вдоль рядов проходил Стуков, начальник Березниковского отделения. Люди были построены в две шеренги. И он просто тыкал пальцем, не спрашивая ничего и почти не глядя, — вот этого, этого, этого, — и без промаха оставлял работяг-крестьян по пятьдесят восьмой.

— Все кулаки, гражданин начальник.

— Горяч еще, молод ты. Кулаки — самый работающий народ... — И усмехался.

Иногда приходилось задавать вопросы.

— А нет ли здесь, — Стуков повышал голос, — нет ли здесь, кто раньше работал в органах?

— В органах! В органах! — эхом откликался этап. Работавших в органах не находилось.

Вдруг откуда-то сзади протиснулся к Стукову человек в штатском бумажном костюме, белокурый, а может быть черноволосый, и зашептал:

— Я осведомителем работал. Два года.

— Пошел прочь! — сказал Стуков, и осведомитель исчез.

У меня не было «багажа»: солдатская шинель и шлем, молодость — все это было минусом в глазах Щербакова, — я попадал неизменно на глиняный пол сарая.

Приносили кипяток, давали хлеб на завтрак, селедку, ставили парашу. Смеркалось, и все засыпали всегда одинаково страшным арестантским сном с причитаниями, всхлипываниями, визгом, стонами...

Утром выгоняли на поверку и двигались дальше. Первым же утром под матерщину, окрики проволокли перед строем чье-то тело: огромного роста человек лет тридцати пяти, кареглазый, небритый, черноволосый, в домотканной одежде. Подняли на ноги. Его втолкнули в строй.

— Драконы! Драконы! Господи Иисусе!

Сектант опустил на колени. Пинок ноги начальника конвоя опрокинул его на снег. Одноглазый и другой — в пенсне, Егоров (потом он оказался Субботиным), стали топтать сектанта ногами; тот выплевывал кровь на снег при тяжелом молчании этапа.

Я подумал, что, если я сейчас не выйду вперед, я перестану себя уважать.

Я шагнул вперед.

— Это не советская власть. Что вы делаете?

Избиение остановилось. Начальник конвоя, дыша самогонным перегаром, придвинулся ко мне.

— Фамилия?

Я сказал.

Избитый черноволосый сектант — звали его Петр Заяц — шагал в этапе, утирая кровь рукавом.

А вечером я заснул на полу в душевой, хоть и нетопленной, избе. Эти избы хозяева охотно сдавали под этап — небольшой доход для бедной пермязской деревни. Да и весь этот тракт оживился с открытием лагеря. Шутка сказать — за беглеца платили полпуда муки. Полпуда муки!

Было жарко, тесно, все сняли верхнюю одежду, и в этой потной духоте стал я засыпать. Проснулся. По рядам спящих ходил Щербаков, и другой боец подсвечивал ему «летучей мышью». Кого-то искали.

— Меня?! Сейчас оденусь.

— Не надо одеваться. Выходи так.

Я даже испугаться не успел — они вывели меня на двор. Была холодная лунная ночь уральского апреля. Я стоял под винтовками на снегу босиком, и ничего, кроме злости, не было в моей душе.

— Раздевайся.

Я снял рубашку и бросил на снег.

— Кальсоны снимай.

Я снял и кальсоны.

Сколько простоял времени, не знаю, может быть, полчаса, а может быть, пять минут.

— Понял теперь? — донесся до меня голос Щербакова.

Я молчал.

— Одевайся.

Я надел рубашку, кальсоны.

— Марш в избу!

Я добрался до места. Никто меня ни о чем не спрашивал. Мои опытные соседи, блатари, видели и не такие вещи. Я для них был фраер, штымп.

Когда этап прибыл в лагерь, принимать вышел комендант 1-го отделения Нестеров.

— Претензий к конвою нет?

— Нет,— сказали.

— Нет,— сказал Петр Заяц.

Через год я случайно встретил Зайца на улице, на лагерной улице. Поседевший, изможденный. Вскоре я узнал, что он умер.

Никогда и никто не вспоминал этого случая. Но через два года, когда я работал уже на большой лагерной работе (в те годы заключенный мог занимать почти любую лагерную должность), в наше отделение в качестве младшего оперуполномоченного был переведен Щербаков. Он счел нужным отдать мне визит, хоть и был вольнонаемным, а я— заключенным. Он пришел ко мне вечером.

— Работать вот сюда приехал.

— Как же ты думаешь здесь работать?— сказал я.

— Да ведь, слышь, тогда с нами беглецы были. Ведь нельзя было иначе.

— Да ты что— боишься, что я начальству заявление подам?

— Да нет, просто так.

— Не мели, Щербаков. Не мели и не бойся. Заявлений я никаких подавать не буду.

— Ну, до свидания.

Вот и весь наш разговор в 1931 году, летом.

Этап— первый этап в моей жизни— подходил к концу. Командировки Выя, Ветрянка и, наконец, Вижаиха— Управление 4-го отделения СЛОНа.

Этап пришел днем, и для встречи вышел сам комендант 1-го отделения Нестеров. Грузный, с иссиня выбритыми щеками, с огромными кулаками, поросшими черной шерстью. Кулаки эти заметились сразу, и не напрасно.

К Нестерову подвели поочередно тех трех беглецов, которых привел наш конвой из Соликамска (полпуда муки!).

Нестеров узнавал каждого, называл по фамилии.

— Ну,— сказал он первому.— Бежал, значит.

— Бежал, Иван Степанович.

— Ну, выбирай: плеска́ или в изолятор?

— Плеска́, Иван Степанович.

— Ну, держись.— Волосатым кулаком Нестеров сшиб беглеца с ног. Беглец лежал, выплевывая сломанные зубы на песок.

— Марш в барак! Следующий.

— Ну, а ты? Плеска́ или в изолятор?

— Плеска́, Иван Степанович!

«Плесок» — значило пожертвовать зубами, костями, но не попасть в ШИЗО — штрафной изолятор, где пол железный, где после трех месяцев выходят только в больницу, где дневальный за малейший шорох в камере ставит на камерной двери мелом крест: лишить питания на неделю.

Притом срок пребывания в ШИЗО исключается из общего срока наказания. Поэтому все выбирали «плеска́». Для самого Ивана Степановича эти сцены были развлечением, и себя он считал «отцом родным».

Через два года с этим Нестеровым ездил я в одной комиссии на Чердынский леспромхоз по поводу произвола с переселенцами-кулаками. Все они были с Кубани, леса не знали, их сгрузили тысячами прямо на снег, и они рубили себе избы по-черному. Умирили и работали на лесозаготовках. Голод. За буханку хлеба матери приводили начальству дочерей.

Вот в чердынской гостинице ужинал я с Иваном Степановичем Нестеровым. Котлет у него с собой был целый огромный баул. Мороженые котлеты ему супруга изготовила, опытная северянка. И вся наша комиссия жила этими котлетами. В эту поездку я рассмотрел очень близко знаменитые нестеровские кулаки. Кулаки, верно, были тяжелы, волосаты.

Все казалось, что я читаю хорошо знакомую книгу. И было очень трудно. Как я должен вести себя с начальством? С уркачами? С белогвардейцами? Кто мои товарищи? Где мне искать совета?

Разве можно допустить, чтобы про меня сказали что-либо нехорошее? Не в смысле лагерных установлений и правил, а некрасивый поступок любой. Как все продумать? У кого найти помощь?

Уже осенью 1929 года я знал, что все мои товарищи по университету, те, кто был в ссылке, в политизоляторе, вернулись в Москву. А я? Я пробовал писать — никакого ответа.

Я написал заявление, ничего не прося, просто: «Присоединяюсь к заявлению Раковского», которое мне казалось наиболее приличным из написанного «возвращенцами».

Вскоре меня вызвал заместитель начальника лагеря Теплов.

— Вы подавали заявление?

— Да.

— У вас есть жалобы? Просьбы?

— Никаких просьб и жалоб нет.

— Хорошо. Ваше заявление будет отправлено в Москву.

С этим заявлением я встретился в 1937 году на следствии. Заявление было просто приобщено к делу, а мне не было сообщено ничего. А я ведь ждал этого ответа.

К этому времени я твердо решил — на всю жизнь! — поступать только по своей совести. Никаких других мнений. Худо ли, хорошо ли проживу я свою жизнь, но слушать я никого не буду, ни «больших», ни «маленьких» людей. Мои ошибки будут моими ошибками, мои победы — моими победами.

Я возненавидел лицемеров. Я понял, что право приказывать дается тому, кто сам, своими руками умеет делать все то, что он заставляет делать других. Я был нетерпелив, горяч.

Блатная романтика не привлекала меня. Честность, элементарная честность — великое достоинство. Самый главный порок — трусость. Я старался быть бесстрашным и несколько раз доказал это.

Ушли обрадованные беглецы — ведь и дело не будут заводить, вот счастье, вот золотой мужик Иван Степанович.

Дополнительного срока тогда за побег не давали. Чаще всего убивали в побеге. Но если приводили назад — ничего, кроме побоев или изолятора, беглецам не грозило.

Нас привели в новый барак, новую девятую роту сделали из нашего этапа, а командиром роты был назначен Раевский, бывший офицер.

Он несколько раз нас построил. Подрепетировал.

— Здравствуй, девятая рота!

— Здра! — И отпустил нас в барак.

Чистенький, новенький. Нары везде сплошные.

Нары вагонной системы были только в бараке лагерной обслуги в четвертой роте. Здесь была не только «ва-

гонка» — все нары были скреплены общей проволокой, и вся система нар качалась от движения каждого, кто сел на нары или влезал вверх. Поэтому барак четвертой роты был всегда наполнен мелодичным шумом — негромким скрипом. К этому проклятому скрипу надо было привыкать.

Огромная площадь лагеря, «зона», как ее называли в будущие годы, была окружена проволокой с караульными вышками, с тремя или четырьмя воротами, откуда выходили на работу арестанты.

Слова «зэк» не было тогда. Лагерь блестел чистотой. Чистота, порядок были главным достижением лагеря, предметом неустанных забот многочисленной его obsługi. Еще бы!

На каждую арестантскую роту в 250 человек (на это количество и был рассчитан барак типовой) назначались (из заключенных и обязательно по бытовой статье) командир роты, нарядчик, три командира взводов, завхоз, шесть дневальных, один из которых был хлеборезом.

Вся уборка и барака и зоны велась всегда обслугой — работяг не трогали никогда.

Потом, когда стали экономить, сократили командиров взводов до двух человек (ночного и дневного дежурных), дневальных стало 3 человека (ночью не дежурили), а дневальный вставал на час раньше, чтоб вынести огромную парашу, которая на ночь ставилась у дверей барака. И упаси боже было выйти и помочиться мимо. Ночные бессонные дежурные командиры лагеря сновали по зоне непрерывно, и человек, вышедший помочиться не в парашу, рисковал не вернуться в барак.

Бараки стояли рядами. Летом вечерняя поверка и сдача дежурства проводилась в 7—8 часов. Арестантов выстраивали около барака, командир роты писал «строевку», и два коменданта — сдающий дежурство и принимающий — двигались быстро вдоль выстроенных арестантов. Каждый командир роты рапортовал. Рота стояла по команде «смирно».

— Здравствуй, девятая рота!

— Здра!

— Вольно.

Этим процедура ежедневной поверки кончалась. После звонка в рельс каждый мог заниматься своим делом до 10 часов вечера, до отбоя.

В лагере не было никаких клубов, красных уголков, никаких газет. Все это появилось позднее, после «переков-

ки». Лагерные рассказчики, певцы, частушечники развлекали особенно в тех бараках, где жили блатные покрупнее.

Тогда еще не было никакого «сучьего» движения. «Суки» были одиночки, вроде Сергея Попова — коменданта из блатарей. Блатные жили по должности — то в бараке обслуги, то в рабочем бараке. Статьи были все перемешаны.

Одежда была своя, вольная, и только по мере того, как она изнашивалась, арестанту выдавали казенное — брюки солдатского сукна, бушлаты солдатского сукна, ушанки-«соловчанки» солдатского сукна. Словом, весь наряд арестанта был точной копией арестантской одежды царского времени и по материалу, и по покрою.

Кормили тогда по-особому. Еще никто не додумался сделать из пайки средство выколачивания плана — каждый получал один и тот же казенный паек, арестантскую пайку. Каждый имел право на восемьсот граммов хлеба, на приварок — каши, винегреты, супы с мясом, с рыбой, а то и без мяса и без рыбы — по известным раскладкам на манер тюремных.

Хлеб выдавался на каждый барак, и хлеборез барака резал пайки с вечера. И каждому клал на постель его пайку. В лагере никто не голодал. Тяжелых работ не было. На работе никто не понукал.

Дневальные приносили к обеду в бачках суп и второе, и тот же хлеборез раздавал суп и кашу черпаком. Мясо было порезано на кусочки и выдавалось с весу. Вечером давали то, что положено вечером.

За работу не платили никаких денег. Но ежемесячно составляли списки на «премию» — по усмотрению начальников, и по этим спискам давали два, три, редко пять рублей в месяц. Эти два рубля выдавались лагерными бонами — деньгами вроде «керенок» по размеру, с подписью тогдашнего деятеля лагерей Глеба Бокия. Эти лагерные бонны стоили гораздо выше, чем вольные деньги. В лагере был магазин, где можно было купить все что угодно.

Была в лагере и столовая — ресторанного типа, только для заключенных, где принимались деньги — бонны. И где, например, порция антрекота стоила пятнадцать копеек. Так что двухрублевая премия ежемесячная кое-что значила. Кроме того, каждый имел на руках «квитанцию» на сумму, которую можно было истратить в лагерных магазинах. С этой суммы «списывал» завмаг красными чернилами, а лагерная бухгалтерия делала расчеты. Словом, по тюремному типу.

Тем, кто имел деньги из дома, начальник разрешал выдachu — или квитанцией, или бонами. Бонами стали рассчитываться с конца 1929 года, во время перековки. «Касса № 2» — так назывался по-бухгалтерски расчет этими бонами. А квитанционный, тюремный, расчет был отменен.

Было трудно и обидно, что и товарищам я нужен для какой-то их игры, что то, что мной сделано, было лишь мелкой монетой в каких-то расчетах.

Трудно было быть одному — месяца и годы среди чужих людей, ненавидящих мои «преступления». Но с каждым днем я чувствовал себя все крепче — душевные силы нашлись, оказывается, у меня. То ли воздух уральский горный был слишком целебен. То ли я молод был очень тогда.

Впоследствии я узнал, что товарищи не бросили меня, что они тщетно пытались со мной связаться и, думая, что лагерь, каторга — это нечто вроде ссылки, писали мне туда много и неосторожно. Об этом мне пришлось узнать в следственных органах. Но все это было много позднее, а сейчас я был один — один среди тысяч.

В один из первых в моей жизни «разводов» я увидел какие-то три ящика, поставленных около «вахты».

Я спросил у соседа, что это.

— Беглецы! Трупы!

Вперед выходила какая-то фигура в шинели.

— Вот так будут поступать со всеми беглецами.

Значит, отсюда бегут.

Я работал на лесозаводе, таскал бревна, доски.

Помню, той же весной в один из первых дней всю нашу партию отвели в глубокий снег, — а под снегом вода, и ноги промокли мгновенно, — чтобы дать дорогу лошади с санями порожняком. Так понял я, что лошадь ценится больше человека.

Помню еще первую лагерную баню, где раздевались прямо на улице, а была еще весна, продувало холодным ветром, и давали ковш воды: что тут было мыть? Как мыться? Белье было мокрое, холодное...

Я работал на лесоповале, таскал бревна, доски.

Меня отыскал Матвеев, ротный нарядчик:

— Ты грамотный, кажется. Хочешь идти ко мне табельщиком?

Нарядчику помогал тогда и помощник. Это было еще до перековки, весной 1929 года.

— Надо подумать!

— А чего тут думать? Идем завтра же к Николаю Ивановичу.

Николай Иванович Глухарев был в лагере начальником отдела труда, ведающего использованием рабсилы. Так как никаких «завоевательных» планов насчет заключенных у начальства в то время не было и арестантский труд — само собой считалось — есть труд низкой производительности (главный секрет будущей перековки и был в плане, в перевыполнении нормы, в процентах). Даже будущие «дома свиданий» (они так и назывались — «дома свиданий») рассчитаны были на перевыполнение нормы, не говоря уже о подписке на заем, о шкале питания, о сборе подписей под Стокгольмским воззванием и прочих высотах злобного и изобретательного ума, всевозможных вариациях лозунга «кто не работает, тот не ест».

В лагере 1929 года было множество «продуктов», множество «обсосов», множество должностей, вовсе не нужных у хорошего хозяина. Но лагерь того времени не был хорошим хозяином. Работа вовсе не спрашивалась, спрашивался только выход, и вот за этот-то выход заключенные и получали свою пайку.

Считалось, что большего спросить с арестанта нельзя.

Зачетов рабочих дней не было никаких, но каждый год, по примеру соловецкой «разгрузки», подавались списки на освобождение самим начальством лагеря, в зависимости от политического ветра, который дул в этот год, — то убийц освобождали, то белогвардейцев, то китайцев.

Эти списки рассматривались московской комиссией. На Соловках такую комиссию из года в год возглавлял Иван Гаврилович Филиппов, член коллегии НКВД, бывший путиловский токарь. Есть такой документальный фильм «Соловки». В нем Иван Гаврилович снят в своей наиболее известной роли: председателя разгрузочной комиссии. Впоследствии Филиппов был начальником лагеря на Вишере, потом — на Колыме и умер в Магаданской тюрьме, не дождавшись конца следствия по делу Берзина. Но о Филиппове рассказ мой впереди.

Списки, рассмотренные и подготовленные приезжей комиссией, отвозились в Москву, и та утверждала или не утверждала, присылая ответ через несколько месяцев.

«Разгрузка» была единственным путем досрочного освобождения в то время.

Николай Иванович Глухарев, начальник отдела труда (в будущем этот отдел был реорганизован в УРС²), был

черноморский матрос, участник революции, потом чекист московский, попавший по служебному преступлению не то за взятку, не то за превышение власти.

Всегда в тельняшке, в вольном каком-то темно-синем кителе, красавец Николай Иванович хотел людям только хорошего и рад был оказать помощь всякому человеку. Следствие не укрепило в нем классовых позиций. И хотя им никто не командовал и подбор штата зависел исключительно от него самого, мне кажется, что некоторые тайные подарки он получал — от блатных главным образом. У него было два заместителя: Остап Семенович Козубский — украинский какой-то деятель, осужденный на 5 лет, и Руденко — бывший жандармский полковник. Козубский управлял своим царством (разнарядки по всему лагерю) охотно и с энергией, Руденко — довольно вяло. Срок у Руденко был тоже пять лет. В те времена больших сроков не давали, и осужденных на десять лет в лагере на две тысячи человек было всего двое — их все знали, показывали пальцем на них. Большие сроки принесла перековка, то, что шло за перековкой. Среди нарядчиков было много блатарей, причем самых видных.

Старший нарядчик, выполнявший функции помощника Козубского, был потомственный блатарь Николай Иванович Кононов — парень лет тридцати. Нарядчиком четвертой роты (обслуги), где все дело было в табеле и подаче рапортичек, работал Володенков — блатарь лет сорока. Еще были блатари, и даже мне в помощь был дан блатарь Баранов, но на его советы «оставить дома кого-то» я ответил резко, он пообещал пожаловаться Кононову, но дело кончилось ничем. У Глухарева Кононов, по видимому, не нашел поддержки.

В отделе труда была задняя комната — «картотека», где работало несколько украинцев под началом Алешки Ожевского. Это уже была фигура, известная мне по процессу украинских националистов.

Ожевский и его помощники с шумной и чуждой им компанией нарядчиков не общались вовсе. Делопроизводителем отдела труда, сидевшим вместе с нами, был старик Маржанов Федор Иванович, кажется, десятилетник.

Это был живой старик, который вечно вмешивался со своими замечаниями, не оставляя ни одного нарядчика в покое.

Его провокационные разговоры вывели меня из терпения, и в споре с ним я сказал:

— Вы, Федор Иванович, наверняка в царской полиции служили.

Боже мой, что было. Маржанов стучал кулаком по столу, бросал бумаги на пол, кричал:

— Мальчишка! Дворянин не мог служить в полиции!

На шум вышел из своей комнаты Глухарев (он жил за картотекой в кабинке), но, узнав, в чем дело, рассмеялся.

После этого случая я был оставлен в покое Маржановым — перестал для него существовать.

Была в лагере больница, была амбулатория, но я туда не обращался, а медики жили жизнью особой. Впрочем, во главе санитарного отдела стоял вовсе не медик. Им был некто Карновский, самый обыкновенный лагерный администратор.

Начальник санчасти нашего отделения, «доктор» Жидков, тоже не был ни доктором, ни врачом, ни фельдшером, он был студентом медицинского факультета, как он сам говорил, а сидел за то, что был провокатором в царской охранке. Лет ему было не больше сорока.

Штат его был подобран по принципу, неоднократно декларированному Жидковым.

— Был бы честный человек. Спирт не выпьет, а медицинские знания — это дело десятое.

Это «десятое» дело привело к огромной распространности цинги. Цингой болели сотни людей, передвигались на палочках по лагерю. И лечили цинготников не врачи, а начальники.

У моего командира роты Васьки Журавлева были черные пятна по всему телу, половина тела была в цинготных пятнах.

А у Василия Ивановича, нарядчика, не было пальцев на правой руке. Василий Иванович был саморуб.

Я понял, что лагерь открылся мне еще не весь.

Воскресенье было днем отдыха. Почему-то весь лагерь сбежался к проволоке — от вахты дорога на север уходила вверх, и сейчас на этой дороге в жаркий летний день что-то двигалось.

Двигалась только туча пыли, медленно поднимаясь откуда-то издалека вверх. Туча подползла ближе, сверкали штыки, а туча ползла и ползла. В десяти шагах от лагеря туча остановилась. Это был этап с севера — серые бушлаты, серые брюки, серые ботинки, серые шапки — все в пыли. Сверкающие глаза, зубы незнакомых и страшных чем-то людей.

«Этап с севера».

Понятно, этап с севера — с лесозаготовок, где рубят руки, где цинга губит людей, где начальство ставит «на комарей» в тайге, где «произвол», где при переходах с участка на участок арестанты требуют связывать им руки сзади, чтобы сохранить жизнь, чтоб их не убили «при попытке к бегству».

Я помню эту тучу пыли и сейчас.

С недавнего времени по лагерю ползли слухи, что меняется начальство, что в Соловках аресты начальников, что и наш лагерь накануне больших перемен. К лучшему? К худшему?

Бежал Володенков, нарядчик, на моторной лодке вместе с мотористом.

Бежал Кононов, старший нарядчик, лесами ушел.

Приехала московская комиссия, расстрельная комиссия. Начальник управления Муравьев был арестован. Арестован был, к моему величайшему удивлению, Николай Иванович Глухарев — за взятки, за связь с блатарями. Пять лет получил он «довесок» и ушел работать монтером на строительство. И по зачетам освобожден.

Приехал новый директор строительства Вишхимза — Эдуард Петрович Берзин, бывший командир латышской дивизии, герой дела Локкарта. С ним приехало много латышей — нового лагерного начальства: Лимберг, Теплов, Вальденберг.

ОГПУ были переданы исправдома, начиналось широкое лагерное строительство — перековка. Концлагеря были переименованы в исправительно-трудовые. Население арестантское росло. День и ночь шли поезда, этап за этапом. 4-е отделение Соловков было преобразовано в самостоятельный лагерь УВИТЛ³. Общее количество заключенных в нем к январю 1930 года достигло 60 тысяч. А в апреле, когда пришел наш этап, было только две тысячи.

Открыли Темники, Ухта-Печору, Караганду, Свирлаг, Бамлаг, Дмитлаг...

Наш лагерь был «опытным хозяйством» перековки.

Весной двадцать девятого года в отделе труда познакомился я с Александром Александровичем Тамариным.

К вечерней «разнарядке» — назначению на завтрашние работы — пришел огромный седой старик, грузный, большерукий.

— Вот заявка, — протянул он бумагу Козубскому.

— Хорошо, вот из третьей роты Шаламов и пошлет.

— Трех человек, только тех, что были раньше, я фамилии сейчас дам. А вы новенький?

— Новенький,— ответил за меня Козубский,— и из самой Москвы, Александр Александрович.

— Вот что. А что же вы делали в Москве?

Седой старик повернулся ко мне.

— Учился в университете.

— Вот что. Вы не могли бы завтра, после развода, ко мне зайти? В сельхоз, на тот берег.

— На вахте не пустят,— сказал Козубский.

— Пустят, я скажу. К Тамарину, скажете, в сельхоз.

Старик ушел.

— Это Тамарин Александр Александрович, агроном сельхоза,— объяснил мне Козубский.— Это человек не простой.

На следующий день я был в сельхозе. Огромные оранжереи, парники— дело было ранней весной,— подготовленные рассады, зелень, теплый парниковый запах земли. Седой огромный старик в татарском бешмете. Две женщины около него— одна такая же огромная, как он, с таким же огромным носом и такая же седая, другая— маленькая, с желтым сморщенным лицом, маленькими ручками.

— Моя мама,— указал Тамарин на седую женщину.— И моя сестра.

Я поздоровался.

— Я писал раньше обзоры в «Комсомольской правде»,— сказал старик.— «Тамарин-Мерецкий»— такая подпись. В отличие от просто Тамарина... Тамарин— это псевдоним Окулова Алексея. Знаете такого писателя?

— Да, слышал. Крестьянский писатель.

— Ну, крестьянского в нем ничего нет.

— Мне нравится здесь, на Севере. И маме нравится. Маме восемьдесят шесть лет, и она всю жизнь прожила на юге. И сестре нравится. Она работает машинисткой в конторе. А я вот увлекался с юности цветами— пригодилось.

Александр Александрович вздохнул. Он дал мне журналы, книги, и мы распрощались. Разговоры с Тамариным, сельхоз на том берегу, тишина оранжерей...

— Вы еще молоды. Очень молоды. Но старше— будете ценить тишину. Мне— шестьдесят пять.

Срок у Тамарина был три года, три года концлагерей.

Александр Александрович был не Тамарин и не Мерецкий. Настоящая его фамилия была Шан-Гирей. Он был татарский князь из свиты Николая II. Когда Корнилов шел на Петроград, князь Шан-Гирей был начальником штаба пресловутой «Дикой дивизии». А потом по призыву Брусилова Шан-Гирей перешел на службу в Красную Армию, командовал корпусом в гражданскую войну. Корпус Тамарина принимал участие в операциях против Энвер-паши, против басмачей. Энвер был разбит, но ушел из окружения, перешел границу и исчез, а Тамарин был обвинен в военных ошибках, в помощи бегству Энвера. Тамарин был демобилизован из Красной Армии, жил в Москве, работал в газетах. Вскоре был арестован и заключен в концлагерь на три года. Любитель цветоводства и огородничества стал агрономом сельхоза.

— На досуге подумайте,— говорил мне Александр Александрович.— Царские офицеры, особенно высшие, вовсе не были бездельниками. Каждый знал, и хорошо знал, какую-нибудь рабочую профессию. Граф Игнатьев — кузнец, и хороший кузнец, я — агроном, цветовод, а полковник Панин, что пришел с вами одним этапом,— великолепный столяр. И сейчас заведует столярной мастерской.

Да, позднее я знал еще замечательного мастера парикмахерского дела — забыл его фамилию... Тот был тоже, как и Тамарин, близок царскому двору.

— После революции,— рассказывал он,— я понял, что спасти меня может только ремесло. Не профессия, а именно ремесло. Вы понимаете меня? Я пошел к своему парикмахеру, который брил меня каждый день в течение десяти лет для двора. Тот за полгода научил меня всем премудростям. И вот я — парикмахер. Высококвалифицированный мастер. И в лагере не пропаду!

— Да и здесь, на Вишере, из трех лагерных дежурных комендантов только один — бывший штабс-капитан Александров — дежурил так, что сто дневальных и тридцать взводных боялись задремать хоть на секунду.

— Когда меня освободят — мне осталось меньше года,— я останусь здесь навечно. Маме здесь нравится, сестре тоже.

Эти беседы в сельхозе были очень хороши. Но продолжались они недолго. Внезапно Александр Александрович был вызван в Москву.

— На освобождение, — уверяли все.

— Нет, это не на освобождение, — говорил Александр Александрович, — это другое.

Мы расцеловались, и я не думал, что встречу его когда-нибудь.

Но через несколько месяцев в Березниках на пересыльный пункт «Ленва», куда я был переведен работать, прибыл из Москвы спецконвой. Конвоиры ушли обедать, а тот, кого они везли, сидел в камере на чемоданах и смотрел в окно, курил. Человек был сед, небрит. Орлиный профиль его был очень знакомым.

— Александр Александрович!

Мы расцеловались, и Тамарин рассказал свою историю.

За эти три года, что он сидел, за границей вышли многочисленные мемуары. И в каких-то воспоминаниях говорилось, что Энвер, старый знакомый Шан-Гирея — Тамарина, переписывался с ним во время гражданской войны, чуть ли не встречался. И Тамарин помог Энверу бежать.

— Но ведь это провокация, Александр Александрович. Ведь это делается для того, чтобы огорошить, вызвать подозрения. Это же...

— Конечно, провокация. Цель Энвера я очень хорошо понимаю. Скомпрометировать меня в глазах советской власти. К тому же лично я Энвера действительно знал. Был с ним знаком. Мое дело пересмотрели и дали мне десять лет. Даже старые почти три года не зачли. Будет мне семьдесят пять, когда освобожусь. А маме — девяносто пять. — Александр Александрович улыбнулся. — Я просил одного — пошлите меня на старое место, на Вишеру, в сельхоз. Там я и умру. Меня и послали обратно.

Мы расцеловались, и больше я Тамарина не видел. Но кое-что знаю о нем. Когда Александр Александрович вернулся обратно, директор Вишхимза был уже новый — Эдуард Петрович Берзин. Берзин, старый чекист, очень хорошо понимал механизм подобных провокаций и, веря в человека, а не в бумагу, принял горячее участие в судьбе старика Шан-Гирея. Тамарин представлен был им на сокращение срока, а в 1932 году Берзин, уезжая на Колыму, взял Тамарина с собой, и Александр Александрович стал заведующим КОС — Колымской опытной станцией, работавшей по изучению и внедрению на Севере сельского хозяйства. Именно Тамариным заложены основы сельского хозяйства на Крайнем Севере. В 1935 году, когда

Дальстрой отмечал свое трехлетие, Александр Александрович Тамарин был награжден орденом Ленина. Судимость с него была снята. Тамарин умер на Колыме глубоким стариком, не дожив до ареста Эдуарда Берзина как японского шпиона. От всей свистопляски 37—38-х годов Тамарина избавила смерть. Все друзья последних лет жизни Александра Александровича — Берзин, Майсурадзе, Егоров, Лагин — расстреляны. До реабилитации их оставалось очень много лет. Александр Александрович, умерший раньше этих расстрелов, не нуждался в реабилитации.

Что там за люди были на Вишере летом двадцать девятого года до перековки?

Было большое количество блатарей, которые работали тогда и нарядчиками. Кононов, Володенков, Баранов — все они были «люди» преступного мира.

Был Карлов, пятидесятилетний карманник, грузный, опухший человек с огромным животом и пухлыми короткими пальцами. С огромной лысиной, остриженными длинными поповскими волосами, голубоглазый, Карлов носил кличку «подрядчик», и можно только поражаться точности этой клички. Пальцы Карлова были пухлы, короткие, и он был искуснейшим карманником, признанным мастером этого дела. Много позднее, в тридцатых годах, довелось мне читать в «Правде» об аресте Карлова — он много лет орудовал в Москве, в вокзальной уборной, одеваясь, раздеваясь, умывая руки и не теряя из виду чужие бумажники.

В конце двадцатых годов он был признанным «авторитетом» воровского мира, мира уркачей. Ни одна правилка — «суд блатарской чести» — не обходилась без его участия.

Среди блатарей есть два мнения о «товариществе», о помощи сильным слабым. Одни считают, что «большой» блатарь должен помогать малому в организации краж, например, а другие считают, что молодой «уркач» должен сам доказать свои способности, свою принадлежность к блатному миру, суметь себя «прокормить». Карлов как раз держался второй точки зрения.

«Урчите, ребята, урчите, а у меня не просите», — таков был его постоянный совет.

В лагере он работал поваром в той самой столовой для заключенных, где продавались антрекоты на лагерные боны.

Карлова вызывали и пред светлые очи начальства. Большое лагерное начальство любит поговорить с блатаря-

ми, и блатарям это известно. Я был свидетелем такого разговора, происходившего у начальника ГУЛАГа Бермана с Карловым. Показ невиданного зверя происходил в коридоре административного управления лагеря.

— Ну, как ты живешь? Жалоб нет? — спросил Берман.

— Нет, — ответил Карлов. — Да и почему бы, гражданин начальник, ко мне относиться плохо? Крови рабочих я не пил, да и нынче, — «подрядчик» посмотрел на петлицы Бермана, — ромбов не ношу...

— Уведите его, — сказал Берман.

Так и кончилось это свидание.

Блатной мир двадцатых годов еще соблюдал «старые заветы»: за оскорбление матерной бранью блатарем блатаря виноватого загоняли под нары, били, а в начале века, говорят, убивали.

Хранителями преданий выступали и два, как их звали, «каторжанчика», и несколько старых блатарей, изведавших еще царские арестантские роты и носивших кличку «староротский», или просто «ротский».

«Каторжанчик» значило, что арестант побывал на Сахалине или на Байкало-Амурской «колесухе». К лингвистическому спору Тимофеева и Ожегова о разнице в значении слова «каторжник» и «каторжанин» можно добавить еще один оттенок воровского «каторжанчика».

«Каторжанчики» и «староротские» — блюстители традиций, хранители истинной веры — были непременными участниками всех воровских «судов чести».

В воровском мире правят не наиболее сильные или наиболее удачливые «добытки», а правит потомственная воровская аристократия. Конечно, нужен какой-то «душок», какая-то определенная смелость, близость слова и дела, но решение вопросов воровского мира зависит не от «чужаков», как бы они ни были удачливы и признаны. Эти «чужаки» всегда одиночки и стоят несколько в стороне (не по собственному желанию) от внутренней жизни блатарей. «Чужаки» помогают, работают с ними вместе, но глубина блатного мира закрыта для них.

Среди этих чужаков есть много удачливых, даже знаменитых налетчиков, прославленных «медвежатников», осужденных много раз за грабежи, убийства и ограбления.

Их уважают и побаиваются. Такой «тяжеловес» может блатарей пристукнуть запросто и их за людей не считает.

В двадцатых годах на Вишере таким прославленным тяжеловесом был медвежатник Майеровский, Першин-

Майеровский. Уже позднее, в тридцатых годах, Майеровский ограбил Московский кожаный институт, взломав там несгораемый шкаф, совершил подряд несколько ограблений. Майеровский работал в Ростокине заведующим гаражом. Его арест и прошлые подвиги описывала «Правда».

Я знал Майеровского хорошо. Он был грамотен и получил кое-какое образование. Родной брат его, как говорили, был одним из видных работников ОГПУ. Черноволосый, лет тридцати, Майеровский работал дневальным в одной из лагерных рот. Был любитель поговорить о прочитанных книжках и художник неплохой, очень способный акварелист. Все, что рисовал — а он рисовал много, — было порнографического содержания. У меня был даже от него подарок — акварель на промокательной толстой бумаге, Майеровский подарил ее вместе с рамочкой, снабженной занавеской, но однажды, вернувшись домой, я не нашел под занавеской картины — кто-то взял на память.

В самом конце двадцать девятого года Майеровский был арестован и послан в ШИЗО за подделку собственноручных записок Ивана Гавриловича Филиппова в магазин на вино. Магазин был общий — для вольных и заключенных. Старику Филиппову был предъявлен магазинный счет на какое-то несусветное количество самого дорогого вина, которое было выдано магазином по запискам Филиппова. Филиппов, тяжелый сердечный больной, и капли вина не пил, а в магазин посылал только в одно из воскресений — за вином для гостей. Но еще до того, как началось следствие, Филиппов потребовал к себе «свои» записки из магазина.

— Все мои, — сказал он, внимательно пересмотрев бумажки. — Выпустите Майеровского.

Клуба в лагере не было (клубная деятельность началась с «перековки»), и каждый вечер, незадолго до отбоя, жаждущие «хавать культуру» собирались возле третьей роты, где жил Пименов, уже пожилой блатарь. Он долго себя упрасивать не заставлял и пел приятным тенорком «Соловецкое»:

Каждый год под весенним дождем
Мы приезда комиссии ждем...—

и многое другое, сложенное тут же, на Вишере. Он был импровизатор, частушечник, лагерный Гомер, творец эпоса.

«Классическое» пение исполнялось тоже блатарем, помоложе Пименова. Фамилия его была Рахманов.

Помню я ночь осеннюю, темную —
В легких санях мы неслись втроем...—

и прочая блатная классика.

Пел Рахманов и «фраерские» песни — «Кочегара», «Подружку». Тенор у него был отличный, толпа всегда собиралась возле завалинки, где напевал Рахманов.

В хорошую погоду пели чуть ли не каждый день и только блатные.

Перековка и все, что стоит за словом «Беломорканал», еще не нашло себе правильной оценки ни со стороны юристов, ни со стороны писателей.

Перековка — не только яркий пример догмы мертвого теоретического построения (чудодейственное воспитание трудом, благотворное влияние среды и т. д., по политграмоте Коваленко), в жертву которому приносились жизни и души людей.

Начальники-практики давно знают цену этой перековке.

Это и яркий пример лицемерия, призванного скрыть далеко идущие цели.

Перековка ворами была разгадана с первого дня.

Проценты перековывания были не большими, чем обычный процент «завязавших», «сук» и т. д.

Воровские кадры были не только сохранены, но необычным образом укреплены перековкой. Каждый блатарь был готов перековаться и явиться «Коськой-капитаном» из погодинских «Аристократов». Блатари очень живо чувствуют «слабину», дырку в том неводе, который власть пытается на них набросить.

Какой начальник рискнет связываться с блатарем, если тот решил перековаться, требует перековаться? Какой лагерный начальник, будучи убежден, что перед ним — обманщик, лжец, рискнет не выполнить приказа свыше, «новой установки», о которой блатари осведомлены не хуже лагерного начальства?

Такому «начальничку» (блатари их так и зовут в глаза и за глаза — «начальнички») блатари не будут давать никаких взяток. Они будут требовать «свое»: они хотят перековаться, они требуют внимания, помощи. Они и сами могут оказать помощь. Ведь, по мнению правительства, они — «друзья народа».

Пресловутая 35-я статья превратилась из клейма в подобие медали.

А уж начальники-новички, необстрелянная в лагерной работе молодежь, те и впрямь видят в каждом блатаре Костю-капитана.

И выходит, что отличить «случайного преступника» от злостного рецидивиста необычайно трудно, практически невозможно.

Этим пользуется преступный мир. Нужен процент? Вот справка, что я целый год каждый день выполняю по 200% нормы. Справка с подписями и печатями. Ведь по поводу каждой справки не будешь вести особое следствие. Да и следствие ни к чему не приведет — все подписавшие справку подтвердят всё и лично, ибо и они боятся блатарей больше, чем автора перековки.

Так рождается и царствует пресловутая туфта. Так рождается поговорка:

Без туфты и аммонала
Не бывало бы канала.

Начальство видит явную ложь — все лодыри, все профессиональные тунеядцы представили справки: на высокий паек, на высокий процент.

В забоях начинают играть на «кубики» с бригадирами. Но «кубики», то есть выполнение плана, поставленные на карту в буквальном смысле слова, — это еще небольшое зло.

Хуже то, что пять блатарей представили фальшивую, завышенную справку. Значит, у кого-то (у «чертей», у «мужичков») надо убавить, чтоб свести больше нормировщику, мастеру, десятнику.

Значит, кто-то должен мучиться, обрабатывая блатарей, которые ведь будут из-за своих высоких процентов представлены и на досрочное освобождение.

Ведь всю эту механику блатарей понимают очень хорошо. Оказывается, можно не работать, получать благодарности, и высокий паек, и зачеты рабочих дней. И досрочно освобождаться. Трудовой подвиг блатаря.

Перековка открыла, что унижительность принудительного труда — сущие пустяки, пережитки наивного XIX века, что из заключенного можно не только и не столько «выбивать» работу, а лишь достаточно ударить по животу и угрозой голода заставить арестанта работать, перевыполнять план. Довольно сентиментальностей. Заключение будут сами пожирать друг друга, сами будут охра-

нять друг друга — выписывать наряды, проверять, давать и принимать работу.

Перековка на Беломорканале привела к страшному растлению душ — и заключенных и начальства — и именно из-за процентов, из-за выполнения плана.

Перековка провозглашала, что только в труде, активном труде — спасение. Маленькие сроки перестали давать — сыпались пятерки и десятки, которые надо было разменивать по «зачетам рабочих дней». Теоретически считалось, что срок — «резинка»: хорошо работаешь, выполняешь высокий процент — получаешь большие зачеты, выходишь на волю.

Плохо работаешь — тебе могут и сверх твоей десятки добавить.

Было опытным путем доказано, что принудительный труд при надлежащей его организации (без всяких поправок на обман и ложь в производственных рапортчиках) превосходит во всех отношениях труд добровольный.

И это касалось не только черных работ, неквалифицированного труда. Нет, даже инженеры, осужденные по так называемым вредительским процессам, работали по своей специальности (или по любой специальности интеллигентного труда) лучше, чем вольные специалисты. Я участвовал в большом количестве совещаний по этому поводу и хорошо помню примеры, доказательства.

Лагерь, перестроенный на деловую ногу, уже не терпел той ненужной обслуги, а каждого человека старался использовать, чтобы он давал доход.

Эта деляческая сторона перековки была ее душой.

Перековка показала, как легко человеку забыть о том, что он — человек. Была создана, все сложнее и тоньше год от году, система поощрения. Святая тюремная пайка была заменена питанием по тонко разработанной шкале так, чтобы каждый рабочий час и день отражался на еде будущего дня; обычно питание менялось раз в десятидневку, иногда в пятидневку, а позднее на ключе Алмазном с вечера объявляли, кому не дадут хлеба завтра.

Вместо восьмисотки арестант стал получать трехсотку, пятисотку, шестисотку, семисотку, восьмисотку и килограммную пайку. Целая гамма ударов по желудку. А приварок, начав с премиальных блюд, перешел на стахановское, ударное и производственное питание — и далее до 8 различных пайков.

Лагерь — его устройство — есть величина эмпирическая. То совершенство, которое было встречено мной на

Колыме, не было продуктом чьего-то гениального злого ума — все создавалось мало-помалу. Копился опыт.

«Давай, давай» — это и был лозунг перековки.

Первым советским лагерем были Холмогоры, родина Ломоносова. Холмогоры открыты в 1924 году. В них содержались остатки кронштадтских матросов — участников мятежа. Когда мятеж был подавлен, матросов-мятежников выстроили на молу в Кронштадте. Была команда — рассчитаться на первый-второй. Нечетные сделали шаг вперед и были расстреляны тут же, на молу, а четные получили по десять лет и сидели до 1924 года в тюрьмах, пока не запросились на «чистый воздух», и был открыт лагерь в Холмогорах. Питание там было плохое, побои, цинга. Матросы бежали, бросились в Москву. Из Москвы в Холмогоры была послана воинская часть. Красноармейцы окружили лагерь, и комендант лагеря, латыш Опе, застрелился. Холмогоры были закрыты, уцелевшие матросы переведены в Соловки. В 1925 году был создан СЛОН — на Соловках 1-е отделение и управление, в Кеми — 2-е отделение, в Усть-Цильме — 3-е, на Северном Урале, на Вишере — 4-е.

Сейчас только что созданный самодеятельный УВЛОН преобразовывался в Управление Вишерских исправительно-трудовых лагерей с центром в местечке Вижаихе (нынешний Красновишерск) — УВИТЛ.

Начались собрания за собраниями. Хорошо помню заместителя начальника управления Теплова — ярко-огненного, рыжего, бородатого человека.

Доклад. Мы создаем, все будет по-новому...

Рядом со мной стоял Петр Иванович Ишин, бывший ректор Свердловского партийного института.

— Скажите, гражданин начальник, есть ли разница между концлагерем и исправительно-трудовым?

— Нет разницы.

— Вы меня не поняли, гражданин начальник.

— Я вас понял. Хватит.

— И еще вопрос. Вот вы говорите, что надо каждого наблюдать, — может быть, осужденный по пятьдесят восьмой статье вовсе и не враг вам, а в обыкновенном бытовике сидит ярый контра, — узнавать, разоблачать. Не значит ли это, что приговорам судов нельзя доверять?

— Как ваша фамилия?

— Ишин.

— Зайдите ко мне после собрания.

Ничего Ишину не было.

Но еще раньше митингов, собраний и совещаний в лагерь приехали гости — несколько следователей. Начались допросы, аресты вольнонаемного состава. А еще раньше прилетели вести: в Соловках арестован знаменитый «Курилка» — комендант одного из островов, ставивший людей «на комарей» и моривший их голодом. Соловки закрыты! Реорганизованы в политизолятор! Лагерь ждет новая жизнь.

Неожиданно был арестован Николай Иванович Глухарев, начальник отдела труда, мой прямой начальник. Он получил пять лет за взятки, за пьянство. Все проститутки лагеря, все блатные дружно утопили Николая Ивановича. После суда новая администрация предложила Глухареву прежний пост, отдел труда был реорганизован в УРЧ⁴, в УРС. Но Глухарев отказался. Он пошел на общие работы, не на общие, а на строительство электромонтером, а через два года был освобожден за хорошую работу.

Новая жизнь входила в лагерные двери. Тридцать заключенных по выбору начальства были вызваны в кабинет нового начальника. Лагерь подчиняется директору Вишхимза — Вишерских химических заводов. Директор — Эдуард Петрович Берзин. Его заместитель по лагерю — Филиппов Иван Гаврилович. Заместитель Филиппова — Теплов. Конечно, подлинная «философия» перековки определилась позднее, а тогда, когда приехал Берзин, а главное, приехали берзинские люди, все казалось мне в розовом свете, и я был готов своротить горы и принять на себя любую ответственность.

Совещание это, самое первое, было проведено в разгар рабочего дня, и все тридцать заключенных пришли в кабинет начальника прямо с работы. В кабинете стояли скамейки, табуретки, и все мы расселись по стенам, и начальник начал свою удивительную речь. Начальник был вовсе не Берзин, а Лимберг.

Правительство перестраивает работу лагерей. Отныне главное — воспитание, исправление трудом. Всякий заключенный может доказать трудом свои права на свободу. Административные должности, вплоть до самых высших, разрешается занимать заключенным.

— И всех вас, — Лимберг обвел правой рукой, — администрация лагеря приглашает принять участие в этой почетной работе именно в качестве администраторов.

Через неделю я выехал в Соликамск для организации <строительства>.

Я ведь был представителем тех людей, которые выступили против Сталина, — никто и никогда не считал, что Сталин и советская власть — одно и то же. Как же мне себя вести в лагере? Как поступать, кого слушать, кого любить и кого ненавидеть? А любить и ненавидеть я готов был всей своей юношеской еще душой. Со школьной скамьи я мечтал о самопожертвовании, уверен был, что душевных сил моих хватит на большие дела. Скрытое от народа завещание Ленина казалось мне достойным приложением моих сил. Конечно, я был еще слепым щенком тогда. Но я не боялся жизни и смело вступил с ней в борьбу в той форме, в какой боролся с жизнью и за жизнь герои моих детских и юношеских лет — все русские революционеры.

Я считал себя приобщенным к их наследию, готов был доказать это. Но в глубине души я тосковал по товарищу, по человеку, по единомышленнику, которого я обязательно встречу на жизненной дороге, в самых глухих углах жизни, примеру которого буду следовать. Человек, у которого я буду учиться жить.

Увы, все оказалось гораздо страшнее. Мой лагерный приговор был первым по тем временам. Мне предстояло сойти в ад, как Орфею, — с сомнительной надеждой на возвращение, с «амальгамированным» клеймом. Пришлось поступать по догадке: что достойно? Что недостойно? Что мне можно и чего мне нельзя? Этого я не знал, а жизнь ставила передо мной один за другим вопросы, требовавшие немедленного разрешения.

За протест против избиений я простоял голым на снегу долгое время. Был ли такой протест нужным, необходимым, полезным? Для крепости моей души — бесспорно. Для опыта поведения — бесспорно. Не уважать такой поступок нельзя, наверное. Но тогда я об этом не думал. Это было импровизацией. И в дальнейшем я решал для себя, что, поскольку я в лагере один из двухтысячного тогдашнего населения, я должен себя вести по правилам элементарным, не забираясь в тонкость политики и не выступая с «анализами» и декларациями.

Я установил для себя несколько обязательных правил поведения. Прежде всего: я не должен ничего просить у начальства и работать на той работе, на какую меня поставят, если эта работа достаточно чиста морально. Я не должен искать ничьей помощи — ни материальной, ни нравственной. Я не должен быть доносчиком, стукачом.

Я должен быть правдив — в тех случаях, когда правда, а не ложь идет на пользу другому человеку.

Я должен быть одинаков со всеми — высшими и низшими. И личное знакомство с начальником не должно быть для меня дороже знакомства с последним доходягой.

Я не должен ничего и никого бояться. Страх — позорное, растлевающее качество, унижающее человека.

Я никого не прошу мне верить, и сам не верю никому.

В остальном — полагаться на собственную интуицию, на совесть.

Так я начал жить в лагере, все время думая о том, что я здесь — от имени тех людей, которые посланы сейчас в тюрьмы, ссылки, лагеря. Но это я должен только думать про себя, помнить, что каждый мой поступок и друзьями, и врагами будет оценен именно с этой, политической, стороны.

Быть революционером — значит прежде всего быть честным человеком. Просто, но как трудно.

⟨1961⟩

ЛАЗАРСОН

Осенью двадцать девятого года я в компании Ангельского, бывшего офицера, бежавшего из Перми как раз в этот самый рейс, плыл из Вижайхи в Усолье, в поселок Ленва, с пятьюдесятью заключенными, чтобы открыть, основать первую, новую командировку Вишерского лагеря, положить начало гиганту первой пятилетки — Березникам.

Я плыл, не особенно разбираясь в причинах своего назначения, не доискиваясь корней или поводов для столь неожиданного поворота в моей судьбе. Я чувствовал только, что волна судьбы выносит меня если не на стрежень, то, во всяком случае, на достаточно мощное течение, противоречить которому я не могу, да и не надо.

Я призван был возглавить рабочую силу лагеря на Березникхимстрое, ехал маленьким начальником из заключенных, призванных дать барыш лагерю.

Арестанты, которые ехали вместе со мной в трюме баржи, были плотники, землекопы, просто здоровые лю-

ди «четвертой категории», как они именовались в документах.

В Ленве на содовом заводе уже года два работала группа заключенных-грузчиков с бытовыми статьями — двенадцать или шестнадцать человек. Они жили в общежитии для рабочих содового завода. Завод этот старый, построен до войны, принадлежал он Сальвэ. Фирма эта была хорошо известна в России. После гражданской содовый завод и был опорой, кузницей и разведочных работ, и производственных кадров.

Рабочие там были вольные, специалисты и конторщики частью ссыльные — вроде Павла Осиповича Зыбалова, члена ЦК меньшевиков.

У содового комбината узким местом были погрузка и разгрузка, ибо вагоны требуется разгружать вовремя, а также грузить красивые барабаны с продукцией содового завода.

Движение грузов шло неравномерно, и задержки и в погрузке, и в разгрузке приводили к бесчисленным штрафам, пока не догадались заарканить на содовом заводе бригаду грузчиков из заключенных, которых можно было вызвать для погрузки и разгрузки в любое время. С этими грузчиками жил и конвоир, а десятником, соблюдающим интересы лагеря — расчеты и прочее, был заключенный по фамилии Питерский, по словам, из уральских троцкистов, получивший срок и отбывавший его.

Мое срочное назначение прямо с работы и было вызвано тем, что я должен был сменить Питерского, у которого кончался срок и он должен был освободиться.

Никакой сдачи-приема сделать не удалось: Питерский самовольно уехал «освобождаться» в управление — наши баржи на Каме разошлись, не узнали друг друга, и я так в жизни Питерского и не видал.

После прибытия в Ленву — размещение пятидесяти людей на пересыльном пункте — лагерь арендовал полукаменный дом, где низ занимал кабак местного «целовальника» с продажей распивочно и на вынос, кажется, модной водки «рыковки». Эта водка «рыковка» — первая сорокаградусная, которой внезапно стало торговать государство, выпуск ее наделал немало шума и в Москве. Ведь в России с 1914 года, с войны, был сухой закон, а в революцию даже самая мысль, что государство может торговать водкой, отвергалась. После гражданской Россия знала только самогонку, и немало славных страниц вписано тогдашней милицией в борьбу с самогонварением.

Торговля водкой в «казенке», водочные откупы считались смертным грехом царского правительства.

А Рыков, ставший после смерти Ленина председателем Совнаркома, подписал...

Я сам помню, своими глазами видел разбиваемый водочный магазин на Тверской пьяной толпой. На Пушкинской площади толпа окружила милиционера, велела ему плясать, и милиционер плясал.

В кругах партийных, чтобы несколько снизить то сильное впечатление, которое произвела во всей стране продажа водки, был распространен и усиленно муссировался слух, что Рыков ввел продажу водки от горя. Плакал после смерти Ленина и пил, пил без конца.

Так народная легенда дала объяснение «рыковке» — сорокаградусной новой водке. Вот этой-то водкой и торговал хозяин нашего дома. Был нэп в разгаре. Хозяева вернулись к выполнению дореволюционных обязанностей, и весь нижний каменный этаж нашего полукаменного дома был отведен под продажу вина, и вичом торговал тот же самый целовальник, что и в царское время.

А наверху в деревянной постройке жил уже не хозяин. Он снимал дом где-то поблизости, а в одной стороне жили восемь конвоиров на топчанах, а на другой — пятьдесят работяг-арестантов на нарах. Двенадцать грузчиков содового завода остались в своем прежнем помещении — близ железной дороги, в одном из общежитий для рабочих завода Сальвэ.

Рабочие были крайне недовольны моим назначением, очень хвалили Питерского, и мне не стоило труда понять ситуацию.

В двадцать девятом году вокруг был крайний голод на рабочую силу. В Усолье и Ленве было много агентств вроде Камометалла и Госпароходства. У них были грузы, товары — не было только рабочих рук.

Потребность в нормальной документации ни для кого из этих агентств не была острой. Можно было писать и давать какие угодно фальшивые счета — лишь бы работа была сделана.

Все эти агентства располагали и крупной суммой для расчетов наличными.

Двенадцать арестантов-грузчиков могли выйти сверхурочно на полчаса-час и заработать по рублю, скажем. Да пятьдесят рублей давались их десятнику, который делил этот свой заработок с конвоиром. Конвоир был один

и тот же. Десятник один и тот же. Словом, Питерский и работяги были богатыми людьми, учитывая курс червонца и нэповские цены.

Вот злоупотребления такого рода и сгубили Питерского. По доносам — главное средство и дисциплинарной, и управленческой морали вообще — начальство получило «сигналы» и, когда количество доносов увеличилось, решило Питерского снять.

Следствие о злоупотреблениях Питерского было начато тогда же в управлении, но Берзин и Филиппов решили не мешать освобождению, и уже поздней осенью, с последним пароходным рейсом, а то и позже, Питерский вполне благополучно проехал наш пересыльный пункт, превратившийся за это время в 10-е отделение Вишерских лагерей.

Ко мне тоже агенты обращались неоднократно, зная, что мне передана эта власть, но я гнал их от себя. Рабочим не были разрешены такие работы, а рисковать ссорой со мной никто из наших ни конвоиров, ни арестантов не хотел.

Думаю, что доносы полетели на меня в управление с того самого часа и мига, как моя нога, обутая в лагерьный кожаный ботинок, ступила на Березниковский причал.

Я думаю, что доносы эти исходили отовсюду — и от уполномоченного Ушакова, и от начальника конвоя Хритка, и от начальника пересыльного пункта Солодовникова, и от всех работяг содового завода на Березникхимстрое.

Каждый рассчитывал хоть как-нибудь обогатиться, хоть трешку урвать, хоть яблочко из бесконечных садов яблоневого райского сада.

Физиогномисты, лафатеристы делали свой вывод и писали донос после первой встречи со мной. Начальник информационно-следственной части Ушаков лихорадочно листал бедные странички моего тощего личного дела, следил за моей перепиской. Представитель Госпароходства шестидесятилетний Миронов — бывший хозяин пароходства, нанятый лагерем как свой представитель и агент, считал, что я слишком молод, даже юн и не знаю «жизни».

Впрочем, это кажется мне так сейчас, а возможно, что все они думали только о том, как бы прожить сегодняшний день, не думая о завтрашнем, ибо лагерь — не такое место, где нужно и можно думать о завтрашнем дне.

Может, все совершалось в силу каких-то высших законов, удивительно совпавших в данном случае с общим желанием рассчитаться скорее с этим опасным чудачком, который вступил в такое резкое столкновение с конвоём этапа всего несколько месяцев назад — в апреле того 1929 года.

Словом, после парохода «Красный Урал» пришел еще один буксир. Из управления приехал новый десятник, спешно назначенный на мое место, старый соловчанин, уже кончающий свой срок по служебному преступлению, Борис Маркович Лазарсон. Мне было предписано «сдать дела». Подпись — Вальденберг, та же, что и в моих документах.

— А мне — возвращаться?

— Нет, нет. Остаться здесь. На словах Вальденберг передал: «Работать в контакте».

Я ничего не имел против, тем более что и Лазарсон мне очень понравился. Притом же старый соловчанин, знающий лагерь. Начальство лагеря Борис Маркович все знал — и все они звали его по фамилии.

— Эй, Лазарсон!

— Здесь Лазарсон, — изгибался Борис Маркович.

Лазарсон был старшим десятником, а я — младшим.

Борис Маркович Лазарсон был очень хороший человек лет сорока, даже сорока пяти, и какой-то мелкий коммерсант, оказавший ряд услуг нэповским растратчикам и воротилам российского бизнеса двадцатых годов. Тех расстреляли, а Лазарсон, кому революция открыла путь к служебной карьере, занимал важную должность где-то в Челябинской области, оказал ряд «услуг» своим друзьям. Оказал отнюдь не бескорыстно.

Но, воспитанный в старинной морали еврейских коммерсантов русской провинции, не мог и представить себе, как бы он мог отказать дать какой-то фальшивый документ. Лазарсон был осужден по статье 109. Срок лагерный Лазарсон считал обычной ставкой, риском: проиграл — отбывай, и не собирался ни на минуту изменять свое отношение к государству как к дойной корове, которую нужно не только доить, но и рвать с нее шерсть, брать кожу. Сколько успеет и может. Ни о каком исправлении, разумеется, не могло быть и речи, да Лазарсон и не чувствовал за собой какой-нибудь вины, как не чувствовали и его начальство, подчиненные и друзья.

К назначению на место Питерского Лазарсон стремился сознательно, ибо «здесь можно заработать», как кратко выразился Борис Маркович.

После приезда Лазарсона мне не пришлось жить в общей казарме на тех же нарах. Борис Маркович привез разрешение на то, чтобы мы снимали комнату по вольному найму. В этой комнате мы и прожили несколько дней.

Вскоре я заметил, что те «представители и агенты», которых я гнал от себя, вертятся вокруг Лазарсона, и Лазарсон что-то кому-то обещает, кому-то отказывает.

Обученный не соваться в чужие дела, я пренебрегал такими картинками. Но чувствовал, что — в лагере мы ведь сутки на глазах друг друга — наступило какое-то облегчение, спало какое-то напряжение. Это чувство относилось к конвою и к начальнику пересыльного пункта, и в глазах всех семидесяти с лишним работяг я тоже читал облегчение.

Работяги с конвоем ходили в какие-то неположенные часы в какое-то место — на пристань, на станцию железной дороги — и возвращались в лагерь обрадованные.

Секрет долго хранить было, конечно, нельзя, и в конце одного трудового дня Лазарсон вынул из бумажника и дал мне «пятерку».

— Твоя доля.

Я не взял. Вот тут-то Лазарсон и рассказал мне о деле Питерского — «твой брат, троцкист», и почему он, Лазарсон, стремился попасть сюда, в Ленву, в Березники, где золотое дно. «Нужно только взять, нагнуться в траву», — говорил Борис Маркович, предвосхищая до буквальности известные слова Пастернака о поэзии. Но слова о траве были сказаны гораздо позже, да речь шла не о траве.

Я не взял. Борис Маркович сердился. Когда он сердился, волновался, он плевался, испуская пузыри пены.

— Ты же понимаешь, — орал Лазарсон, прыгая до толчка той комнаты, где мы с ним жили, — что мне осталось шесть месяцев срока. Должен я что-то заработать? У меня копейки на текущем счету. Должен же выйти из лагеря с чем-то, смотря реально. Но и ты будешь получать свою долю — честное слово Лазарсона.

Я ушел из этой комнаты опять на арестантские нары. И хотя я не писал никаких доносов, настороженное отношение всегда окружало меня.

Донос — столь универсальный рычаг лагерной жизни, что я не удивился, что на смену Солодовникову, отличному парню, но абсолютному бездельнику, приехал новый начальник — Михаил Васильевич Стуков, бывший начальник хозяйственной части управления.

Первым его приказом была реорганизация наших «трудовых» дел.

И Лазарсон, и я отстранялись от руководства использованием рабсилы заключенных — все это отныне вверялось инженеру из вредителей Павлу Петровичу Миллеру, выбранному и назначенному Стуковым из многочисленных вредителей, потоком двигавшихся из управления на Вишхимз, на комбинат, но оседавших и у нас, на Березникхимстрое. Гигант второй пятилетки начинал работу.

Мне было совершенно все равно, но Лазарсон, хорошо знавший Стукова и рассчитывавший на его благоволение, пришел в бешенство от назначения Миллера.

— Ты увидишь, — плюясь слюной и харкая, шептал он мне на ухо. — Миллер хочет сам заработать мои деньги. Но мы еще поборемся. У меня тоже есть в управлении блат.

Но с Миллером дело обстояло иначе. Миллер назначал своих людей — Павловского, Кузнецова, Иноземцева — из инженеров и техников, комплектуя руководителей работ, а Лазарсон, поскольку он был бытовик и кончал большой срок, был оставлен на должности начальника участка, участка поменьше, не столь важного, как главный на самих Березниках. Именно потому участок Лазарсона был назван первым, а участок Павловского — вторым. Все это были фокусы Миллера — бывшего начальника Самарского военного строительства, осужденного на 10 лет за вредительство, — вполне в духе Миллера, хитрожопого до мозга костей, хитрившего всю жизнь, но не перехитрившего власть. Власть оставила ему строить уборные на восемь очков в лагерной зоне и отводить душу, именуя участок Павловского вторым, а Лазарсона — первым. Получали они оба премии — три рубля в месяц, одинаковые — по решению Миллера.

Простой и хороший, откровенный до дна человек, Лазарсон ненавидел Миллера, видя в нем причину, почему Лазарсону не дают в лагере заработать.

Агенты, которые вились вокруг Лазарсона, перешли к Миллеру, но здесь им не пришлось ничего добиваться,

ибо Миллер их гнал, как и я. Однако весь вопрос приписок, жульничества, очковтирательства — все, что называлось секретом большого строительства, — был перенесен в высшие сферы, где Миллер только подсказывал, а решение не принимал.

Все решения, мне кажется, больше принимались в Москве, смотревшей сквозь пальцы на то, что делается, и не только на Березникхимстрое.

Я тоже работал там десятником, стал быстро не нужен и отправлен в управление внезапно со спецконвоем и обратно возвращен без конвоя совсем и работал весь тридцатый год в Ленве как начальник отдела труда — Миллер нашел удовлетворяющую его форму моей деятельности на комбинате, — и работал там, пока не был арестован по делу начальника отделения Стукова.

Лазарсон же окончил срок и, проклиная Миллера, вернулся к семье куда-то в Челябинскую область.

Все приказания Миллера Лазарсон, разумеется, выполнял добросовестно и честно, даже чересчур активно, со всей энергией и душой, что было вообще свойственно горячей натуре Бориса Марковича.

Апостол старой школы, он и плюху может преподнести работяге для вразумления, на что, конечно, Миллер не был способен.

В событиях Борис Маркович не очень разбирался.

Когда кто-то из младших десятников — а их было очень много на быстро растущем строительстве Березников — проявил недостаточное рвение в исполнении приказов Лазарсона и лазарсоновского начальника Миллера, Лазарсон в присутствии десятка работяг, меня и самого Миллера разорался на десятника из заключенных: «Я тебе покажу, сволочь, вредитель!»

Слово «вредитель» было сказано с такой яростью, что потрясло Миллера. Вечером на разнарядке в комнате Миллера, когда все ушли, он шагал долго из угла в угол.

— Вот так и относятся к нам, — грустно сказал Павел Петрович.

— Да, наверное. Но вам не нужно, Павел Петрович, требовать много от Лазарсона. Борис Маркович — хороший человек, просто он пользуется популярным словом.

— Вот это-то и грустно, что словарь популярный.

Не успел я поработать всего несколько месяцев в новой роли, дожить до зимы 1929/30 года, как был арестован и направлен с конвоем — конвоиром был местный вольнонаемный боец пермской крови, едва говорящий по-русски и объяснявшийся со мной знаками. Впрочем, знаки эти, их смысл были достаточно отчетливы.

Пятидневный путь, тот самый, который я весной проходил с этапом и где меня били из-за сектанта, где я потерял свой первый зуб, выбитый сапогом начальника конвоя Щербакова, я проходил снова уже в одиночестве. До управления, до местечка Вижаиха, из Соликамска можно было добраться и скорее, но конвоир мой не спешил. Такие командировки оплачиваются, и терять лишний день из-за каприза арестанта конвоир не хотел. Останавливался он со мной в избах его знакомых, каждый хозяин имел заслуги перед лагерем — ловил беглецов, получая за каждую голову двадцать пять фунтов муки.

— Мучица у нас ныне есть, слава Богу, — сказал мне один из пермяков. — Но вот ходят слухи, что норму сбавят: будут платить только пятнадцать фунтов за человека. Правда ли это? Уж ты, Петя (он — к моему конвоиру), выясни это на Вижаихе в управлении.

Каждый день конвоир мой напивался самогону до бесчувствия. Сажали его в передний угол как хозяина жизни, как пермского бога. Каждую ночь приводили «играться» какую-нибудь из местных девок, а то и не одну. Я категорически отказался от того и другого угощения, чем вызвал неодобрение.

— Ну, бражка — ладно, нам больше останется, но девок за что обижать? Ведь им тоже хочется поиграть. Конвоира твоего на всех не хватит.

Конвоир скрипел на полатах, обнимая ⟨девку⟩.

Наконец я был доставлен в управление, сдан — куда? Кроме ⟨листка⟩ и аттестата, никаких особых пакетов мой конвоир не привез. Но сдал он меня в третью часть, в следственный отдел. Я долго сидел на завалинке, дожидаясь начальника третьей части Петра Бладзевича. Это была первая и последняя в жизни встреча. Бладзевич был в бешенстве от моего прибытия — самовольства Ушакова, важного начальника того же отдела.

Бладзевич тут же позвонил Вальденбергу, начальнику производственного отдела управления, Вальденберг был рассержен еще больше.

— Тут же послать Шаламова назад на ту же должность, а Ушакову сказать, что если еще раз повторит такое самоуправство — полетит с работы.

В тот же день я один с каким-то обозом уехал в Соликамск, а из Соликамска добрался до Усолья, до Ленвы, где был пересыльный пункт лагеря. Возвращение мое было встречено совершенно 〈спокойно〉. Стукову, начальнику лагеря, из которого я был отправлен, я показал документы еще в Соликамске. Стуков вскрыл пакет, прочел и сказал:

— Ну, тем лучше, возвращайся.

Тайну моего спешного отъезда мне удалось все же раскрыть, хотя и не сразу. И не от тех людей, которые, казалось бы, должны рассказать, в чем дело.

Причиной были письма, которые я получал с воли. Цензор Журавлев доложил начальнику следственной части Ушакову, а тот начальнику отделения Стукову, какие письма я получаю, и было решено перевести меня в управление для безопасности.

А писем в лагере я не получал никаких — ни в Березниках, ни в Красновишерске, ни в Усть-Улсе. Все два с половиной года я прожил без единого письма товарищей или родных. Товарищей у меня было немало, и я иногда удивлялся, почему мне нет писем. А письма были, и даже очень много — со всех концов Союза от разосланных по окраинам ссыльных оппозиционеров. А так как тогда была мода рассылать по почте так называемые «документы» — копии всяких статей, заявлений оппозиционных вождей (я сам такой пересылкой занимался не один год), то, кроме новостей оппозиционной подпольной жизни, присылали и работы, выходящие из-под пера оппозиционных теоретиков и практиков. Мои товарищи не могли думать, что лагерь — это не ссылка, куда такие письма могут проникать без больших затруднений. Адрес мой они получили, выделили людей, которые должны были мне все посылать, писать, держать связь, присылать адреса ссыльных для переписки, но все это попало в руки начальства.

Судить меня за такие вещи было бы чересчур — до 1937 года было еще целых восемь лет, — но и оставлять у себя такую взрывоопасную личность ни Стуков, ни Ушаков не желали. Они хотели без шума перевести в Центр, обрезать мои связи — на докладную у них не хва-

тило не то времени, не то ума, не то догадки, да и для управления тогда такого рода корреспонденция была очень и очень внове.

Каторга, концлагерь — это режим особый. Засылка туда подобных сюрпризов лишь увеличивала внимание к моей особе.

Ушаков показал самоуправство и даже обидел забеганием вперед. Ушаков был хорошо грамотный человек, бывший агент МУРа, сидевший за какое-то бытовое преступление. В лагере он сделал большую карьеру, уехал с Берзиным на Колыму и на Колыме, уже в чине полковника, был то начальником режимного отдела, то начальником розыскного отдела («сидит за Ушаковым», как говорили в лагере). Никакие колымские расстрелы Ушакова не коснулись. Возможно, он сам принимал участие в организации этих расстрелов по поговорке: «Кто не убивает, того убивают самого».

Я сам сидел в бараке с конституцией зэка (права и обязанности заключенного — конституция, которая по правилам вывешена на стене каждого барака). Конституция была подписана — «начальник режимного отдела полковник Ушаков».

Конечно, на Колыме я никогда к Ушакову не обращался, хотя и был с ним хорошо знаком в 1929—1930 годах по лагерю. Я не пытался искать помощь и поддержку: в те времена привлечь к себе внимание какого-либо лично знакомого высокого начальника, в том числе и Ушакова, значило умереть.

Но он был человек грамотный, разбирался в троцкизме, понимал, что к чему и чего хочет Сталин. Бладзевич же и Вальденберг ждали прямого приказа. Вот эти начальники, ждущие чужого приказа, — лучшие начальники. Ушаков же перед увольнением на пенсию получил звание Героя Социалистического Труда.

МИЛЛЕР, ВРЕДИТЕЛЬ

Павел Петрович Миллер был первым вредителем, которого я наблюдал близко, повседневно.

По моей исповедуемой с детства теории узнавание человека не делается путем расспроса, анкеты. Общее впечатление не результат каких-то где-то замеченных, зафик-

сированных вовремя фактов. Поэтому писателю не нужно что-то записывать, запоминать, наблюдать, достаточно присутствовать рядом — видеть, слышать и понимать.

Павел Петрович Миллер был сыном крупного сибирского золотопромышленника, единственным сыном. Отец дал Павлу Петровичу техническое образование. Павел Петрович был инженер-строитель, главный инженер Самарского военного строительства в момент ареста в 1928 году.

Эти процессы возникали после Шахтинского⁵ во всех отраслях промышленности, ясно показав, что техническое образование не может спасти, увести в сторону от бурных волн политики.

Ибо следовательское воображение — надежный аппарат в борьбе с иллюзиями. Иллюзии и реальность полноправны не только в литературе, но и в повседневной жизни. Единственная реальность, бесспорность миллеровского следствия была его анкета, социальное происхождение. Возможности легко превратились в реальность.

— В моем «вредительстве» единственный факт, который я подтвердил при допросе, было то, что асфальт на дворе конторы полопался — убыток был на пятнадцать рублей. Все же остальное — выдумка, чепуха.

Я никогда не спрашивал Миллера, как именно он «вредил». В лагере такие вопросы ни к чему. В лагере нет виноватых. А потом — для Миллера его работа была первой после следствия, процесса и тюрьмы, и, естественно, изливать душу или давать запоздалый бой он не собирался. Но я думаю, что Павел Петрович чрезвычайно болезненно ощущал именно эту рану. И еще не привык к лагерному языку и возмущался, что его помощник Лазарсон кричит, распекая работягу: «Вредитель!»

Всю зиму двадцать девятого — тридцатого года заключенные «обживали» каменные коробки, воздвигнутые по вольному найму в Городе Света, на Чуртане. Размещаясь там на сырых досках-нарах, а то и просто вповалку, тысячи, десятки тысяч людей строили Город Света, работали на комбинате и строили себе лагерь поближе — на Адамовой горе. С Чуртана до «площадки» было километра четыре, и каждое утро конвой «прогонял» в направлении Камы десятки и сотни строительных бригад. Как только на Адамовой горе был построен лагерь, работяги строительства перешли жить туда, где их ждали сорок барачных двухъярусной общенарной соловецкой системы, а также обслуга лагеря.

Из всех этапов отбирались самые лучшие специалисты, и любой, кто работал похуже, вечером же включался в этап на Вижаиху, в управление, где строился бумкомбинат. Наше отделение имело право задерживать, оставлять у себя лучших работников, хотя и без «личного дела».

Все же каменные коробки Чуртана были отданы под транзитку, под ночевку этапов, которых проходило в день не одна тысяча.

Этапы там ночевали, а если не было сразу поезда на Соликамск, откуда начинался пеший пятисуточный маршрут в Красновишерск, то задерживались на Чуртане и больше, и всякий раз их заставляли выполнять, чтобы не даром кормить, какую-нибудь черную общую работу, вроде разгрузки пароходов или копки котлованов. Котлованов, впрочем, на Березниках не было. Березники стоят на подсыпанном грунте по той евангельской поговорке, которую любили приводить в своих речах и Стуков, и Миллер.

К осени тридцатого года лагерь был построен на Адамовой горе на 10 тысяч человек. В Березниках было две смены, тысячи по четыре только чернорабочих грузчиков, навальщиков песка, который на поездах широкой колеи возили с Веретья. Вокруг Усолья много песчаных гор. Вот оттуда и возили песок, на котором вставал Березниковский комбинат.

У Миллера были основательные надежды после бесед со Стуковым и Берзиным, что его усердие и рвение заметят, поэтому Павел Петрович сменил весь свой аппарат десятников, работал день и ночь, успевая всюду. От лагеря у Миллера даже была верховая лошадь, но и то за день он не управлялся посмотреть все участки комбината, где работали заключенные. И я, и Лазарсон, и Кузнецов, и Павловский имели также верховых лошадей. На новой конюшне лагеря, которой заведовал вольняшка, герой гражданки вредитель Караваев, стояли триста лошадей.

Миллер, бывший главный инженер Самарского военного строительства, решил потрянуть стариной и спроектировал весь лагерь сам. Вот это будут новинки.

— Уборные, Варлам Тихонович, — рассуждал Миллер оживленно, — строились всегда в каторжных учреждениях на десять (очков) — я добился, что наши уборные будут строиться на двенадцать. Чтобы не теснились — тюремная, этапная память свежа.

Наконец настало время сдать великолепную работу, показать свои труды высшему начальству. Этим высшим

начальством был для нас тогда ГУЛАГ и его начальник Берман — старый чекист 1918 года, первый, получивший это самое назначение.

Миллер связывал с посещением лагеря Берманом какие-то особые надежды. По совету Стукова он решил обратиться с личной жалобой, вручить, так сказать, свою судьбу в руки самого высокого начальства. Этот совет Стукова поддержал и Берзин. Берзин даже взял на себя добиться столь важной аудиенции.

День приезда комиссии настал. Кто бы в лагерь ни приехал, всегда говорят: «Комиссия! Комиссия приехала!» С Соловков, что ли, идет эта терминология.

Летом 1930 года в лагерь пожаловало высшее начальство — сам начальник ГУЛАГа Берман. Берман приехал с большой свитой, в шинелях с петлицами, где виднелись по два и по три ромба. Берзин, начальник Вишлага, человек огромного роста, в длинной кавалерийской шинели с тремя ромбами, с темной бородкой, бросался в глаза среди всей этой комиссии, и военный фельдшер Штоф, начальник санчасти из заключенных, рапортуя комиссии, как положено, разлетелся с крыльца санчасти военным шагом и, встав перед Берзиным, излил именно на него поэзию лагерного рапорта.

Но Берзин отступил в сторону со словами «вот начальник», выдвигая на первый план невысокого крепыща с белым тюремным лицом, одетого в заношенную черную куртку — бессменную форму ЧК первых лет революции.

Помогая растерявшемуся фельдшеру, начальник ГУЛАГа расстегнул кожаную куртку, показав свои четыре ромба в петлицах. Но Штоф онемел. Берман махнул рукой, и комиссия двинулась дальше.

Лагерная зона, новенькая, «с иголки», блестела. Каждая проволока колючая на солнце блестела, сияла, слепила глаза. Сорок барачков — соловецкий стандарт двадцатых годов, по двести пятьдесят мест в каждом на сплошных нарах в два этажа. Баня с асфальтовым полом на 600 шаек с горячей и холодной водой. Клуб с кинобудкой и большой сценой. Превосходная новенькая дезкамера. Конюшня на 300 лошадей.

Само расположение лагеря в центре Адамовой горы, всюду господствующей здесь еще со времен походов Ермака, — именно здесь был Орел — городок, откуда Строгановы вели завоевание Сибири и где имел дом сам Ермак.

Колонны лагерного клуба чем-то напоминали Парфенон, но были страшнее Парфенона.

По совету Стукова и Берзина Миллер подготовил заявление — жалобу-просьбу по своему делу (в лагере каждый за себя), с тем чтобы вручить какому-нибудь высшему начальству. Гомеровскому богу лично. По русской традиции такие жалобы, поданные «на высочайшее», вручаются лично. И Берзин, и Стуков, и Миллер блюли традицию. Сигнальщик Берзин махнул платком, и Миллер переложил поближе свою тщательно обдуманную и подготовленную «жалобу».

Действительно, Берман, умиленный зрелищем новенького лагеря, согласился принять заключенного Миллера по его просьбе для личных переговоров.

После отъезда комиссии я вошел в нашу контору. Павел Петрович стоял у окна и смотрел на отъезд высоких гостей.

— Хотите знать, какая была у меня беседа с начальником ГУЛАГа? Полезно для истории.

— Хочу.

— Берман сидел за столом, когда я вошел и встал как положено. «Так расскажите, Миллер, как именно вы вредили?» — сказал начальник ГУЛАГа, отчеканивая каждое слово. «Я нигде не вредил, гражданин начальник», — сказал я, чувствуя, как гортань моя пересыхает. «Так зачем же вы просите свидания? Я думал, что вы хотите сделать важное признание. Берзин!» — громко позвал начальник ГУЛАГа. Берзин шагнул в кабинет. «Слушаю, товарищ начальник». — «Уведите Миллера». — «Слушаюсь».

— Когда это было?

— Час тому назад.

Павел Петрович вынул из кармана заготовленное заявление, разорвал бумагу и бросил в топящуюся печурку. Бумага ярко вспыхнула.

— А вы не пишете заявлений?

— Мне не о чем просить.

Берман был деятелем круга Ягоды, расстрелянным вместе с Ягодой Ежовым. Берман лучше понимал политику, чем Миллер.

Вскоре иллюзии Миллера рассеялись. Вместе с этим — как некое второе начало того же процесса «возрождения» или «искупления» — Павла Петровича перестала удивлять, оскорблять кличка вредителя. Так много вредителей было вокруг.

Не только Берман не хотел рисковать, оказывая покровительство справедливости, но все начальство держалось тогда этой удобной формулы, этой удивительной точки зрения.

Миллер пожал плечами.

Моя оппозиция ему была абсолютно чужда. Павел Петрович никак не хотел понять, как это молодой человек, студент двадцати лет, решается на такие сомнительные, с его точки зрения, дела. Мои рассказы об университете Миллер слушал как сказку, как светлую легенду юности своей, оценивая, впрочем, осуждающе обе стороны. Павел Петрович, потерпев неудачу с Берманом, стал ждать уже не случая, а оценки заслуг за верную Миллерову службу в лагерях.

Это свидание было ошибкой, конечно, но при утверждении досрочных освобождений Берман запомнил бы такую фамилию. У всех высоких лагерных начальников память змеиная, но нужно было рисковать, и Миллер рискнул, рассчитывая, что не испортит каши маслом.

И каша была слишком крута, такую не доводилось пробовать Миллеру, и масло в лагере надо применять очень умело и в меру. Миллер был человек очень энергичный. Обещание Стукова представить его к досрочному <освобождению> продолжало сохранять силу.

Жена Миллера приехала и по разрешению начальства жила с ним на поселке около месяца. Даже я однажды там пил чай и познакомился с его женой — рано постаревшей женщиной с измученным, каким-то особым, прошедшим тюремные приемы лицом.

Катастрофа была впереди.

У Павла Петровича была неприятная привычка: всякую неприятную лагерную новость — перевод, понижение, снятие с должности — своим подчиненным объявлять, обнимая за плечи, прижимаясь.

Хорошие новости (например, включение в список пропускников в столовую для иностранцев) объявлялись Миллером, наоборот, торжественно — отдельным чтением выписок или просто сведений.

Вот это обилие миллеровских объятий, которым я подвергся по возвращении в Березники, и заставило меня (позднее) подумать, что в инициативе этапирования меня спецконвоем в управление доля Павла Петровича была, хотя и небольшая, быть может. Как бы то ни было, в кармане Стукова лежала бумажка: «По распоряжению

начальника управления Берзина возратить Шаламова для исполнения своих обязанностей».

Я застал реорганизацию в полном разгаре. Мне там было отведено место начальника по отделу труда (а не руководителя работ). Руководителем же работ был назначен не Лазарсон — он тоже был смещен и понижен, а Павловский — бывший московский бухгалтер и офицер, проигравший 10 тысяч на бегах.

— Вы ведь не инженер, — говорил мне Павел Петрович.

— Ведь Павловский тоже не инженер, Павел Петрович, его считают...

Я в лагере все эти объяснения всегда считал и считаю лишними, они только вносят фальшь, неправильную ноту.

УРЧ так УРЧ — учет так учет.

— Знаешь, что такое «хитрожопый»? В острой, в стрессовой ситуации он отойдет в сторону, даст работать времени, а ты тем временем погибнешь на виселице, в подвале или в Бабьем Яру.

Хитрожопость — вечная категория. Хитрожопые есть во всех слоях общества. Думают самодовольно: «А я вот уцелел — в огонь не бросался и даже рук не обжег». Омерзительный тип. Да еще думает, что никто не видит его фокусов втихомолку. Хитрожопый — вовсе не равнодушный. Уж как равнодушен Пастернак — хитрожопым он не был, не «ловчил».

Павел Петрович Миллер был сама хитрожопость. Профессиональный ловчило с угрызениями совести. Как уж его затолкали во вредители — уму непостижимо. Не рассчитал какого-то прыжка. Все он понимал вокруг себя в своем окружении — всех людей объяснял для себя. Миллер был неплохой психолог, логик по преимуществу, вечно хитрил, что-то от кого-то скрывал, что-то кому-то шептал. Всех вокруг себя в меру своего ума объяснял. Всех — кроме меня. Я был загадкой для Миллера — он не хотел поверить, что я бросил университет для какой-то подпольной работы, для каких-то туманных идей.

Если власть нельзя подчинить, надо ей служить честно, ловчить лишь в бытовом, в мелком, в незначительном. Увы, масштабы диктовал не Миллер. Миллер получил десять лет за вредительство, работая в Самаре главным инженером военного строительства. В военном ведомстве и ставки были больше. Конечно, Миллер был грамотнее, образованнее других инженеров, что были

в Березниках, — кроме Павла Павловича Кузнецова. «Капитаны» Гумилева, которых декламировал Миллер по вечерам, вспоминая неточно, неверно. Говорили, что со стихами в своей работе Миллеру не приходилось иметь дела до встречи со мной в Вишерском лагере.

На ежедневные Миллеровы чаепития я ходил без большой охоты. Развлекаться Миллер после его трудового дня не хотел. Но чай был хороший, миллеровский, горячий и крепкий. Подсыпал ли Миллер соду в свой чай для оживления краски, как делают рестораны, не знаю. Но этот крепкий чай был вовсе не чифирь — знаменитый колымский рецепт — по пачке на кружку, а обыкновенный крепкий, густой, горячий чай. Горячий. Миллер был сибиряк, любил горячий и чай, и суп. Любил определенность температур. Я тоже был родом с Севера.

Пил я этот красивый чаек и думал про себя, что, если что-нибудь со мной случится, Миллер, во всяком случае, не заступится. Отойдет в сторону и палец о палец не ударит для моего спасения.

Миллер почему-то считал личной своей обидой, если ближайшие его сотрудники попадались в каких-либо нарушениях лагерного режима. Так его ближайший помощник Иван Дмитриевич Иноземцев, состоявший в штатной должности нормировщика (58-7-10, 11, срок 10 лет), — бывший главный инженер Мотовилихи, выполнявший деликатную функцию предварительных расчетов и проверок во взаимоотношениях с Березниковским химстроём, человек, которому Миллер верил не как себе, а немногим меньше, вдруг был вызван и подвергнут допросу. Стукач. Завербованный осведомитель.

Оказывается, Иноземцев, любивший поесть, выпить, закусить, поспать, был приглашен на ужин в какой-то барак к какому-то старшему бригадиру в лагере. На этом вечере угощали телятиной, и, так как в лагере скрыть ничего нельзя, все участники ужина через неделю были приглашены в барак следственной части.

Вдобавок оказалось, что и телятина — не телятина, а собачатина — мясо какой-то овчарки.

Иноземцеву грозили общие работы, этап, он был незаменимый. Проступок по лагерным понятиям незначителен, но Миллер даже шага в защиту Иноземцева не сделал. Только когда начальник отделения Стуков сам спросил Миллера, что делать с Иноземцевым — оставить тебе или отправить, Миллер попросил оставить.

Выпивка, «бабы» — преступления в лагере простительные.

Техник Кузнецов был алкоголик запойный и после каждого запоя, попадая в изолятор, терял место работы — Миллер не заступался никогда.

Всем пострадавшим приходилось искать защиту самостоятельно, пользуясь «блатом» не миллеровским.

При Стукове Миллер был ученым, облакающим в технические формы обширные замыслы начальника-дилетанта. Стуков был любителем разговоров о технике, о механике. Но такая тонкая механика, как стихи, была ему абсолютно чужда. Как, впрочем, и Миллеру.

Но если Стуков просто был чужд этому миру, никогда с ним не соприкасался и даже о существовании Аполлона на свете не подозревал, то Миллер, цитировавший на память гумилевских «Капитанов», старался воскресить в мозгу увлечения и открытия юности. Впрочем, и в юности Миллеру поэзия ничего не открыла.

Я ездил со Стуковым в командировки, но он предпочитал спутников повеселее.

— Вот Миллер — у него всегда есть что рассказать, скоротать дорогу. Бруклинский мост, сколько верст до луны — а ты молчишь и только отвечаешь на вопросы.

Всякую политику Миллер считал пустяком, недостойным занятием для человека. Образование признавал только техническое. Стремлений к науке у него было мало, зато большое желание практически попробовать свои знания в живой работе.

— Почему вы выбрали строительство?

— Знаете, мне лишь только специальность строителя доставляла удовлетворение. Не было ничего — и выстроен дом.

— Чисто поэтическое ощущение, — сказал я.

— Ну, как там с поэзией, я не знаю, а строить могу. Я не хотел жить в столице. В столице можно тратить щедро, мотать заработанные деньги, а работать лучше в глуши. Поэтому я и <был> в Самаре.

Рассказывал Миллер и о первых своих инженерских шагах: как ему предлагали взятку и он ее не взял.

— Десять тысяч. Я выгнал его.

Я слушал эти звонкие речи, как давно забытое пение соловья.

Именно Миллер возглавлял весь обман по Березникам, дал техническое оформление идее начальника лагеря Стукова. Так что совесть давно успокоилась.

Отметным обстоятельством было то, что Миллер с первых дней решил спастись сам, думая только о себе. Всем остальным была дана та же возможность личного спасения. Никакой помощи Миллер не оказывал, и не в его натуре было оказывать кому-то значительную помощь. Например, решением подавать на освобождение. Здесь страдали именно близкие сотрудники, ибо Миллер боялся, что его обвинят в протезировании, в блате. Хотя никто бы его не обвинял. Вся лагерная жизнь держалась на этих знакомствах. Но Миллер использовал такой путь только для себя. Использовал неудачно, плохо зная лагерь, плохо понимая высшее начальство.

Это не равнодушие, а еще не описанное человеческое качество хитрожопости.

Равнодушных осуждают, осуждают трусов, но кто осудил хитрецов и ловчил?

В лагерных условиях хитрожопость может быть и смертельной, ибо собственная хитрость приводит к пренебрежению человеческой жизнью других.

Для того чтобы заткнуть дыру в перерасходах комбината, немало пролито и арестантской крови, и арестантского пота по инициативе Павла Петровича Миллера и при техническом оформлении карьеристских идей начальника Березниковского лагеря Стукова.

И еще одно, очень сильное обстоятельство, характерное для лагерей.

Я не был на войне, не знаю, как там решается подобная ситуация. Возможно, что на войне иные психологические связи. Во всяком случае, подобные ситуации возникают, и побывавший на войне командир, превращаясь в лагерного начальника, не замечает или не хочет заметить, что обстановка-то в лагере другая, абсолютно не похожая на фронтовую, даже противоречащая в самой своей сути фронтовой.

Все это я заметил еще до войны и вне всякой зависимости от военных проблем.

В лагере вольнонаемный начальник — большой или малый — всегда считает, что подчиненный, которому отдано распоряжение, готов и обязан выполнить это распоряжение срочно и со всей душой. На самом деле рабы не все. Целый ряд работяг из ээка любое распоряжение начальника встречает с тем, чтобы напрячь все духовные силы и его не исполнять. Равнодействующая проходит по линии борьбы двух волей — надо согласиться, но не сделать или сделать не так. Или совсем не согласиться, что

глупо и приведет к смерти так же, как отказ от работы. Плохое же выполнение приказа влечет неудовольствие, отстранение от работы, но не больше.

Вот почему во время острых, «стрессовых», выражаясь модным языком, ситуаций лагерный начальник должен ждать не выполнения, а, наоборот, уклонения от выполнения приказа. Это естественное действие раба. Но лагерное начальство, московское и ниже, почему-то думает, что каждый их приказ будет выполняться. Психологически правильнее предполагать, что приказ не будет выполняться, и готовить резервные ходы.

Каждое распоряжение высшего начальства — это оскорбление достоинства заключенного вне зависимости, полезно или вредно само распоряжение. Мозг заключенного притуплен всевозможными приказами, а воля оскорблена. Меня всегда сместило, почему я должен рассказывать все, что я знаю, любому заезжему следователю только потому, что этот следователь одет в военную форму. Почему я не должен на все его угрозы отвечать не только отрицанием, но активной борьбой. Меня допрашивали четыре месяца по делу Стукова и Миллера, которым клеили вредительство. Но именно потому, что обвинение исходило из таких авторитетных кругов, я ему не поверил, не поддержал, и дело кончилось ничем.

Миллер был не то что перепуган арестом восьми человек своих помощников летом 1930 года, а просто верил своей карьере, решил переждать бурю — может быть, и не затронет.

Расчет оказался верным. Буря пронеслась, унеся только надежды Миллера на досрочное освобождение, а Стукова — на орден.

Семь из восьми его подчиненных показали на Миллера и Стукова по всей вредительской форме. Но восьмой — я — дал полный бой следствию. Дело было прекращено в отношении Миллера и Стукова, а нас всех приговорили к четырем месяцам изолятора, чтобы покрыть срок, который мы просидели под следствием. Подробнее об этом я пишу в очерке «Дело Стукова».

И в январе 1932 года, уезжая в Москву совсем, я простился с Павлом Петровичем и выслушал от него горестный лагерный афоризм:

— Пожили на маленькой командировке — поживите на большой.

Но большая командировка меня не пугала.

Еще один штрих в портрет Павла Петровича внесла моя поездка в Москву в декабре 1931 года.

Случилось так, что я, вольный уже, имеющий на руках справку горсовета: «Дана Шаламову в том, что он есть действительно то самое лицо», вызвавшую хохот Павлика Кузнецова, не пропускавшего ничего смешного или юмористического из того потока жизни, который бурлит вокруг, уезжал в отпуск двухнедельный; по колдоговору после пяти с половиной месяцев работы мне был положен отпуск.

Тогда была борьба с текучестью, и касса на железной дороге продавала билеты только после визы управделами комбината, а текучесть была большая: за месяц увольнялось три тысячи и нанималось две с половиной тысячи человек. Постоянными были только лагерные кадры — они-то и выстроили комбинат.

У меня была виза управделами, и я легко купил билет и ехал в ежедневном почтовом Соликамск — Москва без затруднений.

Я ехал, никого не предупреждая, никого не извещая, — ехал просто в свой город без всякой боязни и тревоги. Поезд пришел поздно вечером на Ярославский вокзал, еще трамвай звенел. Было тихо, шел легкий теплый снег, и я заплакал на вокзале от встречи со своим любимым городом, где все было — мои ошибки, мои удачи, мои потери.

Но надо было ночевать, и я стал листать у телефонной будки прикованную к ней цепью книгу — телефонный справочник Москвы. Я нашел телефон моего хорошего знакомого, позвонил и через час уже был на Ленинградском шоссе в той самой квартире, где я когда-то готовился в университет. Рассказы мои вызвали оживление хозяев.

Я там переночевал, а на следующий день выяснилось, что и сестра моя родная в Москве, и тетка в Кунцево, и родители мои в Вологде живы.

Можно было спокойно приступить к выполнению поручений.

Первым моим шагом была беседа с моими прежними друзьями, и только после этой беседы я принялся за другие дела.

Первым делом было доставить письмо Миллера.

По просьбе Миллера я обещал привезти ему из Москвы его чемодан, который хранится где-то у родных, на Со-

лянке, у тетки, зовут которую Эмилия Людвиговна Ващенко. Я нашел ее, вручил записку. Чемодан обещали найти.

— А что там в чемодане Пашином?

— Павел Петрович говорил — костюм.

— Ах, там костюм Пашин. Коверкотовый костюм. На Урале, на каторге, Паше нужен коверкотовый костюм. Паша живет в таких местах, где без коверкотового костюма обойтись нельзя. Хорошо, мы найдем чемодан. Подождем Юрочку.

Юрочка был сыном Эмилии Людвиговны.

— Ах, Павлик, Павлик, — вздыхала Ващенко. — Первое известие от него привезли вы. А какой был щеголь... Вы знаете его жену, Полину Сергеевну?

— Раз видел.

— Ну, как?

— Да никак. Было темно. Мы чай пили.

— Никак?! Павлик — негодяй, а она — святая женщина. И хоть племянник он именно мой, а она мне никто, я и на Страшном Суде скажу: Павлик — негодяй, а она — святая женщина. Как он ей изменял! Где угодно, с кем угодно. Какие-то балерины, артистки погорелого театра, а то и вовсе каких-то сомнительных дам приводил. Да не куда-нибудь, а вот в эту самую комнату. А Полина Сергеевна все терпела. Они уже почти разошлись. И вдруг его арестовали. И вот — тюрьма. Свидания. Хождения эти по прокуратурам. Запросы, вопросы. Ведь этим артисткам и балеринам не дают разрешения на свидания. Да еще поездка на этот ваш Акатуй. Зачем ей Павел? Плюнуть этому Павлику в рожу и то она не способна. Крыжовник варит. Его любимое варенье! Как ваше имя-отчество?

— Варлам Тихонович.

— Вот, Варлам Тихонович. Судьба Полины Сергеевны — это судьба русской женщины. А декабристки — там все была мода, порыв, а вот такая женская <судьба>. Памятник Полине надо на Красной площади поставить. Еще лучше на Лубянской. А вы говорите: история рассудит. История никого не рассудит.

— Я ничего не сказал насчет истории.

— Ну, подумали.

— И не подумал.

— А чемодан вам привезет Юрочка к поезду.

Пришел наконец Юрочка — лысый инженер, лет на двадцать постарше Павла Петровича, и мы договорили-

лись, что чемодан привезет Юрочка на Ярославский вокзал к моему поезду, чтоб меня не затруднять, как сказал Юрочка.

Так и вышло. Небольшой фибровый чемодан был мне вручен перед посадкой, и я двинулся в путь на Северный Урал. Положил чемодан под голову и привязал его к пальцам руки, чтобы «скокари не отвернули угол». Я уже мог выражать ожидаемое событие на лагерном языке. Через пять ночей и пять дней я добрался до станции Усольская и слез, отвязав пальцы от чемодана.

Я вручил Миллеру привезенное. Своим ключом Павел Петрович открыл чемодан. Пыль поднялась, как грибообразное облако атомной бомбы. Взлетела моль.

— Бляди. Забыли нафталина положить,— сказал Миллер. Павел Петрович был угнетен. Разбитая, развеянная мечта. Приходилось снова облачаться в соловецкую униформу.

Среди нового окружения Павла Петровича, которое я застал после освобождения, был инженер Новиков, железнодорожный строитель, осужденный по вредительской статье и задержанный в Березниках миллеровским фильтром. Новиков помогал Павлу Петровичу в расчетах среди многочисленных и разнообразных дел, которые, как и в мое время, кипели возле Миллера. Правда, волны стали менее бурными, менее шумными, да и сам Павел Петрович облез. Польсел, поседел как-то сразу, но вечерний чай был так же горяч и крепок.

Новиков занимался в кабинете Миллера и приватно. Он продвигал изобретение—переворот в строительной технике, который должен был принести Новикову свободу и славу. Новиков изобрел саморазгружающийся вагон-платформу с опрокидывающимися бортами, повинующимися какому-то клапану в паровозе.

Были уже вычерчены все чертежи, составлено техническое описание проекта и особая докладная, где указывалось, что это изобретение ГУЛАГовских инженеров—Миллера и Новикова.

Я отнесся к этому демаршу спокойно, не тревожась за миллеровскую *〈подпись〉*,—приписка чужого имени сверху была, есть и будет в науке, технике, искусстве и литературе. Она входит в правила игры, которая называется жизнью.

Поэтому я не моргнув глазом прочел доступные мне места технического описания изобретения.

Про себя я думал и думаю, что после шока, полученного при свидании с Берманом и пережитого во время стукковского дела, Миллер имел полное моральное право бороться за свое освобождение любым доступным ему путем.

Почему же мне была доверена столь строгая тайна? Ведь я не ГУЛАГ, и не в ГУЛАГ меня попросят везти эту докладную миллеровскую записку.

Оказалось, что на это были свои причины.

— Вы прочли докладную?

— Да. Поздравляю...

— Дело не в этом. При ваших знакомствах в Москве вам легко опубликовать краткое сообщение об этой работе, но обязательно в техническом журнале.

— В техническом журнале у меня нет знакомств, Павел Петрович. Но я думаю, что смогу.

— Ну, нет так нет.

Я привез эту заметку в Москву. Там был чертеж вагона, сообщение о важном изобретении инженеров Миллера и Новикова в Березниках — краткая экономная заметка строк на пятьдесят.

Я заговорил об этом с моим приятелем из литературно-художественного журнала.

— Я давно уже не работаю по литературно-художественной части.

— А где же?

— Веду редакцией технического журнала. Мода. И хлеб.

— Так, может быть, ты сам...

— Конечно. Давай сюда.

Приятель мой просмотрел заметку.

— Это чепуха. Двести тысяч изобретений на эту тему поступает в день. Журналу нашему саморазгружающиеся вагоны осточертели до предела. Трудно придумать более не новое и более неудачное. Ведь в редколлегии нашей не только я. Есть и специалисты. Но дело не в этом. Мы напечатаем эту заметку ради тебя самого. Давай все эти чертежи сюда!

И месяца через три в журнале «Борьба за технику» эта заметка была напечатана и даже гонорар выписан — послан на имя авторов изобретения в Березники, но деньги получены обратно.

— В чем дело?

— Наверно, потому, что это заключенные, — невинно сказал я.

— Ах, это заключенные! Ну, тем лучше.

Даю всегдaшнюю справку: ответственный редактор журнала «Борьба за технику» Добровский расстрелян в 1937 году.

У моего приятеля, заведующего редакцией, сломали в Лефортове, во время побоев на допросе спину. Но он еще жив и пишет...

ДЕЛО СТУКОВА

Осенью 1930 года уполномоченный следственной части из заключенных Константин Васильевич Ушаков был отозван в управление на Вижаиху, а вместо него прибыл и принял должность вольнонаемный следователь Жигалев, носивший в петлицах один кирпичик, если память мне не изменяет. Вместе с Жигалевым приехали еще два следователя. Следственная часть помещалась тогда на втором этаже лагерного клуба, «на хорах». Там были понаделаны нужные перегородки, очень тесные, так что ноги следователя задевали того, кто вызывался и был посажен напротив, и подвергаемых допросу сажали боком.

Три новых следователя допросили чрезвычайно широкий круг людей из заключенных — всех бригадиров, а их было человек сто, всех нарядчиков, бухгалтеров, прорабов, десятников, вообще всех, кто занимал и в лагере, и на строительстве какие-либо должности. Наши местные следователи тоже принимали участие в этой облаве.

Я, начальник отдела труда, был вызван как раз к местному следователю экономотдела Пекерскому. Пекерский был москвич, проштрафившийся чекист, получивший срок по служебной статье, что, как мне было ясно с первого дня пребывания в лагере, с этапа, с пути, открывает арестанту широчайшие возможности легкого пути к свободе. Осужденный по служебной статье как бы автоматически подлежит всяким скидкам, разгрузкам и с первого дня пребывания в лагере занимается той же работой, что и на воле. Так Пекерский, московский работник НКВД, стал работать по специальности как раз в нашем отделении, в Березниках.

Пекерский посадил меня с боку своего стола — иначе и посадить было нельзя, начал допрос, записал обычные

анкетные вопросы, а потом предложил подумать над вопросами, на которые он должен был записать ответы. Ответы касались какого-то производства или эпизода разгрузки баржи — что-то в этом роде. Оставив дверь открытой, Пекерский вышел и не приходил целый час. Мне было скучно, ответ был несложным, вставать и выходить из кабинета я счел неудобным. Я стал разглядывать стол, гору бумаг, заявлений каких-то, которые были навалены на столе Пекерского. Похоже, почерки были мне знакомы. Мало-помалу я стал разбирать и содержание этих документов, особенно тех, которые лежали сверху.

Это были заявления, информации сексотов, как раз по моему адресу, и вообще о лагере, о производстве. Каждый сексот имел свой псевдоним. Наш руководитель работ Иван Анатольевич Павловский, чья койка стояла рядом со мной, подписывался «Звезда». Его характерный мелкий, изящный почерк я знал хорошо. И вдруг он не Павловский, а «Звезда». Мой помощник Николай Павлович Никольский, нижегородский фининспектор, подписывался «Рубин».

Я, конечно, сразу понял, в чем дело, и познакомился со списком сексотов основательно. Это был поразительный случай доносительства абсолютно всех.

Там не было только моей информации. Не было видно почерка Миллера — начальника производственного отдела — и пьянчужки Павлика Кузнецова.

В конце концов я перебрал эти листики, прочел почти каждый. Прошло не менее часа, как вернулся Пекерский, записал мои ответы на два вопроса о засыпанной осенней шугой барже и отпустил меня. Допрашивал меня и сам Жигалев, но я уже был готов к его вопросам. Жигалев допрашивал меня вместе с Осипенко, нашим завхозом. Осипенко был раньше секретарем сначала митрополита Питирима, а потом Распутина. Я первый раз в жизни видел тогда, как падают в ноги и обнимают сапоги начальника. Осипенко на моих глазах упал в ноги Жигалеву и, обнимая сапоги, высоким тенорком молил: «Не губите, гражданин начальник!» Жигалев выдернул сапог из пальцев Осипенко и убедил секретаря Распутина, что «все будет сделано по закону».

Мой допрос длился часа два, но как-то не попадал в нужный тон. Жигалев требовал подтвердить, что наши начальники и Миллер берут взятки с вольных, начальник бьет заключенных, бригадиры развратничают, приписывают работы. Вот как приписывают? Я ответил, что это

дело не мое — производство, я занят только внутренним учетом, ни о каких взятках не слыхал.

С юности, чуть не сказал — с детства, меня раздражает благодетель, который угрозами хочет добиться признания, не умея даже определить сути преступления, и собирает материалы вовсе не о том, о чем можно было собрать. Суть допроса была, в общем, ясна: дать показания на начальника — любые. И на Миллера — не может быть, чтобы тот и другой были безгрешны.

Но я с юных лет обучен в этих учреждениях отвечать только на вопрос: да — нет, да — нет. И такой стиль беседы не удовлетворял начальство.

Сотни людей допрашивались, два приезжих следователя повезли драгоценную добычу в управление за сто километров. Жигалев остался здесь продолжать допросы. Начальник отделения, старый чекист Стуков, конечно, прекрасно был осведомлен и о действиях Жигалева, и об его улове. Допросы уже увезли в управление, но следователь ждет и других курьеров по тому же делу, других меморандумов.

Один из таких курьеров действительно был направлен Жигалевым на Вижаиху. Стуков вошел в каюту парохода за час до отъезда, обыскал курьера Жигалева, вскрыл пакет, прочел все, что Жигалев писал, запечатал снова и, грозя наганом, велел курьеру везти почту по назначению. Пароход ушел. Стуков, не теряя времени, подговорил своего приятеля из чекистов напоить Жигалева, и, когда тот заснул в гостинице, тут же вошел Стуков и отобрал у пьяного Жигалева пистолет. Запечатанный пистолет Стуков отправил в управление по адресу Филиппова и написал, что знает, что на него, Стукова, заведено дело, но вот кто возглавил эту следственную часть. Жигалев был немедленно снят с должности, и удар Стукова попал в цель самым лучшим образом.

Недруги начальства не остановились. Из управления приехали новые следователи во главе с Агриколянским — вольнонаемным — и допрашивали, и перепроверяли по старым жигалевским допросам день и ночь. Я уж думал, что дело кончено, но глубоко ошибался. Все было впереди.

Обычно, когда завершается какое-нибудь важное для государства строительство тюремное, какая-нибудь особенно хитрая тюрьма, ее строитель погибает в самих же этих застенках. Тут есть мистика, легенда, цветок, ежегодно поливаемый свежей кровью, легенда, уходящая в глу-

бокую древность. Спасение требует жертв, как в океанской катастрофе. Строители, создатели лагеря на Адамовой горе, сами обновили свою тюрьму. Позднее Васьков умер в Магадане в «доме Васькова».

Вечером какого-то осеннего дня нарядчица женской роты Шура Целовальникова, двадцати четырех лет, образование среднее, статья пятьдесят восемь—десять, срок три года, по профессии учительница, потребовала у меня личного свидания. Я отрицательно отношусь ко всяким романам на службе. Более того, любовь с выполнением долга кажется мне несовместимой, требующей однозначного выбора. И более того, вся история подполья, «Народной воли» например, полна романами, нарушавшими стройный план руководителей. Эти романы и путь для всяческих провокаций. Или роман доверенных лиц — двух подпольщиков, вроде любви Желябова и Перовской, также относится к попытке примирить непримиримое. Я тоже сквозь пальцы смотрел на лагерные романы своих подчиненных, начальников, сослуживцев, но сам для себя провел незримую, но крепкую черту, за которую никогда не заходил.

Поэтому я был весьма удивлен, когда Шура Целовальникова, нарядчица женской роты, а каждая рота была у нас в Березниках в триста человек, попросила у меня личного свидания, сказав, что должна мне что-то сообщить. Это мне не понравилось. Но пришлось ее выслушать.

Целовальникова рассказала мне, что вчера ее вызывали и велели написать заявление, что я принуждал ее к сожительству.

— Ну и что же?

— Меня заставили подписать, и вот я ночью думала, думала и решила вам сказать.

— Спасибо и за это.

Мне показалось, что после того размаха, который чувствовался в допросах сотен людей, размаха, где взрыв какого-нибудь котла или всего здания был только началом, преддверием каких-то самому следователю неясных преступлений, — после такого размаха вопрос клеветы на меня Шуры Целовальниковой не имеет значения. Впрочем, думать мне долго не пришлось. В тот же вечер я был арестован, приведен в лагерный изолятор, раздет до белья и посажен в карцер. В соседний карцер тоже кого-то сажали и прижимали к щели в дверях — карцер был деревянный, старый, обновление его еще не коснулось. На месте

нашего старого изолятора Миллер предполагал выстроить новый, по последнему французскому образцу, как увлеченно толковал он начальнику лагеря Стукову. Почему уж образцы были французскими, я не знаю, но разговор о том, что у нас и изолятор будет такой, что прославится на весь ГУЛАГ, я отлично помню.

Эту мечту осуществить Миллер не успел, все его помощники уже были посажены в старый, надежный изолятор, видевший немало следствий, убийц, растлителей, фармазонов, воров, пьяниц, кокаинистов, оскорбителей лагерных богов и пытающихся потушить лагерное солнце. Сейчас в камеры сводился новый социальный отряд, чтоб было не хуже, чем в Москве, и вполне достойно последней московской моды. В изолятор сажали вредителей, собственных вредителей. Был арестован начальник отдела и заключенный одноглазый Шор, с глазом-протезом, который Шор сдал на хранение при посадке как драгоценность. Шор — заведующий подсобными предприятиями, в его распоряжении были мастерские лагеря — обувная и портняжная, где работали лучшие венские портные, белошвейки сказочных способностей, где грузинская закрытая обувь шилась клиенту на «глаз» — замерялась только длина, да и этим единственным обмером творец-закройщик делал как бы уступку реальной жизни, чтоб способность поэта, мастера не казалась простым смертным сверхъестественной. Самое важное начальство концлагерей — Грановский, Шахгильдин — заказывало обувь именно в лагере. У этого поэта-закройщика.

Был закройщик и верхней одежды. Кожаная куртка чекиста Бермана, как-то незаметно удлиненная, приобретала галию, облегчала бедра, обхватывала шею, образуя неожиданно меховой, чуть не бобровый воротник. И Шахгильдин, и Грановский, и все их работники шили пальто именно в этих лагерных мастерских. Мастерские были вынесены за зону, но, конечно, закройщик обмерял начальника строительства или первого секретаря райкома на дому, где-нибудь в гостинице, а то и прямо в служебном кабинете.

Вслед за Шором в следующий карцер втолкнули жирное тяжелое тело Плеве, старого экспедитора, ведавшего снабжением лагеря. Был ли Плеве — фон Плеве, я не знаю. Возможно, что и был. Срок у него был десять лет по сто седьмой. По сто седьмой привлекали нэпманов из сочувствующих советской власти. Плеве был каким-то лич-

ным знакомым Стукова, особо доверенным лицом. Розовощекий, розовотелый пятидесятилетний пухлый Плеве едва втиснулся в тесный карцер, оглядывая мир подслеповатыми глазами — золотые очки пришлось сдать по квитанции коменданту. Плеве по этому делу должен был допрашивать уполномоченный Песнякевич, уполномоченный не из сухих или бывших ээка, а самый настоящий материковский чекист. Увидев, что они поздоровались друг с другом — Плеве поклонился достойно, а тот кивнул, сдвинув уголок рта, — я, пока ждал допроса, своей очереди в кабинете следователя, задал Плеве вопрос, знали ли они друг друга на воле.

— Еще бы, — ответил Плеве. — Его мать в Минске держала бардак, а я бывал в этом бардаке в молодые годы. В бардаке мадам Песнякевич.

Следующим был Сергеев, герой гражданской войны с переломом спины и пулевыми ранами, — Сергеев растегнул и сдал коменданту железный корсет, оберегавший спину, и заполз в карцер.

Привели руководителя работ, помощника Миллера, Ивана Анатольевича Павловского, чьи доносы под псевдонимом «Звезда» мне удалось прочитать. Сюда в карцер Павловский, очевидно, был посажен как «наседка», но со мной в паре его не запирали в карцер — Павловский охотился за кем-то другим.

Привели Осипенко — нашего заведующего хозяйством, бывшего секретаря Распутина, того самого, кто недели две назад обнимал сапоги уполномоченного в моем присутствии.

Тут же начались допросы. Меня на этот раз допрашивал не Жигалев, а более значительное лицо — уполномоченный Агриколянский. Мне был предложен список вопросов и дана возможность записать ответ своей рукой. К этому времени я уже пришел в бешенство и только и ждал этой возможности — первого следственного сражения. Каждый ответ мой кончался примерно такой фразой: «Показать по этому вопросу ничего не могу, прошу задавать мне вопросы, которые касаются моей личной работы». Я очертил круг обязанностей своих в лагере, официальной ответственности и применительно к этому держался.

— Слышали ли вы о падении стены завода на строителей?

— Нет, ничего не слышал.

— Как же вы не слышали, когда об этом говорит весь лагерь?

— А я вот не слышал. Еще раз прошу спрашивать меня по моей работе, а не о чем-то постороннем.

А там была история вот такая. Во время выгрузки оборудования из баржи бригадир заключенных Сорокин зацепил тросом за столб и сдернул крышу построенного здания.

— Что вы знаете о приписках?

— Не знаю ничего. Это не входит в мои обязанности как работника отдела труда.

— Но приписки же были.

— Кому? Я этого не знаю.

В общем, «шили» вредительство Стукову и Миллеру — самая модная болезнь, обнаруженная на Вишере, и где — в нашем же отделении!

— Почему лагерным работникам из высшей администрации давали пропуска в столовую для иностранцев?

— Я не знаю. Мне давали, я и брал. И пользовался этой столовой. Было распоряжение начальника, спросите у начальника.

Криминальность этого пропуска в столовую для иностранцев была явно политического характера. Иностранцев на Березникхимстрое было очень много: немцы, французы, американцы, англичане, — все они жили в поселке для иностранных специалистов. Для них на строительстве была выстроена гостиница и оборудован ресторан — то, что на нашем аскетическом языке называлось «столовая для иностранцев». Поскольку все повара были заключенные, все продукты шли исключительно по лагерьной сети снабжения, поскольку весь комбинат строил именно лагерь, Стуков, начальник лагеря, договорился с Грановским, что даст своим пять пропусков в этот гастрономический рай. Тогда уже ухудшилось снабжение вольных, и одиноким инженерам-спецам Грановский давал возможность питаться в этой столовой. Вот из ста или двухсот пропусков вольнонаемным советским инженерам пять было закреплено за лагерем. Пропуска были именные на два раза в день — обед и ужин.

Мы занимали всегда отдельный столик и в своей лагерьной робе представляли, наверно, красочную картину. Кроме этого поощрения для вершущих, рабочие бригады питались в столовой на строительстве, столовой только для заключенных. Эта столовая для заключенных функционировала весьма оживленно. Талоны в нее раздавали

бригадиры, тут же поощряя лучших работяг. Таким образом, положенный лагерный паек оставался в лагере, и вечером арестант его получал. Днем обедал в столовой «от хозяина».

Это тоже вызывало большие нарекания, ибо вольная столовая была гораздо хуже лагерной. Лагерников и одевали лучше. Ведь на работу не выпускали раздетых и разутых. Даже случайно.

Это привело к конфликту, зависти, жалобам. Я много встречал потом ссыльных, а то и просто вербованных работяг, бежавших из Березников из-за плохих условий быта. Все они вспоминали одно и то же: «раскормленные рожки лагерных работяг».

Бывало, что тот, кто посылал жителей своего села, давал дело — судил и отправлял под конвоем на Север, — сам приезжал туда по вербовке, по вольному найму как энтузиаст и видел, что те, кого он судил, живут в гораздо лучших условиях, что и сам лагерь блестел чистотой, там не было ни вони, ни даже намека на вошь.

Но все это область чистой эмоции — кто-то кому-то завидует.

Выработка заключенных была гораздо выше, чем у вольнонаемных, хотя денег заключенные не получали за свою работу, а только премии — один или два рубля в месяц. Я и Павловский, Кузнецов и Лазарсон получали по тридцать рублей, Миллер — пятьдесят. На все эти деньги мы имели право получить бонами за подписью Глеба Бокия — расчеты и знаки, о которых не упоминает автор монументального труда о русской денежной системе. Я долго хранил у себя в архиве несколько лагерных бон, но потерял в конце концов этот эффектный документ. В лагерном магазине продовольственных и промтоваров и торговали на лагерные бонны. Все стоило копейки — в соответствии с курсом червонца 1922 года.

Вот тут и искали вредительство. Но где? В приписках? Никаких приписок обнаружить не могли. Проверить документы по подсыпке — а Березники стоят в яме, на насыпном грунте — не было физической возможности. Проверка нарядов подтвердила полную правильность актов и замеров, подписанных лагерными работниками и работниками комбината. Вообще бригадиров, чьи бригады не выполняли 130%, не держали ни одного дня на строительстве. Выбор был — этапы, которые шли мимо в управление день и ночь, давали возможность выбрать и задержать лучших людей: создать угрозу перевода

в худшие условия — вечный лагерный аргумент еще с Ака-
туйской каторги.

Так вот, четыре месяца велось следствие, допрашива-
ли нас и ничего путного получить не могли.

Да, шили секретарю райкома Шахгильдину в лагере
кожаное пальто. Он заплатил за него полную цену. Разве
такие вещи не разрешаются? Разрешили такое же пальто
сшить и Грановскому, начальнику строительства, шили
и Чистякову, главному инженеру.

Да, покупали вольные в лагерном магазине продукты.
Да, главный инженер Чистяков жил со своей курьершей,
красоткой из зэка.

А дело было очень простое. Следователь никак не
знал, как подступить к этой специфике лагерей. Дело бы-
ло очень простое и в то же время очень большое. Надо
было вернуться на строительстве к самому его началу по
крайней мере год назад. И то давнее преступное решение
было гениально просто и не могло быть разоблачено че-
рез год.

Год назад Грановским, начальником строительства,
или комиссией из Москвы — это все равно — было обна-
ружено, что первой очереди Березниковского комбината,
по которой уже произведены миллионные выплаты, по-
просту говоря, в природе нет. Не построен ни один из этих
шестнадцати заводов, которые должны были представ-
лять первую очередь. Все эти шестнадцать заводов стоят
в яме на огражденной территории, которая по плану дол-
жна быть подсыпана. Песок находился в десяти киломе-
трах. И оттуда еще с зимы двадцать восьмого года возили
песок на грабарках местные крестьяне. Этим нанятым гра-
барей было человек шестьсот. Шестьсот якутских лошадей
смело начали подсыпать комбинат. Им платили наличны-
ми деньгами, для чего существовал московский десятник
Миша Долгополов, принимавший работу, отмечавший
наряды и гулявший в ресторане «Медведь» в Усолье на
другом берегу Камы.

Выяснилось, что выплачены все деньги за всю первую
очередь строительства вперед.

Петля висела и над Грановским, и над его заместите-
лем Омеляновичем, потом Чистяковым. И инженер,
и администратор бежали из Березников, боясь, но Гра-
новский, начальник по путевке ЦК, не мог спастись бег-
ством. Вот тут-то ему и подсказали гениальное реше-
ние — привлечь лагерь к строительству. Не потому, что

〈это〉 такие гиганты-геркулесы, которые будут делать пятьсот процентов, а потому, что там есть одна возможность, о которой Грановский и не подозревал. Возможность залатать все заплаты заключалась в бесплатном лагерном труде. Лагерь не потому мучителен, что там заставляют работать, а потому, что там заставляют работать бесплатно, за пайку хлеба горы воротить. В лагере никогда не учитываются работы этапа, транзита, проходных работяг. Лагерь всех проходных работяг бросал на подсыпку. Ночь переночевали и под конвоем пустились в дальний путь.

Вот эти десятки тысяч транзитников быстро поправили дела комбината, и Грановский избавился от суда. Конечно, сроки были нарушены, но жизнь и даже честь была спасена.

Месяца через три этой бесплатной транзитной работы сотен тысяч, которых кормили супом, а то и супа не давали, честь комбината была спасена, и территория была подсыпана настоящим песком, добытым в настоящем лесном карьере, и соединена настоящей железной дорогой с настоящим вагоном.

Руководитель комбината руководил и лагерем (такой переплет!), отбирая лучших работяг, покупая инженеров. Стуков бил на орден, а Миллер — на досрочное освобождение. Правда, инцидент с Берманом поубавил надежд Миллера, но Стуков обещал, что все будет в порядке, и активность Миллера не уменьшилась.

И вдруг дело Стукова!

Четыре месяца продолжалось следствие. Целых два месяца нас допрашивали, выводя прямо в белье в кабинет следователя. Все следствие возглавил Агриколянский. Жигалев, отсидев на губе, был снят с работы. Агриколянский передопросил меня по тем же вопросам, на этот раз не давая мне писать ответов, а записывая их своей рукой. Это только задержало следствие, ибо ничего нового из меня Агриколянский не выжал, хотя и допрашивал целые часы. Я уже был приведен в знакомое мне состояние крайнего бешенства и мог выдержать — или так мне казалось — и сотню Агриколянских. Все мои допросы были кем-то исчерканы красным карандашом. Этот красный карандаш тоже не мог пролить света на пути следствия.

Ни начальник, ни Миллер даже не допрашивались — именно против них собирали материал. После двухмесяч-

ного сидения в белье и хождения по допросам нас увезли на этап — несколько саней с конвоем повезли меня по знакомой дороге Соликамск — Вижаиха. В третий раз за один год. Все мои однодельцы в управлении еще не бывали, и я описывал им вишерские порядки и красоты.

Через двое суток привезли нас на Вижаиху и посадили опять в изолятор, опять в карцерный, на этот раз в центральный. Карцерные порядки, режим универсальный. Допросы начались в ночь приезда.

В центральном изоляторе мы просидели месяца два, допрашивали несколько раз с теми же угрозами и с тем же результатом, все пытались раскрыть березниковскую тайну, звали, чтобы я «пошел в сознание» и не защищал врагов государства. На следствии они пытались и не могли понять, как был построен гигант пятилетки и в чем, собственно, тут дело. Нас здесь не держали взаперти, как в Ленве, в Березниках, а заставляли работать на дворе самого изолятора: копать ямы для столбов, рыть траншеи — бесплатно и безучетно. И следовательно, заставляющий нас махать лопатами бесплатно, никак не хотел догадаться, что в этом бесплатном труде и была разгадка всего нашего дела, разгадка тайны, которую не разгадала и Москва.

Бесплатный, безучетный труд каждого и должен быть умножен в миллионы раз — вот и вырос Березниковский гигант, за который начальник строительства получил Красное Знамя. Стукова и Миллера этой наградой обогнали.

Рабский труд, бесплатный труд арестанта — вот разгадка всех успехов комбината, весь провал первой очереди, которая называется «пусковой период», был перекрыт с помощью арестантского труда.

Только все это надо было делать умно — не вести учета, не заводить двойную бухгалтерию, а просто все валить на транзит. Голодный транзитник за пайку хлеба поработает охотно и результативно — день, на который его задержали из-за отсутствия вагонов.

А если транзитников — миллион?

Десяток таких гигантов, как Березниковский, можно было построить. Миллион транзитников — это уже масштабы Москанала, Беломорканала, Колымы.

Настал день, когда нас не вывели на работу с обеда, а повели через двор всех шестерых и ввели, вернее втолк-

нули, в дверь одного из трех барачков, стоящих в углу изоляторной зоны и называемых в управлении пересылкой. Выход из этой новой зоны был и внутрь и наружу — внутрь зоны лагеря, где было расположено управление Вишлага. Вслед за нами втокнули кого-то еще. В палатке и стоять было тесно. Забиты были все нары — верхние, нижние. Я стоял под самой лампочкой, и кто-то с верхних нар подергал меня за стриженные волосы.

— Эй ты, москвич!

Это кричал Сережа Рындаков, мой первый учитель лагерного быта Вишеры двадцать девятого года. Сережа был порчак, штымп ботайский, осужденный как СОЭ на три года. Хорошо грамотный хулиган, родственник какого-то московского чекиста, Сережа был весь в шрамах, в рубцах. На обеих руках его были вскрыты вены — попытка самоубийства. На животе вздувались продольные рубцы — след бритвы — «писки». Сережа был крайний истерик, искатель правды, что в лагерных масштабах привело к болезни и к раннему туберкулезу.

— Всех выпускают! — прокричал Сережа. Он всегда все знал.

— А ты здесь за что?

— За марафет.

— Что-то по тебе не видно.

— Я уж здесь давно — все уже вышло.

Наш разговор привлек внимание кого-то, лежащего под нарами, и, раздвигая чужие ноги, на свет выбрался человек, грязный, заросший густой черной бородой, сверкающий черными глазами. Что-то знакомое было в его усмешке:

— Не узнаете? Я Пекерский.

Пекерский был как раз тот уполномоченный, который допрашивал меня в Березниках, положивший передо мной на столе стопку показаний лагерных сексотов. Я пожал руку Пекерского от всей души. Он, оказывается, тоже сидел по нашему делу.

— Жму вашу руку с удовольствием, — сказал я.

— А я вашу — с уважением, — помолчав, сказал чекист Пекерский.

И до сих пор это одна из лучших похвал, какие я слышал в жизни.

Пекерский уполз под нары. Всех бывших прокуроров, уполномоченных, работников органов всегда в изолятор загоняли. Под нары. Там было их место.

Скоро нас вызвали для прочтения приговора после четырех месяцев следствия. Оказывается, привлекли многих, до сотни людей. Из них мы были главные герои.

Я слушал наш приговор и не верил своим ушам: «...за систематические избиения заключенных, за кражу государственного имущества, за понуждение к вступлению в половую связь, за систематические кражи и обман государства таких-то и таких-то заключенных (перечислялись наши фамилии и должности) — водворить в штрафизо со сроком на четыре месяца каждого и подвергнуть тяжелым физическим работам до конца срока заключения».

Четыре месяца — это был как раз срок следствия, нам давали юридическое основание уже совершенного произвола. Вот это и была классическая сталинская амальгама — новый, чисто сталинский способ расправы с политическими врагами с помощью уголовных статей. Новый метод, новый вклад в правовую науку, который лично и всю жизнь культивировал Сталин. Клевета, возведенная в принцип.

Но Сережа Рындаков был другого мнения по поводу этих провокационных формул.

— Я смотрю на ваш приговор иначе, — сказал он, — и радуюсь за тебя.

— Что за бред?

— Вообще не бред. Вредительства-то, модной болезни века, вам не пришили. Вот самый главный, по-моему, вывод. Во-вторых, вас немедленно освобождают — всех! А ведь в вашем деле за сотню людей. Всех в один день и час выпускают. Выпускают, конечно, не на волю, а в лагерь, в зону. И все же. Гляди, вещи уже несут.

Действительно, кладовщик тащил с собой много завязанных мешков, какую-то ведомость укреплял на столике. Стали получать вещи. Правда, все наши вещи были раскрадены еще в Ленве самими же, наверное, кладовщиками — ведь никто ни в Ленве, ни на Вишере не считал, что мы останемся в живых. Но у арестанта есть возможность при всех обстоятельствах получить комплект лагерной одежды. Не важно, второго или двадцатого срока. Да и сам момент был не таков, чтобы оспаривать, качать какие-то права.

Мы вышли в лагерную ночь. Каждому сказали, куда он выйдет завтра на работу. Насчет труда тут учет был поставлен неплохо.

КУЗНЕЦОВ

Транзитка, перевалка человеческого потока в Березниках позволяла начальнику лагеря Стукову отобрать для себя лучшую рабочую силу: технических специалистов, рабочих высокой квалификации, физически самых крепких людей из всех, отправляемых в Красновишерск, на Вижаиху, в Управление Вишерских лагерей, на строительство бумкомбината. Лишь некоторых заключенных особой квалификации начальник должен был отправлять в управление без задержки. Это были инженеры-шахтинцы вместе с Бояршиновым. Были и такие, как знаменитый в то время Самойленко-Гольдман. Самойленко-Гольдман был аферист, выдававший себя за инженера с американским дипломом. После многотысячных растрат и хищений выяснилось, что инженер Самойленко вовсе не инженер, а его диплом на английском языке — просто право на чтение книг в нью-йоркской библиотеке.

Я был хорошо знаком с Самойленко. Он осаждал начальство то всевозможными проектами технического характера по постройке канатной дороги для отправки бревен прямо с Уральских гор в затон лесопильного завода, то расчетами по проведению ледяных дорог на лесозаготовках, то проектами завода по добыче пихтового масла. О нью-йоркском дипломе уже не было речей, но фейерверк цифр и расчетов по-прежнему слепил начальству глаза. Миллеру он не понравился, и Самойленко уехал из Березников.

Моим соседом в комнате для десятников стал на многие месяцы Павел Павлович Кузнецов — московский сантехник тридцати пяти лет. Тридцать пять лет — это возраст преступлений. К этому времени человек убеждается, узнает, по Гейне, «отчего под ношей крестной весь в крови влачится правый, отчего везде бесчестный встречен почестью и славой». Честный человек логическим путем доходит до мысли сделать преступление. А так как он, этот честный человек, неловок, не успевает отскочить в сторону после того, как он нарушил какие-то законы, — его ловят, судят и приговаривают к сроку наказания, после которого нет возврата в нормальное общество.

Какими бы массовыми ни были аресты в 1937 году, как бы эта коса ни косила всех подряд без всякого выбора — понятие преступления, вины было искажено безмерно, — все равно на душе каждого, прошедшего лагерь той

поры, остался вечный след, вечный рубец. В двадцатые годы преступление было еще преступлением, а не сознательной политикой государства.

Вот потому-то честный человек, потомственный интеллигент московский, Павел Павлович Кузнецов пил. Кузнецов и украл: все воровали, и он украл. Но все отскочили в сторону и отделались испугом, а Кузнецов получил срок — семь лет тюрьмы по 169-й статье. 169-я статья — это мошенничество; преступление Кузнецова — кража вагона спецодежды, продажа вагона спецодежды в частные руки.

Павел Павлович, невысокого роста, «лобан» с огромной головой, с пухлым лицом, узкими глазками, был из культурной московской семьи, постоянный посетитель оперы и балета в Большом театре, поклонник Художественного театра.

В свободные часы Павел Павлович мне напевал всего «Князя Игоря», «Сказание о граде Китеже», всего «Евгения Онегина», «Русалку»; оперы в своеобразном концертном исполнении изучены мною именно тогда, в бараках Вишерских лагерей, учителем моим был Кузнецов. Такие пьесы, как «Дни нашей жизни» или «Савва» Леонида Андреева, Павел Павлович знал наизусть. Музыка была его потребностью, его жизнью даже в лагере.

К сожалению, Павел Павлович пил запоем на воле и при каждой возможности — в лагере. Кузнецов был руководителем работ на одном из участков в лагере (на Верхней Вильве — в каменных карьерах), но запил и был снят с работы.

Кузнецов был болен позорной русской болезнью — запоем. Поэтому, как бы отлично он ни работал, все кончалось изолятором и снятием с работы. Но все имеет свой конец, кончился и срок Кузнецова.

Я встретился с Павлом Павловичем в Москве. Этот пьянчужка был мне дороже троцкистских ханжей — трезвенников. Я встретился с ним на Моховой, в квартире его сослуживца и покровителя инженера Татаринцева — это известное имя в технических кругах тогдашней Москвы. Павел Павлович подрабатывал деньги, чертил какие-то чертежи, составлял сметы. Заказ на эти работы получал сам Татаринцев, он же и подписывал сметы и получал гонорар, не забывая, конечно, и Павла Павловича. Имя Татаринцева было большим, гонорары соответствовали имени. Знакомая вечная картина и для техники, и для литературы.

Павел Павлович чертил, поднимая настроение тогдашней «рыковкой» — сорокаградусной водкой. Пил он стакан за стаканом, закусывая солеными огурцами в малом количестве. После одного из стаканов Кузнецов упал и заснул. В Москве он места не нашел. Уехал, кажется, в Алатырь.

Больше в жизни я Кузнецова не видел.

ЖИДКОВ И ШТОФ

Я не был тогда фельдшером, но со страхом поглядывал на бесконечные ряды новеньких барачков, которые занимали прибывающие сверху, с бумкомбината, с лесозаготовок Усть-Улса активированные комиссией прокурора Покровского по 458-й статье лагерные инвалиды. Почти все они с палочками, с костылями, с отмороженными культями. Саморубов там не было. Саморубов, чью кровь даже колдуны не заговаривают, по русскому поверью, не отправляли вниз, на Пермь. Саморубы оставались вверх. Инвалиды, активированные по 458-й статье, переполняли бараки. Цинготные раны, цинготные шрамы и рубцы, цинготные контрактуры. Черные шрамы, черная, темно-фиолетовая кожа. Зрелище было впечатляющим. Инвалидов отправляли вниз по Каме.

Но цинга началась и у нас. Опухшие ноги, кровавые рты, бараки инвалидов с Севера стали быстро заполняться людьми, которые никогда не бывали на Севере, которых Север только ждал... Можно было подумать, что цинга — это инфекция, заразная болезнь, что какой-то вирус оставлен в наших бараках северными гостями. Но ведь цинга не заразна.

Начальником санчасти был у нас Николай Иванович Жидков, «Жидков через «д», как он энергично подчеркивал при первом знакомстве. Николай Иванович Жидков имел срок десять лет — высшую дозу по мерам того времени, по статье 58, пункт 12 — тот самый пункт, по которому судили провокатора Окладского. Николай Иванович Жидков любезно разъяснял, тоже с первых минут знакомства, что произошла ошибка — была провокация, был провокатор, но фамилия его была Житков через «т», а он, Николай Иванович, — через «д». Николай Иванович был

красавец, — молодой, высокий, черноглазый, давний поклонник Маяковского. Это он, Жидков, первым сообщил мне о самоубийстве поэта в апреле 1930 года.

— Твой Маяковский-то — того, — и передал мне статью из центральной газеты с портретом Маяковского в траурной рамке.

Николай Иванович Жидков был не врач и вообще не медик. Должность начальника санчасти была административной. История Вишерских лагерей знает примеры, когда во главе санитарного управления огромного лагеря на сто тысяч человек стоял обыкновенный уполномоченный НКВД, некто Карновский, в тридцать первом, кажется, году.

Жидков, как и Стуков, подбирал в свой аппарат спец-указанцев из этапов. Но, опасаясь конкуренции, Николай Иванович боялся оставить врача или фельдшера в качестве своего сотрудника. Поэтому все медики на участке нашего отделения, которым управлял Николай Иванович Жидков через «д», не имели ни медицинского образования, ни медицинских знаний. Такую политику Николай Иванович обосновывал вполне авторитетно и вполне открыто.

— Был бы честный человек — спирт не выпьет. А медицина не такое уж важное дело в лагере.

Поиски честного человека, производимые доктором Жидковым через «д», приводили к тому, что количество цинготников быстро росло. Цинготники заполняли бараки, ложились тяжким грузом на группу «В».

Цинготников вышел лечить сам начальник отделения Стуков. Он вышел на крыльцо, и перед его опытным глазом проковыляло несколько сотен арестантов. Начальник распорядился гонять больных каждый день по часу. Со следующего этапа начальник, вопреки желанию Николая Ивановича Жидкова, оставил в качестве лекпома военного фельдшера Штофа. Цинготникам стали давать картофель, репу, дело пошло на лад. Николай Иванович Жидков через «д» был направлен в распоряжение санотдела управления, а начальником нашей санчасти стал вчерашний арестант военный фельдшер Штоф.

Штоф никого в лагере не знал. Порядков, на которые надеялся Николай Иванович, и вовсе не ведал. Отделение наше стало выползать из медицинского прорыва.

«Прорыв» — это модное слово тридцатых годов, слово строек первых пятилеток. Ни одна из них не проходила без «прорыва». Со Штофом был забавный случай, относя-

щийся к лету тридцатого года. В лагере ждали большую московскую комиссию, которая начала объезд Севера с управления, а сейчас возвращалась в Москву. Тогда еще ни маршальских, ни генеральских званий не было, но если считать на ромбы, то эта комиссия выглядела весьма солидно. Меньше двух ромбов никто из двадцати членов этой комиссии не носил.

Комиссия приехала, лагерь был приведен в безмолвие, и гости пошли из барака в барак. Каждый начальник рапортовал гостям на своей территории. Доктор Штоф — его уже звали доктором! — в белом халате, в военной форме рапортовать кинулся к Берзину, человеку огромного роста, в петлицах которого было три ромба и который, по мнению военфельдшера Штофа, непременно должен быть тут старшим по чину. Но Штоф ошибся. После первой фразы рапорта Берзин отступил в сторону и сказал: «Вот начальник», — показал Штофу рукой на маленького человека в кожаной куртке. Маленький человек поспешно распахнул кожаную куртку и показал свои петлицы — четыре ромба. Это был Берман, начальник ГУЛАГа. Штоф до того растерялся, что не мог вымолвить ни слова. Берман махнул рукой, и комиссия направилась в барак санчасти.

Не знаю дальнейшей судьбы Штофа.

ОСИПЕНКО

Заведующим хозяйством Березниковского отделения лагеря был Иван Зиновьевич Осипенко. Осипенко — историческая фигура. Фамилия его встречается в книге Щеголева «Падение царского режима». Осипенко был секретарем митрополита Питирима, того самого князя церкви, который рекомендовал государю Распутина. Осипенко принимал участие и в распутинских делах, был розовощеким энергичным молодым человеком, вóрочающим большими делами.

После революции он скрылся; хитрый и ловкий, он поступил на службу не более и не менее, как в Управление ленинградской милиции. Так что в создании охраны революционного порядка первых лет революции есть немалая доля Ивана Зиновьевича Осипенко. Ход этот был очень

удачным. Всех распутинских секретарей изловили и судили, а Осипенко работал делопроизводителем в Управлении милиции и в ус не дул — до 1924 года.

В 1924 году вышла книга Льва Никулина, старого сотрудника ЧК, допущенного и всегда допускавшегося к секретным архивам чекистов. Книга — документальный роман — называлась «Адъютанты Господа Бога». Книга имела успех — падение самодержавия! — вчерашнее прошлое России, где действуют и Распутин, и Митя Рубинштейн, и митрополит Питирим, и Осипенко. Книга Никулина написана по документам, которые ему предоставили в ЧК. Сама ЧК обратилась к своему собственному изображению и сквозь лупу Шерлока Холмса рассмотрела и сюжет «Адъютантов Господа Бога», и действующих лиц документального романа.

Осипенко был пропущен через центральный розыск и найден в ленинградской милиции. Арестован и осужден все по той же статье 58, пункт 13 (служба в царской полиции). Срок у него был восемь лет.

В тридцатом году шел последний год его заключения. Внезапно он был арестован в числе административных лиц из лагерного Березниковского отделения (так же, как и я), и его допрашивали по делу начальника Стукова. В моем присутствии уполномоченный Жигалев (тот, которого потом арестовал Стуков) допрашивал Осипенко, и Осипенко кланялся Жигалеву в ноги, обнимал его сапоги и твердил: «Не губите, гражданин начальник!»

Конечно, в своих показаниях на Стукова Осипенко был всех красноречивее, всех обстоятельней! Но дело кончилось ничем для Стукова. Как и я, Осипенко просидел четыре месяца в лагерном изоляторе, а потом был отпущен на все четыре стороны внутри лагерной зоны.

Дальнейшей судьбы его я не знаю.

ПАВЛОВСКИЙ

Иван Анатольевич Павловский — бывший царский офицер, не служивший в Красной Армии. Таких в России было немало. И все они были на одной и той же неофициальной работе. Все царские офицеры пошли по счетной части — стали бухгалтерами, плановиками, экономиста-

ми. Павловский работал главным бухгалтером в Москве в каком-то тресте и заболел модной болезнью — проиграл казенные деньги на бегах. Растратчика судили по 116-й статье и дали семь лет. Проиграл Павловский пятнадцать тысяч рублей в червонном исчислении.

Это был плотный, низколобый, черноволосый, неунывающий господин лет сорока. Ни в какие политические суждения Павловский никогда не пускался, никогда даже не слушал разговоров на какую-либо постороннюю тему, кроме службы, всегда уходил предусмотрительно. Когда я был арестован в лагере, уполномоченный из заключенных Пекерский оставил на столе показания осведомителя по кличке Звезда, касавшиеся меня, написанные знакомым мне четким, прямым почерком Павловского. В показаниях давалась мне подробная характеристика как врагу государства, начальства и власти. Павловскому сдавал я дела при назначении Миллера на должность руководителя работ от лагеря — так это называлось на Березникхимстрое тогда.

Павловский был человек способный, веселый, неутомимый. Как дикарь, он не имел времени перехода от сна к бодрости. Стоило только тронуть его за плечо — и Иван Анатольевич мог отвечать на любой вопрос.

Павловский оставил мне на всю мою последующую жизнь один афоризм житейский. Павловский, бывший офицер, был большим поклонником генерала Гурко, известного военного публициста царского времени, автора «Полевого устава». «Не держись устава, как слепой стены» — эту цитату, эпиграф к уставу полевой службы, Павловский часто вспоминал. Но еще чаще вспоминал Павловский конец одной из многочисленных речей генерала Гурко. Звучала эта цитата так: «Солдаты! Не говорите, что вы ляжете костями и враг перейдет только через ваши трупы. Пусть ляжет он, а перейдете — вы!»

Это — афоризм, помогающий жить, безусловный, хотя автор этих слов не Наполеон и не Клаузевиц, даже не Скобелев.

Руководитель работ поставил старших десятников по нескольку на участок, в зависимости от рода работ — грузчики, землекопы, слесаря, монтажники, плотники, каменщики и т. д. Старшие десятники распорядились просто десятниками, и у каждого десятника было несколько бригад во главе с бригадирами — работягами или освобожденными, в зависимости от условий.

Любимцем Павловского был Александр Ипполитов — кучер призового рысака, на котором в Нижнем Новгоро-

де после ограбления банка увезли деньги. Кража была за миллион, и нашли очень мало. Поэтому и нижегородский извозчик, вовсе не член банды, а нанятый гастролер, получил расстрел с заменой десятью годами. Редчайший случай по таким делам.

Со мной в первом арестантском этапе в 1929 году шел на Вишеру Шилов со сроком четыре года. Шилов был шофер машины Госбанка. По условиям он должен был остановить машину в заторе — ограбление было на Неглинной, за два квартала до Госбанка, — пока грабители начнут и кончат свое дело. Грабители исчезли с деньгами, и судили только Шилова за то, что он остановил машину. Дали ему всего четыре года. И вдруг расстрел за увоз!

Я с детства знаю исторический побег Кропоткина. Да и каждая лошадь знает: «Барьер!» Знаю, что эта лошадь еще послужит в побегах из тюрем.

И вдруг грабитель Шура Ипполитов!

— Как звали твоего коня?

— Это кобыла. Матильда. А тебе на что?

— Так.

РУСАЛКА

Пока строился гигант первой пятилетки, Березниковский химкомбинат, Москва его не забывала и по культурной части. Являлись туда и эстрадные коллективы, и циркачи, и фокусники, и театральные бродячие труппы, чтобы помочь, обслужить, заработать, внести вклад...

Не являлся в Березники только коллектив знаменитой «Синей блузы», чей руководитель и идеолог, вождь и создатель Борис Южанин отбывал трехлетний срок заключения за попытку бежать за границу.

Комбината еще не было. Был лишь Березникхимстрой, где начальником был Грановский, позднее расстрелянный, и первым секретарем райкома — Шахгильдин, позднее расстрелянный.

Показывалось там и кино, в автоклубе содового завода, бывшего завода Сальвэ. Помещение было маленькое. Транспортникам показывалось кино в огромном здании конторы, чем-то напоминающем коридоры Дворца труда на Солянке.

Был клуб для иностранцев, но ни спектаклей, ни кино там не показывали, и иностранцы смотрели кино в общем зале клуба.

Клуб, однобарачное здание, все же не давал возможности принимать заезжие бригады артистов для бойцов трудового фронта, для выполнявших и перевыполнявших.

Вольнонаемные, весь Березникхимстрой, пользовались для своих вечеров только что отстроенным клубом лагеря — на Адамовой горе.

Сама по себе идея лагерной зоны была такая, чтобы обжить, опробовать и передать барак вольным.

В зоне на Адамовой горе была и больничка, которой управлял военный фельдшер Штоф.

Но самым роскошным лагерным домом внутри зоны был клуб — роскошный двухэтажный клуб с будкой кинемеханика, с гримировочной комнатой и даже ямой для оркестра.

Второй этаж клуба занимала всегда следственная часть с ее комнатами, камерой, тупиками. Там меня и допрашивали позднее. Время это — лето 1930 года.

Я выиграл шахматный турнир — первое место занял, получил приз — шахматы, которые хранятся у меня до сих пор, уничтожена, сожжена была только наклейка, хотя для меня эти шахматы без наклейки — и приз и не приз. Но разумением жены стерта с шахмат эта улика.

Клуб был так хорош, что лагерная труппа проводила там концерты для вольнонаемных за плату, как полагается. Вольнонаемные были довольны, а лагерное начальство — еще больше.

Я помню концерт, где выступал с концерансом бла-тарь Михайлов. Это был профессиональный концерансье — не хуже какого-нибудь Гаркави или самого Алексева. Помню также большой успех «Умиряющего лебедя» Сен-Санса, где артистка пыталась напомнить зрителям бессмертные заветы Анны Павловой.

Артистку эту взяли в управлении на Вижаихе, — позже я с ней встретился на Севере в 1931 году, где она работала медицинской сестрой.

Хорошо ли она танцевала «Лебедя» — по канонам хореографии, — я оценить не могу, но у лагерников именно «Лебедь» вызвал тогда бешеные овации.

На «бис» у артистки не было приготовлено ничего, и пришлось в ответ на овации повторить «Лебедя». Вот тут мне, сидевшему в первых рядах, и стали заметны и морщины, и вялая шея, и какая-то усталость во всем

этом танце, поставленном когда-то Фокиным для Павловой.

Как будто усталость была больше, чем полагалось умирающему лебедю, если всю эту символику рассматривать только с позиций казенного реализма, с позиций Художественного театра хотя бы.

Для меня этот танец был новинкой — я никогда балета еще не видел, и детство, и юность, и университет — все было прожито без балета, вопреки балету.

В «Умирающем лебедь», исполненном на сцене лагерного театра 3-го отделения Вишерских лагерей осенью 1930 года, была и еще одна подробность, важная для меня.

Балериной, исполнившей «Умирающего лебедя», была заключенная — любительница из художественной самодельности, принятая из проходящего этапа.

Звали эту арестантку-балерину Елена Николаевна Шмидт. Елена Николаевна была родной дочерью Николая Шмидта, московского фабриканта, участника революции 1905 года в Москве, расстрелянного царским правительством, мебельщика Шмидта — самого боевого из большевистских отрядов, сражавшихся на баррикадах.

До 1969 года в газетах путали Шмидтов. Николай Шмидт — мебельщик, молодой парень, отдавший наследство на революцию и расстрелянный в 1905 году. Петр Шмидт — лейтенант, знаменитость в восстании на «Очакове», вызвавший огромную литературу, слегка истеричный эсер, — это разные. И если достаточно было назваться сыном лейтенанта Шмидта, чтобы любой советский деятель помог авантюристу, протянул руку помощи, что вызвало поток литературы, то с дочерью Шмидта дело обстояло иначе. Хотя именно отец Елены Николаевны был героем 1905 года в Москве, сама его дочка испытала все превратности лагерной судьбы и как заключенная, и как женщина-арестантка.

Но я собрался рассказать совсем о другом — только о том, что в Березниках в 1930 году хорошим был только лагерный клуб, лагерный театр и что этот театр, как это ни неудобно, давал в зоне спектакли, концерты свои агитационные — для вольнонаемных.

Обслуживать гигант первой пятилетки пробовали и вольные бригады, но в лагерь их не пускали, да и качество их концертов было ниже, чем лагерь мог показать сам, своими силами.

Был поставлен спектакль «Малиновое варенье» Афиногенова, репетировалась еще какая-то пьеса, когда ла-

герное начальство поразило неожиданное предложение выездного бюро профсоюзов Москвы.

Березники должна была посетить ни больше ни меньше как опера, московская опера.

Импресарио передового коллектива, сидевшего в кабинете начальства, не смутила возможность провести свои гастроли за колючей проволокой.

Заместитель начальника Балашов при моей консультации — я был членом художественного совета лагерей после того, как выиграл шахматный турнир, — провел переговоры с импресарио.

— Даем «Травиату», «Риголетто», «Русалку», «Фауста» и концерт — пять вечеров.

— А сколько всего человек?

— Восемь всего. Девятый — пианист.

— Вам как удобнее, — спросил я, — все оперы попарно или все подряд — для вольных и все подряд для заключенных? Сколько ваши гастроли стоят?

Импресарио сказал.

— Эту сумму мы вручим вам наличными.

— Но и к вам, товарищ Балашов, — источая любезность сказал импресарио, — есть другая просьба.

— Я слушаю вас.

— Насчет ужина.

— Не беспокойтесь, ужин будет, только без спиртного, конечно...

— Без спиртного и ужин не в ужин. Даже наши дамы, поверьте...

— Я верю, — сказал Балашов. — Но не имеем, войдите в наше положение.

— Охотно вхожу, охотно, — сказал импресарио.

— За счет ужина обговорим насчет подарков.

— Какие подарки?

— Ну, то, что лагерю под силу. Что-нибудь из продуктов. По банке мясной устроим. И картошки насыплем...

— Отлично, отлично, — сказал импресарио. — Но все же хотелось бы что-нибудь, как бы поточнее выразиться, ну не портсигары там, не бриллианты, не кулоны, но все же какие-нибудь вещественные воплощения наших невестественных отношений.

— Вещественного ничего не можем.

— Ну, все же...

— Лагерные ботинки, что ли? Иль бушлаты соловецкого пошива?

— Ботинки было бы очень хорошо, — тихо сказал импресарио.

— Хорошо, восемь пар я вам дам. Но ведь там женских нет.

— А разве в лагере у вас женщин нет?

— Есть. Но они ходят в мужской обуви.

— Тогда и нам мужскую.

— Хорошо,— сказал Балашов.

— Я все подскажу вам,— зашептал импресарио,— дайте нам по паре белья.

— Да ведь у нас казенное, бязевое. С печатями.

— Мы вырежем печати.

Балашов сдался.

— Итак, мы обговорили девять пар белья, девять пар сапог...

— У нас нет в лагере никаких сапог.

Опера была не так плоха, как я ожидал после этой беседы.

Правда, у русалки не хватало одного глаза, а вставной был другого цвета, но говорят, что и у Александра Македонского были разные глаза.

Русалка была женой импресарио.

Вот тогда-то я и послушал каждую оперу. Рядом со мной сидел Павел Кузнецов, наш техник, мой земляк, театрал, завсегдатай Большого театра, и валился от смеха.

Но публика в зале, арестантская публика, захвачена была этим парадом оперного искусства, хотя все оперы пелись на одном и том же крохотном пяточке сцены.

Все трудились, ворочали декорации, прибывали задники, быстро соображали, что использовать из наших запасов для себя,— женщины и мужчины трудились под команду импресарио.

Опера была действительно московской. Московская областная опера—гастрольный коллектив без всякой подделки.

Сделав вылазку на стройки гиганта первой пятилетки, труппа заработала немало «галочек» в отчетах о луче света в царстве новостроек.

У меня никаких претензий к этой халтуре нет. Все это превосходило, без сомнения, «цыганочки», чечеточки блатарями организованных развлечений.

Это было летом 1930 года, а летом 1932 года в здании Дома союзов, где помещалась наша редакция, я столкнулся лицом к лицу с импресарио, выходящим из дверей гастрольного бюро Московской областной оперы.

Мы с минуту глядели друг другу в глаза.

— Нет, не может быть!— сказал импресарио.

ВАСЬКОВ

Отделы труда за те четыре месяца, что я сидел в изоляторе под следствием, реорганизовали и превратили в УРЧи — учетно-распределительные части, собиравшиеся в УРО — учетно-распределительный отдел при управлении лагеря.

Новым начальником УРО был Васьков — тот самый Васьков, именем которого названа магаданская тюрьма — «дом Васькова». В Магадане в середине 1930-х годов Васьков был первым начальником лагеря, замещал Филиппова, который болел тогда, и выстроил первую тюрьму, обессмертив свое имя. Не более Филиппов — заместитель Берзина по лагерям, — называться бы тюрьме «дом Филиппова». Это было тем более справедливо, что Иван Гаврилович Филиппов умер там от инфаркта в одной из камер в декабре 1937 года. Но тюрьма называлась «домом Васькова».

Васьков был красный, плотный, подвижной человек, с высоким звенящим тенором — признаком великого оратора вроде Жореса или Зиновьева. Оратор был Васьков никакой. К заключенным он относился неплохо, большого начальника из себя не строил. Мучился он катаром желудка, кабинет был весь наполнен бутылками какой-то минеральной воды. Минеральная вода стояла в столе, на окнах, на полу его кабинета. Однажды во время выездной ревизии Москвы, которую проводил член коллегии ГПУ Призьба, Васьков опоздал убрать эти бутылки.

— Это ваш кабинет? — густым басом спрашивал крошечный Призьба с тремя ромбами в петлицах.

— Мой, — высоким тенором отвечал Васьков.

— Откройте стол.

Васьков открыл ящик письменного стола.

— Шкаф откройте.

Васьков открыл шкаф. Шкаф был набит пустыми бутылками.

— А это что такое?

— Минеральная, — пропел Васьков, — не водка же.

Призьба уже выходил из кабинета.

Васьков не читал ни книг, ни газет и все свои выходные дни проводил одинаково: набрав в сумку патронов от мелкокалиберки, сидел в саду около вольного клуба и стрелял в листья целый день. Семьи у него на Вишере

с собой не было, а выпивка, как я догадался по обилию бутылок из-под минеральной воды, была Васькову запрещена. Раздутый живот, который Васьков с трудом затягивал поясом, прибавлял мало военного его в общем-то бравой фигуре.

Человек он был суждений самостоятельных, не глядел в рот ни Берзину, ни Филиппову, вот и был назначен новым и первым начальником УРО.

— Ну что, Шаламов, что ты хочешь теперь? Где будешь работать? Я мог бы тебя отправить назад, но там ведь все уже новые.

Еще бы, четыре месяца — это четыре века. Нет, я не хотел ни к Стукову, ни к Миллеру, и в Березники не хотел.

— Устраивайся здесь, в первом отделении. Придешь — договор оформим.

— А у вас нельзя?

— Где у меня? В УРО? Ты хочешь работать у меня в УРО? Смотри, — и Васьков позвонил. — Ну, Александр Николаевич, знакомьтесь с новым нашим работником.

Александр Николаевич Майсурадзе, начальник контрольного отдела УРО, был осужден по пятьдесят девятой статье за разжигание национальной розни, работал киномехаником на воле и стал формировать УРО.

— Это герой березниковского процесса.

— В инспектуру ко мне.

— А в статистику?

— Да вы что, зачем Егорову?

В УРО работы было очень много. Работали пять-шесть человек из заключенных. Работал я как представитель УРО с комиссией Кузнецова по набору блатарей в большевскую трудкоммуну. Работал с прокурором Покровским по отбору и актированию по 458-й статье, т. е. инвалидов.

Посмотрел не без пользы и интереса, как все это делается практически — как подбирают людей, о чем с ними говорят, как им задают (вопросы), как они отвечают — это был еще новый для меня мир. Для комиссии Кузнецова обязательен был личный опрос, беседа, впечатление. В беседе вместе с Кузнецовым принимали участие приезжие «суки», тогдашние перекованные, которые еще бегали «по огонькам» с хозяевами Вишеры. Для комиссии Покровского инвалидов не требовалось разглядывать лично. Просто собирались дела по списку представленных к освобождению инвалидов — сколько там было членовредителей, сколько саморубов. Отбирали дела, и Пок-

ровский просматривал и отбрасывал их в две стопки: направо — на освобождение, в список, налево — сидеть в лагере.

Покровский отбирал и проверял по статьям. 58—6 с любым сроком под освобождение по инвалидности не подходила. Да были и другие статьи, более модные, то облегчавшие, то утяжелявшие участь арестантов.

Но дело было еще кое в чем. Покровский освобождал вовсе не всех, кто подходил по всем статьям и был инвалидом. У него было заказанное заранее число, предел, больше которого он не мог освободить. Лагерь представлял на освобождение инвалидов гораздо больше, чем их освобождали. Но Покровский обладал теоретически выведенной нормой инвалидности, и все остальные оседали в лагере до конца срока. Я хорошо это понял, когда Покровский округлил цифру до двухсот человек, указал на кипу «непопавших»:

— А этих включите на следующий год.

Так что даже инвалидность в лагере имела свои пределы формальные. Случилось мне за это время принять участие в одной важной комиссии.

Вопрос поездки был такой: может ли лагерь принять на свое снабжение и производственное наблюдение чердынские леспромхозы с рабочей силой — переселенными кулаками.

ПОЕЗДКА В ЧЕРДЫНЬ

В это время — в конце 1930 года — мне довелось участвовать в одной очень интересной комиссии по обследованию чердынских леспромхозов, не выполнявших план. Комиссия была организована приказом Москвы, и входить в нее должны были начальники лагерных учреждений. Но высокое лагерное начальство лениво, не очень любит лично участвовать в многодневных поездках с неналаженным бытом, да еще в 1930 году, когда все продукты надо было брать с собой. Гораздо проще послать своего заместителя или заместителя заместителя, а акт утвердить и подписать потом.

Вот так вместо самого Берзина и его заместителя по лагерю Ивана Гавриловича Филиппова поехал в качестве

председателя Василий Николаевич Кудрявцев, начальник первого отделения лагеря. Вместо начальника санчасти Карновского ехал врач, брюзжащий, недовольный. Представителем самого лагеря выступал мой старый знакомый, комендант 1-го отделения Нестеров, тот самый, что сшибал своим волосатым кулаком любого арестанта одним ударом с ног. Вот этот Нестеров и ехал в одной кибитке со мной в качестве члена комиссии от управления лагерей. Четвертым был следователь какого-то третьего или четвертого ранга, но вольнонаемный, конечно. От УРО должен был поехать Васьков, но, узнав, что в Чердыни придется ночевать, да не одну ночь, поручил эту обязанность своему заместителю по статистике — Егорову, позже расстрелянному на Колыме. Решили послать Майсурадзе — начальника контрольного отдела, хотя тот и был заключенным. Тот отказался: прибыл большой этап.

— Ну, что же — кто? — Васьков шагал по комнате. — Уже подвода стоит у вахты!

— Да вот Шаламов пусть едет.

— Ну что, где твои вещи?

— У меня все с собой.

— Ну, — и Васьков, обрадованный, что ехать ему не надо, привел меня к саням высокой комиссии.

Три кибитки наши ехали в густых сосновых борах, по змеистым дорогам — от леспромхоза к леспромхозу.

Работы были брошены, пилы нигде не визжали. Нас сопровождал местный комендант, как он отрекомендовался, и показывал нам брошенный поселок, свежесрубленные избы с открытыми дверьми, с железными печурками, где не было огня и дыма.

Это были поселки ссыльных по коллективизации. Кубанцы, не державшие в руках пилы, завезенные сюда насильно, бежали лесами. Остался только комендант, получивший жалованье и хлебные карточки в Чердыни.

Чердынь снабжала лесом наш же лагерь — Красновишерск, и вопрос был поставлен: могут ли лагеря взять на себя и снабжение, и главную работу в этих леспромхозах, обеспечат ли охраной такие поселки? Комиссия наша высказалась против передачи лагерю поселков и работы. Я писал протокол этой комиссии, а диктовал текст Кудрявцев, наш председатель.

Все живое из колонистов стянулось в Чердынь к нашему отъезду, и два номера чердынской гостиницы, где мы

жили двое суток, подвергались атаке голодных и бесправных людей.

То, что лагерь их не возьмет, произвело самое угнетающее впечатление. Мы и вооруженный начальник подверглись атаке женщин и детей.

— Может быть, начальник хочет переспать с ней? Вот моя дочка.

Я отдал полбуханки хлеба, который у меня был взят из лагеря.

Все это были вольные и ссыльные. Кудрявцеву, да и всем нам, бросались в ноги, ложились поперек саней.

Никто из нас не захватил хлеба, никакой столовой в Чердыни не оказалось. Но Нестеров захватил с собой, как более опытный, да притом местный житель, целый чемодан мороженных котлет, которые были съедены комиссией в гостинице перед отъездом домой.

Все мы ехали молча, молча и вернулись.

В это время приходилось мне знакомиться со сведениями Главного управления лагерей—ГУЛАГа. На 1 января 1931 года в СССР было шестнадцать лагерей: УВИТЛ (вместо УВЛОНа), Соловки, Караганда и один из наибольших по численности—Темниковский лагерь (Потьма). Всего в этих шестнадцати лагерях было около двух миллионов человек. Наш был одним из крупных—тысяч на шестьдесят, а самый большой—Темники.

Забегая вперед, скажу, что самый большой списочный состав лагерей был не на Колыме, не на Воркуте и не на БАМЛАГе. Самый многочисленный был ДМИТЛАГ, Москанал с центром в городе Дмитрове, где умер Кропоткин,—один миллион двести тысяч человек. Это в 1933 году, и большей цифры заключенных не было.

Все это я рассказываю по памяти, разумеется. В том же январе 1931 года довелось мне съездить и одному, как инспектору для обследования Севера, 2-го отделения Вишерских лагерей.

Север был штрафным районом. «Загнать на Север»—было всегдашней, понятной всем формулой угрозы начальства. Всякий лагерь, по идее, в примитивном виде осуществляет поощрение и углубляет наказание. Поощрение—бесконвойное хождение в поселок, легкая работа, даже не физическая. Наказание—перевод на тяжелые работы, отправка на штрафной участок. В самом штрафном районе существуют десятки возможностей двигаться сверху вниз, от должности начальника до пилы лесоруба и штрафизолятора. Вся шкала поощрений и наказаний

разработана очень подробно и логично. Но в начале 1930-х годов она была осуждена за примитивность, за негибкость, за плохую результативность, переделана с начала до конца, введено было такое вооружение, как зачеты рабочих дней — гениальное изобретение, не менее гениальна шкала питания, стимулирующая производительность труда. Все это достигнуто опытно-эмпирическим путем и не представляет собой единой мысли какого-то злого гения. А лагерная система, без сомнения, гениальна, во всей ее глубине лежит все тот же грубый принцип поощрения и наказания детей, принцип воспитания.

Почтение к этому Северу было внушено мне всей моей жизнью, летом на Вижаихе, еще до поездки в Березники. Поселок Вижаиха — иначе Красновишерский — стоит в низине, дорога в горы, на Север, крута, и хорошо видно, что делается на этой дороге.

СТЕПАНОВ

Об антоновском мятеже на Тамбовщине в 1921 году опубликовано за последнее время очень много работ. Это было восстание, которое никак не могли подавить, пока не принял командование герой Кронштадта Тухачевский. Тухачевский пушками смел до основания все деревни, где жили заподозренные в участии в антоновском мятеже крестьяне, не отделяя мирных от немирных, не заботясь о жизни женщин и детей.

После этой артподготовки в уцелевшие поселки были введены гарнизоны Красной Армии со сроком службы там до года. После этого мятеж пошел на убыль, и Антонова стали ловить. Антонова поймали, и огонь мятежа погас.

Во всех исторических работах об этом мятеже сказано, что Антонов был убит в перестрелке летом 1921 года. На самом деле судьба его несколько иная. Антонова застрелил родной брат, когда Антонов лежал в тифу, в бреду. Брат Антонова застрелился и сам. Вот такая смерть. Это смерть героя.

В отличие от всех армий, сражавшихся с Советами, в антоновских частях, как и в Красной Армии, были поли-

тические комиссары. Сам Антонов — бывший эсер, точнее, бывший народоволец из младших, осужденный на вечную каторгу и сидевший в Шлиссельбурге. Антонов был освобожден Февральской революцией и у себя на родине, в Борисоглебске, был начальником милиции, как Фрунзе, который тоже в эти месяцы был начальником милиции в Минске⁶.

Политические комиссары Антонова выпускали газеты, листовки, где подробно объяснялось, за что выступает Антонов. Личная судьба, личная трагедия Антонова перекликается еще с одной человеческой судьбой.

Летом тридцатого, после четырех месяцев изолятора и следствия по делу Березников, я работал в УРО Вишерских лагерей старшим инспектором по контролю использования рабсилы. Начальником контрольного отдела был Майсурадзе, который позднее был начальником УРО на Колыме и расстрелян вместе с Берзиным в 1937 или 1938 году. УРО никак не могло найти старшего делопроизводителя. Это должность, через которую проходит освобождение заключенных. Много менялось людей — и вольнонаемных, и заключенных: то взятки, то халатность мешали наладить эту работу.

В лагере не могли подобрать человека на эту работу, известили ГУЛАГ, и по спецнаряду из Москвы приехал один заключенный, бывший старший делопроизводитель Соловков. Звали его Михаил Степанович Степанов.

Конвоир сдал его дело (Майсурадзе был в отъезде), я вскрыл пакет, бегло просмотрел анкету. В царское время: семь лет в Шлиссельбурге за участие в организации максималистов, последнее место работы в Москве — управделами НК РКИ.

Степанов ходил с палочкой — цинготная контрактура свела ногу после Соловков, да синих пятен на теле было немало — мы жили в одном бараке.

Дело у Степанова пошло хорошо. Он был знаком со всеми тонкостями «группы освобождения» — научен еще на Соловках. Каждый день в определенный час он делал краткий доклад об освобождении за сутки лично начальнику УРО. Сдавал памятку-поверку. Начальника УРО Васькова тогда замещал Майсурадзе. Майсурадзе уехал в длительную командировку чуть ли не в Пермь, и кабинет его занял я, по должности старший инспектор. Каждый день в девять часов Степанов являлся ко мне, сдавал

памятку и — не уходил, а оставался поговорить. Я его спросил в один из первых дней:

— Михаил Степанович, а за что ты сидишь?

— Я? Да ведь я Антонова-то отпустил.

И он мне рассказал удивительную историю, повторенную мной в рассказе «Эхо в горах» из сборника «Артист лопаты».

Семнадцатилетним гимназистом Степанов был арестован в числе эсеров-максималистов, оказавших вооруженное сопротивление. Все были повешены, и только несовершеннолетний Степанов остался жить и получил вечную каторгу, был посажен в Шлиссельбург. В Шлиссельбурге свой кандалный срок он отбывал вместе с Антоновым, будущим вождем тамбовского мятежа. «Мы ни разу не поссорились за два года», — рассказывал мне Степанов.

Когда кандалный срок кончился, Степанов перешел на общее положение. Он встретился в Шлиссельбурге с Серго Орджоникидзе и под влиянием бесед с ним стал держаться не эсеровских, а большевистских взглядов. После освобождения, в феврале 1917 года, Орджоникидзе не забыл Степанова. Весной 1917 года Степанов вступил в большевистскую партию, участвовал в Октябре, в гражданскую войну командовал сводным отрядом бронепоездов, действовал на антоновском фронте.

Тогда был дан приказ по всем частям: при захвате и опознании Антонов подлежит немедленному расстрелу.

— И вот, — рассказывал Степанов, — мне сообщают, что четвертая группа взяла Антонова. На этом участке фронта я был старшим. В своем вагоне. Говорю: «Введите Антонова». Антонов вошел, и я сказал конвоиру: «Выйди за дверь». Конвоир вышел, я подошел к Антонову и сказал: «Сашка, это ты?» Мы в Шлиссельбурге были скованы вместе. Как я этого не знал? Я не читал ни одной листовки, которую выпустили антоновские политические комиссары. Листовка была примерно такого смысла: «Я — старый каторжанин из Шлиссельбурга, приговоренный к вечной каторге и освобожденный только революцией. А что ваши вожди, что Ленин с Троцким, которые были только в ссылке? Разве можно их судьбу сравнить с моей?» Этой листовки я не читал. Что делать? Конечно, я сказал, что Антонова расстрелять не могу, хоть и есть такой приказ правительственный. Больше того, я освобожу Антонова, если тот даст честное слово не бороться

больше с советской властью, исчезнет в небытии. Антонов честное слово дал. В ту же ночь Антонов бежал из-под стражи. Был суд. Трибунал. Председателем трибунала был мой брат, также командир Красной Армии. Начальник охраны получил десять лет условно за неправильную расстановку постов. И всё. Мятеж вспыхнул с новой силой. Через несколько месяцев четвертая группа взяла Антонова: он лежал в тифозном бреде и был застрелен родным братом, караулившим у постели. Кончилась гражданская война, с 1924 года я опять работал у Орджоникидзе управделами НК РКК. Работал года два. Потом чувствую — следят за мной. Кто-то проверяет меня. Но ведь Антонов — мертв, брат мой — тоже, сам на себя я не доносил. Наступает день — арестовывают меня. И первый вопрос после всяких анкетных экзерсисов: «Где вы были в 1921 году? Расскажите-ка нам обстоятельства побега Антонова из-под стражи».

Клубок размотался так. Антонов бежал не один, а вместе с захваченным с ним же антоновским командиром. Этот командир добрался до Китая, принимал участие в рейдах атамана Семенова, был захвачен, отвезен в Москву и там «пошел в сознание». Излагая подробно свою жизнь, командир дошел до своего ареста чекистской группой в 1921 году вместе с Антоновым. Командир этот показывал так: «Мне Антонов ничего не говорил, но по всем обстоятельствам побега я думаю, что тут имело место предательство со стороны командования Красной Армии».

— А кто был тогда командиром?

— Степанов Михаил Степанович.

— А где теперь Степанов?

— Управделами НК РКК.

— А кого судили за побег Антонова?

— Судили начальника караула. Дали десять лет условно.

— А где этот начальник караула?

— Давно демобилизовался — на земле где-то в Полтавщине.

Арестовывают бывшего начальника караула и везут его в Москву:

— А где ты был в 1921 году? А что ты можешь рассказать о побеге Антонова из-под твоего караула?..

— Человек этот, начальник караула, был мне обязан жизнью, — говорил Степанов, — и, конечно, если бы его взяли в чекистские лапы любой твердости тогда же, на

фронте, он бы пошел на смерть, но не выдал меня. А сейчас у него — семья, жена, дети, земля. И вот его волокут в Москву: «Расскажи». Он все рассказал. Тогда арестовали меня и дали десять лет.

Степанов успел кончить срок по зачетам и остался на службе в Красновишерске начальником аэропорта.

В 1933 году в Москве на площади Пушкина, тогда еще Страстной, Степанов ударил легонько меня палкой по плечу — я проходил мимо со своей женой, и он задержал меня, рассказал о своей жизни и судьбе. Сказал, что не думает переезжать в Москву.

Вряд ли Степанов пережил 1937 год. Я много искал в библиотеках хоть малого напоминания о его пусть прошлой, дореволюционной, шлиссельбургской судьбе. И не нашел. Иногда мне кажется, что все это мне приснилось: и Антонов, и Степанов, и клюшка, которой хромоногий человек в серой шинели зацепил меня на Страстной площади.

ЛАГЕРНАЯ СВАДЬБА

К устью Улса быстро приближался челнок. Горная река была так крута, что челнок был виден на реке весь, как нарисованный. Челнок уже входил в тихие воды озера, образованного слиянием Улса и Кутима, того самого озера, на которое совсем недавно садился гидроплан Берзина, главного начальника. Пилотом Берзина был Володя Гинце, летчик, осужденный за вредительство, но с «детским» сроком в три года. Берзин был слишком опытен и умен, чтобы заглядывать в «дело» Гинце, когда брал летчика-вредителя своим личным пилотом.

Прилет Берзина и был самым ярким событием нынешнего года. Кроме, конечно, вахминовской свадьбы.

Челнок приближался.

— Начальник едет,— виновато сказал Шурка Вениаминов, секретарь общей части.

— И не один,— сказал я, начальник отдела труда. Мы стояли на берегу и ждали, пока долбленка причалит. Челнок ткнулся в песок, Шурка и я придержали лодку, пока приехавшие выгрузились. Начальник района Степанов и его заместитель Александров — оба вернулись вместе

в один и тот же миг. Раньше начальники вместе никуда не ездили и вместе не возвращались.

— Ну, как ваша свадьба? — спросил Степанов.

— Это не наша свадьба, гражданин начальник, это Вахминова свадьба.

— Сколько водки выпито?

— Сколько выписано было, столько и выпито.

— Не два же литра?

— Два, гражданин начальник.

— А не десять? Не двадцать, как мне в Кутиме говорили?

— Два, гражданин начальник.

— Пиши, Вениаминов, приказ. Всем участникам свадьбы из заключенных по пятнадцать суток изолятора... — Степанов помолчал и поглядел куда-то мимо меня и добавил: — С выводом... Всех вольнонаемных — на губу и по выговору. С занесением в личное дело.

— А вы дураки! — сказал Александров, бывший начальник артиллерии Черноморского побережья, царский офицер, отбывший срок и оставшийся на службе в лагере. — Дураки! Взрослые люди! Надо было пригласить на свадьбу этого Сапрыкина, уполномоченного и начальника отряда. Ведь не дети вы. Надо было подождать возвращения — моего или Андрея Максимовича. Спешите всё. Торопитесь.

— Я с Азаровым за один стол не сяду, — сказал Вениаминов хмуро.

— Да и Сапрыкин. Зачем нам Сапрыкин на свадьбе? Ваш заместитель, техрук района Краснов, был.

— Краснов бывает всюду, где можно выпить на дармовщинку, — сказал Степанов. — Знали ведь это?

— Знали.

— Ну, зови жениха.

Курьер побежал за Вахминовым, начальником КВЧ⁷.

Гримасы перековки были не только мрачные, угрюмые. Были гримасы и веселые.

Среди огромного количества приказов, которые присылала в начале тридцатых годов во время перековки Москва, было очень много попыток нащупать какой-то новый путь давления на арестанта.

Меры поощрения, выполненный план стимулировались не только пайкой, не только «шкалой питания».

Лучшими «изотовцами» в лагере были свои «изотовцы», как после были «стахановцы» и «стахановская» пайка на Колыме.

В 1931 году перековка началась. В 1929 году заключенным, систематически перевыполнявшим норму, разрешалось жениться. Документы «личного дела» служили юридической основой для регистрации.

Приезжающим женам не надо было везти московского разрешения на свидание. Московское полагалось брать вредителям, вообще пятьдесят восьмой статье... Часы этого свидания, сутки или часы, оговоренные приказом, дробились по желанию мужа и жены чуть ли не на минуты.

На Вижахе, где находилось управление Вишерского лагеря, был выстроен специальный дом-гостиница — Дом свиданий. Так этот дом и был назван во всех документах того времени: Дом свиданий!

Шел уже четырнадцатый год с начала революции. Название никому не казалось странным. Память у людей коротка.

Ударница могла назвать своим мужем любого заключенного. И получить свидание в Доме свиданий. Начальство следило только, чтобы в книге Дома свиданий не числилась пятьдесят восьмая статья.

Дом свиданий и его практика вызвали новый вопрос ГУЛАГа: можно ли заключенным жениться на заключенных — в качестве поощрения за отличную работу? Разъяснение ГУЛАГа было получено и разослано по всем отделениям. Можно, если по анкете «личного дела» заключенный не состоял в браке. Северный район Вишерского лагеря получил это разъяснение.

Не откладывая в долгий ящик, Вахминов, начальник КВЧ, подал заявление о желании вступить в брак со своей делопроизводительницей, Раисой Колесниченко.

Вахминов был ленинградский чекист, пьянчужка, потерявший наган во время пьянки в «Астории».

— Очнулся, понимаешь, в канаве. Кабур через плечо повешен. Пустой кабур.

Вахминова судили, дали три года. Он обжаловал приговор в Москву, Москва пересмотрела дело. Срок был увеличен: пять лет. Вахминов решил прекратить переписку с высокими организациями и с головой ушел в воспитательную лагерную работу.

Среди сотен всевозможных КВЧ, которых я встречал в своей жизни, Вахминов еще был один из лучших. Пить он вовсе не пил. Только вот на свадьбе.

Рая Колесниченко была дочь какого-то крупного сектанта. Рае хотелось только одного: забыть отца, вообще

забыться, забиться в угол куда-нибудь, не отличаться от подруг, соседей, знакомых, встречаемых ни одеждой, ни интересами, ни походкой, ни поведением.

С Вахминовым Рая жила уже давно и сейчас обрадовалась официальному предлогу, поводу.

В районе как раз гостил разъездной коллектив «Синей блузы» — подружки Рае нашлись.

По левую руку невесты сидела узкоглазая, узкогубая Шура Фанарина, стукачка из блатных. Рядом с ней — Сорокин, руководитель синеблузного коллектива. «Синяя блуза» в столицах уже умирала, и сам создатель жанра, Южанин, после неудачного побега за границу, жил в лагерях. Все начинается в Москве, но не в Москве кончается. Уральская лагерная «Синяя блуза» была последним кругом по воде от камня, брошенного когда-то в стоячую воду эстрадного искусства с великой силой. Тексты к ораториям «Синей блузы» писал и я — и как полезный автор был дружен с синеблузниками. С участка на участок передвигалась «Синяя блуза» верхом. Вьючные лошади и лошади верховые. Болота, речки, дожди.

На центральном участке, где мы жили, был клуб. При клубе — художник, осужденный на десять лет по делу розенкрейцеров в Москве, по странному делу масонов.

Этим летом к художнику приехала жена, но он был не в ладах с начальством — портрет, что ли, отказался писать, и жене дали свидание ровно столько часов, сколько разрешила Москва. Жена добиралась за сотни верст от железной дороги, вверх по реке, вверх, вверх...

Вместе с женой художника приехала жена инженера Шитова. Инженер Шитов был в заграничной командировке в Германии, учился там, женился, вернулся в Москву. Шли переговоры о юридическом оформлении приезда жены, о разрешении ей приехать. Разрешение было выдано, но Шитов был арестован. Женщина не вернулась назад, а, не зная ни слова по-русски, отправилась на Северный Урал, на каторгу — искать мужа. И нашла. Свидание их, тоже разрешенное Москвой, было свободное — вольная квартира, прогулка. Инженер и молодая немка ходили по берегу, обнявшись, ходили, ходили. Потом она уехала. Не зная языка, без провожатых.

Вениаминов и я хотели пригласить инженера и его жену на свадьбу, но бывший чекист Вахминов отклонил наше предложение.

По правую руку жениха сидел заместитель начальника района, техрук из местных, Краснов. Краснов знал, что свадьба разрешена, что водки выписано — два литра, но вместо двух заведующий складом продал десять — сведения стукачей были самые точные. Впрочем, что это за стукачи? Это начальник отряда Азаров и местный уполномоченный райотдела, вполне официальный муж.

Азаров и Сапрыкин радировали в управление: «Отсутствии начальника района идет пьянка» и так далее.

Радист Костя Покровский не был приглашен на свадьбу — потому что он не то слишком комсомолец, не то слишком трусоват.

Пришел и ответ — начальнику выговор, всем участникам пьянки — взыскание.

Но за столом мы еще ничего не знали и поднимали бокалы и кричали «горько».

Слева от Сорокина сидела Зоя Ивановна, синеглазница, спокойная и добрая сорокалетняя баба. Рядом с ней — Юрик Загорский, блатарь в годах, который мог отбивать чечетку и петь.

Рядом с Юриком сидела Сима Врублевская — незаметная, некрасивая девушка с очень красивыми глазами. На эту самую Симу я стал обращать внимание только после того, как Катя Аристахова, подружка моя тогдашняя, сказала мне как-то: «Удивляюсь вам, дуракам мужчинам. Никто из вас и не посмотрит на Симу, а я была с ней в бане — лучше бабы здесь нет».

Рядом с Красновым, такой же работник из местных, сидел комендант лагеря Михайлов. Потом Шурка Вениаминов и я. Мы были соседями Вахминова по комнате, сослуживцами, такими же арестантами.

Выпили, покричали «горько» и разошлись.

Ответ пришел утром — всем взыскание за пьянку, начальнику — выговор. А приказ о свадьбах, о замужествах и женитьбах, как рычагах выполнения и перевыполнения плана, был отменен Москвой как ошибочный.

Мы сидели в изоляторе. Суток восемь. Ходили туда ночевать. Ведь «с выводом».

Только кончился мой изолятор, Костя Покровский, не приглашенный на свадьбу радист, принес радиogramму из управления. Высылается освобождение. В списке была и моя фамилия. Я собрал вещи и «сплыл» на челноке двести верст.

М. А. БЛЮМЕНФЕЛЬД

Этап был московский. Я просмотрел список и велел вызвать несколько человек в контору, и в их числе Блюменфельда.

Блюменфельд — белокурый, заросший бородой, утомленный тюрьмой человек. Что главное для арестанта? Поесть сытно, вымыться как следует в бане, чистое белье без вшей. Закурить. А самое главное — полежать, не работать. Устроиться на легкую работу, не физическую.

Все это было проще простого. Все эти распоряжения я быстро сделал нарядчику.

Блюменфельд шел из тюрьмы с тюремным сроком, замененным на лагерь. В ответ на мое обещание оставить его в отделении и устроить впоследствии на легкую работу Блюменфельд сказал, что, напротив, он просит отправить в управление — там Блюменфельда ждет наряд ГУЛАГа на использование его по специальности. Действительно, скоро такую телефонограмму получили, и Блюменфельд уехал со спецконвоем.

Те несколько дней, что он провел на Чуртане, мы поговорили. Я рассказал ему о себе, о том, что его ждет на Вишере.

- У меня есть к вам просьба.
- Какая? Буду рад.
- Я обовшивел крайне.
- Ну, это не порок. Всё в дезкамеру.
- Дезкамера моих вшей не берет.

Действительно, дезкамера работала плохо. Мне это было известно.

— Тогда снимите белье, я отдам кипятить и — порядок.

— И вот брюки мои новые, шерстяные, светло-коричневого цвета, пара к пиджаку, но в пиджаке вшей нет. Единственная вещь из дома — эти брюки и пиджак. Остальное все блатари раскрали по транзиткам. Заграничная работа. Дядька мой шахматист, привез из Германии.

Я вызвал прачку-мужчину — все прачки были мужчины — и со строгой инструкцией насчет кипячения вручил прачке блюменфельдовский костюм и белье.

- К завтрашнему дню успеет?
- Надо успеть.

На следующий день побрившийся, постриженный в па-

рикмахерской не под арестантский «ноль», а ножницами, с белокурой бородой «буланже», похорошевший, чистый Блюменфельд сидел у меня в конторе.

Прачка явился в великом смущении.

— Да что ты мнешься? Украли брюки, что ли?

— Да нет, не украли. Хуже, чем украли. Украли — блатари разыщут, возвратят из-за «боюсь», а вот так — не знаю, что и делать.

Но я уже развертывал связку белья. На глазах Блюменфельда новые брюки светло-коричневого оттенка превратились в светло-голубые. Такая мода на мужскую одежду пришла только через сорок лет. Ярко-голубой, кальсонный оттенок подавлял все остальные цвета, вызывал всеобщий интерес. Я хохотал. Очевидно, заграничная коричневая краска не выдержала кипячения, а может быть, прачка запустил жавелевой соды для отбеливания. Потеря была непоправимой. Блюменфельд был очень огорчен, даже сник от такой неожиданности. Но собрался с духом и поблагодарил.

Блюменфельд работал начальником планово-экономического отдела Вишерских лагерей и 1930, и 1931 год. Когда меня в конце 1930 года арестовали по делу начальника отделения Стукова и, продержав четыре месяца в изоляторе, выпустили без последствий, я стал работать старшим инспектором УРО Управления Вишерских лагерей и встречался с Блюменфельдом не один раз.

Вот тогда-то Марк Абрамович и рассказал мне о себе: шахматный мастер и философ шахмат Блюменфельд — его дядя. Тюремная память удерживает часто уродства, трагические характеры, а запоминаются они как предмет смеха, вызывают смех. И рассказываются для того, чтобы вызвать смех. Я обратил давно внимание, что следственные работники всегда стараются исказить истину, утяжелить вовсе невыполнимый закон о сомнении в пользу подсудимого. В меморандуме Блюменфельда тоже возник этот литературный экзерсис: Блюменфельд Марк Абрамович по кличке Макс.

— Макс — так зовут меня с детства в семье.

По моему делу Блюменфельд от имени руководства тогдашнего подполья дал торжественное заверение, что, если бы «мы знали, что хоть один оппозиционер получил лагерь, а не ссылку и не политизолятор, мы бы добились вашего освобождения. Тогда каторги нашему брату не давали. Вы — первый».

— Какие же вы вожди,— сказал я,— что вы не знаете, где ваши люди.

Блюменфельд связывался, наверное, по своим каналам с москвичами— это не было трудно, чтобы установить, кто я такой.

Поздней осенью 1930 года мы подали заявление в адрес правительства — нет, не просьбу о прощении, а протест по поводу положения женщин в лагерях. Положение женщин в лагерях ужасно. Ни в какое сравнение не идет с положением мужчин. Только на Колыме карающая рука более тяжело ударила по мужчинам.

Мне никогда не забыть тело Зои Петровны, ростовского зубного врача, осужденной по пятьдесят восьмой статье за контрреволюцию по делу «православного Тихого Дона», которую в нашем этапе в апреле 1929 года напоил спиртом, раздел и изнасиловал начальник конвоя Щербаков. Все это делалось открыто, на глазах всего этапа и десятых однодельцев Зои Петровны: штабс-капитана Баталова, грузинских князей Бердченишвили, студента Белых, болгарина Васильева. Все эти однодельцы старались просто не глядеть в открытую дверь на смятую кровать, где разложили Зою Петровну. Щербаков получил любовь не один, рядовым конвоирам тоже досталось.

Для меня, воспитанного на массовых самоубийствах политзаключенных в качестве протеста против телесных наказаний, вроде самоубийства Егора Созонова на Каре, воспитанного на примерах протеста против изнасилования Марии Спиридоновой,— сцена была дикой, неправдоподобной. Но все ее однодельцы лечили у Зои Петровны зубы в лагерной амбулатории. Лечил и я.

Помимо наказания, определенного приговором суда, тройки или особого совещания, женщине в лагере приходилось нести унижения особого рода. Не только каждый начальник, каждый конвоир, но каждый десятник и каждый блатарь считал возможным удовлетворить свою страсть с любой из встречаемых заключенных.

На Колыме в тридцатые и сороковые годы были какие-то иллюзорные связи, называемые «дружбой», какая-то потребность назвать эти отношения дружбой. Сцены ревности, полярные страсти разыгрывались и на Колыме.

На Вишере в 1929 году все было проще, грубее. Даже вопрос о каком-то нравственном обязательстве не возникал ни с той, ни с другой стороны.

Утром лагерная вахта была заполнена отрядом поломок — классическая формула лагерной любви. Поломой-

ки с тряпками и ведрами — это считалось привилегированной работой (иначе — на строительство, на гарцовку песка, на погрузку, в трудовую бригаду). Поломоек рассылали по квартирам привилегированных заключенных, мыть они в этих квартирах ничего не мыли, но не в мытье была там сила.

Я помню лагерного цензора, седовласого Костю Журавлева — бывшего работника органов. У него был домик, где он жил один, заказывая каждый день новых поломоек. Костя Журавлев одевался щегольски, был надушен хорошим одеколоном, чем-то французским, вроде «Шанели». В заграничном отутюженном костюме, в дорогой рубашке, Костя ходил по лагерю, брезгливо шурясь сквозь пенсне, и явно на «взводе». Пил он одеколон, наверное, но не только одеколон. Каждый вечер Костя Журавлев напивался до упития — дневальный укладывал его спать, а будить впускали новую, заказанную цензору с вечера поломойку.

Я подивился, откуда у Кости столько денег на пьянство. Сережа Рындаков, молодой полублатарь, с которым, как с земляком, у меня были хорошие отношения, посмеялся моей наивности.

— А марочки в письмах? Когда пишут в лагерь, всегда родные прикладывают марку на обратный ответ. Часто даже деньги вкладывают — рубль, например. Все это — законная добыча цензора.

Примеров унижения женщин было бесчисленное количество. И я, и Блюменфельд по своей работе — я в УРО, а он в планово-экономическом отделе — имели доступ к кое-какой статистике по этому поводу. Например, о числе венерических заболеваний в лагерях.

Вот мы и составили докладную записку — заявление по поводу положения женщин в лагерях. Блюменфельд перепечатал записку у себя — он хорошо печатал на машинке — в двух экземплярах, и мы подписали заявление оба и вручили каждый своему начальству для отправки его по назначению. Докладные были адресованы в ГУЛАГ, а также в ЦК ВКП(б). Я и Блюменфельд вручили документ в один и тот же час — в девять часов утра какого-то числа апреля 1931 года. Я вручил лично начальнику УРО Васькову, Блюменфельд — заместителю Филиппова, начальника Вишерских лагерей, Теплому.

В обед мы повидались, выяснили, что обе бумаги вручены.

Это был последний день моей работы в УРО.

Тем же вечером была созвана в кабинете Берзина летучка высшей администрации следственных, учетных и кадровых 〈частей〉 и найден был ответ на наши действия. Было единогласно решено: развести нас по отделениям. А так как Блюменфельд представлял для лагеря как начальник планово-экономического отдела ценность бóльшую, чем я, старший инспектор УРО, то уезжать приходилось мне.

Я явился на работу и был тут же отстранен от должности.

— Уедешь.

— В чем же дело?

— Не надо докладов писать, — с сердцем сказал Майсурадзе. — Я ходил к Берзину. И слушать не хочет об отмене приказа.

— Конечно, зачем ему рисковать из-за троцкиста, из-за такого модного учения, — высоким голосом сказал Васьков.

Васьков был огорчен чрезвычайно, взволнован, а когда Васьков волновался, матерные слова прыгали с языка непрерывным потоком:

— Не везет, блядь, инспектуре, блядь, один, блядь, украл, блядь, другой, блядь, троцкист, блядь.

Украл — это Вася Шольд, которого блатари заставили выкрасть пропуска и которого я сменил несколько месяцев назад.

— А куда меня?

— На Север.

Север был штрафняк вишерский.

— Ну что ж, — сказал я, — мне сроку немного осталось, добыю и на Севере.

— Да ведь тебя не баланы катать посылают, — сказал Майсурадзе. — Примешь отделение по нашей линии от Дивалина. А Дивалина сюда. На твое место я его не возьму, у меня насчет тебя совсем другие планы были. Возглавил бы инспектуру летучую по всем нашим отделениям. Эх, Шаламов, Шаламов. И надо же. Может быть, еще к Берзину сходить? — спросил Майсурадзе у Васькова.

— Это бесполезно. Я знаю ситуацию.

— Ну, значит, получай выписку из приказа. Когда можешь ехать?

— Да хоть сейчас.

— Ну, не сейчас, а завтра с утра. Лошади будут.

С Майсурадзе, моим новым начальником по УРО, чьим заместителем я был, я близко сошелся после одной

ночи, проведенной на пожаре,— ни он, ни я не жалели себя в огне, спасая чье-то имущество. Ночью, при свете пожара, я узнал знакомое лицо.

Все человечество можно разделить, по Ремарку, кажется, на две части: первая, которая в случае тревоги бежит к месту происшествия, и вторая— от этого места. И я, и Майсурадзе принадлежали к первой группе. Мне нравилось в нем, что он, спокойный, энергичный человек, глубоко переживал обиду, арест, лагерь. У него было восемь лет «за разжигание национальной розни», преследование армян. Подробности я никогда не интересовался. Майсурадзе задумал сделать лагерную карьеру и сделал ее— был освобожден, снята судимость, и он был начальником УРО на Колыме у Берзина. Там и был расстрелян. Не давал наступать на горло, или, как говорят блатари, «глотничать» не давал никому— ни вольным, ни начальникам. Вольных начальников презирал до глубины души.

— Да, лагерь— это ад,— любил говорить Майсурадзе.— А воля— рай. Мы были на воле последними. А здесь мы будем первыми.

У него была жена, семья, дети в Грузии, приехавшие потом к отцу.

Майсурадзе был не такой человек, чтобы бросать слова на ветер. Когда мы прощались, Майсурадзе сказал:

— Даю слово, что через полгода ты будешь на Визаихе.

И через пять месяцев радист северный, Костя Покровский, принес радиограмму: «Срочно шлите освобождение Шаламова Варлама Тихоновича».

Майсурадзе был секретарем Центральной аттестационной комиссии и уж, конечно, не забыл мою фамилию, когда попался подходящий список на освобождение. Дело в том, что управление получило приказ заместителя наркома ОГПУ: всех заключенных, занимающих административные должности в лагере от такой-то и выше и не имеющих взысканий,— немедленно освободить с восстановлением во всех правах и с правом проживания по всему СССР, предложив освобожденным занять те же должности в качестве вольнонаемных. Всего в Вишерских лагерях во всех отделениях под этот приказ попало четырнадцать человек. Тринадцать осталось, а я не остался.

Сказал, что не хочу работать по вольному найму в лагере, и уехал в Березники, где у меня были знакомства по

прошлому году. Майсурадзе был крайне недоволен и резонно говорил:

— Я тебя освободил, а ты так неблагодарно поступаешь.

Я сказал, что все это понимаю, но работать в лагере не хочу. Хочу попробовать поработать на воле. И уехал в Березники. В 1930 году троцкисты были уже не новость в лагере. А в 1931-м — тем паче. В управлении работал экономист Ходе-Долецкий с Урала. Были и другие, о чем говорил мне мельком Блюменфельд.

Еще на Березниках, еще до арестов и следствия, заместитель начальника управления Теплов вызывал меня и спрашивал, как мне живется. Начальники обычно думают, что каждый местный работник по приезду такого начальства должен сунуть ему пакет с доносом. Но пакет у меня не был приготовлен.

— Жалобы на начальника есть?

— Нет, гражданин начальник.

Теплов помолчал. Я тоже молчал. Потом спросил:

— Можно идти, гражданин начальник?

— Идите.

Этот Теплов приезжал тогда вместе с Берзиным. Берзину лагерь понравился. Однако после отъезда начальника Стуков вызвал меня:

— Получил выговор за тебя.

— За меня, гражданин начальник?

— Ну да, за тебя. Не умеешь стоять по швам, руками размахиваешь. Я просто привык, не замечаю, а припомнил — верно, размахиваешь.

Но я нашел заговорное слово. Я ему сказал:

— Шаламов — троцкист, что с него взять.

Мы посмеялись.

Говорил Иван Гаврилович Филиппов, начальник Управления Вишерских лагерей:

— Значит, хочешь уехать. Прощай, желаю удачи. Берзин хотел тебя взять на Колыму.

— Я, товарищ начальник, на Колыму — только с конвоем.

— Не шути плохую шутку, — сказал Филиппов.

Через шесть лет я был привезен с конвоем на Колыму и пробыл там семнадцать лет. Но не сделался суверен. И Берзин, и Майсурадзе были расстреляны в конце 1937 года.

Лагерь уже раскинул сети. Следственные органы усилили наблюдение за троцкистами. Я не удивился, когда

дверь каюты парохода «Красный Урал», на котором в октябре 1931 года я ехал в Березники вниз по Каме, с Вижайхи, раскрылась — и за порог переступил блондин с черными петлицами лагерной администрации.

— Ваша фамилия Шаламов, да? Я Элькин из Ленинграда.

— Нет, не имел чести.

— Вы один здесь?

— Один. Попутчица моя не едет, вывихнула ногу.

— Разрешите перебраться к вам, угостить вас портвейном. Правда, дрянной портвейн.

— Я не пью.

— Скажите мне, Шаламов,— зашептал Элькин,— вы — член ЦК комсомола?

— Я даже не комсомолец.

— Ну,— поморщился мой спутник,— вы же понимаете, о чем идет речь. *Тайного* ЦК?

— Ни тайного, ни явного. Мне сходить пора на этой остановке. Желаю счастья.

— Вы разве не до Перми?

— Нет, я до Дедюхина. Точнее, до Усолья.

Мы помахали руками друг другу.

* * *

Что мне дала Вишера? Это три года разочарований в друзьях, несбывшихся детских надежд. Необычайную уверенность в своей жизненной силе. Испытанный тяжелой пробой — начиная с этапа из Соликамска на Север в апреле 1929 года,— один, без друзей и единомышленников, я выдержал пробу — физическую и моральную. Я крепко стоял на ногах и не боялся жизни. Я понимал хорошо, что жизнь — это штука серьезная, но бояться ее не надо. Я был готов жить.

Главная моя задача — получение высшего образования — отодвигалась почему-то. Я вернулся к своей литературной ипостаси — поступил в журнал, в редакцию журнала, куда меня устроил Волков-Ланнит⁸, знакомый мой по кружку Брика и Третьякова. Я понял тогда, что газетная работа, журнальная работа и работа писателя — разные вещи. Это не только разные уровни — это разные миры, и ничего нет вреднее для писателя, ничего нет противоположней, чем газетная, журнальная работа. Газетная школа не только не нужна писателю,— она вредна.

Лучше писателю служить продавцом в магазине, чем работать в газете.

Писатель — судья времени. Газетчик, журналист — только подручный политиков.

В ЛАГЕРЕ НЕТ ВИНОВАТЫХ

Почему я не советовался ни с кем во всем моем колымском поведении, во всех своих колымских поступках, действиях и решениях? Из человеколюбия. Чужая тайна очень тяжела, невыносима для лагерной души, для подлеца и труса, скрытого на дне каждого человека.

Я боялся, что сообщенное мной ляжет тайной слишком тяжелой, посорит меня с моими исповедниками, ничего не изменив в моем решении. Я не привык, не выучен слушать других и следовать их советам. Совет может быть и хорош, но обязательно плох тем, что это — чужой совет.

В лагере нельзя разделить ни радость, ни горе. Радость — потому что слишком опасно. Горе — потому что бесполезно. Канонический, классический «ближний» не облегчит твою душу, а сорок раз продаст тебя начальству: за окурки или по своей должности стукача и сексота, а то и просто ни за что — по-русски.

Темной осенней ветреной ночью 1931 года я стоял на берегу Вишеры и размышлял на важную, болезненную для меня тему: мне уже двадцать четыре года, а я еще ничего не сделал для бессмертия. Лодочник мой, девяностолетний чалдон, взявшийся за трешник сплавить меня вниз по течению Вишеры, за сто километров до управления, поднял кормовое весло. Старик оттолкнул челнок, вывел лодку на глубокую воду, развернул ее по течению поближе к стрежню, и мы полетели вниз с быстротой, превышающей силу тяжести, ту, что столько лет пригибала меня к земле.

Темной осенней ночью старик причалил челнок к песчаному берегу Вишеры — у лесозавода, где два года назад я работал замерщиком. Вода и ее движение, необходимость участия в повседневной, сиюминутной жизни летящего вниз челнока не давали возможности думать. Только позднее я смог подвести итоги первого моего испытания в самостоятельном плавании — на московской земле.

Я проехал весь штрафняк, весь северный район Вишлага — притчу во языцех, — канонизированную, одобренную людской психологией, угрозу для всех, и вольных, и заключенных на Вишере, я побывал на каждом участке, где работал арестант-лесоруб. Я не нашел никаких следов кровавых расправ. А между тем Усть-Улс и паутина его притоков до впадения в Вишеру были краем тогдашней арестантской земли.

А между тем следы эти были, не могли не быть. Ведь начальник конвоя Щербаков сам раздевал меня догола и ставил на выстойку под винтовку вольного чалдона — на арестантском этапе в начале апреля 1929 года по каторжному шляху Соликамск — Вижаиха.

Ведь кто-то застрелил тех трех беглецов, чьи трупы — дело было зимой, — замороженные, стояли около вахты целых три дня, чтобы лагерники убедились в тщетности побега. Ведь кто-то дал распоряжение выставить эти замерзшие трупы для поучения? Ведь арестантов ставили — на том же самом Севере, который я объехал весь, — ставили «на комарей», на пенек голыми за отказ от работы, за невыполнение нормы выработки.

Ведь только в начале тридцатых годов был решен этот главный вопрос. Чем бить — палкой или пайкой, шкалой питания в зависимости от выработки. И сразу (выяснилось), что шкала питания плюс зачеты рабочих дней и досрочные освобождения — стимул достаточный, чтобы не только хорошо работать, но и изобретать прямоточные котлы, как Рамзин. Выяснилось, что с помощью шкалы питания, обещанного сокращения срока можно заставить и «вредителей», и бытовиков не только хорошо, энергично, безвозмездно работать даже без конвоя, но и доносить, продавать всех своих соседей ради окурка, одобрительного взгляда концлагерного начальства.

Главное ощущение после двух с половиной лет лагеря, каторжных работ — это то, что я покрепче других в нравственном смысле.

Колыма, где физические и нравственные мучения были уродливейшим и теснейшим образом переплетены, — была еще впереди.

Сектант Петр Заяц, за которого я заступился, к удивлению, неудовольствию и неодобрению всего нашего этапа, всех моих товарищей, которые наполовину состояли из пятьдесят восьмой статьи — «заговор Тихого Дона», а наполовину — из блатарей-рецидивистов, в десятый раз принимавших срок и шедших знакомой каторжной доро-

гой,— сектант Заяц сам осуждал мое вмешательство, желая пострадать сам за себя. В лагере это главное правило — сам за себя. Стой и молчи, когда избивают и убивают соседей,— вот первый закон, первый урок, который дал мне лагерь. Но заступался я за Зайца не для Зайца, не для утверждения правды — справедливости. Просто хотел доказать самому себе, что я ничем не хуже любых моих любимых героев из прошлого русской истории. Вот что вывело меня из строя, поставило пред мутные очи начальника конвоя Щербакова. Я меньше думал о Зайце, чем о самом себе.

Одна из идей, понятых и усвоенных мной в те первые концлагерные годы, кратко выражалась так:

«Раньше сделай, а потом спроси, можно ли это сделать. Так ты разрушаешь рабство, привычку во всех случаях жизни искать чужого решения, кого-то о чем-то спрашивать, ждать, пока тебя не позовут».

В 1964 году я встретился с Анной Ахматовой. Она только что вернулась из Италии после сорокалетнего перерыва таких вояжей. Взволнованная впечатлениями, премией Таормины, новым шерстяным платьем, Анна Андреевна готовилась к Лондону. Я как раз встретился с ней в перерыве между двумя вояжами ее заграничной славы.

— Я хотела бы в Париж. Ах, как я хотела бы в Париж,— твердила Анна Андреевна.

— Так кто вам... Из Лондона и слетаете на два дня.

— Как кто мешает? Да разве это можно? Я в Италии не отходила от посольства, как бы чего не вышло.

И видно было, что Ахматова твердит эту чепуху не потому, что думает: «в следующий раз не пустят» — следующего раза в семьдесят лет не ждут,— а просто отвыкла думать иначе. Женщина, присутствовавшая при этом разговоре, неоднократно пользовалась таким способом во время своих заграничных поездок. Но она не была Ахматовой. Вернее, Ахматова ею не была.

Что же мной понято?

Самое важное, самое главное.

В лагере нет виноватых.

И это не острота, не каламбур. Это юридическая природа лагерной жизни.

Суть в том, что тебя судят вчерашние (или будущие) заключенные, уже отбывшие срок. И ты сам, окончив срок по любой статье, самым моментом освобождения приобретаешь юридически и практически право судить других по любой статье Уголовного кодекса. Сегодня, 30 сен-

тября энного года, ты — преступник, бывший и сущий, которого еще вчера пинали в зубы, били, сажали в изолятор, а 1 октября ты, даже не переодеваясь в другое платье, сам сажаешь в изолятор, допрашиваешь и судишь. Мародер, который грабит во время войны по приказу, вдруг узнает, что вчера отменили приказ, и его судят за мародерство, дают срок 25 и 5, а то и расстреливают — премьера в юридической практике идет тяжело.

Что же изменилось в душе мародера?

Высшим выражением крыленковской «резинки», перековки была самоохрана, когда заключенным давали в руки винтовки — приказывать, стеречь, бить своих вчерашних соседей по этапу и бараку. Самообслуга, самоохрана, следовательский аппарат из заключенных — может быть, это экономически выгодно, но начисто стирает понятие вины.

О вине в лагере и не спрашивают — ни начальство, ни соседи, ни сам арестант. В лагере спрашивают «процент» — а есть «процент», значит, у тебя и нет никакой вины.

Разве любой вредитель в чем-нибудь виноват? Лагерь и не ставит перед ним этого вопроса. «Да, — говорит начальник, — ты осужден на такой-то срок и должен себя вести так-то и так-то. А завтра кончишь срок и будешь командовать здесь же нами всеми от имени того же государства, именем и силой которого я держу тебя в тюрьме. Завтра! Только завтра! А сегодня я еще буду тебя лупить, пропускать сквозь конвейер».

Заранее данная, принципиальная невинность заключенных и была основанием тогдашнего лагерного режима.

В лагере сидят жертвы закона, люди, на которых устремлен огонь орудий суда в данный день, час и миг. Кто попал под этот огонь, тот и сидит. Завтра орудия переводят на другую цель, а осужденные вчера остаются в лагере досиживать, хотя их преступление уже не считается опасным и не влечет за собой наказания.

Если такая жертва закона получила свободу, она сама стреляет, помогает наводить орудия суда на других.

Дело не в том, что преследуются какие-то политические группы населения — кулаки, вредители, троцкисты. Сам по себе набор статей бытовых — растраты, изнасилования, кражи, хищения имущества — тоже различен. Внимание суда привлекает то одна группа подсудимых, то другая. И необъяснимым образом внимание государства

к прежним жертвам ослабевают. Носители их переждали в кустах расстрел и преследования, и вот уже они сами судят, сами отправляют в лагеря по той же самой статье, по которой их ловили еще вчера. А может бить, ловят и сегодня. Желая быть полноправным гражданином, организатор хищений, спекулянт, растратчик участвует в суде, а при «досрочном» — даже размахивает руками и голосует.

Тот, кто следит за орудиями истребления, поправляет их прицел, — сам сегодня под этот огонь не попал, поэтому сам стреляет. А если не он, то его брат, отец, родственник. Всякий осужденный за бытовое преступление знает еще из тюрьмы, из следствия, что его преступление вовсе не считается преступлением в лагере. Растратчиков, расхитителей судят сами непойманные расхитители и растратчики.

Перековка дала и юридическое основание такого рода действиям. Какая же может быть вина в лагере, если в лагере самооборона, а в более широком смысле — никого, кроме самообороны, в лагере и нет, ибо отбывшие срок берут винтовки — охранять, берут палку — командовать.

Круг не может быть разомкнут.

Виноватых нет потому, что при досрочном освобождении, искуплении вины честным трудом человек, поднимающий девять пудов одной рукой, искупает вину вдесятеро скорее, чем хлюпик-очкарик, не обладающий должной физической силой. Человек, поднимающий девять пудов одной рукой, вырастает в лагере как символ именно моральной силы. Он в почете у начальства, он освобождается сам и освобождает других на собраниях, приобретает право судить, «добавить срока», еще и сам, не освобожденный из лагеря.

Тут нет места такому понятию, как вина. Даже если ее считать за условную формулу столкновения человека и общества. За исключением воров-рецидивистов, стоящих вне общества и заслуживающих уничтожения, никто в лагере и не трактует «вину» как преступление — ни в теории, ни в практике.

Но и блатарей государство считало возможным «использовать» на той же перековке и исправлении.

До перековки считалось, что в лагере есть две группы людей: жертвы правосудия и преступники — уголовные рецидивисты. Надлежало с помощью социально близких из жертв правосудия: следователей, осужденных за превышение власти, убийц — за превышение норм раздражения,

растратчиков миллионных сумм, прокученных в ресторанах,— всех этих «контингентов» на изящном лагерном языке — бороться с уголовным рецидивом до самой смерти уголовников — ранней обычно из-за побегов, побоев, выстоек «на комарах» и прочего.

Блатарю ведь работать позорно. Он должен <отказываться вплоть до> симуляции самоубийства (резать живот «пиской», заливаясь кровью, идти в изолятор), бежать. Когда-нибудь я дам анализ рецептов русской политической каторги, поведение которой было сходно с поведением уголовщины, и многое заимствовано оттуда — побег, голодовка, но сейчас речь о другом. Блатарь — отказчик от работы, извечный враг любого государства, вдруг превращается в друга государства, в объект перековки. В перековку вообразили, что блатарей можно обмануть, научить их труду. За высокий процент выработки блатарей освобождали, примеры Беломорканала, Москанала, Колымы известны, мне кажется, всем и каждому в мире, не только в нашей стране. Теоретически была установка вернуть блатарей в число строителей социализма. Использовать и эту группу населения. Врагов государства заставить служить государству. За это советское общество заплатило большой кровью. Говорили, что нужно только «доверие», и блатарь перестанет быть блатарем и станет человеком, полноценным строителем социализма, меняя природу, трудом изменяя свою собственную психологию. Все теоретические узлы развязывались легко.

Но дело вот в чем. Блатарь освобождался, выработав сто пятьдесят или двести процентов плана. Выяснилось, что друзья народа, какими оказались рецидивисты, официально выполняют норму на триста процентов и подлежат немедленному досрочному освобождению. Немало лет потребовалось, пока низовым работникам лагерей удалось убедить высшее начальство, что эти триста процентов — чужая кровь, что блатарь не ударил палец о палец, а только бил палкой своих соседей по бригаде, выбивая «процент» из нищих и голодных стариков и заставляя десятников приписывать в наряд именно ему, блатарю, этот кровавый процент. Это доверие привело к такой крови, которая была еще невиданна в много испытавшей России.

Вся эта кровь ясно проступила еще на Вишере, еще до зачетов рабочих дней, до досрочного освобождения. Но уже при «разгрузках», при приездах комиссий по соловецкой песне:

Система досрочного освобождения за честный труд — есть прямой вызов правосудию.

Если есть суд — то нет досрочного освобождения, ибо только сам суд — верховный орган власти, состоящий из узкого круга квалифицированнейших, опытнейших юристов, работая день и ночь, определяет в своих высших инстанциях меру наказания за то или иное преступление против закона, определяет детально, до самой мелочи, до дня и часа вопросы срока, режима, взвешивая все обстоятельства на самых высших юридических весах, и никто не может нарушить, изменить, поправить его верховную волю.

А если есть досрочное освобождение, то, значит, нет суда, ибо никакому начальнику ОЛПа Чебоксарского района, безграмотному старшине, не может быть дано право изменить срок наказания. Ни увеличить — по рапорту такого начальника, ни сократить — по ходатайству такого начальника, да еще снабженного решением общего собрания самих заключенных. Никакое общее собрание самих заключенных не может никого освобождать из лагеря или уменьшить меру заключения, определенную судом.

Вышинский, защищавший теорию возмездия, — преступник, отдавший себя на службу Сталину. Но Вышинский был юрист.

В двадцатые же годы действовала знаменитая «резинка» Крыленко⁹, суть которой в следующем. Всякий приговор условен, приблизителен: в зависимости от поведения, от прилежания в труде, от исправления, от честного труда на благо государства. Этот приговор может быть сокращен до эффективного минимума — год-два вместо десяти лет, либо бесконечные продления: посадили на год, а держат целую жизнь, продлевая срок официальный, не позволяя копиться «безучетным».

Я сам — студент, слушавший лекции Крыленко. К праву они имели мало отношения и не правовыми идеями вдохновлялись. «Резинка» опиралась на трудовой экономический эффект мест заключения плюс, по теории переделки души арестанта в направлении коммунистических идеалов, применение бесплатного принудительного труда, где главным рычагом была шкала питания арестанта по такой зависимости от нормы выработки: «что зарабо-

тал, то и поешь» — и прочие лагерные модификации лозунга «кто не работает, тот не ест».

Желудочная шкала питания сочеталась с надеждой на досрочное освобождение по зачетам. Все это разработано чрезвычайно детально, лестница поощрений и лестница наказаний в лагере очень велика — от карцерных стаграммов хлеба через день до двух килограммов хлеба при выполнении стахановской нормы (так она и называлась официально). Стахановская карточка печаталась, заказывалась и выдавалась, и сам Берзин без тени юмора считал именно такую операцию истинным применением стахановских идей в трудовом концлагере. Зная ограниченность Берзина, можно было верить, что он самым серьезным образом относился к своим словам. Выступления этого рода Берзин делал и на Колыме. Достаточно почитать тамошние газеты тогдашние.

Так проведен был Беломорканал, Москанал — стройки первой пятилетки. Экономический эффект был велик.

Велик был и эффект растреления душ людей — и начальства, и заключенных, и прочих граждан. Крепкая душа укрепляется в тюрьме. Лагерь же с досрочным освобождением разлагает всякую, любую душу — начальника и подчиненного, вольнонаемного и заключенного, кадрового командира и нанятого слесаря.

Убийц я знал много. Рядом со мной в лагерном бараке спал милейший человек Миша Булычев, бывший бухгалтер из Горького. Горький в те годы давал тысячами растратчиков — судебная машина косила именно по этой статье направо и налево года два, и Миша Булычев стеснялся своего преступления. Ему казалось, что растратчики — это эпидемия, заболевание, переболел — и выпустили на волю здоровыми в правовом смысле людьми. Сам Миша был осужден за убийство — убил жену половинкой кирпича из ревности во время приступа запоя. Миша Булычев в лагере увидел, что не только его статья считается легче, чем 116-я за растрату — та была «модной», но и вообще он-то, Миша Булычев, со своей статьей первый человек в лагере. Что требуются даже его характеристики на товарищесской-горьковчан — можно ли их освободить досрочно, по мнению Миши Булычева. Миша давал характеристики.

Вскоре обнаружилось, что и регулярные запои обходятся в лагере еще дешевле, чем на воле. Как-никак Миша был бухгалтером по бытовой статье!

Уже позднее, в Сусумане, я спал с блатарем Соловьевым, который взял в побег фраера «на мясо», убил его, ел, пока был «во льдах», а осенью мороз «выжал» Соловьева из тайги в поселок. Соловьева судили, дали двадцать пять и пять — у него и так было лет двести лагерного срока, сибранного подобным образом.

Соловьев провел в тепле, ожидая суда, зиму, а весной опять бежал, опять съел человека. Продолжил колымскую «сказку про белого бычка».

Как его сравнить с Мишей Булычевым, а в лагере и к тому, и к другому относились одинаково. К убийце в лагере не относятся как к убийце. Напротив, от первого до последнего дня заключенный-убийца чувствует поддержку государства — ведь он бытовик, а не троцкист, не враг народа. Он жертва (стечения) обстоятельств — не больше.

Это так и есть. Нераскрытый убийца, не сегодняшней убийца судит раскрытого за то, что тот перешел черту, зашел в опасную зону.

Где же тут понятие вины?

Искушение вины рассчитывается на «проценты», или, как в лагере говорят, «проценты». Твоя свобода в своих руках. В лагере обсуждают не вину, это никого не интересует — ни начальство, ни самих арестантов, — все понимают нелепость искупления какой бы то ни было вины. Обсуждают способы досрочного освобождения из лагеря — цену, какую может заключенный за это досрочное освобождение заплатить.

И еще я понял другое: лагерь не противопоставление ада раю, а слепок нашей жизни, и ничем другим быть не может.

Почему лагерь — это слепок мира?

Тюрьма — это часть мира, нижний или верхний этаж — все равно, с особыми правами и правилами, особыми законами, особыми надеждами и разочарованиями.

Лагерь же — мироподобен. В нем нет ничего, чего не было бы на воле, в его устройстве, социальном и духовном. Лагерные идеи только повторяют переданные по приказу начальства идеи воли. Ни одно общественное движение, кампания, малейший поворот на воле не остаются без немедленного отражения, следа в лагере. Лагерь отражает не только борьбу политических клик, сменяющих друг друга у власти, но культуру этих людей, их тайные стремления, вкусы, привычки, подавленные желания. Какой-

нибудь Жуков, Гаранин, Павлов¹⁰ приносят в лагерь вывернутое дно своей души.

Лагерь — слепок еще и потому, что там все, как на воле: и кровь так же кровава, и работают на полный ход сексот и стукач, заводят новые дела, собираются характеристики, ведутся допросы, аресты, кого-то выпускают, кого-то ловят. Чужими судьбами в лагере еще легче распоряжаться, чем на воле. Все каждый день работают, как на воле, трудовое отличие — единственный путь к освобождению, и, как на воле, легенды эти оказываются ложными и не приводят к освобождению.

В лагере убивает большая пайка, а не маленькая — такова философия блатарей. В лагере ежечасно повторяется надпись на воротах зоны: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства».

Делают доклады о текущем моменте, подписываются на займы, ходят на собрания, собирают подписи под Стокгольмским воззванием.

Как и на воле, жизнь заключенного состоит из приливов и отливов удачи — только в своей лагерной форме, не менее кровавой и не менее ослепительной.

Люди там болеют теми же болезнями, что и на воле, лежат в больницах, поправляются, умирают. При всех обстоятельствах кровь, смерть отнюдь не иллюзорны. Кровь-то и делает реальностью этот слепок.

ЭККЕРМАН

Что такое историческая достоверность? Очевидно, запись по свежим следам...

Разговоры с Гете Эккермана — это достоверность? В высшей степени условно можно это считать достоверностью, хотя Гете нарочно говорил для Эккермана, чтобы тот успел записать. Разве что мысли Гете. Разговоры с Гете Эккермана похожи на павловских собак в Колтушах — вроде что-то важное, но очень далекое от существа дела, от собачьего поведения, от всякого вопроса звериной психологии.

Так и эккермановские труды. Тут просто мысли Гете, да еще его явные, а не тайные мысли. Сам процесс мышления искажается, если есть свидетель, секретарь, стенограф

фист. Я приспособливаюсь к секретарю, произвожу отсев чувств и мыслей.

Письма проще, точнее, но и там есть отсев, и немалый. Сам Гете неизбежно искусственен, неизбежно фальшив в записи такой беседы.

Вторая искажающая — сам Эккерман. При всей его добросовестности Эккерман не магнитофон все же. Так каким же записям отдать преимущество? Или все опять сводится к единственной правде искусства — правде таланта?

⟨1970—1971⟩

БУТЫРСКАЯ ТЮРЬМА

Мне приходилось встречаться с революционерами царского времени. Одно замечание особенно запомнилось.

— С арестом,—говорили многие профессионалы,—наступает некое нравственное облегчение; вместо беспокойства, тревоги, напряжения — тайная радость, что все как-то определилось, вошло в русло... И хотя впереди допрос, приговор и ссылка, в тюрьме можно душевно отдохнуть, укрепиться и укрепить других — тех, кто в этом нуждается.

— А книги? — спросил тот следователь, что помоложе. Книг было много.

— По корешкам,—снисходительным тоном сказал старший.

Это мне не понравилось. Значит, от результата обыска ничего не зависело, арест мой предрешен. Я попрощался с дочерью — ей было полтора года — не будя ее. Попрощался с тестем и тещей — последний раз в жизни я видел их тогда. Попрощался с женой.

Мы поехали знакомым маршрутом. Сначала в «Секцию революционной законности», как пышно именовали себя тогдашние райотделы НКВД. Оттуда на «вороне» на Лубянку, 14, в Московскую комендатуру, в приемник, сохранивший и теперь название «собачника». А рано утром на рейсовом «вороне» через весь город в Бутырскую тюрьму.

Ничего не изменилось на Бутырском «вокзале» — только стены глухих беззаконных «собачников»-приемников были выстланы зелеными стеклянными плит-

ками — раньше, кажется, было не так. Раньше меня водили в мужской одиночный корпус, похожий своими лестницами и ярусами на огромный пароход. В МОК входили через большую железную клетку с двумя дверьми, а в углу этой клетки была клеточка поменьше, запертая на три замка, и внутри сидел часовой с винтовкой, нацеленной на входную дверь. Было весьма романтично.

Сейчас, после дезинфекции, опросов, впечатков пальцев — всего, что относится к области процедурных вопросов, — провели меня прямо в общие камеры в девятнадцатый коридор и остановили перед камерой 67-й. Дежурный открыл дверь, и я вошел в тюремный полумрак и запах пота и лизола.

Эти камеры, как я знал, рассчитаны каждая на 25 человек. На первый взгляд людей здесь было гораздо больше. Койки застланы сплошь деревянными щитами.

Я остановился у порога, у классической параша. Навстречу мне двигался человек. Я спросил:

— Кто староста?

Человек стал передо мной и загородил окно.

— Я — Друян, Сергей Друян, торфяной инженер. Сидел раньше? — это был вопрос Друяна.

— Сидел. В двадцать девятом году.

Друян захохотал сердито, хрипло.

— Получишь пять лет! По КРТД, — кричал он.

— Все может быть.

— Ну, ложись пока к параше. Завтра разберемся. Ребятам можешь кое-что рассказать?

Дело шло о новостях с воли, газетных и прочих. К этой беседе я был готов давно.

— Зачем же завтра? Сейчас и расскажу.

— Ну, молодчик, если так.

Я сел на нары, на середину камеры, рассказал о том, что слышал, знал, видел. Рассказал газетные новости.

Сложное это дело — обязанности тюремного старосты следственной камеры. Должность выборная, власти у него не много. Он должен обеспечить порядок в уборке камеры, в раздаче обеда, покупок в тюремном магазине. Следить, чтобы шум споров, волнений не превысил какого-то условного градуса, уровня, за которым — конфликт с тюремным начальством. Знать, что можно в тюрьме и чего нельзя. Уметь показать любому, что можно и чего нельзя. Староста распределяет места в камере, ибо простая очередность не всегда считается правильной. Нови-

чок — старик и очередной — юноша. Юноша может подождать следующей очереди. Лучшие места — у окна, а худшие — у параша, у двери. От параша и движется очередь. Староста назначает уборщиков камеры, не позволяя «платить» за дежурство своему товарищу. Может вызвать врача к заболевшему, вызвать коменданта. Все переговоры с администрацией тюрьмы ведутся через старосту. В организации чередования развлечений и учёных — все это можно сделать в тюрьме — староста участвует самым активным образом. Списки и темы ежедневных лекций староста держит в голове. Он должен уметь подобрать интересующий всех «репертуар». Наконец, староста руководит пресловутыми «комбедами» — тайной кассой взаимопомощи, распределением средств для немущих.

Двадцать четыре часа в сутки встречаются люди друг с другом. Разные люди. Нервная система разная у всех, и староста должен уметь предупредить конфликты — это штука болезненная, заразная, развивается, как цепная реакция.

Но все это не главное в работе тюремного старосты. Главное то, что он должен поддержать растерявшихся невинных людей, оглушенных предательскими ударами сзади, должен дать совет, дать пример достойного поведения, уметь утешить или укрепить дух или разрушить иллюзии. Открыть правду и укрепить дух слабых. В примерах, в историях, в собственном поведении староста должен укрепить душевные силы арестованных, следственных, дать совет, как держаться на допросах, внушить новичку, что тюрьма — не страх, не ужас, что в ней сидят достойные люди, может быть, лучшие люди времени. Он должен понять время и уметь его объяснить.

Сережа Друян через две недели получил приговор — пять лет КРТД! — и ушёл навсегда из моей жизни.

Еще Юсупов, тюремный староста юности — двадцать девятого года, — бывший придворный офицер, бывший басмач, энергично заставлял всех учить иностранные языки в тюрьме. «Тюрьма создана для изучения иностранных языков, — твердил Юсупов, — отвлекает, дисциплинирует время, дает живую практику — ведь в камере наверняка кто-нибудь знает чужой язык». Иностранные языки были страстью Юсупова. Второй его страстью было ежедневное бритье. Разломанным пополам лезвием безопасной бритвы, скрытой в спичечном коробке, он брился сам и брил всех желающих, вызывая проклятья комендантов,

обыски. Таинственные бритвы вносили много оживления в камерную жизнь. Ведь следственных арестантов не бреют, бороды им стригут в банные дни под машинку, под «нуль»...

Тюремный быт не изменился с двадцать девятого года. По-прежнему к услугам арестантов была удивительная бутырская библиотека, единственная библиотека Москвы, а может быть, и страны, не испытавшая всевозможных изъятий, уничтожений и конфискации, которые в сталинское время навеки разрушили книжные фонды сотен тысяч библиотек; от этих изъятий и уничтожения, производившихся посмертно, пахло дымом фашистских костров. Но бутырской тюремной библиотеки это не касалось. Там можно было достать и «Интернационал» Илеса, и «Записки масона», и Бакунина, и «Повесть непогашенной луны» Пильняка, и «Белую гвардию» Булгакова. Логика в этом была — уж если тюрьма, то нечего бояться влияния какой-то книги, романа, стихотворения. Даже экономического исследования или философской работы. А может быть, у философов из высшей тюремной администрации были свои наблюдения, что заниматься в следственной тюрьме арестанту невозможно, что собранность, сосредоточенность — иллюзия, что все читают с большим интересом — и всё забывают, как будто в камере живут только склеротики.

Я много читал в Бутырках, стремился запомнить; казалось, что удалось добиться успеха, но сейчас вижу, что все последующее, колымское, начисто стерло из памяти все, что я там читал. Я запомнил только три стихотворения, выученные «с голоса»: одно — Цветаевой («Роландов Рог») и два — Ходасевича. Почему я запомнил только стихи — не знаю.

Там было много книг научного содержания, много самоучителей, и наша камерная «книжная комиссия» выбирала порядочно книг для занятий. По правилам библиотеки полагалась одна книга на десять дней. В камере было шестьдесят — восемьдесят человек. Конечно, в десять дней прочесть восемьдесят книг нельзя. Практически книг было неограниченное количество. Занимались языками — кто хотел, просто читали. По дневной программе утренние часы — от завтрака до обеда — отводились таким занятиям. Обычно на эти же часы приходилась прогулка — пятнадцать минут по песочным часам. Эти песочные часы, прислоненные к кирпичному выступу около входа, я хорошо помню. Я еще не был сведущ тогда в медицине,

о медицинской аппаратуре не имел никакого понятия и думал, что тюрьма заказывает специально для таких прогулок эти древнейшие часы человечества.

В двадцать девятом году один из арестантов соорудил сложную систему водяных часов — из бутылок. Нравы тогда были помягче, камеры не так переполнены. Громоздкое сооружение «водяных часов» было одобрено, разрешено тогдашним высоким начальством, вроде знаменитого начальника Бутырской тюрьмы Адамсона. В тридцать седьмом году должность Адамсона занимал рыжеусый Попов — бывший начальник тюремного отдела НКВД, впоследствии, как рассказывали, расстрелянный.

Послеобеденное время всегда отводилось на «лекции». Каждый человек может рассказать для других что-либо интересное всем. Историк, педагогу, ученому — и книги в руки. Но простой слесарь, побывавший на Днепрострое, может рассказать много любопытного, если соберется с мыслями. Вася Жаворонков, веселый машинист из Савеловского депо, рассказывал о паровозах, о своем деле — и это было интересно всем.

С каждым новичком староста вел потихоньку переговоры на «лекционные» темы. Обычно он встречал отказ, резкий отказ — ведь нравственный удар ареста был слишком силен, но потом новичок «обживался», привыкал, слушал несколько таких «лекций» и в конце концов выражал желание выступить. Такое согласие говорило о многом — что нервы уже собраны, что самое трудное уже позади, что человек начинает понемножку становиться человеком.

Гудков, начальник политотдела какой-то МТС, арестованный за хранение пластинок с записью Ленина и Троцкого — были такие пластиночки в старые времена, — не верил, что за это могут сослать, осудить. В Бутырках всех вокруг себя Гудков считал врагами, воюющими с советской властью.

Но шел день за днем. Рядом с Гудковым были такие же невинные люди — никто из восьмидесяти человек не сказал Гудкову ничего более того, что чувствовал сам Гудков.

Гудков стал активным деятелем «комбедов», а также «книжной комиссии». Дважды он выступал с лекциями, улыбался, протирая очки, и просил прощения за недоверие в первые дни.

Бывало, что «лекторами» выступали профессионалы — и тогда это были особенно ценные вечера. Арон Коган, мой старый знакомый по университету конца двадцатых годов, бывший физматовец, теперь доцент Военно-воздушной академии имени Жуковского, делал, помню, несколько вечеров подряд доклад «Как люди измерили Землю».

Скатанные хлебные шарики, изображавшие Луну и Землю, он держал в своих тонких, нервных пальцах — отросшие ногти блестели под лампочкой.

Георгий Каспаров, сын бывшей секретарши Сталина Вари Каспаровой, которую Сталин обрек на вечную ссылку еще с половины двадцатых годов, рассказывал историю Наполеона.

Поход Кортеса в Мексику, история чемпионатов на первенство мира по шахматам, биография и творчество О'Генри, жизнь Пушкина, сопровождаемая чтением его рассказов.

Редко, раз в месяц, устраивались «концерты». Каспаров читал стихи, капитан дальнего плавания Шнайдер жонглировал тюремными кружками. В январе тридцать девятого года я встретил капитана Шнайдера на Магаданской пересылке во время тифозного карантина. Он прислуживал блатарям, бегал «за уголёчком» прикуривать, чесал им на ночь пятки. Седой, стриженный, грязный. Я попробовал заговорить с ним, но было ясно видно, что он все забыл и боится опоздать с «уголёчком».

«Лекции» шли от обеда до ужина, а после ужина и последней второй оправки и отбоя в 10 часов отводилось время всякий раз на «ежедневные новости».

Новичок (а новички приходили почти каждый день) рассказывал о событиях на воле — по газетам, по слухам.

«Лекции», конечно, читались не всеми арестантами. Новости же рассказывали все без исключения приходившие в камеру. Если новичков не было — вечер считался свободным, и тогда кто-нибудь читал книги вслух.

В тюрьме все по-особенному. Как, например, держаться во время допроса? Поможет ли тут чем-нибудь совет? Шла первая половина тридцать седьмого года, «детское» время советской тюрьмы, с «детским» сроком (пять лет!). Еще не применялся на следствии «метод № 3».

Что советовать, чтобы укрепить бодрость духа? Одно ясно — книжное тут не поможет. Надо рассказывать о себе, о том, что я видел сам собственными глазами.

И я говорю.

В двадцать девятом году, когда я шел первым своим арестантским «этапом» на Северном Урале, на Вишере, в 4-е отделение СЛОНа, побелевшие в тюрьме лица арестантов были сожжены апрельским солнцем до пузырей. Рты казались голубыми. «И кривятся в почернелых лицах голубые рты». С нами шел Петр Заяц, осужденный как сектант и не подчинившийся «драконам». Утром и вечером, каждую поверку, Зайца избивали конвоиры — сбивали с ног, топтали.

На второй ночевке я вышел вперед и сказал начальнику конвоя надзирателю Щербакову, что так не должен вести себя представитель советской власти и что я буду жаловаться в управление.

Все молчали. Колонна отправилась в путь, а вечером, когда мы легли вповалку в солому, настланную на ледяной глиняный пол сарая этапной избы, где было все же так тесно и жарко, что все раздевались до белья, меня растолкал конвоир.

— Выходи.

— Сейчас оденусь.

— Нет, выходи так.

Босой и раздетый, я стоял под двумя винтовками конвоя, сколько времени — не знаю.

— Иди назад.

Я вошел в избу. Нервный озноб бил меня до утра. Когда этап пришел в лагерь, я не жаловался. А Зайца я встретил через несколько месяцев — ввалившиеся щеки, пустые глаза, костлявые руки, неуверенные движения. Он умирал от голода и побоев.

Все это было давно, и лучше не стало.

Тогда думали, что есть две школы следователей: одна считает, что арестованного надо оглушить немедленными допросами, длительными, тягучими угрозами, обвинениями огорошить, сбить с толку.

Вторая держится другой точки зрения.

Надо поместить арестованного в тюрьму и держать по возможности дольше без всякого допроса. Тогда воля его ослабеет, сама тюрьма разложит его, ожидание измучит. За это время можно собрать справки, всякий материал, относящийся к «человековедению». Нет, говорит другая школа. В тюрьме арестованный неизбежно встретит людей, которые укрепят его волю, и подследственный будет сильнее, чем ежели готовить блюдо быстро и горячо.

С половины тридцать седьмого года выяснилось, что в распоряжении следствия есть вещи гораздо более эффективные, чем ребяческие опусы наследников Порфирия Петровича.

Ведь признание обвиняемого — краеугольный камень всей правовой системы сталинского времени.

А его добиться чрезвычайно легко. В силу вступил «метод номер три» — применение пыток. Эта штука справлялась со всеми — 100% действия. Эффект пенициллина.

Но была еще весна тридцать седьмого года.

Глубоко трагична судьба политической партии эсеров, которая несколько поколений подряд приносила в жертву борьбе с царизмом лучших людей России. Наследники Перовской и Желябова — люди эсеровской партии — по своим человеческим качествам были неизмеримо выше всего, что могла выдумать богатая на подвиги царская действительность в ее глубине, в ее недрах.

Бесспорно, что против эсеров был направлен главный удар самодержавия, и именно их боялся царизм больше всего.

Свержение самодержавия 12 марта 1917 года было днем окончания вековой борьбы русского общества с царизмом, с царем. Эта борьба потребовала огромных сил от всех партий, от всех слоев общества, но прежде всего и больше всего — от социалистов-революционеров.

Недаром Андреев считал лучшим днем своей жизни — 12 марта 1917 года, недаром он праздновал его в 67-й камере Бутырской тюрьмы — двадцатилетие свержения самодержавия.

Кусочки колбасы, кружка тютюнного чая, сахар, масло, разложенное на носовом платке, расстеленном на нарах, — вот и все наше угощение в этот великий праздник Андреева.

Несмотря на огромнейшие жертвы, история пошла по другому пути, и это было трагедией политической партии.

За трагедией партии шла трагедия людей. Ни в чем не повинных стариков, поседевших на царской каторге, хватало снова, сажали в тюрьму, допрашивали, клеили провокационные «дела», только что не пытали.

Всех бывших эсеров собирали на Нарым, где они и умерли, конечно.

Александр Георгиевич не надеялся на правду. Он уезжал умирать, и единственной просьбой ко мне (если я не умру) было найти его дочь, Нину.

Кормили в Бутырках отлично. «Просто, но убедительно», по терминологии шахматных комментаторов. Хлеб с утра, шестьсот граммов пайки. Впервые здесь каждый узнал, что слово паек в действительности женского рода. Запомнить пришлось на всю жизнь.

Утром выдавался и сахар — двадцать граммов на человека, и папиросы по десятку третьего сорта типа «Ракегы». Папиросы, как объясняло тюремное начальство, — от Красного Креста. Это был единственный признак существования Красного Креста в наших политических тюрьмах — вопрос, который интересовал тогда многих. Где Е. П. Пешкова, где Виновер, ее юрисконсульт на Кузнецком мосту? Позднее мы узнали, что Виновер сам был посажен и умер где-то в лагере, что Красный Крест закрыли, а Пешкова — здравствует. Через много лет она еще «Избранное» Чирикова редактировала.

Приносили чай. Вернее, кипяток и какой-то «малиновый» напиток в пачках, напоминавший чай гражданской войны. Кипяток приносили в огромных ведерных чайниках красной меди, отчищенных кирпичом до блеска, — явно царского времени. Может быть, Дзержинскому или Бауману приходилось пить именно из этого чайника, что принесли в нашу камеру.

Утром выдавалось одно блюдо. Этим блюдом была каша — пшенная, овсяная, перловая, магар, гречневая, картофель или винегрет — с растительным маслом, по полной миске, досыта, словом.

В час был обед, и давали один суп — три дня рыбных, три мясных и один день в неделю — овощной. Мясо выдавалось в вареном виде, отдельно нарезанное, а в рыбные дни — кета, камбала. «Ложка стояла» — таким густым был суп.

Вечером в семь часов давалось всегда то же блюдо, что и утром.

Меню было составлено на неделю и не менялось — по винегрету или перловой «шрапнели» можно было узнать название дня недели не спрашивая, не подсчитывая.

Раз в десять дней камера пользовалась «лавочкой» — разрешались покупки в магазине. Можно было покупать лишь на 13 рублей в «лавочке» каждому — денежные квитанции сдавались в магазин, и через день каждый получал свою квитанцию обратно.

Предполагалось, что у арестантов нет никакой бумаги и карандашей, поэтому за день до «лавочки» коридорный надзиратель приносил грифельную доску и грифель, а ве-

чером следующего дня брал все обратно и передавал в очередную камеру.

За продуктами в «лавочку» ходили по три-четыре человека, с особым надзирателем. У надзирателя внутри тюремных корпусов нет оружия. Винтовки даются только на караульные вышки.

В «лавочке» бывал всегда и белый хлеб, и масло, и колбаса, и сахар.

Прикупать можно было все что угодно, но осторожно — тюремная жизнь требует хорошей дисциплины желудка, требует, чтобы человек чуть-чуть недоедал и ни в коем случае не передал. Прогулка — ежедневная тысяча шагов по камере — по совету Андреева, генерального секретаря Общества политкаторжан.

Чем главным можно определить, очертить первую половину тридцать седьмого года в московской тюрьме, в Бутырской тюрьме? Ведь то, что делалось в Москве, было лишь началом лавинообразного движения — того, что позднее стали называть «цепной реакцией». В Москве писались статьи «Уничтожить врага». В колымском приисковом забое уголовник поднимал железный лом над головой профессора. Что главное?

Растерянность, полное непонимание того, что делается, — у большинства. Одиночки понимали, в чем тут дело, видели истинную роль мастеров сих дел. Но все во что-то верили, думали, что произошла огромная ошибка, совершена какая-то чудовищная провокация. Они еще пребывали в сем блаженном состоянии, но тюрьма понемногу открывала им глаза.

Кто остался со мной на всю жизнь в памяти? Прежде всего и раньше всего — Александр Георгиевич Андреев.

Андрееву было шестьдесят четыре года, когда он — в сотый или в тысячный раз в своей жизни — отворил дверь тюремной камеры. В прошлом — эсер-террорист, крымский эсер, принимавший участие в Севастопольском порту в деле, на котором «его величества рукой начертано» — «Скверное дело», знавший Савинкова, Гершуни.

— Я не пошел в пропаганду. Слишком неопределенен, не виден результат. Другое дело террор — раз, и квас.

Андреев рассказывал о первой своей гимназической бомбе, брошенной просто для устрашения на каком-то балу. Рассказывал об обучении террористов. Как никогда не ставят тех же людей, если покушение почему-либо не состоялось. Практика показала, что нервы не могут собраться дважды.

Андреев бежал из ссылки, из тюрьмы, бывал за границей, а в 1910 году был осужден навечно — но 12 марта 1917 года был освобожден. Этот день Александр Георгиевич считал лучшим, величайшим днем своей жизни.

Андреев был правым эсером. После Октябрьской революции был дважды в ссылке в Нарыме, возвратился и был избран генеральным секретарем Общества политкаторжан. На этой должности он и встретил нынешний арест. Встретил спокойно.

— Я говорю следователю: если вы считаете, что я эсер, то должны знать, что я никого назвать не могу. А если вы считаете, что я не эсер, то должны мне верить, что я ни в каких организациях не состою.

Будущее Андреева заботило мало. Ссылку дадут лет пять. Куда-нибудь к Нарыму. И верно — эсеров всех собирали на Дудинке.

Для меня история партии эсеров всегда была полна особого интереса. В этой партии были, бесспорно, собраны — десятилетиями собирались — лучшие люди России по своим человеческим качествам: самые смелые, самые самоотверженные — лучший человеческий материал. Но история пошла по другому пути, и все жертвы — многочисленные, тяжелые, кровавые жертвы наследников «Народной воли» оказались напрасными. Вот рухнул царизм, который эсеры подтачивали, с которым боролись героически, а места в жизни эсерам не нашлось. Эта глубочайшая трагедия нашего русского времени заслуживает уважения, внимания.

Был в камере и другой старый эсер — Жаров или Жиров, сидевший молчаливо. Только один раз он выступил вперед. За что-то камера была лишена «лавочки» — это ударило прежде всего курильщиков. Жаров, у которого скопились «краснокрестные» папиросы, молча вынес их на обеденный стол. Положил и отошел.

Андреев видел многое ясно, четко. Ошибался он в одном. Ему хотелось видеть за массовыми арестами, за террором, за репрессиями живую Россию, встающие на борьбу молодые силы, и он не верил, что враги — выдуманные, что гекатомбы невинных трупов — лишь мостик, залитый кровью, по которому начал свой путь к власти Сталин. Андреев верил в Россию и ошибался. Репрессии, самые тяжелые, были направлены против невинных людей — и в этом была сила Сталина. Любая политическая организация, если бы она существовала и обладала тысячной ча-

стью того, что ей приписано, смела бы власть в две недели. Сталин знал это лучше кого-нибудь другого.

А разочарование, обида, ужас были велики. По комнате ходил, переваливаясь, медведеобразный огромный человек со следами оспы на темном лице, с густой шапкой русых волос, в черном полувоенном костюме без пояса. Пальцы его были сцеплены, руки закинута за голову. Он ходил от параша до решетчатого окна. Вытянув руки, Алексеев вцепился пальцами в оконную решетку и прижался к решетке лицом. Это был Гавриил Алексеев.

— Смотрите,— сказал Андреев,— первый чекист!

Да, Алексеев был чекистом когда-то. Да, формула Андреева была лаконична и верна. Гавриил Алексеев, вцепившийся руками в тюремную решетку, был символом времени. (Потом были символы и пострашнее — вроде кедровского письма, судьбы Постышева, но была ведь весна тридцать седьмого года.)

Алексеев был солдатом-артиллеристом, участником октябрьских боев в Москве, где командовал Николай Муралов, расстрелянный в тридцатых годах. После переворота Алексеев поработал в ЧК у Дзержинского, работа чекиста не пришлась ему по сердцу. Участились припадки эпилепсии — о прошлом стало рассказывать опасно: на занятиях политкружка Алексеева учили, что Муралова и на свете не существовало. Алексеев поступил начальником пожарной команды в Наро-Фоминск и там был внезапно арестован и привезен в Москву.

— О чем тебя спрашивают? О Муралове?

— Нет. О брате.

Оказалось, что брат Алексеева, по фамилии Егоров, был начальником школы ЦИКа — начальником охраны Кремля.

Я высказал предположение об аресте брата. Алексеев рассердился. Увы, следующий допрос показал, что я был прав.

— Мой же товарищ, сослуживец,— говорил экспансивный Арон Коган,— на очной ставке подтвердил все, что наврал. Подлец! Я думал, что убью его.

Такие случаи часты, увы.

— Вы встретитесь спокойно,— предположил я,— и ты будешь с ним разговаривать.

Так и случилось во время одного из допросов.

— Я ехал с ним вместе в «вороне». И сердца своего не поднял против него,— говорил грустно Арон.

Тюрьма — это великая проба. Много неожиданного открывает она в характере человека хорошего, а больше — плохого.

Если об Алексееве можно было сказать, что он был первым чекистом, то что сказать об Аркадии Дзидзиевском — герое гражданской войны на Украине. В процессах Вышинский упоминал эту фамилию. Дзидзиевский вошел в камеру, большерукий, широкоплечий, большоголовый, седой. Он пришел из одиночки — несколько месяцев он просидел там. В левой его руке было три разноцветных платочка. Он все время судорожным движением пальцев то разматывал, то встряхивал, то складывал эти платочки.

— Это — мои дети, — сказал, глядя мне прямо в лицо слезящимися светло-голубыми глазами со склеротическими прожилками. — Меня ведь не переведут отсюда, — толстой старческой рукой он ухватил мою руку. — Здесь хорошо, здесь — люди.

— Нет, не переведут. В Бутырках ведь не держат смертников. Вы...

— Я не боюсь смерти. Спроси любого — у нас знают Аркадия. Но все эти бумажные клязусы... Записи... Допросы... Что же это, а?

— Вы кто, дядя? Чем занимались? — подошел скучающий Леня Туманский, паренек лет шестнадцати.

— Чем я занимался? — спросил Дзидзиевский, и толстые пальцы его раскрылись, ловя воздух. — Буржуев бил.

— А сейчас, значит, самого...

— Да вот, как видишь.

— Ничего, дядя, — сказал Леня, — все будет хорошо. Все скоро кончится.

Лене тюрьма открыла свет. Шестнадцатилетний неграмотный крестьянин Тумского района Московской области был уличен в том же роде деятельности, что и чеховский «злоумышленник»: Леня отвинчивал гайки от рельсов на грузила к неводу и, как чеховский герой, отвинчивал «с умом» — по одной.

Сейчас ему грозила статья не простая — следователь хотел быть не хуже других в розысках врагов народа. Лене «клеили» вредительство, да еще старались нащупать связи с границей или с троцкистами.

Счастье Лени было в том, что он сидел в первой половине года. Во второй половине тридцать седьмого года из него попросту выбили бы все, что нужно, — и английский

шпионаж, и троцкистскую разведку. А может быть, и не выбрали бы.

Много шло споров в тюрьме. Арон Коган, помню, развивал такую теорию, что, дескать, рабочий класс в целом, как социальная группа, бесспорно тверже интеллигенции, качающейся, непоследовательной, излишне гибкой социальной прослойки. Но отдельный представитель этой прослойки, интеллигент-одиночка, способен благодаря силе своего духа, моральным качествам на больший героизм, чем отдельный представитель рабочего класса.

Я возражал и говорил, что, увы, по моим наблюдениям, в лагере интеллигенты не держатся твердо. 1938 год показал, что пара плюх или палка — наиболее сильный аргумент в спорах с сильными духом интеллигентами. Рабочий или крестьянин, уступая интеллигенту в тонкости чувств и стоя ближе в своем ежедневном быту к лагерной жизни, способен сопротивляться больше. Но тоже не бесконечно.

Еда в тюрьме была такая, что Лене и не снилось. Он послушал «лекции», научился читать и рисовать печатные буквы. Леня хотел, чтобы следствие длилось бесконечно, чтобы не надо было возвращаться в голодную тумскую деревню. Леня располнел нездоровой тюремной полнотой, кожа его побледнела, щеки обвисли, но он и слушать не хотел ничего о пищевом рационе.

Напротив меня лежал Мелик-Иолквян, легкий восточный человек неопределенных лет. Хорошо грамотный, вежливый, Мелик числился историком Бухары, а в действительности был «другом дома» кого-то из «больших людей». Кого именно — установить было нельзя. Важно то, что когда умер Орджоникидзе (никто в камере не высказал предположения о самоубийстве), то долго, около двух недель, не назначали преемника. В 68-й камере (споры) выглядели тотализатором. Называлось несколько фамилий. А Мелик сказал неожиданно:

— Вы все не правы. Назначен будет Межлаук Валериан Иванович. Поработает недолго и будет снят. И Сталин скажет Молотову — это твой кандидат, последний раз тебя слушаю.

Пришел человек со свежими новостями: назначен Межлаук.

Паровозному машинисту Васе Жаворонкову был задан преподавателем на занятиях политкружка вопрос:

— Что бы вы сделали, товарищ Жаворонков, если бы советской власти не было?

— Работал бы на своем паровозе,— ответил Жаворонков простодушно.

Все это стало материалом обвинения.

Был Синяков, работник отдела кадров Московского комитета партии. В очередной день подачи заявлений он написал бумагу и показал мне. Заявление начиналось словами: «Льщу себя надеждой, что у советской власти есть еще законы».

Рядом с Синяковым лежал Валька Фальковский, молодой московский студент, которого обвиняли в контрреволюционной агитации (ст. 58, пункт 10) и в контрреволюционной организации (ст. 58, пункт 11). Материалом агитации были его письма к невесте, а поскольку она отвечала — оба были привлечены как «группа» с применением пункта 11.

Рядом с Фальковским лежал Моисей Выгон, студент Института связи в Москве. Московский комсомолец, Выгон в одной из экскурсий на Москанал обратил внимание товарищей на изможденный вид заключенных, возводивших это знаменитое сооружение социализма. Вскоре после экскурсии он был арестован. На допросы его долго не вызывали. По-видимому, следователь Выгона принадлежал к той школе, которая предпочитает длительное утомление энергичному напору.

Выгон пригляделся к окружающим, расспросил об их делах — и написал письмо Сталину. Письмо о том, что он, комсомолец Выгон, считает себя обязанным сообщить вождю партии, что творится в следственных камерах НКВД. Что тут действует чья-то злая воля, совершается тяжкая ошибка. Выгон привел фамилии, примеры. О своем деле он не писал. Через месяц Выгона вызвали в коридор и дали расписаться, что его заявление будет рассмотрено верховным прокурором Вышинским. Еще через месяц Выгон прочел сообщение Вышинского, что заявление Выгона будет рассматривать Филиппов, тогдашний прокурор города Москвы. А еще через месяц Выгон получил выписку из протокола заседания Особого совещания с «приговором» — три года лагерей за антисоветскую агитацию. Выгон был со мной на Колыме на прииске «Партизан». Чуть не единственный из «трехлетников», он кончил срок в 1940 году и был освобожден и остался работать на Колыме — был начальником

смены, прибора, участка... Мы не виделись больше с ним.

Андреев ушел раньше меня из 67-й камеры. Мы простились навсегда. И, обнимая меня, Александр Георгиевич, улыбаясь, выговорил:

— Скажу вам вот что: вы МОЖЕТЕ сидеть в тюрьме.

Это была лучшая похвала в моей жизни, особенно если помнить, что эти слова сказаны генеральным секретарем Общества политкаторжан. Я гордился этой похвалой, горжусь и сейчас.

Как всегда бывает, тюремная камера была сначала однолика, безлика, но вскоре, и чуть ли не на другой день, люди стали приобретать живые черты, стали входить в мою жизнь, в мою память один за другим. Одни вошли раньше, другие — позже. Одни вошли глубоко, навсегда, другие — промелькнули незаметно. Жизни наши сошлись на час, на день. И разошлись навсегда.

Одним из первых «оживших» для меня в камере людей был врач Валерий Андреевич Миролюбов. Было ему далеко за пятьдесят — лысеющий голубоглазый красавец, начитанный преимущественно в классической литературе, певец и скрипач, любитель, знаток музыки. Валерий Андреевич — коренной москвич, кончил медицинский факультет Московского университета еще до революции. Гражданская война свела его на фронте с Витовтом Путной, свела на всю жизнь. После гражданской Миролюбов остался домашним врачом Путны и в этой должности дождался ареста. Путна был расстрелян вместе с Тухачевским, а в марте тридцать седьмого года он был еще жив, еще в Англии, где был военным атташе. А его домашний врач уже сидел в тюрьме, да еще на Таганке, в уголовной камере, выслушивая дикие обвинения в краже какого-то бриллианта. Внезапно все расспросы о бриллианте кончились, Миролюбова неожиданно перевели в Бутырки, Путна был уже вызван из Англии и арестован на аэродроме. Пошли на допросах речи совсем другого рода, и Валерий Андреевич почувствовал, что седеет, — на одном из допросов ему показали «признание» Путны, которое кончалось словами «все это может подтвердить мой домашний врач доктор Миролюбов».

Валерий Андреевич умер на Колыме и не узнал никогда подробностей «дела Тухачевского».

После 68-й камеры мы встретились на пароходе, в верхнем трюме «Кулу» (пятый рейс).

— Сколько?

Валерий Андреевич растопырил пальцы одной руки. Я горячо и искренне пожал ему руку и поздравил со столь малым сроком.

Миролюбов обиделся:

— Как вам не стыдно.

— Ведь если, Валерий Андреевич, вспомнить судьбу Путны, его показания...

— Я не хочу об этом слышать.

Больше мы не виделись. Валерий Андреевич был добрым русским интеллигентом, большим кавалером и ухажером, большим лентяем, не без светских навыков. В молодости, в студенческие годы, он прославился на всю Россию и умел это вставить чуть ли не в любой свой рассказ.

У всех людей есть какое-то самое значительное событие в жизни, знаменательный день. Многих я об этом спрашивал. Для Александра Георгиевича Андреева таким событием было свержение самодержавия—12 марта 1917 года, для Зубарева, соседа моего по одной из больниц,—покупка двадцати банок овощных консервов, когда все банки оказались со свиной тушенкой,—более потрясающего события в его жизни не было.

А Валерий Андреевич Миролюбов двадцатилетним студентом нашел бриллиантовое ожерелье княгини Гагариной. В газетах была объявлена награда—пять тысяч рублей. Дело было в 1912 году. Студент Миролюбов нашел ожерелье в канаве и принес в княжеский особняк. Князь вышел, поблагодарил и сказал, что сейчас он распорядится насчет выдачи объявленного вознаграждения. Но Миролюбов сказал, что он не хочет никаких пяти тысяч. Он—студент, нашел и принес—и все. Князь Гагарин пригласил его к обеду, познакомил со своей женой, и до самой революции Валерий Андреевич был желанным гостем в княжеской семье.

Арона Когана я немного знал по университету 1927 года, когда он оканчивал физмат. В 1937 году он был преподавателем математики в Военно-воздушной академии. Блестящий оратор, эрудит, человек острого и подвижного ума, Арон обладал и духом столь же неустрашимым. Это о себе думал он, когда мы спорили о достоинствах интеллигента. Я и его спрашивал о самом значительном дне жизни. «Такой день у меня, конечно, есть. Только тогда я был мальчик, и мы жили на Украине. Был погром, и все

были убиты — мать, отец. Я лежал на полу и кричал. Вдруг все замолчали. В дом вошел генерал. И меня не успели убить. Генерал, уходя, ударил меня ногой в живот, но я опять остался жив. Это был генерал Май-Маевский».

Почему в тюрьме говорят, что Тухачевский расстрелян, в то время как он еще выступает с речью на очередной сессии Верховного Совета? В тюремных «парашах» есть нечто мистическое.

Дело Тухачевского — не единственный случай. Из Донбасса привозят инженера, который говорит: «Саркис (первый секретарь обкома Донбасса) арестован». А вечером в «сеансе новостей» нам передают сведения о вчерашней речи Саркиса в Москве.

В чем тут дело? Что за мистическая таинственность у тюремных «параши»? Презрительное, ругательное название «параша» — сравнение тюремных слухов со звоном известного сосуда — легкомысленно. Тюремные «параши» все сбываются и очень серьезны. Никаких случайных слухов не бывает.

«Волшебство» имеет, конечно, свое объяснение. Дело в том, что всегда, раньше ареста главного лица, арестовывают и допрашивают его окружение, его помощников, лиц, связанных с ним службою, личным знакомством. И допрашивают в весьма категорическом тоне — о предполагаемом «главе группы», герое процесса.

Из допросов, из материала, содержания любой здравомыслящий человек делает вывод (если даже следовательно сам не скажет «полезную» следствию ложь, не поступит провокационно вполне сознательно), что тот, о котором спрашивают, арестован. И рождается «параша» о смерти раньше самой смерти. А после приходит и смерть.

В «собачниках» Бутырской тюрьмы стены покрыты зелеными стеклянными плитками, не оставляющими следов карандаша, гвоздя. В тюремной уборной и умывальной стены из желтых плиток — на них тоже нельзя писать. Нельзя писать и в бане — бутырская баня, где каждый стирает свое белье, — превосходная баня. И стены и скамейки покрыты метлахскими плитками. Но дверь, деревянная дверь, обита железом, и это единственный почтовый ящик на всю тюрьму. Надписи коротки: АБЗ-5. Это не название лампы для телевизора. Это — судьба человека. Александр Борисович Зарудный — 5 лет. Тюремная дверь дает ответ

на важный, очень важный вопрос. Баня ведь обслуживает и этапный корпус — пересылку, бывшую тюремную церковь, где собираются все получившие приговоры, все осужденные, не успевшие еще уехать.

В тюрьме не объявляют голодовок. Дело в том, что всякая голодовка сильна связью с волей, сильна тогда, когда все, что делается в тюрьме, известно на воле. А сейчас можно запросто умереть, и тебя сактируют. «Активировать» — это второе после пайки слово, которое должен хорошо запомнить всякий следственный (а значит, и срочный — ведь НКВД не ошибается!) арестант.

Искусственные научные дискуссии, придуманные преступления и вовсе не искусственная кровавая расплата — понимание этого дано нам тюрьмой.

Дверь в бане твердила: освобожденных нет, осуждаются все, и, значит, каждого ждет дальняя дорога. Хорошо бы подальше, на золотые прииски Колымы например. Там, говорят, текут молочные реки. А самое главное — скорее бы кончалось следствие, скорее определялась судьба. Проклятая тюрьма, без воздуха, без света. Скорее в лагерь, на волю, на чистый воздух. Скорее бы начинался и шел срок. Да еще в дальних лагерях, мы слышали, есть зачеты рабочих дней. Скорее отработать, отбыть... Хуже тюрьмы ничего нет.

Я ничего не мог сделать с этим настроением, как ни пытался доказать, что лагерь в тысячу раз хуже тюрьмы. Что Фигнер просидела в Шлиссельбургской крепости двадцать лет, а Николай Морозов — двадцать три и вышли здоровыми людьми. Что колымские болота и физический труд в лагере убьют скорее тюремных стен. Что я знал? Я же мог еще тогда объяснить, что в лагере «убивает большая пайка, а не маленькая», то есть в первую очередь умирают забойщики, выполняющие высокие проценты. Что работа на холоде в 60°, что голод, побои, многочасовой рабочий день... Некому было все это рассказать.

Весной в камеру вошел Вебер — бывший чешский коммунист, силезский немец, привезенный с Колымы на допрос дополнительный какой-то. Он ни с кем не разговаривал и не отвечал ни на какие вопросы. Молчал, и все... Говорил, что не знает языка. Так и промолчал не один месяц.

Я встретился с ним в вагоне-теплушке. Мы уезжали с Краснопресненской пересылки, из новой тюрьмы, кото-

рую построил Сталин, в августе 1937 года. Ночи были полетному теплыми, и в первую ночь все заснули веселые, возбужденные началом большого пути, воздухом, запахом города, ночной тишиной. В теплушке не спали два человека — Вебер и я.

— Спят,— сказал Вебер на чистейшем русском языке.— Сначала смеялись, теперь спят. Весело им. Не понимают: их везут на физическое уничтожение.

Разумеется, не только дверь в бане была нашим отделением связи. Можно было выбрать время и стучать в чугунную трубу— по коду Морзе или по бестужевской азбуке.

Именно в тюрьме ощутил я неожиданно, что душевное сопротивление дается мне легче, чем многим другим, что в этой страшной жизни— круглыми сутками на глазах у других— обнаруживаются какие-то незаметные ранее способности. Хотя тюрьма была вовсе не главной пробой, самое страшное было впереди— следственное время вошло в мою жизнь как хорошие дни и месяцы жизни.

Человек живет тогда, когда может помогать другим,— это, по существу, та же старая формула самоотдачи в искусстве.

Обыск на тюремном языке назывался «сухая баня». Это определение, меткое и острое, родилось после изменения тюремных порядков в обыскных делах. Всякий знает, что, несмотря на тщательные наблюдения, у арестантов как бы чудом появляются ножи, гвозди, химические карандаши, бритвы. Это чудо— результат напряженной изобретательности сотен людей, помогающих друг другу.

Кто знает, каких усилий стоит незаметно отломать и, главное, скрыть ручку от жестяной кружки, которую умелыми руками можно превратить в нож? Кто знает, сколько нужно терпения, чтобы сохранить и использовать крошечный химический грифель?

У Стендаля в «Пармской обители» сказано, что заключенный больше думает о своей решетке, чем тюремщик о своих ключах. В этом все дело.

Много лет (может быть, сотен лет) арестанты, выходя из камеры на обыск, старались спрятать наиболее ценное— вроде половины лезвия безопасной бритвы— в камере, откуда их выводили на обыск, и, возвратившись, откапывали свои сокровища. Тюремная наука развивается

как всякая наука. Нашлись передовые тюремщики, тюремщики-новаторы, которые применили простой и эффективный способ борьбы с этими подземными арестантскими кладами — просто, выводя всех жителей камеры на обыск, обратно их никогда не возвращали. Все, что было скрыто, было безнадежно потеряно и могло обнаружиться лишь случайно. Поэтому люди из камеры 68, где я сидел после очередного обыска, вошли в камеру 69, и так далее.

Новое содержание обыска сделало ненужным внезапность, которая раньше считалась одним из условий удачи.

Напротив, тюрьма даже кокетничала, установив расписание обысков — раз в месяц в заранее назначенный день и час. Готовьтесь, арестанты, как умеете, а потом вас выведут в другой коридор и по одному пропустят через двух надзирателей, которые будут ломать спичечные коробки, срывать каблуки, крошить булки, отпарывать подкладку. Обыск занимает целый день для всей камеры — минут по тридцать — сорок на человека. Каждого раздевают догола, заглядывают в рот и в задний проход, заставляют снять протезы.

Все, как в бане, только без воды — «сухая баня».

На Лубянке, 14, и на Лубянке, 2, надзиратели ходили по коридору в валенках. Громко разговаривать там было запрещено. «Ведущий» надзиратель щелкал пальцами, как кастаньетами, и на этот звук другой коридорный отвечал негромкими хлопками в ладоши, что означало: «дорога свободна, веди». В Бутырках водили гораздо веселее, чуть не бегом, встречались и надзиратели-женщины, в форме, конечно. В отличие от Лубянки здесь сигнал подавали, ударяя ключом о медную пряжку собственного пояса. Так же отвечал и коридорный.

На Лубянке вызов из камеры всегда был обставлен весьма драматически. Открывалась дверь, и на пороге не сразу появлялся человек в форме. Человек доставал из рукава бумажку, вглядывался в нее и спрашивал:

— Кто здесь на букву «Б» (или на букву «А»)? — Выслушав ответ, говорил: — Выходи!

В Бутырках эта процедура была гораздо проще. Коридорный просто кричал в камеру:

— Иванов! Инициал как? Выходи!

Вызовы были трех «видов»: прочесть и расписаться в извещении — чаще всего в приговоре. Это делалось у ближайшего окна в коридоре.

Или «с инициалом», но без вещей — чаще всего на допрос или на осмотр к врачу.

И, наконец, с вещами: или перевод, или отъезд. Теоретически могло быть и освобождение, но ведь НКВД не ошибается.

Первое впечатление не обмануло меня: тюрьма была набита битком, на 25 местах нашей камеры размещалось семьдесят — восемьдесят, редко шестьдесят человек — это все люди, попавшие любым путем в знаменитые картотеки НКВД. Это были «меченые», которых ныне ссылали без суда и следствия. Ибо следствия никакого не было, а были беседы, на которых обвинение удовлетворялось самыми поверхностными зацепками, намеками, путая знакомство по службе с «преступными связями». Результат записывался при помощи равнодушного следователя и подписывался. Никто не мог и предполагать, что за беглое знакомство с бывшим троцкистом — да и троцкистом ли? — можно выслать из Москвы, вообще как-то наказать. Оказалось, что наказывать намерены жестоко. В приговоре черным по белому — «с отбыванием срока на Колыме», в «спецуказаниях», вложенных в каждое личное дело: «тяжелые физические работы».

Но все были почему-то веселы, оживленны. Никто не выглядел недовольным. Отчасти это было следствием того нервного возбуждения, которое знакомо каждому побывавшему в тюрьме. Другая причина — невероятность осуждения невинного, невероятность, с которой нельзя примириться, в которую нельзя поверить, и третья — безвыходность. Все равно ничего изменить нельзя. Четвертая причина: «на миру и смерть красна». Видя, что собственное «преступление» столь нелепо выдуманно, каждый с доверием относился к судьбе товарища и рад и горд был ее разделить. Когда через двадцать лет я прочел стихи Ручьева и послушал речи Серебряковой о том, что их окружали в тюрьме только враги народа, а они, верные сыны партии, Ручьев и Серебрякова, вытерпели все, веря в правду партии, — у меня опустились руки. Хуже, подлее такого растреления не бывает. Вот здесь разница между порядочным человеком и подлецом. Когда подлеца сажают в тюрьму, невольно он думает, что только его посадили по ошибке, а всех остальных — за дело. А когда в тюрьму попадает порядочный человек — он, зная, что сам арестован невинно, верит, что и соседи его могут быть в том же положении.

Может быть, и пятая причина действовала. Дело в том, отнюдь не похвальном свойстве русского характера. Русский человек всему радуется: дали десять лет «зря» — рад, хорошо, что не двадцать. Двадцать дали — снова рад, могли ведь и расстрелять. Дали пять лет — «детский срок», хорошо, что не десять. А два года получил — и вовсе счастлив.

Эта пятая причина — своеобразное понимание «наименьшего зла» — приводила вполне интеллигентных людей к суждению о начальниках: конечно, Иванов лучше — бьет не так больно. А Анисимов, бывший начальник прииска «Партизан» на Колыме, бьет — ха-ха-ха! — всегда рукавицами, а не кулаком, не палкой.

Шестая причина — скорее бы кончалась неопределенность, свойственная следствию. Пусть будет хуже, да поскорее к ясному концу. Казалось, что достаточно выйти из тюремных ворот — и все исчезнет, как дурной сон: и конвой, и камера, и следователь. Эта шестая причина сделалась убедительной и уважительной чуть позже — тогда, когда были введены пытки.

Подписал под пытками! — ничего. Важно остаться в живых. Важно пережить Сталина. В этом была логика, и сотни тысяч «подписавших», обреченных на бесчисленные страдания, душевные и физические, умирали от холода, голода и побоев, в этой единственной надежде находили силу ждать и терпеть. И они — дотерпели до конца.

Пришло время и мне получить приговор (через пять с половиной месяцев следствия), и я был переведен в этапный корпус, в бывшую тюремную церковь. Здесь была удушающая жара, все ходили и лежали голыми, и под нарами были самые лучшие места.

Здесь я встретился с Сережей Кливанским. Сережа был любителем пошутить:

— Говорят, что перед тем, как нас вымораживать на Колыме, решили выпаривать.

С Сережей я учился десять лет назад в Московском университете. На комсомольском собрании Сережа выступил по китайскому вопросу. Этого оказалось достаточно, чтоб он был исключен из комсомола, а после окончания юридического факультета не нашел работы. С трудом Сережа устроился экономистом в Госплан, но после смерти Кирова Сережу стали выживать и из Госплана.

Кливанский был скрипач-любитель. Он поработал с

преподавателем и поступил по конкурсу второй скрипкой в оперный театр Станиславского и Немировича. Но на скрипке ему дали играть лишь до 1937 года. Сережа работал со мной на прииске «Партизан», а в 1938 году весной был увезен на «Серпантинку» — нечто вроде колымского Освенцима.

В Бутырках встретился я с Германом Хохловым, литературным обозревателем «Известий» того времени. Мы читали друг другу кое-какие стихи — «Роландов Рог» Цветаевой и Ходасевича «Играю в карты, пью вино» и «К Машеньке» я запомнил с тех именно времен.

Отец Хохлова был эмигрантом, умер во Франции. Сам Хохлов, обладатель нансеновского паспорта, получил высшее образование в русском институте в Праге на стипендию чехословацкого правительства, которая давалась всем желающим учиться русским эмигрантам. Такая щедрость, по словам Хохлова, была вызвана тем, что чехи во время гражданской войны увезли два поезда с царским золотом, и только третий поезд был доведен благополучно до Москвы Михайловым, комиссаром «золотого поезда». Эту историю я слышал и раньше. Хохлов говорил вполне уверенно.

Через советское посольство Хохлов вернулся на родину, получил советский паспорт и работу в «Известиях». Статьи его о стихах мне приходилось читать.

В конце тридцать шестого года Хохлов и все другие бывшие эмигранты — экономиста казака Улитина я тоже знал по тюрьме, по 68-й камере — были арестованы и обвинены в шпионаже.

— Мы думали, что нас арестуют, что придется пробыть какое-то время в ссылке, но концентрационный лагерь! Этого мы не ждали. — Хохлов протирал очки, надевал их, снова снимал. — Черт с ним со всем! Давайте читать стихи!

Здесь был Полтораки — чемпион Европы по плаванию (он умер на «Партизане» в 1938 году), юноша Борисов — тоже известный пловец того времени.

В «этапке» сидели мы, помню, недолго. Начали «выкликать» и на автобусах перевозить на «Красную Пресню», на окружную дорогу, и грузить прямо в товарный поезд, где в вагонах-теплушках были нары, на оконцах решетки, и — по 36 человек в вагоне — мы двинулись в полуторамесячное путешествие к Владивостоку. Колыма приближалась.

В Бутырской тюрьме начались мои проверки — «поверки» на целых пятнадцать лет.

Все выстраивались вдоль нар, входили два «корпусных» — сдающий и принимающий суточное дежурство — коменданта, староста сообщал количество людей, сообщал жалобы, комендант считал ряды, упираясь ключом в грудь каждого стоящего поочередно. Жестяные кружки колонкой были выстроены на столе, комендант считал и их, осматривая, не отломана ли ручка, не высажено ли дно, чтобы превратиться в орудие убийства или самоубийства.

Пересчитав кружки, комендант подходил к решетке и сверху вниз проводил по решетке ключом — получался звук вполне музыкальный — годился бы для «конкретной музыки», если бы она тогда была нам известна.

На этом ежесуточная проверка кончалась. Какие жалобы? голодовка? перевод? новости?

Иногда коменданты вступали в легкомысленные беседы. Один из четырех дежурных «корпусных», по прозвищу Американец, на чей-то вопрос, как следственным быть с выборами по новой конституции, весьма убедительно ответил:

— Никак. Ваша конституция — это Уголовный кодекс.

Это было сказано вовсе не зло и не из желания состричь. Просто «корпусный» нашел наиболее лаконичную формулу ответа.

Бутырки поражали меня не только удивительной чистотой — пахнувшая лизолом тюрьма прямо блестела, не только отсутствием вшей — всякий, кто перешел порог тюрьмы, хотя бы по ошибке или на четверть часа, обязан был пройти душ и дезкамеру с «прожаркой всех вещей».

В этой огромной, на двенадцать тысяч мест, тюрьме шло непрерывное движение заключенных круглые сутки: рейсовые автобусы на Лубянку, автобусы в транспортные отделения при вокзалах, автобусы в пересыльную тюрьму, отправка на вокзалы, в допросный корпус и обратно, переводы по указанию следователя в карцер для усиления режима, переводы по нарушениям внутритюремным — за шум в камере, за оскорбление надзирателей — в 4 башни: Полицейскую, Пугачевскую, Северную и Южную. Эти башни были как бы штрафными камерами, кроме карцерного корпуса, где в карцере можно было только стоять.

Удивительно было и то, что в этом бесконечном движении — из камеры в камеру, из камер на прогулки, в тюремные автобусы — никогда не было случая, чтобы однопольцев посадили вместе, — так четко работала Бутырская тюрьма.

Шел июль тридцать седьмого года. Судьба наша уже решилась где-то сверху, и, как в романах Кафки, никто об этом не знал. Но во время ежемесячных обходов начальник тюрьмы Попов, рыжеусый Попов, вдруг заговорил о нашем будущем:

— Вы еще вспомните нашу тюрьму. Вы увидите настоящее горе и поймете, что здесь вам было хорошо.

Он был прав, рыжеусый начальник Бутырской тюрьмы.

Зачем обходил он камеры с таким предупреждением? Кто он был такой? Почетный значок чекиста висел у него в петлице. Говорили, что его расстреляли в 1938 году, но кто это знает?

Тюрьма проще жизни. Ритм, режим, решетка: мы и они. На это всех и ловили: «Помогите государству, напишите лживое заявление — оно нужно государству». И бедный подследственный (его еще не пытали) не мог никак уразуметь, что ложь не может быть полезна государству.

Поезд шел на восток. На Дальний Восток. Сорок пять дней двигался наш эшелон. В дороге были две или три бани. Армейский санпропускник в Омске запомнился лучше всего. Но не потому, что там было «от пуза» воды и мыла, не потому, что там стояла мощная дезкамера. В Омске с нами впервые побеседовал «представитель НКВД», некий старший лейтенант в коверкотовой гимнастерке.

День был солнечный, светлый. Те, что вымылись, лежали на траве вдоль мощеной дороги, чистые, с бледной тюремной кожей оборванцы, измученные дорогой, усталостью. Вещи у всех обветшали в тюрьме — ведь лежанье на нарах изнашивает одежду скорее, чем носка. Да еще регулярные раз в десять дней «прожарки», разрушающие ткань. В тюрьме все что-то зашивают, ставят заплатки...

Перед сотнями нищих людей, окруженных конвоем, появился выбритый, жирный старший лейтенант. Отмахиваясь надушенным платочком от запаха пота и тела, «представитель» отвечал на вопросы.

— Куда мы едем?

— Этого я вам сказать не могу,—сказал представитель.

— Тогда нам нечего с вами и говорить.

— Сказать не могу, но догадываюсь,—забасил представитель.—Если бы была моя воля, я завез бы вас на остров Врангеля и отрезал потом сообщение с Большой землей. Вам нет назад дороги.

С этим напутствием мы прибыли во Владивосток.

ЭССЕ



ЗАМЕТКИ О СТИХАХ

ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ ПОЭТОВ

1. $1 \times 1 = 1$.

Напрасно говорят, что в искусстве нет законов. Эти законы есть. Постигание тайн искусства — важная задача поэта. Эти тайны искусства имеют мало общего с поисками размера, овладением рифмой и т. д. Размеры и рифмы — это тайны сапожной мастерской, а не тайны искусства.

2. Научиться писать стихи — нельзя.

Поэтому и не бывает никаких «первых» стихов. Учиться нужно не писать стихи, а воспитывать в себе любовь к стихам, требовательный и строгий вкус, понимание авторского чувства.

3. Поэзия — это неожиданность.

Неожиданность, новизна: чувства, наблюдения, мысли, детали, ритма...

4. Поэзия — это жертва, а не завоевание.

Обнажение души, искренность, «самоотдача» — непереносимые условия поэтической работы.

5. Поэзия — это судьба, а не ремесло.

Пока кровь не выступает на строчках — поэта нет, есть только версификатор. В лицейском Пушкине еще нет поэта, и напрасно школьников заставляют учить «Воспоминания в Царском Селе».

6. Начала и цели поэзии.

Начала большой поэзии — самые разные. Цель же — одинакова с религией, с наукой, с политическим учением — сделать человека лучше, добиться, чтобы нравственный климат мира стал чуть-чуть лучше... Истинное

произведение искусства, способное улучшить человеческую породу, незримым и сложным способом может быть создано чаще всего не на путях дидактических.

7. Поэзия — это опыт.

Огромный личный опыт, подобный завещанному Рильке, хотя стихи самого Рильке и не результат такого опыта.

8. Поэзия — неизвестность, тайна.

В стихах поэту не должно быть все заранее известно до того, как стихотворение начато. Иначе незачем писать стихи.

9. Стихи — это всеобщий язык.

На этот язык может быть переведено любое явление жизни — общественной, личной, физической природы. Это всеобщий знаменатель, то число, на которое делится весь мир без остатка.

10. Поэт — это инструмент.

Инструмент, с помощью которого высказывается природа. Переводчик с языка природы на человеческий язык. Суждения природы не всегда просто перевести на обычный человеческий язык.

11. Чувства гораздо богаче мыслей.

Поэзия своими средствами: подтекстом, аллегорией, интонацией, звуковой организацией, переплетенной со смысловым содержанием, сопоставлением дальнего и близкого, то недомолвками, то многозначительностью — стремится донести до нас именно то, что не может быть ясно выражено словами, но тем не менее существует вопреки Декарту. Стихи работают в этой «пограничной» области.

12. Ритм — важное начало поэзии, как и любого из искусств — музыки, скульптуры, живописи. Необходимое, но не единственное начало. Расстояние от народной песни до монологов Фауста видно невооруженным глазом.

13. Стихи — это не поиски.

Поэт ничего не ищет. Творческий процесс — это не поиски, а отбрасывание того безмерного количества явлений, картин, мыслей, чувств, идей, являющихся мгновенно в мозгу поэта на зов рифмы, звукового повтора в строке.

14. Ясность и точность в поэзии не одно и то же.

Поэзии нужна точность, а не ясность. Поэзия имеет дело с подтекстом, с аллегориями, с намеками, с интонационным строем фразы. Сложность чувства не всегда можно выразить ясно. Язык слишком беден для этого. Кро-

ме того, язык природы не всегда можно ясно перевести на человеческий язык.

15. Минор в стихах действует сильнее мажора.

«Евгения Онегина» мы запоминаем не потому, что это «энциклопедия русской жизни», а потому, что там любовь и смерть.

16. Стихи не рождаются от стихов.

Не существует поэтов для поэтов. Поэт для поэтов только один — жизнь. Стихи рождаются от жизни, а не от других стихов.

17. Большие поэты никаких путей не открывают.

Напротив, по тем дорогам, даже по тем тропам, по которым прошли большие поэты, — ходить нельзя. Пути подражания для поэта закрыты.

18. Не суйтесь в науку.

Искусству там делать нечего. Ничего, кроме конфуза, там поэта не ждет, как во времена Ньютона, так и во времена Эйнштейна. В искусстве нет прогресса, и всевозможные симпозиумы по вопросам науки просто ни к чему.

19. За деревьями в поэзии нужно видеть не лес, а подробности, не увиденные раньше. И не ботанически видеть, а поэтически. Изучая ботанику, воспитывать деталь-символ, деталь-аллегория, следить, чтобы знание ботаники не заглушило, не ослабило поэтического начала.

20. Пейзажная лирика —

попытка дать дереву и камню заговорить о себе и о человеке. И вместе с тем — пока пейзаж не говорит по-человечески, он не может называться пейзажем.

21. Космос поэзии — это ее точность.

Искания здесь и находки — бесконечны, как жизнь.

22. Стихи для слуха и для глаза.

В стихотворении услышанном — воспринимается тысячная часть достоинств стихотворения. Недостаток чувства, мыслей скрывается за звуковой погремушкой.

23. Форма и окраска слова.

Форма и величина слова зависят от гласных букв, а окраска — от согласных.

24. Поэзия — неперевоидима.

Глубоко национальна. Совершенствование поэзии, развитие бесконечных возможностей стиха лежит в границах родного языка, быта, предания, литературных вкусов.

25. «Все или ничего».

В стихах есть закон «все или ничего». Более квалифицированных и менее квалифицированных стихов попросту не существует. Есть «стихи» и «не стихи».

26. Научиться стихами проверять собственную свою душу, ее неосвященные углы.

Стихотворение не будет писаться, если оно — не искренне. Иногда поэт вследствие своей импульсивности может привести себя в состояние иллюзии, заставить себя поверить... Но это редкий случай. В большинстве случаев в стихах гадают, как на картах. И угадывают.

27. Рифма — поисковый инструмент, а не орудие благозвучия (Бальмонт), не мнемоническое средство (Маяковский). Роль рифмы гораздо значительней.

28. Рифма пришла к нам позже ассонанса.

Нет нужды возвращаться к мамонту — ассонансу. Ее роль в русском стихосложении еще не только не сыграна, а только-только начата.

29. Свободный стих — это стих второго сорта. Это — подстрочник еще не написанного стихотворения.

Значение рифмы в русской поэзии огромно. Возможности русских размеров — безграничны. Свободный стих диктуется желанием сблизить языки в нашу эпоху, где уничтожены расстояния, сблизить словесное искусство разных стран, наиболее национально обособленное по сравнению с музыкой, архитектурой, живописью. Желание хорошее. Но в жертву приносится слишком много. Истинная поэзия непереводаема, и не нужно бояться этого. Арагон предлагал переводить стихи на чужой язык прозой. В этом есть логика и резон. Но и этого не надо, ибо есть поэты-переводчики, которые на материале стихов оригинала пишут собственные хорошие стихи. Свободный стих продиктован желанием сделать язык поэзии переводимым, обеднив его, приближая к прозе.

30. Все большие русские поэты писали классическими размерами, их авторский голос громок и чист.

Ямбы Пушкина
Лермонтова
Тютчева
Некрасова

Блока
Мандельштама
Цветаевой
Пастернака
Ходасевича

не спутать друг с другом.

31. Изучать технику стиха, понимая, что это — техника.

Знание контрапункта не лишает композитора восприимчивости к музыке (Норберт Винер). К тому же часто самозабвенное увлечение работой над решением «тех-

нических» вопросов стихосложения вдруг открывает какую-либо подлинную тайну искусства.

32. Скупее!

Чем больше емкость стихотворной строки, тем лучше.

33. Короче!

Русское лирическое стихотворение не должно быть больше трех-четырех строф. Лучшие стихотворения русской поэзии — в двенадцать — шестнадцать строк (даже восемь — Тютчев, Пастернак).

34. Поэтическая интонация — это лицо поэта, его голос, его литературный паспорт, право на занятие поэзией. Поэтическая интонация — понятие очень важное и более широкое, чем объяснено в литературоведческом словаре. Разработка понятия поэтической интонации — важная задача нашей поэтики. Откровенное заимствование и заимствование замаскированное, с которым не может справиться автор, — все это, как и чужое влияние, — должно быть осуждено наравне с плагиатом.

35. О таланте.

«Талант — это такая штука, что если он есть, то есть, а если его нет — то нет» (Шолом-Алейхем). Точнее определения нет. А труд — это потребность таланта. Всякий талант не только качество, а и количество. Моцарт — образец и пример — постоянно и много работающего художника.

36. Традиции и новаторство.

Только тот, кто хорошо знает предмет своей работы, может прибавить что-то новое. Здесь решение вопроса о традициях и новаторстве.

37. Знать поэтическое наследие XX века, не ограничиваясь XIX-м.

Знать Анненского
Белого
Ходасевича
Цветаеву

Пастернака
Мандельштама
Волошина
Кузмина
Ахматову.

Понимать их место в развитии русской поэзии, знать их находки и их открытия. Без этих поэтов нет русской лирики.

38. Проверь себя чужими стихами.

Если твое настроение, твое чувство может быть выражено чужими строчками — не пиши стихи.

39. Стихи на «свободном ходу» — обязательное упражнение для поэта.

На заданный ритм поэт включает, едва контролируя мыслью, тот мир, который толчется за окнами, и только потом по этому черновику, написанному природой, ведет суровую, жесткую правку, оставляя только важные находки.

40. Нужно ли поэту писать прозу? Обязательно.

В стихе всего не скажешь, как бы ни высокоэмоциональным было то, что сказано в стихе. Поэт, пишущий прозу, обогащает и свою прозу и свою поэзию. Пушкин, Лермонтов, да и любой поэт могут быть понятны лишь вместе со своей прозой, в единстве.

41. Приобщение к поэзии нужно начинать не с Пушкина.

Пушкин — поэт, требующий взрослого читателя, требующий личного жизненного опыта, а также читательской культуры. Лермонтов, Тютчев — еще сложнее. Приобщаться нужно чтением Некрасова и А. К. Толстого, а потом переходить к Пушкину.

42. В искусстве места хватит всем.

Не нужно устраивать давку, толкучку.

43. Что выше? Поэзия или проза?

За что же пьют? За четырех хозяек.

За их глаза, за встречи в мясоед.

За то, чтобы поэтом стал прозаик

И полубогом сделался поэт¹.

44. Стихи — это не роман, который можно пролистать...

Стихи — это не роман, который можно пролистать, проглядеть за одну ночь. Стихи требуют чтения внимательного, неоднократного перечитывания. Стихи должны читаться в разное время года, при разном настроении.

45. Поэт и современники.

Для современников поэт всегда нравственный пример.

46. $10 \times 10 = 100$.

(1964)

ЗАМЕТКИ О СТИХАХ

В двадцатые годы общественный интерес к стихам, а стало быть и общественное значение, звучание стихов были гораздо больше, шире, чем в наши дни. Выступления с чтением стихов — лэфовцев и конструктивистов, перевальцев и рапповцев собирали неизменно многочи-

сленных слушателей — в самых крупных залах Москвы — в Политехническом музее, в Коммунистической аудитории 1-го Московского университета. Полные доверху людьми амфитеатры обеих аудиторий были свидетелями многих жарких поэтических боев. Был горячий интерес к событиям поэтической жизни, — они были событиями тогдашней московской жизни.

Проза тогда привлекала меньше слушателей, зрителей, участников споров, хотя в разнообразных диспутах на литературные темы не было недостатка. «Без черемухи» Пантелеймона Романова², «Собачий переулочек» Гумилевского³, «Луна с правой стороны» Малашкина⁴ — все это щедро обсуждалось в самых различных аудиториях тогдашней Москвы. Не существовало еще Дома литераторов, и в нетопленной конторе издательства «Круг» закутанный в шубу седой Воронский⁵ отражал атаки гостей.

Проза, пожалуй, и сейчас вызывает достаточный интерес — вспомним обсуждение романа Дудинцева «Не хлебом единым».

Что же касается стихов, то интерес к ним упал до уровня, вызывающего беспокойство. Новое стихотворение, сборник, новая поэма даже известного поэта не вызывает никакого интереса читателей.

Как и почему это случилось? Многие (по примеру Маяковского) обвиняют во всем книготорги. Но ведь не только книготорги отворачиваются от стихов. Книготорги — при всех недостатках и косности их работы — отражают действительность, определенные сдвиги в литературных вкусах нашего читателя. Смешно говорить, что по вине книготоргов не идут стихи.

Нет, тут дело гораздо серьезней — и в другом.

Кого ни спроси — никто не читает стихов. Читатель пропускает страницы журналов, где напечатаны стихи, вместо того, чтобы их отыскивать в первую очередь, как и было в двадцатых годах. Это отношение губит и редкие хорошие стихи. Так, в потоке всякого словесного хлама затонула кирсановская «Ленинградская тетрадь»⁶ — там были два хороших стихотворения.

В публичных оценках утрачено всякое чувство меры, потерян масштаб. Стихи Луговского, поэта посредственного, второй год подряд выдвигаются ни много ни мало как на Ленинскую премию. Да еще Светлов изволил публично гневаться на решение Комитета по Ленинским премиям. В список на премии выдвигалась, как известно, и федоровская «Белая роща»⁷.

Годами, десятилетиями в журналах печатаются вовсе не стихи, а просто слова, соединенные в строчки, имеющие рифмы и размеры, но не имеющие в себе ни грана поэзии. Об этих «произведениях» пишутся статьи, даже книги, и бедный читатель не видит для себя другого выхода, как вовсе прекратить читать стихи, читатель объявил стихотворную голодовку.

Читательское доверие к поэзии, к стиху утрачено, и никто не знает, как его завоевать вновь.

В свет выходят странные книги. Почтенный академик Павловский⁸, биолог, паразитолог, печатает в издательстве Академии наук толстую книгу на превосходной бумаге: «Поэзия, наука и ученые». В этой книге любовно собраны случайные вирши деятелей науки, вирши, не имеющие никакого отношения к поэзии. Тем не менее эти произведения Павловский называет стихами, заявляя, что поэзия — это достойное занятие для ученого в минуту отдыха, столь же полезное, как игра в волейбол. Книга издана тиражом в 7000 экземпляров. В книге этой почтенный академик показал собственное полное непонимание существа поэзии. Это бы еще простительно. Непростительным для работника науки является незнание вопроса, по которому имеет суждение Павловский с замашками нового Колумба. Научная поэзия — дело не новое, и история мировой литературы знает много имен и помимо Вергилия или Лукреция Кара. Леконт де Лиль, Сирано де Бержерак, Валерий Брюсов у нас, Нарбут и Зенкевич много потрудились на ниве научной поэзии. С их работами, и стихотворными и прозаическими, наш академик вовсе не знаком. И вовсе напрасно «Литература и жизнь» (номер от 6 марта 1959 г.) напечатала одобрительную рецензию на эту, вышедшую год назад, плохую, неграмотную, бесполезную книгу.

Вторая удивительная книга — это книжечка Веры Михайловны Инбер «Вдохновение и мастерство», где разъясняется, что вдохновение — это род нервного подъема, тот вид сосредоточенности, который обязателен при любом занятии — даже бревна нельзя распилить пополам без такого рода «вдохновения». Вдохновение не есть озарение, редчайшая нервная мобилизация поэта, когда совершаются открытия в мире поэтического видения.

Но, несмотря на все это, поэзия не умирает. Появляются люди по-настоящему одаренные, которые могут и вправе слушать голос времени и умеют его передать.

Появляется такой чувствительный и тонкий поэтический инструмент, как Евгений Евтушенко — чуть не единственный настоящий лирический репортер нашего времени из молодых поэтов.

Талант приходит, несмотря на неблагоприятные условия. Это удивительно, ибо требования к поэзии так малы, так примитивны, что в этих условиях талант, казалось бы, не может расти. Часто эти требования вовсе не поэтические и могут только сбить (и, вероятно, сбивают) с толку поэта.

Язык, как известно, без костей. За разговорами о мастерстве должны последовать дела — т. е. решительное изгнание всего непоэтического со страниц журналов и из редакторских столов в издательствах. Лучше не печатать «стихи» вовсе, чем печатать под видом стихов вовсе не стихи.

Нам категорически необходимо внести ясность в вопрос, что такое поэзия и кому нужны стихи.

Книжка Абрамова «Искусство писать стихи»⁹, выпущенная в 1912 году, имела следующую аннотацию:

«Полное и всестороннее ознакомление с трудностями поэтического творчества, несомненно, отобьет у непризванных охоту заниматься не соответствующим их таланту делом».

Вот эту-то заботу нам и надо проявить в первую очередь — невзирая на лица, на дружеские связи и т. д.

Прошедший год советская поэзия лишилась таких настоящих поэтов, как Заболоцкий, как Ксения Некрасова. Ксению Некрасову выгнали на моих глазах из Дома литераторов — вот такие вещи могут быть у нас.

Все же дело в том, что никто не может решиться сказать прямо и честно — ты бездарен, отойди в сторону, займись другим делом.

Научиться писать стихи нельзя.

Не знаю — можно ли научиться писать газетные заметки (в аппаратах крупных газет работали вовсе не люди, окончившие факультеты журналистики, а бывшие врачи, инженеры, агрономы, нашедшие себя в газетной работе), но что нельзя научиться писать стихи — бесспорно.

В свое время большое смущение в умы внес Максим Горький своей формулой «талант — это труд». Максим Горький не захотел сказать, что трудоспособность, трудолюбие, прилежание в высокой степени присущи таланту, являются свойством таланта. Талант — это всегда коли-

чество, кроме качества. Но все это не делается по принуждению. Все это — легко — как игра.

Наилучшим, наиболее точным определением таланта, является определение, данное человеком, чье столетие со дня рождения мы только что отмечаем — Шолом-Алейхем. Шолом-Алейхем говорил следующее: «Талант — это такая штука, что если он есть — так он есть, а если его нет — так его нет».

1959

ПОЭТИЧЕСКАЯ ИНТОНАЦИЯ

«Словарь литературоведческих терминов» под редакцией Тимофеева и Венгрова определяет интонацию как «манеру говорить, характер произнесения слов, тон человеческой речи, который определяется чередованием повышений и понижений голоса, силой ударений, темпов речи, паузами и др. В интонации выражаются чувство, отношение говорящего к тому, что он говорит, или к тому, к кому он обращается. Интонация придает слову или фразе законченность, тот живой оттенок смысла, то конкретное значение, которое хочет выразить говорящий...

В своеобразном синтаксическом построении речи, в расположении слов в предложении, в подчеркивании отдельных из них паузами, перерывами голоса или, наоборот, ускоренным их произношением писатель передает разнообразные интонации речи своих персонажей или (в авторской речи) интонации голоса повествователя.

Все сказанное — верно, но неполно. Тут трактуется не поэтическая интонация в узком смысле слова, не интонация стихотворной строки или строфы, а интонация, находящаяся в художественной прозе.

Что же называется поэтической интонацией, литературным портретом поэта, его особыми приметами, раскрытыми в стихах?

Интонация — это те особенности, которые складываются в строке, в строфе, в отдельном стихотворении.

Эти особенности прежде всего относятся к своеобразной расстановке, расположению слов в строке, к тому, что называется инверсией.

Когда Мандельштам в своих «Воронежских тетрадах» пишет стихотворение о Белом:

Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец...¹⁰,—

расстановка здесь слов столь своеобразна и неповторима, что нам неприятно встретить такую расстановку слов у молодого поэта.

...Видно, допрыгалась — дрянь, аистенок, звезда!..

(Вознесенский, «30 отступлений»)

Излюбленный размер — тоже входит в понятие интонации. Здесь наиболее простой пример — онегинская строфа. Реконструированный Пушкиным классический сонет, изменение способа рифмовки под рукой гения приобрел свободу, эластичность, емкость и навсегда остался в русской литературе, исключив возможность подражания. Сколь ни замечательной была пушкинская находка — ни один поэт после не писал онегинской строфой.

Всякое истинное произведение искусства — это открытие, новость, находка. Если бы Блок написал «Возмездие» онегинской строфой, стихи не прозвучали бы так, как они звучат сейчас. И читая, слушая «Возмездие», мы вспоминали бы Пушкина, а не Блока.

Поэзия — как и любое искусство — не любит подражания.

«Идти за кем-нибудь — значит идти позади него» — эта старая формула вечна.

Значит, одно из требований — излюбленность размеров. Пушкин не был поэтом разнообразия. Семьдесят пять процентов его стихов написаны ямбом, а всего одна четверть — другими размерами. Из русских поэтов самый «разнообразный» поэт — Игорь Северянин.

Ямбы Пушкина — это вроде постоянного угла полета ракет (65°). Уверенные руки в возможности добычи новых и новых завоеваний в стихе. Пушкину виделись новые возможности традиционного ямба. Ямбические упражнения не были ни леностью, ни приверженностью к традиции, ни привычкой (легко входить в стих по трамплину ямба), ни боязнью нового.

Но все эти примеры мне нужны.

Блок:

И вздохнули духи, задремали ресницы,
Зашуршали тревожно шелка¹¹.

Это — звукоподражание? Отнюдь нет. Блок слишком тонкий поэт, чтобы заниматься звукоподражанием.

Пастернак:

Послепогромной областью почтовый поезд в Ромны
Сквозь вопли вьюги доблестно прокладывает путь.
Снаружи — вихря гарканье, огарков проблеск темный,
Мигают гайки жаркие, на рельсах пляшет руть¹².

Тут и внутренняя рифма, и повтор, и использование аллитерации для поисков смысла. Этот вид поэтического мышления часто встречается у Пастернака — чаще у раннего, реже у позднего.

Маяковский «обнажал» этот прием:

где он,
бронзы звон
или гранита грань?¹³

«Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю!
Италия! Германия! Австрия!»
И на площадь, мрачно очерченную чернью,
багровой крови пролилась струя!¹⁴

Третья особенность стихотворного почерка — аллитерация, у каждого поэта особенным образом выраженная. Организация звуковой опоры стиха — одна из главных задач поэта. Разные принципы могут быть положены в основу аллитераций.

Вечер. Взморье. Вздохи ветра.
Величавый возглас волн.
Близко буря. В берег бьется
Чуждый чарам черный челн¹⁵.

Здесь аллитерация обнажена, самодовлеющая, и стихов здесь нет.

Другое дело:

Суровый Дант не презирал сонета;
В нем жар любви Петрарка изливал;
Игру его любил творец Макбета;
Им скорбну мысль Камознс облекал.

И в наши дни пленяет он поэта:
Вордсворт его орудием избрал,
Когда вдали от суетного света
Природы он рисует идеал¹⁶.

Великолепная организация звуковых повторов характерна для Пушкина. Сразу видно, что Пушкин делает это не намеренно, а просто отбирает из тысячи подходящих слова, имеющие звуковую выразительность, звуковую пленительность.

Перечисление существительных, предельное использование синонимов — также характерно для строк Пастернака, для его интонации.

Я говорю известные вещи, банальности.

Ни Цветаева, ни Мандельштам, ни Ходасевич, ни Ахматова не использовали аллитераций таким образом, так же, как и Михаил Кузмин. Звуковая опора их строки и строфы подчинена законам, опять-таки найденным авторами и составляющим их «заявку на золото поэзии», их вклад в историю русской поэзии.

Для Цветаевой (при использовании того же классического размера, того же ямба и хорей) характерен вопросительный тон, переход фразы на другую строку, лишение стихотворения его песенного начала, нагнетание тревожности, появление неожиданностей.

Неожиданности эти имеют книжное начало.

Цветаевский почерк мы узнаем очень легко.

Игорь Северянин (у которого стих не строится на аллитерациях, хотя звуковая сторона дела находится на очень большой высоте) чувствовал стихи очень тонко и так энергично использовал трехстопный хорей, что ни один поэт больше не решается написать стихотворение, пользуясь «северянинским» размером, ибо северянинские интонации неповторимы.

Это было у моря, где ажурная пена,
Где встречается редко городской экипаж...
Королева играла — в башне замка — Шопена,
И, внимая Шопену, полюбил ее паж¹⁷.

Некрасов использовал дактилическую рифму, глагольную рифму, ввел в русскую строку множество идиом и занял определенное, резко очерченное место в истории русской поэзии.

Существует ямб Пушкина
Тютчева
Лермонтова
Языкова
Баратынского
Блока
Бальмонта
Цветаевой
Ходасевича
Мандельштама
Пастернака.

Следующая особенность поэтической интонации — рифма. Характерная рифма Пушкина чисто «глазного» типа («радость — младость»), что возмущало Алексея Константиновича Толстого, ратовавшего за рифму «слуховую», основанную на повторе согласных звуков — гласная буква повторялась лишь на ударном слоге. Размышления по вопросам рифмы и по вопросам перевода, содержащиеся в письме А. К. Толстого, — материал очень интересный и для литературоведов, и для поэтов-практиков.

Очень продуманна рифма Блока. В тех случаях, когда содержание стихотворения очень значительно, Блок намеренно применял рифмы «второго сорта» — чтобы не отвлек внимание читателя на второстепенный все же момент в стихотворении. (Этого никогда не делал — и принципиально не делал Маяковский, в стихе которого состав рифм мнемонического характера играет большую роль в создании стихотворения.)

Вот одно из самых лучших стихотворений Блока:

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забуты не в силах ничего.
.....
И пусть над нашим смертным ложем
Взвывается с криком воронье, —
Те, кто достойней, Боже, Боже,
Да узрят Царствие Твое!

«глухие — России», «своего — ничего», «ложем — Боже», «воронье — твое».

К счастью, стихотворение не зависит только от рифмы. Новая, эффектная рифма только испортила бы это замечательное стихотворение.

Глагольная рифма Некрасова и мужская рифма Лермонтова — тоже элементы интонации.

Для чего приведены все эти примеры? Для того, чтобы показать, что при пользовании одним и тем же размером поэтическая интонация, особенности речи поэта сохраняются в полной мере.

Следующая особенность интонации — это метафора. Хотя метафоры, так же как и тема, относятся к вопросу стиля (более широкому, чем интонация), для поэтической строки привычной своеобразные метафоры служат опознавательным признаком. В понятие стиля входит привычный круг мыслей, разработка привычных тем, трактовка вопросов определенным образом.

Иронические интонации Гейне (в русском языке есть отличный перевод Блока, да и переводы Михайлова достаточны для того, чтобы эти интонации мы узнали у любого поэта в русской литературе).

Почему Тихонов, так хорошо начавший, не дал ничего большого как поэт. «Орда» и «Брага» вселяли большие надежды. Но уже крайне искусственная «Сами» показала, что поэт на ложной дороге.

Потому что «стимулятором» Тихонова, его духовным отцом был Киплинг. Происхождение и «Баллады о гвоздях», и «Баллады о синем пакете» — литературное, киплингское. Своего языка Тихонов не нашел. Отличный прозаик, он, и в прозе слепо следуя рецептам ленинградской школы 20-х годов, не смог показать себя как большой писатель.

От чужих интонаций Тихонов не избавился.

Каламбуры, каламбурная рифма, взятая Маяковским «поносить» у Саши Черного и Петра Потемкина¹⁸, — считается поэтической интонацией Маяковского.

Существует такая вещь, как архаизмы, которые тоже могут быть интонацией поэта (Клюев, например).

По части евангельской и церковной тематики Пастернак говорил, что это слишком значительный для любого поэта материал и что использование этого материала в плане богохульства, как это делал Маяковский, или в церковно-деревенском стиле, как делал Есенин, или обнаружение духовных соответствий и неожиданных соразмерностей с нашим временем — как делал Пастернак в своих евангельских стихах, — все это в смысле художественном однозначно. Ни один поэт не может пройти мимо этих вопросов — один богохульничает, другой славословит, третий пытается разобраться в сути дела.

Балладный склад Жуковского.

Балладные интонации.

Былинный стих.

Расстановку слов в строке (и в строфе) как поэтической единице диктует ритмическое своеобразие. Вот это ритмическое своеобразие тесно связано с понятием поэтической интонации. Но это — не одно и то же. Поэтическая интонация — понятие шире, чем ритменное своеобразие.

Свое особенное, излюбленное применение одного или нескольких способов стихотворной речи также составляет признак поэтической интонации.

Такая штука, как моноритм, хотя и может быть признаком поэтической интонации, как у Апухтина:

Когда будете, дети, студентами,
Не ломайте голов над моментами,
Над Гамлэтами, Лирами, Кентами...¹⁹

Всякому ясно, что это — искусственность, что это — «малая поэзия».

Очевидно, что и культурный багаж поэта сказывается на интонации. Одни, как Пушкин, хотят в своих стихах быть с веком наравне, а другие, как Твардовский, считают — излишняя «интеллигентность» не нужна советскому читателю, ибо мешает общедоступности.

Каждый поэт знает язык по-своему. Часто не очень твердо поэт владел пунктуацией (Есенин), располагая в любимом определенном порядке существительные, прилагательные. Небольшую нетвердость в правилах русской речи он вносит (в стихи): привычка поставить существительное раньше прилагательного или, наоборот, привычка к инверсии...

Любимое применение географических названий, гиперболизация, наконец, рифмовка,

Офиалчен и олилчен озерзамок Мирры Лохвицкой---

вот интонация Северянина ²⁰.

Что такое плагиат:

Займствование?
Реминисценция?
Влияние?
Чем карается присвоение интонации?
Использование чужих находок?
Поэзия не склад вторсырья.
Поэзия — находка.
Жизнь — бесконечна.

Может быть, нигде так не ясна, не ярка поэтическая интонация, как в переводах Пастернака, которые точны и в то же время — это сам автор, «монстр» и уникал, единственный и неповторимый.

Бунин и его «Песнь о Гайавате».

Дело не только в применяемом размере, в ритме, а в расположении слов, в привязанности поэта к определенным словосочетаниям.

Интонация — вопрос формы.
Тематика — не интонация.

Каждому поэту хочется ввести в строку большое (по количеству слогов) слово.

Излюбленная расстановка слов, любимая инверсия, ставшая собственностью, отличительным клеймом поэта.

Гейневские глагольные рифмы, ямбы...

Есть поэты с интонацией из третьих рук, напр<имер>, Юнна Мориц, Иван Харабаров. Первая черпает у Тихонова, а второй — у Мартынова. И Тихонов, и Мартынов не оригинальные поэты.

Андрей Вознесенский — поэт, живущий по чужому па-спорту.

Я горячо присоединяюсь к Твардовскому. Издайте, издайте наконец Мандельштама, Цветаеву, Ходасевича, Кузмина, Гумилева, Белого, Волошина и Клюева — все, что было запрещено, скрыто от нашей молодежи. Откройте сокровища русской поэзии нашей молодежи. И тогда станет невозможным чтение Вознесенского и еще ряда поэтов, мнимых новаторов, а по существу очковтирателей, вроде Сапгира²¹.

То, что распространяется <Сапгиром>, ходит в рукописи по рукам, — это плагиат, подражание Чичерину²². Он еще жив.

Излюбленная расстановка слов в строке, в строфе...

Любимые размеры, а самое главное — характерные ритмы, несущие вместе обновление размерам.

Интонация — это не круг излюбленных тем, привычных мыслей, доказательств.

Интонация — способ говорить, убеждать.

Интонация — это применение существительных.

Музыка рифмы Лермонтова, напряженный ритм «Мцыри» — делают неповторимой, невозможной к повторению лермонтовскую интонацию.

Всякий разберется в некрасовской интонации с ее дактилической рифмой —

От ликующих, праздно болтающих...

Интонация — вопрос формы, вопрос расстановки слов, мелодии поэтической фразы, достигаемой применением привычных размеров.

Тютчевские ямбы — поэт всегда главную строку поставит в окончание стихотворения (то же у Кузмина, Цветаевой).

В отличие от многих, я не считаю, что Тургенев испортил Тютчева, исправляя его.

Интонация не система образов поэта. Но система образов входит в интонацию.

Не круг мыслей, не убеждения, не его «мораль».

Найденное поэту очень дорого, да с ним нельзя и расстаться.

Пастернак, уходя от сложной рифмы к простой, сохранил все своеобразие интонации.

Вот ямбы из «Фауста» — никто не скажет, что это — не Пастернак.

Чужая интонация — род плагиата.

Интонация Павла Васильева вошла в русскую поэзию, но именно поэтому стихи Цыбина туда не войдут.

Поэзия — дело серьезное, это не ремесло, а судьба. Пока в строках не выступит живая кровь — поэта еще нет, есть только версификатор.

Поэзия переживает не небывалый расцвет, а небывалый интерес. Никогда Политехнический музей не собирал столько людей, сколько собирал на выступлениях Евтушенко.

Этот интерес — залог новых побед, новых небывалых рубежей.

Но чтобы лучших из поэтической молодежи избавить скорее от чужой интонации — надо издавать этих поэтов, показать народу их стихи.

Это защитит наших читателей от лженоваторства, откроет дороги действительно самобытным талантам.

Вот потому-то поэты и читают свои стихи всегда лучше, чем актеры, — потому что они владеют своей интонацией и не осваивают чужую.

Произведение искусства всегда новость, открытие, находка.

Каждый поэт разговаривает с читателем на своем языке...

Это — и материал новый, поэт говорит и мысли новые.
И то, что называется поэтической интонацией.

Герои, скитальцы морей, альбатросы...

Гумилев? («А вы, королевские псы флибустьеры»,
и т. д.) Нет, это — Кириллов²³ — один из поэтов «Куз-
ницы».

Во вторник всегда примитивны влечения эстетов,
Во вторник объятья обильные спорят с дождем,
По вторникам чуткие дамы не носят корсетов...
И страсти во вторник не скажет никто: «Подождем!»

Игорь Северянин? Нет, это Сергей Алымов²⁴, тот са-
мый поэт, который считался автором партизанской песни
«По долинам и по взгорьям». Это его «Киоск нежно-
сти» — книжка, вышедшая в 1920 году во Владивостоке.

Поэтическая интонация — это паспорт поэта.

А с кем можно спутать Есенина? Ни с кем. Разве толь-
ко в ранних стихах есть интонации Николая Клюева, но
уже с «Кипятковой вязи» — все свое.

В поэзии нет взаимообогащения.

Подражание — это неудача.

Реминисценция — недосмотр.

Плагиат — это кража.

Чужая интонация — беда, от которой надо избавля-
ться.

А как быть с поэтической интонацией, взятой боль-
шим талантом у меньшего?

Анненский — Пастернак.

Последние стихи Маяковского из ненапечатанных —
сущий Пастернак.

Наше литературоведение недостаточно разработало
этот кардинальный вопрос поэтики. Определение поэти-
ческой интонации ведется критиками чисто эмпирически,
на слух, — но эти звуковые сочетания возможно перевести
на язык логики, дать определение поэтической интонации.
Этот разговор для поэта был бы гораздо важнее, чем сте-
нограммы совещаний о взаимодействии «муз».

(1963—1964)

РИФМЫ

Рифмы бывают мужские и женские, дактилические и гипердактилические, точные и неточные.

В учебниках рифма называется звуковым повтором на конце строки, совпадающей с конечной паузой. Все это так.

Но для чего стиху рифма?

Нам отвечают: для благозвучия, чтобы подчеркнуть ритменно-музыкальное начало поэзии, а также чтоб стихи легче запоминались, лучше запоминались.

Только ли для этого?

Мне с детства казалось, что слова имеют форму, окраску. Форма зависит от гласных звуков, от гласных букв. В самом деле, величина слова зависит от количества слогов, определяемого гласными буквами,— это истина для школьника первого класса. Но форма и величина — не одно и то же. Слово «тополь» явно иное по форме, чем слово «теперь», хотя оба — одной величины и почти одной окраски. Окраска слова зависит от согласных звуков и ими определяется. Звуковой повтор может быть построен на гласных — это укрепление в памяти формы слова — или на согласных — тогда запоминается, подчеркивается окраска. И то и другое всегда присутствует в стихах большого поэта. Это — элемент творчества. Вершина русской поэзии, пушкинский «Медный всадник» — непревзойденный образец подобного рода. Пушкин в поэзии знал всё.

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное течение,
Береговой ее гранит...

Пресловутые «корневые рифмы» («строгий — стройный») помещены, как и полагается быть звуковому повтору такого рода, внутри строки. Звуковая окраска (вариации согласных букв) — совершенна.

Пушкинской рифмой (глаголы с глаголами, существительные с существительными) очерчены языковые рубежи русской поэзии, намечены ее границы. Поэты пушкинской и послепушкинской поры следуют за этой рифмой. Время показывает необходимость некоторых поправок к пушкинским канонам рифмы, а именно: большее звуковое соответствие рифмующихся слов — в их литературном, т. е. московском, произношении. Эту работу делает

Алексей Константинович Толстой. У него, как и у Чехова, нет критических статей, но есть многочисленные письма, где обосновывается новая теория рифмы.

Классической русской рифмой, полной рифмой, пользуются все большие наши поэты — Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Баратынский, Некрасов, Блок, Цветаева, Мандельштам, Твардовский. О Пастернаке, Маяковском и Есенине речь пойдет в свое время.

Возможности русской рифмы неисчерпаемы, и браться за разрушение «краесловия» — неблагоприятное дело. Современная русская рифма есть скрепление, соединение различных частей речи, есть конструктивный элемент языка в борьбе с пустословием, со словесной неряшливостью, за лаконизм, за точность поэтической речи. Существительное — глагол, причастие — глагол, прилагательное — существительное, наречие — глагол, наречие — существительное — все это сцепления элементов языка в русском стихосложении.

Недостаточно грамотные молодые поэты, открыватели давно открытых Америк, воодушевляемые плохо грамотными критиками, тратят время и свое, и читательское на прославление безжизненных литературных форм, ради новаторства во что бы то ни стало. Но то, что предлагается (корневая рифма или типографские точки вместо слов у Сапгира), — это лженоваторство, причина этого или незнание, или литературный авантюризм. Корневая рифма — обыкновенный звуковой повтор с частичным нарушением звуковой окраски слова («добрый — долгий»), уместный в середине слова. Как «краесловие» это — небрежность, неряшливость, звуковая хромота...

Что касается «стихов» Сапгира, то о «поэзии» подобного рода мог бы кое-что рассказать вождь «ничевоков» двадцатых годов, ныне здравствующий Алексей Николаевич Чичерин.

Весьма характерно, что молодые поэты и поэтессы сосредоточили свои силы на разрушении рифмы, выдавая себя за новаторов и искателей самого простого элемента строки и строфы. Их искания не касаются более сложных вопросов — интонаций, метафоры, образа.

А ведь рифма есть только инструмент, с помощью которого создается стихотворение, поисковый инструмент поэта...

И ассонансы, точно сабли,
Рубнули рифму сгоряча²⁵.

Это — Северянин.

Исторически ассонанс предшествует рифме. Стихотворные строки, соединенные между собой ассонансами, уходят в глубокую древность и литературной, и народной речи. Рифма появляется впервые у средневековых трубадуров. Со времени Готфрида Бульонского²⁶ рифма постепенно укрепляется, открывая все новые и новые дороги стиха. Нам нет нужды обращать внимание на западные моды, на разрушение поэзии. Классические русские стихотворные размеры — ямб, хорей — не исчерпали и тысячной доли своих возможностей. Разве ямбы Пастернака похожи на ямбы Пушкина? Разве ямбы Мандельштама — не открытия? Разве Ахматова повторяет кого-нибудь (кроме Михаила Кузмина)?

Нет нужды возвращаться к ассонансу — это пройденный давным-давно этап.

Творческий процесс состоит больше в отбрасывании ненужного, недостаточно верного, ненадежного, мало яркого, чем в поисках. Для создания каждой строфы мир подставляет поэту мгновенно или почти мгновенно десятки, сотни картин прошлого, настоящего, будущего, и из этого великого множества, приведенного в сознание поэта рифмой, отбрасывается или записывается некоторая часть наблюдений, знаний, иллюстраций... Свободно доверяясь рифме, звуковому повтору, поэт, еще не закрепляя на бумагу, встречается с десятками направлений. Где-то глубоко в сознании затаено настроение определенной силы и тона, затаена какая-то главная мысль, тема, которая ищет своего выражения в еще не написанных строках. Подчас эта звуковая работа подсказывает новые мысли, уводит в сторону от предполагаемого задуманного. Иногда новизна ограничивается лишь мелочами, штрихами, но бывает и так, что стихотворение — открытие, находка, рожденная без предварительного плана.

Строфы, еще не записанные, попадают под контроль мысли. Мысль энергично отбирает лучшее, наиболее выразительное, и здесь записывается вариант стихотворения. Мысль едва успевает за потоком, двинутым рифмой, аллитерацией, за ассоциациями всевозможного рода.

Начинается работа над первым вариантом, отделки его — работа не менее напряженная, чем первая часть творческого процесса. Здесь на первый план выступает

главная идея, ради которой писалось стихотворение. В соответствии с этой главной мыслью перестраивается стихотворение, определяется порядок строк, оттачиваются или заменяются рифмы, метафоры. Стихотворение приводится в полное соответствие с правилами русского языка.

Работа над стихотворением может длиться неопределенно большой срок. Время от времени можно возвращаться к нему, все время уточняя, желая улучшить текст. Совершенных стихотворений нет. Всякое стихотворение — лишь оптимальный вариант того, что задумано, что хотел поэт сказать.

Михаилу Кузмину принадлежит замечание, что «первая строка стихотворения — это его последняя строка», концовка, ради которой стихотворение и написано. В этом много верного. Таковы большинство тютчевских стихов, стихи Цветаевой, стихи самого Кузмина, часть стихов Маяковского.

Есть и другое наблюдение, имеющее отношение к замечанию Кузмина. Почти всегда возможно угадать (в небольшом стихотворении строк в 16—20) у Пушкина, у Лермонтова, у Блока, у любого крупного поэта (чем меньше талант, тем легче сделать то, о чем говорится), какое четверостишие написано первым, какое явилось на бумагу раньше других.

Есть и еще одно обстоятельство, важное в процессе создания стихотворения. Каждый грамотный человек носит в своей памяти большое количество всяческих стихотворений, хранящихся где-то глубоко в мозгу и напоминающих о себе ритмом, отрывками, строкой, настроением.

Человеческое чувство ищет выражения и находит его в стихах поэта, оставшихся в его памяти. Происходит как бы разрядка настроения, чувства в чужие стихи. Эти чужие стихи вспоминаются или перечитываются, твердятся по многу раз и дают выход настроению. А когда никаких «подходящих» стихов не вспоминается, когда чувство не находит выхода в знакомых текстах, не находя в них соответствия, успокоения, — тогда пишутся свои стихи. И в этом случае магнитный поисковый инструмент — рифма двигает пласты событий, впечатлений.

И еще: в каждом стихотворении каждого поэта есть какая-то новинка, находка. Стихотворение писалось не из-за этой новинки, но без нее — потеряло бы смысл. В каждом,

даже маленьком стихотворении ставится и какая-то техническая задача, как бы наивна она ни была. Написал же Державин ряд стихотворений без буквы «р». Всегда есть желание ввести в стихи слово, которое в стихах никогда не бывало, поместить в строку какое-то большое слово, которое и в обыкновенной-то речи кажется неуклюжим, угловатым, а в стихотворение входит неожиданно свободно. Например, «родовспомогательница». Хочется увидеть в собственной строфе «танец странных имен, что для сердца отраден», самому написать — «Шли Чоктосы и Команчи, Черноногие и Перу, Делавэры и Могэки»²⁷.

И эта — «игровая» сторона дела тоже участвует в создании стихотворной строки.

Но уже не до шуток, когда поэт чувствует, что найдено важное, очень важное, крайне важное, что дальнейший поиск продолжать не стоит, что хоть рифма и нуждалась бы в улучшении, но всякая дальнейшая работа над ней ухудшит главную мысль, главный тон, главное чувство, диктовавшие стихотворение.

И Блок оставляет в строфе и, казалось бы, посредственные, сомнительные рифмы —

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забуть не в силах ничего.

Никакой читатель, никакой слушатель не замечает тут рифмы. Такова выразительность, сила стихотворения.

Здесь выразительность стиха достигнута рифмой, но не в ее мнемоническом качестве и не благозвучием «краесловия». Рифма, выполнившая свою службу, сыграла свою роль поискового инструмента и была отодвинута в сторону.

У Блока, да и не только у Блока, таких примеров немало. Удивительным образом оказывается, что Блок в самых сильных своих строфах недостаточно отделявал собственно «краесловие».

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые —
Как слезы первые любви!

Приведу еще одну выписку из письма А. К. Толстого, датированную 1871 годом²⁸.

«...давайте говорить об искусстве...

...Я иногда пишу дурные рифмы, но не дурные стихи. Дурные рифмы я пишу сознательно в тех стихотворениях, где я считаю себя вправе быть неряшливым, но только по отношению к рифме. Никогда я не считаю себя вправе написать дурной стих...

Видите ли, насчет рифмы я сделаю вам сравнение, вместо диссертации. Есть некая живопись, которая требует неуклонной точности линий,— это в исторических картинах, умбрийская школа, флорентийская, даже венецианская. Есть другой род живописи, где краски—главная вещь, а с линиями не церемонятся. Это Рубенс, Рембрандт, Рюйсдаль и другие фламандцы или голландцы. И вот, *horribile dictu* (страшно сказать), эти последние картины потеряли бы, если бы линия в них была неумолимо правильною. Так, если я пишу картину больших размеров и с претензией на серьезность, я с вами согласен, что я должен строго относиться к рифме; но если я пишу балладу или другое стихотворение, в котором впечатление, т. е. цвет, краска,—главное, то я могу небрежно отнестись к рифме, но, конечно, не пересаливать и не рифмовать *sereda с саранча*.

Хотите, возьмите пример в поэзии. Возьмите Гете в сцене Гретхен перед иконой.

Есть ли что-нибудь хуже рифм в этой великолепной молитве? Это—единственная вещь в смысле наивности и правды! Но попробуйте исправить фактуру, придать ей более правильности, более изящества, и все будет испорчено. Вы думаете, что Гете не мог писать лучших стихов?—Он *не хотел*, и тут-то он доказал свое удивительное поэтическое чутье. Есть некоторые вещи, которые должны быть выточены; есть другие, которые имеют право и даже обязаны *не быть* отделанными *под страхом казаться холодными*. В языках немецком и английском допускается неправильность рифмы, как и стиха; в русском же языке допускается только неправильность рифмы. Это его единственная возможность в поэзии показываться в неглиже...

В заключение скажу: я думаю поступить в духе русского языка, оставаясь непоколебимым относительно стиха и *позволяя себе иногда* некоторые свободные отношения к рифме. Дело чутья и такта».

Наблюдения А. К. Толстого верны и ни капельки не устарели по сей день.

Блок, так же как и Гете, *не хотел*, чтобы излишне звонкая рифма, привлекающая внимание, помешала главному — тому, что уже вошло в стихи.

(1960-е)

«СВОБОДНАЯ ОТДАЧА»

В стихах существует еще один способ писания стихов, известный поэтам, который я называю способом «свободного хода» или «свободной отдачи».

Когда, наметив лишь размер и ритм, отдаешься на волю материала и следишь лишь за явными смысловыми нелепицами, которые могут попасть в стиховой поток при этом способе.

Этот способ я применял в молодости. Он требует крепкого здоровья, полного отключения в мир слов, контролируемого лишь приблизительно, главным образом звуковыми вехами. Может быть и реальный факт началом, толчком, запевом, — а потом — свободная отдача потоку впечатлений, со стремлением зарифмовать мир. На этом пути тоже бывает немало находок. Я думаю, что первые сборники Пастернака «Близнец в тучах» и «Поверх барьеров» и даже «Сестра моя — жизнь» — имеют следы такого именно способа писания стихов.

Суть этого способа вовсе не в «модернизме» и не в «зауми» (ибо все лишнее отсеется при контроле, при переписке) и даже не в изрядном количестве маленьких находок, новинок, которые при работе над каждым стихотворением получаются. Суть тут в доверии к самому себе. Если поэт — прибор, с помощью которого природа рассказывает о самой себе, если рифма — поисковый инструмент, то весь рабочий процесс поэта — поставлен на службу природе на «свободном ходу». Если прибор хорош — ошибок в стихах не будет.

И более того. Я стал себя считать поэтом тогда, когда убедился, что не могу в стихах фальшивить, не могу написать ни одного стихотворения как «мастер». Стихов вообще не получалось. И именно потому, что в этих случаях стихов не получалось, я и поверил в себя как в поэта.

Сбереженное внутри пряталось и в стихи не выходило. Меня часто спрашивают: «Есть ли у вас стихи о Сталине?» У меня нет стихов о Сталине. В университете меня (после чтения стихов из «Колымских тетрадей») спрашивали это. Я отвечал: «Многое из того, что я сейчас читал,— это и есть стихи о Сталине».

Я стал доверять себе. У меня есть стихи о возвращении, в которых задолго, года за два до размолвки с женой, я угадал эту размолвку. Просто иначе не выходило в стихах, надо было переламывать себя, фальшивить, лгать. И я написал так, как писалось. Ни о какой размолвке я тогда не думал— размолвка обнаружилась года через два— но и сейчас, перечитывая написанное в те годы, я вижу, что все угадано и предсказано в стихах.

В стихах нет ничего случайного, нет ничего выдуманного. Стихи— это судьба, а не ремесло. Не желаю считать себя мастером.

Я хочу считать себя поэтом, единственным русским поэтом, показавшим душу человека на лагерном Крайнем Севере,— вот единственная моя претензия.

Разумеется, никаких тайн искусства Дальний Север мне не открыл. Мои стихи написаны человеком, проводившим семнадцать лет в лагере и ссылке— из них более десяти лет на тяжелой физической работе. Мои стихи— пример душевного сопротивления, которое оказано растлевающей силе лагерей.

〈Конец 1950-х— начало 1960-х〉

СТИХИ— ВСЕОБЩИЙ ЯЗЫК

Стихи— это всеобщий знаменатель. Это то чудесное число, на которое любое явление мира делится без остатка. Это всеобщий язык. На свете нет ни одного явления природы или общественной жизни, которое не могло бы быть использовано в стихах, было бы чуждо стиху.

По хриплой брани пастуха,
Продрогшего в тумане,
По клокотанию стиха
В трепещущей гортани.

И шелест хвойный— как стихи—
Немного горьки и сухи...

Тут дело вовсе не в том, что пишутся стихи о стихах. Стих о стихах — это совсем другое дело. Суть вопроса в том, что в «нутре» любого физического явления мы можем ощутить стихотворение и переключить это ощущение в реальную жизнь.

(1960-е)

СТИХИ — ЭТО ОПЫТ

Стихи — это опыт, душевный опыт. Совершенно несерьезно говорить — поэзия всегда была делом молодости. Напротив, поэзия всегда была делом седых, делом людей большого душевного опыта. Действительно, есть такое выражение «поэзия молодости». Но для того, чтобы описать, выразить это чувство, необходима душевная зрелость, огромный душевный опыт, личный опыт.

Вот почему, отвечая на болтовню Антокольского на сей предмет, я и написал «Поэзия — дело седых».

Вопрос опыта — вопрос сложный. Вот советы Рильке. Приношу извинения за длинную выписку.

Р. М. Рильке, «Заметки Мальте Лауридса Бригге». М., 1913 г., стр. 20. «...И стихи. Да, но стихи, если их писать постоянно, выходят такими незначительными. Следовало бы не торопиться писать их, и всю жизнь — и по возможности долгую жизнь — накапливать для них содержание и сладость, и тогда, к концу жизни, может быть, и удалось бы написать строчек десять порядочных. Потому что стихи вовсе не чувства, как думают люди (чувства достаточно рано проявляются у человека), они — опыт. Чтобы написать хоть одну строчку стихов, нужно переживать массу городов, людей и вещей, нужно знать животных, чувствовать, как летают птицы, слышать движение мелких цветочков, распускающихся по утрам... Нужно уметь снова мечтать о дорогах неведомых, всплывать встречи неожиданные и прощания, задолго предвиденные, воскрешать в памяти дни детства, еще не разгаданного, вызывать образ родителей, которых оскорблял своим непониманием, тем, что, когда они стремились доставить радость тебе, думал, что она предназначается другому; детские болезни, разнообразные и многочисленные, и как-то странно начинающиеся... Дни, проведенные в тихих

укромных комнатах, и утра на берегу морском; вообще море — море. Ночи в дороге, где-то высоко, с шумом проносящиеся мимо нас и исчезающие вместе со звездами; но и этого всего еще недостаточно. Нужно хранить еще в душе воспоминания о множестве любовных ночей, и чтоб при этом ни одна из них не походила на другую; о криках во время потуг и о белых воздушных спящих женщинах, уже разрешившихся от бремени и вновь замыкающихся... И еще нужно, чтобы человек когда-то бодрствовал у изголовья умирающих, сживал около покойников, в комнатах, где окна открыты, и до него откуда-то как бы толками доносились разные шорохи. И все-таки мало еще одних воспоминаний: нужно уметь забыть их и с безграничным терпением выждать, когда они начнут снова всплывать. Потому что нужны не сами воспоминания. Лишь тогда, когда они претворятся внутри нас в плоть, взор, жест и станут безымянными, когда их нельзя будет отделить от нас самих, — только тогда может выбраться такой исключительный час, когда какое-нибудь из них перельется в стихотворение. А мои стихи все возникли иначе, и, следовательно, их нельзя назвать стихами».

1963

<О ПРАВДЕ В ИСКУССТВЕ>

Правда, явившаяся в искусство, всегда нова и всегда индивидуальна.

По сути дела, искусство для художника ставит необычайно ясную, необычайно простую задачу — писать правду, действительность, и овладеть всеми средствами изображения для того, чтобы лучше, вернее передать то самое, что называется жизнью и миром.

Тем самым всякая фальшивость, всякое подражание заранее обрекается на неуспех, ибо об этом будет судить потребитель, которому художник должен напомнить жизнь, но не литературу, т. е. уже открытое и увиденное кем-то раньше.

Нетребовательность читателя, когда тысячи романов принимаются за художественную литературу и таким именем называются тысячами критиков, возникает из малого общения с произведениями литературы действительной (или общения поверхностного, при котором нет глу-

бокого увлечения вещью, а следовательно, и глубокой внутренней критики ее).

Многое в искусстве теряется и многое, наверное, навсегда потеряно, ибо не было условий для закрепления на бумаге, на полотне того, что увидел художник. А многое увиденное он не сумел закрепить.

Многое в искусстве обнаруживает себя зря, и если бы люди говорили на одном языке, многое из сказанного, ставшего искусством в силу национальных рамок языка,— может быть, не появилось бы вовсе. Так, мне думается, и среди пушкинской прозы есть кое-что, чего не было бы, если бы Мериме писал по-русски.

Подумать страшно, как много сил и материальных средств расходуется на т. н. социалистический реализм, на то, чтобы убедить читателей в том, в чем убедить писателя нельзя. Забывается, что писатель — это прежде всего читатель, преодолевший чужое зрение и научившийся видеть сам. Если он видит сам — рано или поздно он найдет средства изображения *свои*, т. е. убедит читателя в своем мире или в кусочке мира, расширит арсенал познания жизни (в прошлом ли, в настоящем ли). Искусство по сути дела есть искусство детали, ибо только верно и по-новому убедительно изображенная деталь может заставить поверить правде художника. Поверив детали, читатель поверит всему, что хочет сказать художник. Под деталью не следует понимать лишь деталь пейзажа, интерьера, но и деталь психологическую, на которой держится искусство хотя бы Достоевского.

К тому же деталь пейзажа, интерьера — в большинстве случаев символ, намек на что-то большее, и если эта сторона дела найдена и похожа, деталь приобретает особо веский вид, становится аргументом неотразимым.

Писать правду для художника — это и значит писать индивидуально, ибо правда становится общей уже после того, как она овеществлена в искусстве. Как предмет творчества, правда всегда лична.

Как результат творчества она может быть отведена в критические загоны и клетки, на нее вешают ярлыки, о которых не может думать художник в момент зачатия вещи, в момент, когда никакого другого искусства нет. Гражданские стихи Некрасова, лучшие картины передвижников — это прежде всего искусство для искусства, чистое искусство. А как результат творчества оно может быть поставлено на ту или другую полку, что для художника не должно быть важным. Творческая сила Врубеля

свела его с ума, и нетрудно подумать, что клетки мозга человека с его одинокими, индивидуальными видениями такой силы и не могли выдержать правды жизни такого напряжения.

〈Конец 1950-х — начало 1960-х〉

ВОСЕМЬ ИЛИ ДВЕНАДЦАТЬ СТРОК. О СОНЕТЕ

Когда-то с Пастернаком мы говорили вот на какую тему. Какой размер русского стихотворения идеален. Пастернак говорил, что, по его мнению, — восемь строк, два четверостишия вполне достаточно, чтобы выразить мысль и чувство любой силы и глубины.

У него в стихах есть этот подсчет.

О, если бы я только мог
Хотя отчасти,
Я написал бы восемь строк
О свойствах страсти²⁹.

Кстати, эти восемь строк Пастернак давно написал. В «Разрыве» есть удивительное восьмистишие, подобного которому не знает русская, да и мировая поэзия тоже. Напомню:

О стыд, ты в тягость мне! О совесть, в этом раннем
Разрыве столько грез, настойчивых еще!
Когда бы, человек, — я был пустым собраньем
Висков и губ и глаз, ладоней, плеч и щек.
Тогда б по свисту строф, по крику их, по знаку,
По крепости тоски, по юности ее
Я б уступил им всем, я б их повел в атаку,
Я б штурмовал тебя, позорище мое!

Поистине, о Пастернаке можно сказать, как Гоголь говорил о Пушкине — «у него бездна пространства».

Емкость стиха Пастернака совершенно исключительная в нашей, да и в мировой поэзии.

Восьмистишия кавказского фольклора ложатся на эту же чашу весов.

Я говорил, что двенадцать строк — наиболее емкая форма русского стихотворения. В восемь строк трудно-то уложиться. Мне кажется — четырнадцатистрочный сонет и был такой канонизированной формой в мировой

поэзии, за которой стоит опыт многих веков... В дальнейшем скованность, формалистическая напряженность формы сонета ослабла ценой потери двух строк.

Есть ли у Шенгели ³⁰ в его очень интересном учебнике подсчеты двенадцатистрочных и шестнадцатистрочных стихотворений Пушкина, Лермонтова? Интересно было бы посмотреть.

Онегинская строфа тоже вышла из сонета.

〈Конец 1950-х — начало 1960-х〉

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГРАНИЦЫ ПОЭЗИИ И СВОБОДНЫЙ СТИХ

Поэзия имеет национальные границы во много раз более глухие, чем проза. И в этом не беда, а счастье поэзии.

Фактически поэт непереволим, отгорожен от другого народа частоколом традиций, принципов — не только литературных, но и бытовых. Ведь поэзия — вся в недоговоренности, в полунамеке, где вся тонкость ощущается только родным по языку человеком.

Разве знаменитые аллитерации «Медного всадника» переводимы на другой язык?

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное течение,
Береговой ее гранит...

Никакой перевод никогда не передаст даже намека на этот «береговой гранит», «строгий, стройный вид», а ведь лишенный этого стих обессилен. Это — русское стихотворение.

Конечно, можно перевести, как переводили раньше — прозой, оставляя «домыслы» читателям. Так переводили раньше, так советует сейчас переводить стихи Арагон. Может быть, он и прав, подчеркивая бессилие любых переводов и любых переводчиков.

Разумеется, «Горные вершины» Гете Лермонтов не переводил, а написал русское стихотворение «по мотивам Гете».

Иннокентий Анненский пробовал перевести это стихотворение Гете.

Над высью горной
Тишь.
В листве, уж черной,
Не ощутишь
Ни дуновенья...

Как видите, стихотворения не получилось.

Поэт не испытывает нужды в признании иностранцами, ибо понимает, насколько газетно, конъюнктурно, условно такое признание и понимание.

Вот эта непереводаемость стихов, отключение поэтов от международной жизни и было, мне кажется, одной из причин успеха так называемого свободного стиха.

Свободный стих и так называемые стихи — все, что к ним относится, все это — поэзия второго сорта. Выражаясь по-спортивно, «верлибр» — это стихи второго эшелона, второго класса.

Решение вопроса должно быть в рамках национальной традиции и не должно быть каким-то откликом или перекличкой с модой Запада.

Для западного читателя, кто выступает против советской власти хоть немножко, тот и хорош, и литературной политикой может управлять любой разведчик. Газетная популярность и сенсация — всегда очень определенные. О любой проститутке в западных газетах пишут больше, чем о поэтах русских (не говоря о своих собственных).

Виктор Шкловский в своих мемуарах «Жили-были» подал голос за «свободный стих», не утруждая себя аргументацией. Зато бывший теоретик конструктивизма Квятковский выступил в «Вопросах литературы» со статьей о свободном стихе, доказывая его правомерность, возможности развития и т. д.

Конечно, каждый русский поэт пробовал себя в свободном стихе. Свободный стих никогда не был под запретом, и нельзя говорить так, что вот сталинские времена прошли и свободный стих выходит из подполья.

Творческого удовлетворения большие поэты в свободном стихе не получили — вот секрет его малой популярности. Квятковский в своей статье не совсем добросовестно обошелся с Блоком, у которого свободные стихи составляют, вероятно, одну тысячную часть всех стихов...

Квятковский процитировал («Вопросы литературы», № 12, 1963 г., стр. 60, статья «Русский свободный стих»):

«К вечеру вышло тихое солнце,
И ветер понес дымки из труб.
Хорошо прислониться к дверному косяку
После ночной попойки моей.

Многое миновалось
И много будет еще,
Но никогда не перестанет радоваться сердце

Тихую радость
О том, что вы придете,
Сядете на этом старом диване
И скажете простые слова
При тихом вечернем солнце,
После моей ночной попойки.

Я люблю ваше тонкое имя,
Ваши руки и плечи
И черный платок.

Эти слова Блока — образец тончайшей лирической поэзии».

Мне кажется, что образцов, превосходящих это стихотворение, у Блока много — их 687 (!). По сравнению с остальными 687 стихотворениями это кажется лишь черновой записью, наброском, который превращен автором с помощью рифм в гораздо более тонкое стихотворение. Оно всем известно.

Знаю я твое льстивое имя,
Черный бархат и губы в огне,
Но стоит за плечами твоими
Иногда неизвестное мне.

И ложится упорная гневность
У меня меж бровей на челе:
Она жжет меня, черная ревность
По твоей незнакомой земле.

И, готовый на новые муки,
Вспоминаю те вьюги, снега,
Твои дикие слабые руки,
Бормотаний твоих жемчуга.

Это уж, что называется, «посвыше» опуса с вечерней попойкой.

(1963)

ПЕЙЗАЖНАЯ ЛИРИКА

В строгом смысле слова никакой пейзажной лирики нет. Есть разговор с людьми и о людском, и, ведя этот разговор, поэт смотрит на небо и на море, на листья деревьев и крылья птиц, слушает собственное сердце и сердце других людей.

Пейзажной лирики нет, но есть чувство природы, без которого поэт-лирик существовать не может.

Это чувство природы есть детская способность увлеченно беседовать с птицами и деревьями, понимать их речь, как понимал ее Маугли, и уметь переводить эту речь на язык человека.

Это чувство природы есть способность сосредоточить свои душевные силы на грозах и бурях, на солнечном свете, на шуме дальней реки, на тревожных красках заката. Все, что происходит в природе, замечается и измеряется: ему дается название с помощью сравнения, образа.

Для поэта нет мертвой природы — минерал и сорванный цветок полны живой жизни.

Это чувство есть способность найти в природе человеческое, найти то, что объединяет человека с внешним миром.

Когда пишется стихотворение, то кажется, что не только поэт живет жизнью камня, но и камень живет жизнью поэта.

Это чувство есть способность видеть в явлениях природы движение человеческой души, способность подсказать и угадать ход событий. Природа сама может иногда подсказать вывод, решение, суждение. Весь мир помогает выговориться поэту.

Внимательный взгляд на природу, включение времен года в размышление о добре и зле, иллюстрация картинками природы собственного душевного состояния или состояния других людей — величайшая изобразительная сила при выполнении этих задач — вот Тютчев — одна из вершин русской пейзажной лирики.

Это чувство природы есть способность восприятия пейзажа из первых рук — без шпательной живописи и подсказок художественной прозы. Однако в поэзии не пишут, как в живописи, пейзажей с натуры. Пейзаж здесь — картина по памяти; скорее создание пейзажа, чем отображение.

Антропоморфизм — без которого не обходится ни один поэт — это лишь элементарное, наиболее простое выражение чувства природы поэта.

Слезы дерева, плачущая метель — это первая ступень пейзажной лирики. Но, например, сравнение листопада с перелетом птиц есть форма более сложная. В бесконечности сравнений важно удержаться от «очеловечивания» прямого и вызвать волнение, удивление, радость необычностью, точностью сравнения, говорящего о зоркости

глаза. Эта зоркость и эта точность не находятся где-то далеко в неизведанных даях. Они — рядом с вами — в дождях и грозах. Надо только сказать о дожде лучше, подробнее того, что было сказано другими.

Горизонты пейзажной лирики бесконечны, кладовая природы неисчерпаема. Русская поэзия воспользовалась миллионной долей сокровищ этой кладовой.

Выразительность блоковского снега, тютчевских туч, державинского водопада не исключает обращения поэта к тем же самым тучам и снегу. Исследуя стихом природу, поэт находит в ней картины, которые сродни душевному настроению, душевной тревоге поэта. Если картины эти найдены, увидены и закреплены стихом — достигнуто главное. В этой работе сам стих помогает лучше видеть природу, точнее замечать ее изменения, ее бесконечную жизнь.

Работа над пейзажем для поэта не похожа на работу Клода Моне, который рисовал одни и те же деревья в разное время года в одной и той же перспективе.

Разное время года для поэта — это разное время души.

Пейзаж позволяет воскресить в памяти то, что поэт испытал и видел без всякого насилия над памятью. Все, что поэт заметил раньше, «незаметно» для самого себя, теперь является на бумаге, как непосредственное наблюдение.

Не надо требовать от пейзажа, чтобы он был населен людьми. Эти люди есть в любом пейзаже, где течет живая кровь стиха. Это — автор стихотворения и те люди, которые стояли рядом с ним на берегу реки или моря или на городском бульваре и чувствовали то же, что и автор. Разве в пейзажах Левитана нет человека? Разве в «пейзажной» музыке Чайковского нет человека?

Что самое главное в пейзажной лирике? Живая жизнь, живое чувство. Пейзаж, который не говорит по-человечески, — это еще не пейзаж и вряд ли годится для стиха.

Не только о деревьях, звездах и траве идет тут речь. Огромная часть природы — животные — остались как бы вне лирической поэзии. О животных пишут лишь баснописцы и детские поэты. О том, с какой силой добра, с какой душевной теплотой можно написать о животных, мы знаем от Есенина — поэта с обостренным чувством природы, знавшего единение с природой. Его березку, клен и собаку помнит каждый.

Зато многократно воспеты городские пейзажи Ленинграда, где архитектура выступает как поэт-лирик, а не только как исторический романист.

Именно в пейзажной лирике с особенной силой сказывается *чувство родины*, родной страны. Горы и леса родного края особенно дороги поэту. Они окружали его с детства, воспитывали его характер. Историк Ключевский много рассказал нам о влиянии географии на историю, на формирование характера русского человека. Это в равной степени относится ко всей мировой культуре, и вовсе незнакомые нам пейзажи Габриэлы Мистраль — пески, солнце и скалы Южной Америки — наделены огромной душевной силой, творческим вдохновением, которое угадывается даже сквозь неудачный перевод. Это — чужое, но не чуждое, и именно поэт сделал горы Южной Америки родными для русского читателя. Мистраль научила нас видеть Южную Америку, волноваться пейзажами другой страны.

Чувство природы, свойственное поэту-лирику, есть всегда чувство *родной* природы. Внимательная любовь, знание родных мест оставило нам и бунинскую темную зарю, и гулкие улицы «Медного всадника», и блоковские городские пейзажи, и пушкинское «очей очарованье».

Пейзажная лирика — вид гражданской поэзии.

Образы русской лирики, которые повторял в своем творчестве почти каждый большой поэт, — дорога, листопад, облака — ставшие классическими, традиционными, — это пейзажные образы.

Большие поэты России оставили нам такие образцы пейзажной лирики, которые сами по себе стали национальной гордостью, славой России, начиная с «Медного всадника» или «Осени» Пушкина.

В пейзажной лирике наиболее тесно ощутима связь поэта с его родными местами. Эта связь конкретна. Павлодарские пейзажи Павла Васильева не спутаешь с пейзажами Фета или с городской блоковской зимой. Каждый поэт написал строки, где видна география не только его страны, но области, края.

Велико воспитательное значение природы. Выступая в тесном союзе с природой, пейзажная лирика имеет большой воспитательный смысл и значение. Описанная поэтом природа живет в памяти людей, заставляет видеть мир лучше и подробней.

От грубого антропоморфизма поэты идут к точности, к подробности наблюдения. Дороги природы бесконечны. Точность наблюдения, точность называния, синхронность пейзажа и чувства — вот космос поэта. Сейчас

мало писать о птице и дереве. Надо писать о ласточке и лиственнице, может быть, даурской.

В поисках точности лирика ищет встречи с наукой.

Краски космических далей, которые видели космонавты, и ощущения, которые знакомы Гагарину и Титову, станут достоянием земной поэзии. Но именно эти межзвездные дали зовут взглянуться еще подробнее, еще внимательнее в прекрасную нашу Землю, которая создала людей, овладевших космосом.

Думается все же, что Луне, как части классического пейзажа, не грозят поэтические неприятности. В восприятии чрезвычайно важна личная встреча, знакомство воочию. Для того, чтобы космический пейзаж вошел в стихи полнокровно, полноправно и естественно, надо, чтобы космос стал повседневностью, теми буднями, где рождается и живет истинная поэзия.

1961

О СЛОВАХ «ТВОРЧЕСТВО», «ГЕНИЙ», «ЦИКЛ» И О т<ак> н<азываемой> «КНИЖНОСТИ». ЗАКОН «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»

В словаре литературной Москвы за время моего отсутствия появилось немало новых слов, которые раньше, в 20-е годы, применялись с большой оглядкой.

Я не люблю слова «творчество». Мне кажется, что его можно применить лишь в отношении работы великих поэтов, да и то не ко всем их произведениям.

В «Знамени» я безуспешно боролся, чтобы назвать цикл стихов «Работа и судьба», а не «Творчество», как настойчиво предлагала редакция.

Я робею перед этим словом. В двадцатые годы с этим термином обращались осторожнее. Я ведь вырос в двадцатые годы.

Тогда еще это слово не было ходовым словом газетчиков, применяемым к чему угодно и к кому угодно. Газета «Советский спорт» пестрит выражениями:

«автор гола»,
«творец гола»,
«создатель голевой ситуации».

Мне приходилось читать в одном журнале самотечные рукописи³¹. Среди многих перлов, которые там попадают-ся (а о «перлах» и о «законах самотека» я еще собираюсь написать статью — там много интересного), мне встрети-лась рукопись, с такой первой фразой:

«Девушка перечитала только что созданное ею пись-мо».

Лучше избегать такой ответственной терминологии. Слова «работа» достаточно.

Тем более что речь как раз идет о вещах и людях, (в большинстве случаев) очень далеко отстоящих от большо-го искусства.

«Творчество рабочих поэтов завода «Шарикоподшип-ник» — это слишком, чересчур.

Надо назвать сборник: «Стихи и рассказы рабочих поэтов», даже «Литературная работа молодых поэтов», но не «творчество».

Я требую уважения к слову «творчество». Предпочел бы обходиться без этого слова в ряде примеров.

«Просмотр» в поэтике, в литературном деле много, и пример с творчеством не единичен.

Применяют очень широко — до газетных заметок включительно — слово «творчество». В то же время наше литературоведение боится слова, которое тесным обра-зом связано с понятием «творчество».

В «Кратком словаре литературоведческих терминов» Тимофеева и покойного Венгрова — вовсе нет слова «ге-ний». В самом деле — зачем в искусстве слово «гений»? Никаких гениев не бывает (так шепчет словарь вам на ухо).

Неудачно также слово «цикл» применительно к сти-хам. А чем заменить это слово?

Еще можно принять цикл повестей Лермонтова «Ге-рой нашего времени», «Ожуровский цикл» произведений Горького, можно даже «Стихи о Кахетии» Тихонова на-звать циклом, но называть циклом стихотворений любую подборку любых стихов поэта в любом журнале только потому, что это — подборка, — конечно, неверно, непра-вильно.

«Цикл» — это тоже была «новинка» для меня при воз-вращении в Москву.

Название въелось в стихотворный быт, срослось с язы-ком.

И это название — после больших сомнений, отыскания

других вариантов, закрепил Пастернак в своем великолепном стихотворении «Ева».

Ты создана как бы вчерне,
Как строчка из другого цикла...

У Пастернака были большие сомнения, прежде чем он вернулся к этому первому варианту строфы.

* * *

В поэзии есть стихи и не стихи. Нет стихов более квалифицированных и менее квалифицированных.

В искусстве «нехудожественное» значит «антихудожественное».

Это и есть закон «все или ничего» применительно к искусству. А ведь это «что-то», что называется поэзией и чему, в сущности, нет названия. Но название может быть найдено, и все, например, определения, как они ни наивны, все служат одной цели — постижению тайны искусства.

За последние годы вышло много литературно грамотных книжек. Любителей поэзии много.

Большинство стихов этих не являются настоящими стихами. В стихах должно быть чуть-чуть побольше судьбы.

Много стихов книжных, и я думаю, работнику редакции непросто объяснять какому-либо молодому автору, чего именно не хватает в его книжных стихах.

Вообще говоря, я лично не представляю, какие логические обозначения нужны для разбора стихотворения автора. Как должен быть мотивирован отказ. Существуют ли убедительные формы отказа? Грамотных статей очень мало. За все последние годы лучшей была статья Коржавина в «Новом мире» несколько лет назад.

Мы очень мало обращаем внимания на «книжность» поэзии.

Между тем это недостаточно серьезно. У больших поэтов есть книжность — ярчайшие представители книжного стиха — это Мандельштам и Цветаева, — но у них у обоих сквозь книжность так ярко проступает судьба, так ярко чувствуется боль, что даже сам уход в книжность кажется стремлением защититься от этой боли.

Книжный ли поэт Пастернак? Поздний — безусловно не книжный. Но и в раннем Пастернаке <столько> ярко-

сти чувства, видения мира (я считаю термин «видение» в высшей степени удачным), свежести, наблюдаем то самое, что В. М. Инбер называла когда-то «неутомленным глазом», все это в высшей степени живо и в существе своем вовсе не книжно.

Однако существовало и другое мнение.

Я, например, беседовал с одним не то историком, не то археологом.

— Нет, не хвалите Пастернака. Это — не то. Там географию надо знать.

— Какую географию?

— Ну, Анды там всякие, Кордильеры.

Я вспомнил. Действительно, у Пастернака в «Сестре моей — жизни» были строки:

И таянье Андов вольет в поцелуй

и т. д.

Книжность у больших поэтов преодолевается —

у Мандельштама,
Цветаевой —

тем, что для обоих поэзия была судьбой, и это ярко выражено в каждом стихотворении.

А у Пастернака сквозь якобы книжность было всегда такое яркое, такое свежее восприятие мира, какого не было ни у одного русского поэта, кроме, может быть, Блока (который нами до сих пор не оценен как следует).

〈Конец 1950-х — начало 1960-х〉

О КНИЖНОСТИ И ПРОЧЕМ

Книжность не следует смешивать с энциклопедичностью знаний, со стремлением «быть с веком наравне».

Пушкин — книжный поэт или нет?

А ведь у него бесчисленное количество образов, имен в стихах из мифологии из самых традиционнейших оригиналов.

По сравнению с Некрасовым Пушкин кажется книжным поэтом. А он только богаче, шире, ярче Некрасова.

Обязательно ли поэту знать (не только чувствовать) природу. Быть ботанически грамотным, чтобы не называть травой разнообразные цветы — растений с тонким зеленым стеблем — миллионы.

Будущее поэзии — это точность, детальность.

Космос поэзии — это ее точность, подробность.

Этот космос безграничен.

Если для прозы будущее мне кажется литературой знающих людей — типа Экзюпери, который открыл нам воздух, то будущее поэзии — все точности.

За деревьями должен видеться не лес, а голубая кожа ольхи. Каждое растение должно быть названо по имени.

Тут дело не в ботаническом знании, осушающем стихи.

Я хорошо, мне кажется, чувствую природу, но я ботанически неграмотный человек. Хорошо чувствовать природу — это значит ее очеловечивать.

Солженицын жаловался, что он не знает ботанических названий тех растений, которые встречал. И я их не знаю. И Пастернак их не знал. Но старался узнать. Отличный орешник в его стихах — убедительный пример.

Игорь Северянин — принципиальный горожанин — и знать не хотел о траве; и о деревьях. Даже такая общая форма вызывала у него раздражение.

Шофер у Северянина едет «сквозь природу» («Фиолетовый транс»).

У нас была как-то Новелла Матвеева. Это — несомненно одаренная поэтесса. Только «не те книги читала», как говаривал Чернышевский когда-то.

Сказала о Пастернаке языком слушателей Литературных курсов:

«Стихи Пастернака написаны рукой, на пальцах которой надето множество драгоценных перстней. Вот переводчик Пастернак — это да!»

Уши Литературных курсов выступают из этой фразы явственно.

Пастернак открыл людям новый мир, и нечего бояться

(прозой для Новеллы Матвеевой служат ее песни), надеты на этой руке, открывающей окно в новый мир, перстни или не надеты.

Когда-то главврач Дебинской больницы т. Ильина (которая рекомендовалась так: я—сестра футболиста Ильина) просила меня—я уже кончал тогда срок, работал фельдшером в больнице: «Порекомендуйте мне что-нибудь читать».

Я говорю: «В библиотеке Хемингуэй есть, «Пятая колонна» и первые сорок восемь рассказов, чего ж лучше!»

Ильина: «Нет—Хемингуэй—это не чтение для меня. Мне нужен черный хлеб, а не предмет роскоши».

О Кафке. Читал только те два рассказа, которые были опубликованы в «Иностранной литературе». Надо думать, что это—самые плохие рассказы Кафки. По этим рассказам видно, что это писатель—гигант огромного роста.

Символические памфлеты, трактующие о судьбах мира и человека, возвращают нас к Гофману. Только фантастика Гофмана была нестрашной. Фантастика Кафки наполнена ужасом, как и его старшего современника Достоевского.

* * *

Стихи в жизни людей значат очень много.

Тяжелая раковая больная Вера Николаевна Клюева³²—автор словаря синонимов, профессор литературы, умерла во время чтения стихов Блока. Ей целую ночь читали Блока. Дочь читала. Умерла, как Петроний в Риме.

* * *

Говорят, что стихи должны быть ясными (мысль ясно изложена) и что это, якобы, их главное достоинство.

Я смотрю на дело иначе.

В поэзии главное—не ясность, а точность. Ясность и точность—вещи разные.

Как поступать с подтекстом, с символикой? С намеком, аллегорией?

Ведь язык—вовсе не так совершенен, как нам кажется.

Разве чувства не многообразней мысли, всего запаса слов?

Разве хватит запаса слов, чтобы, скажем, описать человеческое лицо?

Чувство богаче мысли, и одна из задач стихов — передать это чувство, пользуясь таким несовершенным аппаратом, как слово.

Именно потому, что чувства богаче мысли, — завоевания в этой области, поиски нового выражения, подробности — безграничны.

〈Начало 1960-х〉

ОКОНЧАНИЕ

Конечно, я все время думаю, чтобы стихи мои не были похожи на чьи-либо другие.

Надо совершенно ясно понять, что большие поэты никаких дорог не открывают. Напротив. По тем дорогам, по каким приходили большие поэты, ходить уже нельзя. Вот такие следы поэта, по которым нельзя ходить, и называются поэтической интонацией. Это относится и к прозе.

Пока не нашел новое — молчи.

Поэзия — бесконечна. В искусстве места хватает всем, и не надо тесниться и ссориться.

Рождается ли стихотворение из образа? Да, рождается. Но это вовсе не единственный путь рождения стихотворения.

Тут важно, чтобы образ был не литературен. Стихи не рождаются из стихов, сколько ни учишь. Стихи рождаются из жизни. Учиться надо затем, чтобы не повторить чужой дороги, не загубить свежее и важное наблюдение банальным языком или — что еще хуже — чужим языком.

Конечно, поэзия — дело очень трудное. Однако она имеет такие особенности, какие не имеет ни одно другое искусство. Не имеет и проза. Когда сравниваешь поэзию с прозой, я всегда вспоминаю строки «Спекторского» Пастернака.

За что же пьют? За четырех хозяек.
За их глаза, за встречи в мясоед,
За то, чтобы поэтом стал прозаик
И полубогом сделался поэт.

〈1960-е〉

КОЕ-ЧТО О МОИХ СТИХАХ

Я пишу стихи с детства. Мне кажется, что я всегда их писал — даже раньше, чем научился грамоте, а читать и писать печатными буквами я умею с трех лет.

В 1914 году я показал написанное мною антивоенное стихотворение классному наставнику, преподавателю русской литературы, Ширяеву — и удостоился первого в жизни публичного разгрома и уничтожения. Учитель русского языка раскритиковал мое стихотворение с позиции русской грамматики для русской прозы — вся инверсия была самым жестким образом осуждена и высмеяна. Я, семилетний мальчик, еще не умевший спорить, не мог напомнить Ширяеву пушкинских и лермонтовских цитат.

Я слушал молча. Мне все казалось, что совершена какая-то ошибка, что в мир стихов ворвались профаны, что вдруг все станет понятным всем.

Разумеется, столь жестокая публичная несправедливая критика вызвала только новый прилив моих поэтических сил.

Я издавал с товарищами в школе рукописный журнал с весьма оригинальным названием «Набат». Помещал там свои стихи, рассказы и статьи. Выступал с докладами о стихах — о Бальмонте, о Блоке.

Встреча с есенинскими сборниками, «Песнословом» Клюева, с «Поэзоантрактом» Северянина — самое сильное впечатление от столкновения с поэзией тех лет. Все мои старшие товарищи ругали эти книжки, но я понимал, что это — настоящие стихи, хотя и написанные по другим каким-то канонам, чем учили нас в школе — даже в литературных кружках.

В жизни моей не было человека, старшего родственника — поэта, школьного преподавателя, который открыл бы мне стихи. Нужно ведь для этого так немного: читать, читать, зачитываться до наркоза и потом искать причину этого гипнотического воздействия стихотворений.

Поэтому к Пушкину, Лермонтову, Державину я вернулся позднее — после Есенина, Северянина, Блока, Хлебникова и Маяковского.

Я продвигался ощупью, как слепой, от книжки к книжке, от имени к имени, то в глубь веков, то делая прыжок в современность — к крайнему модернизму, к кубистам и Крученых. Самостоятельно воспитывал доверие к самому себе.

Такой способ имеет свои преимущества, но и отрицательного тут очень много — потери времени на лишнее чтение, на поверженных кумиров.

Я поздно понял, что имеется Пушкин — величайший русский поэт. Что пока человек, живущий стихами, этого не поймет, — он сам еще не стал взрослым.

Я понял также, что Пушкин, как и Лермонтов, — поэты очень сложные и начинать приобщение к русской поэзии с этих двух имен нельзя. Не говоря уже о Тютчеве, Баратынском, Фете, не говоря о великих русских лириках XX века.

Я понял, что для приучения читателя к поэзии, к ее вопросам, к ее секретам, \langle для \rangle возбуждения интереса к ее чудесам нужно начинать с двух поэтов — Некрасова и Алексея Константиновича Толстого.

Только эти два поэта могут приоткрыть человеку, не имевшему дела с поэзией, дорогу в истинное царство поэзии.

С 1924 года я живу в Москве, пишу по-прежнему стихи, даже отдаю в редакции «Красной нови», «Красной нивы», получая, разумеется, отказы.

В 1927 году я послал несколько своих стихотворений в «Новый ЛЕФ», чья программа вызывала у меня симпатию, и неожиданно получил большое личное письмо от Н. Н. Асеева.

Н. Н. Асеев и есть тот человек, который всерьез оценил мои стихи. По ряду обстоятельств мне не пришлось завязать это знакомство, поддержать эту переписку. Но примерно через год — вне всякой связи с Н. Н. Асеевым и его письмом — я попал в ЛЕФовский кружок, которым руководил О. М. Брик, в Гендриков переулочек, и познакомился с одним из художников, бросившим искусство ради

журнализма,— Волковым-Ланнитом, тем самым, что написал сам книгу о Родченко, автором большой работы «Ленин в фотоискусстве».

Это было время горячих споров, горячих действий, время раскола «Нового ЛЕФа». В этом расколе я был на стороне С. М. Третьякова, а не Маяковского. Зимой 1928 года я бывал на М(алой) Бронной у С. М. Третьякова, переписывался с ним. Бывал и у Волкова-Ланнита.

Позднее вместе с Борисом Южаниным³³ я написал несколько скетчей для «Синей блузы».

Был на занятиях кружка конструктивистов при журнале «Красное студенчество», которым руководил Илья Сельвинский, еще называвшийся Элли-Карл.

От тех времен сохранила одна моя знакомая стихотворение «Ориноко» — реализм биографического материала в романтическом плане.

Во все эти кружки меня привлекала тогда, кроме желания чему-то научиться,— бесполезность борьбы с самим собой: бесполезность епитимьи, запрета, зарока — в отношении стихов — была понята мной очень быстро, и я перестал бороться сам с собой.

Ожидал только часа, когда написанное будет нужно кому-нибудь, кроме самого меня,— и будет новостью, открытием, чудом.

В тридцатые годы написано мною более сотни стихотворений: стихи эти не сохранились. Недавно дочь моих прежних знакомых напомнила о стихотворении «Желтый пепел мимоз», о котором я давно забыл.

Кроме желания постичь чудо искусства или тайны мастерства в литературных кружках того времени, литература того времени привлекала меня потому, что очень хотелось знать, какую жидкость наливают в черепную коробку поэтов — что это за люди? Как становятся поэтами? Кто стал поэтом?

Это был главный вопрос, привлечший меня в Гендриков переулочек к Маяковскому и Асееву, и на Малую Бронную к Третьякову, и на Солянку, 12, где занимался Сельвинский.

Разочарование было полным.

ЛЕФовские собрания, кружки, которыми руководил Брик (автор интересных оригинальных работ по исследованию ритма и синтаксиса русского <стиха> — автор работ основополагающих, как и все работы ОПОЯЗа³⁴, как работы Андрея Белого, Брюсова), превращались в обыкновенный балаган, где каждый приглашенный должен

был выводить на стол заранее заготовленные пошлые остроты, ругань по адресу Блока — ранняя традиция сражений Маяковского, и ругань по адресу Сельвинского — шла война с конструктивистами, и младшая братия подтаскивала снаряды к метателям копий.

Все это производило очень странное впечатление. Кто грубее, кто хулиганистее сострил — тот и победил на сегодняшнем вечере. Бриковский кружок был балаганом.

Недавно в «Правде» было описание какого-то хулигана, выступающего по американскому телевидению и отвечающего на вопросы зрителей и слушателей в хулиганской, оскорбительной форме. Тут нет ничего нового... Именно такая хулиганская форма ответов на литературных вечерах в лицо своему не столь хулиганскому противнику — просто более щепетильному, а не менее находчивому — и составляла содержание бесед Маяковского с публикой на ЛЕФовских литературных вечерах.

Остроты эти готовились заранее, и свой вклад всегда делали участники литкружка.

Позднее я задал себе вопрос: как могли так вести себя дома вожди ЛЕФовского движения? Ведь новички, неофиты, не остроты приходят слушать, а приходят потому, что их беспокоит что-то в коренных вопросах искусства, в вечных вопросах жизни.

Если поэт самое важное время оставляет для себя, — а в кружке, с молодежью, только отдыхает, острит и развлекается, то такой поэт забывает о впечатлении, которое неизбежно остается у всех людей, посещающих Гендриков переулок не для острот.

В это же время столкнулся я со стихами Пастернака. Это был сборник «Сестра моя — жизнь». Впечатление было очень большим. Читал я его в Ленинской библиотеке, в старом читальном зале Румянцевского музея.

В те времена не было ограничений на срок пользования, и я держал долго, желая переписать всю книжку. Но вдруг оказалось, что переписывать «Сестру мою — жизнь» не надо — я помню все наизусть. Тогда я стал собирать, выписывать на свой читательский билет все ранние издания футуристов — сборники «Центрифуги»³⁵ — и все сборники, где участвовал Пастернак. Я прочитывал не только стихи Пастернака, но и всех тех, которые участвовали с ним в ранних изданиях.

Каждое утро я приезжал в Ленинскую библиотеку. Я был столь исправным посетителем читального зала, что в каком-то году у меня был читательский билет № 1.

Получал все скопившееся — целую гору, которую надо было таскать на стол в два-три приема.

Однажды, во время сдачи книг, ко мне подошла девушка:

— Вот эти книги! Почему вы их задерживаете?

Я объяснил, что ограничений времени пользования нет, а вопрос меня интересует.

— А вы интересуетесь ранним футуризмом, ЛЕФом?

— Да, интересуюсь.

— А не хотите ли вы в ближайший четверг встретиться с О. М. Бриком в Гендриковом переулке?

Вот так я и попал в Гендриков переулок, был на нескольких «занятиях».

Разумеется, мои новые знакомые отрицали стихи, как и С. М. Третьяков.

Впечатление подлинной новизны, открытия нового мира в «Сестре моей — жизни» и в «Темах и вариациях» сохранялось неизменно. И «Лейтенант Шмидт» и «1905 год» — все принималось мной безоговорочно. В это время я познакомился с прозой Пастернака — с «Детством Люверс» и неудавшимися ему рассказами вроде «Черты Апеллеса».

В 1932 году Пастернак выпустил книжку «Второе рождение», — и эту книжку тоже мне не нужно было переписывать, чтобы запомнить.

В 1933 году Пастернак выступил в клубе 1-го МГУ на вечере своем с чтением стихов из «Второго рождения», с ответами на записки.

И хотя чтение Пастернака мало напоминало чтение мастеров сих дел (Пастернак позднее говорил, что его принцип с чтением — читать, как ритмизованную прозу), и чтение, и ответы, и сама внешность Пастернака были самыми подлинными. Это был самый подлинный поэт.

Знакомство это из глубины зрительного зала укрепило меня в моем решении вернуться к стихам. К этому времени уже печатались некоторые мои рассказы и очерки.

Я слышал и видел Пастернака и раньше не один раз — на литературных вечерах, но там он в шумливом ЛЕФовском обществе — терялся как-то.

Беседу Пастернака с читателями я услышал впервые на этом вечере в клубе 1-го МГУ.

В тридцатые годы написано мною несколько десятков стихотворений. Стихи не сохранились. Думаю, что они испытали влияние Пастернака. Это влияние тем более было опасно, что оно переплеталось, сливалось с влиянием

на меня поэта, с которым я только что познакомился, был увлечен его секретами очень сильно. Это был Иннокентий Анненский.

Вот с этой любовью к Анненскому и Пастернаку я и уехал на Дальний Север.

Я записываю свои стихи с 1949 года, весны 1949 года, когда я стал работать фельдшером лесной командировки на ключе Дусканья близ речки Дебин, притока Колымы.

Я жил в отдельной избушке — амбулатории и получил возможность и время записывать стихи, а следовательно, и писать.

Хлынувший поток был столь силен, что мне не хватало времени не только на самую примитивную отделку, не только на сокращения, но я боялся отвлекаться на сокращения. Писал я всюду: и дорогой — до больницы было по ключу двенадцать километров, и ожидая начальство, получая лекарства...

Едва заканчивалось одно стихотворение, как начиналось другое, дрожало в мозгу третье и четвертое. Обессиленный, с усталыми мышцами руки, я бросал работу.

Результаты вписывались в тетради, самодельные тетради из оберточной бумаги, а черновики шли в печку. Но черновиков было не очень много. Сами тетради эти были задуманы как большие черновики, к которым я когда-нибудь вернусь. У меня не было времени на отвлечения, на отделку, на простые сокращения, на композицию самую элементарную. Величайшей удачей, почти чудом, я считал самую возможность записи этих стихотворных строк, как ни неуклюже, как ни шатко были построены строфы, строки.

Работа над стихом проходит несколько стадий — даже в записи, не говоря уже о том, что идет подготовка в голове; копятыся впечатления, выбирается тема, генеральная тема. Поднимается вопрос, который мучает поэта и требует решения. Это бывает вопрос морали, а бывает, что и вопрос чисто технический, вроде нужной аллитерации, звукового повтора.

Неуловимо для самого себя копятыся в мозгу материалы. Процессы подготовки их к записи очень глубоки, бесконечно делимы, как атом... Нет конца в делениях впечатлений, уже попавших в мозг, в память, навсегда попавших... Что раньше войдет в стих — поэт не знает.

Когда пишется стихотворение, поэт не знает, какой строкой, какой строфой, каким чувством и мыслью он кончит.

Если не было бы накопления материалов, способных к бесконечному делению, к бесконечному изменению,— стихотворение не могло бы писаться — на бумагу внезапно выбрасывается запас накоплений после волевого усилия.

В этом — и возможность работы поэта над несколькими стихотворениями.

Вероятно, есть и еще более глубокие внутренние события, бесконечно делимые при поисках их причинности. Всегда оказывается, что какое-то ощущение, знание было еще раньше — в смутной, а подчас и не в смутной форме.

Если бы не были накоплены эти запасы, блуждающие в мозгу или остановленные чьей-то волей, ждущие своего часа,— стихотворение не могло бы писаться.

До записи какая-то основа есть в глубине мозга. Этот запас и дает возможность работать над несколькими стихотворениями сразу, не выкладываясь в первичный текст. Дает возможность при повторной работе над стихотворением возвращаться к тексту и теме. Получать новый текст.

В сущности, работа над *все*м сочиненным поэтом — постоянна. Стихотворения не пишутся одно за другим, а всегда, в каждой новой строчке переписывается все, сочиненное со дня рождения.

Все это — процесс еще до *шепота*, не только до записи, до выхода на бумагу.

Выход на бумагу, запись тоже имеет несколько стадий. Вероятно, для каждого поэта рабочий процесс разный.

У меня все — на бумаге. Это — особенность биографии, а не творческое преимущество.

Пока не запишешь, хоть наскоро (но неполными словами стихотворной строки!) не только нет гарантии, что запомнится что-то, хоть самое малое, хоть одна строчка,— в девяносто пяти процентах из доверенного памяти стихотворного текста не оставалось ничего — через несколько часов, а то и десяток минут. Все исчезало бесследно, невозвратно.

Я давно научился встающую в мозгу строку, строфу фиксировать на чем попало — на папиросной коробке, на обрывке газеты,— но мгновенно.

Возможно, что где-то в мозгу существует какой-то склад этих уже написанных стихотворений, уже почти созданных, почти родившихся. Забытые, вовремя не записанные стихи восстанавливать неизмеримо труднее, чем сочинить новое.

Может быть, этот запас «почти созданного» трансфор-

мируется в мозгу сам собой, помимо моей воли и выходит на волю в других стихотворениях.

Воля моя управлять этим складом «потока сознания» — не может.

Разорвать это пишущееся стихотворение необычайно легко. Достаточно отвлечений ничтожных — вроде покупки в магазине.

С другой стороны, пока не записана возникшая строфа, не может быть записана другая.

Поэтому в дороге я всегда вооружен карандашом, клочком бумаги, захожу на ближайшую почту и записываю. Трудность в том, что записать нужно не сокращенно, не стенографическими знаками, а полностью, разборчиво и ясно, хотя и карандашом. Перо тоже годится; но главное у меня — карандаш.

Ежедневно, возвращаясь домой, я переписываю все рифмованное, выгруженное из своих карманов, и или бросаю в мусорное ведро, или складываю в конверты, которые всю жизнь собираюсь разобрать, пересмотреть все, что там записал.

Соображения о прозе возникают точно так же, только свои дневные записи я выношу не в общие тетради, а в школьные ученические тетради. Их у меня много — и записанных, и готовых к работе.

Работа над прозой проходит тот же путь встречи с материалом, записи нового вопроса на клочок бумаги — ежевечерние перенесения дневных видений на школьные тетради.

Суть работы над прозой заключается в ритмизации сообщаемого, полного доверия к самому себе, к своему собственному вкусу в строении фразы — в удалении до всякой правки, до всякого контроля всего лишнего, всего пышного, всего, что мешает существу дела.

Навык должен быть такой, что при самом отборе в мозгу впечатлений, которые ищут выхода на бумагу, должен возникать первый, единственный, совершенный вариант.

Ничто не может быть улучшено. Угадать можно только один раз.

Всякие поправки сразу нарушают подлинность. Будет утрачен «эффект присутствия».

Возвращаюсь к стихам.

Мне кажется, что вывести второй раз на бумагу прерванное стихотворение, прерванное какой-то высшей причиной — вроде стука в дверь, почти невозможно. Пре-

рванные так мои стихи — утрачены невозвратно. Таких стихов — немало в моей жизни, но я как-то не интересовался судьбой этих нерожденных стихов. Может быть, кое-что и удалось бы возвратить дорогой ценой мучений, возникших бы в припоминании уже созданного, но утраченного.

Итак: в записи чрезвычайно большое значение имеет первая запись. Возникает повелительная потребность немедленно высказаться, излить этот поток на чем попало — на обрывке газеты, на обломке папиросной коробки, театральном билете, школьной тетрадке — если нет под руками более подходящего материала — общей тетради.

Запись на бумажке, на клочке газеты я и считаю первой стадией записи стихотворения.

Ежедневно, а не время от времени, я переношу сохраненные в карманах стихи в общую школьную тетрадь — стостраничную, линованную обязательно. Разные у меня были общие тетради. Постепенно я остановился на линованной. Это лучше, чем в клетку, и лучше, чем белая. Линейка вносит порядок, которого слишком много на миллиметровой бумаге, на бумаге в «клеточку». Бумага в клеточку чересчур геометрична, неприятна своей несвободой. Простая белая бумага, напротив, лишает мои стихи всякой опоры, мешает писать так отчетливо, что можно было бы потом легко разобраться в написанном. На белой бумаге не рассчитаешь ни почерка, ни количества строф. Всегда кажется, что можно дописать еще строфу или две строфы, еще чем-то дополнить страницу. В результате остается такая мелкая запись, в которой самому трудно разобраться.

Бумага в одну линейку — оптимальна для моего варианта, дающая и необходимую дисциплину, и достаточную свободу.

Ежедневно я переношу свои записи с бумажек в карманах — у меня нет рубашек без карманов — в общую школьную тетрадь самым разборчивым почерком.

Первую запись в общую школьную тетрадь я считаю истинной датой рождения стихотворения.

Эта первая запись всегда — либо в ближайшие дни, либо после — проходит и вторую стадию работы над стихотворением — правку, отделку, отбор.

По свойствам своей памяти и по обстоятельствам своей биографии я не могу вышептать, выходить стихотворение до окончательного варианта — первой записи,

как делали Мандельштам и Маяковский, у которых вся черновая отборочная работа проходила в мозгу.

Пастернак, чья работа по своей «технике» была резко отлична и от Мандельштама и от Маяковского, имел огромное количество черновиков, ничего не доверяя памяти. Без черновиков Пастернак только переводил — прямо держа перед глазами подстрочник.

Эти черновики Пастернак уничтожал, жег.

Когда Маяковский написал, что Пастернак пишет «озверев от помарок», — это в глазах Маяковского было примером, примером добросовестности, тщательности в отделке стихотворной строки.

На самом деле в помарках сказывалась величайшая неуверенность поэта в том, что он собирается сказать, и бесконечность мира, предложенного к отбору. Попытка настроить свой творческий передатчик на нужную волну. Я могу вернуться к этой первой записи и не сразу, но если не запишу — все будет утрачено безвозвратно.

Первая эта запись дает возможность отбросить заботы о судьбе стихотворения и перейти к записи нового стихотворения — опять в черновом виде, освобождает силы для работы над другим стихотворением.

Бывает так, что пишется несколько стихотворений кряду и крайне важно быстро их записать.

В общей тетради стихотворение записывается в его максимальном объеме. Все, что придет в голову в выбранном размере и ритме, все вносится на страницу тетради — мелко или крупно (если ночью), а то и совсем на ощупь. У меня есть несколько стихотворений, которые мне приснились с текстом окончательным, а есть и такие, которые оставили неуверенные следы в общей тетради, недостаточно определенны, нечетки.

Эта система существует у меня много лет. Именно первую запись, первое появление в общей тетради стихов заданного размера и ритма — хотя бы это была одна строфа, а стихотворение в окончательном виде напишется через год, я и считаю датой рождения стихотворения, находкой поэтической темы, поэтической новости.

Бывает и так, что к стихотворению я возвращаюсь после другого стихотворения или нескольких стихотворений и наибольший объем первого возникает у меня во втором случае.

Так было, например, со стихотворением «Утро стрелецкой казни». Иногда годы разделяют эти записи — первую от второй и вторую от третьей.

Все равно — истинной датой рождения стиха я считаю первую запись в общей тетради.

Таких случаев — возвращения к давно пройденному — у меня не много, все же примеры такой работы есть.

Я запретил себе возвращаться к давно написанным стихам. Потому что обнаружил, что первый вариант — самый лучший. Это наблюдение было подтверждено мною многократно.

Как бы квалифицированно ни отделявалось стихотворение — первый вариант всегда остается самым искренним — и притом единственной формулой автора для времени создания стихотворения, отвечающей его настроению, миропониманию, философии.

Первый вариант — самый искренний. В первом варианте всегда есть особая прелесть — это допущение и даже обязательность какой-то свободы — в ритме и размере поисков звуковых соответствий, разведка в смысл, работа на грани известного и неизведанного — и находки на этом пути.

Здесь огромную роль играет рифма, поисковый инструмент стиха. Это суть рифмы русской, ее свойства, обсуждаемые с Пастернаком в письмах моих еще с Колымы и личных встречах в конце 1953 года в Москве. По этому же вопросу написано мое стихотворение «Некоторые свойства рифмы», включаемое во все мои сборники.

Работа над стихотворением в этой второй отделочной стадии проходит при высшем напряжении контрольного какого-то механизма — не уступающего, а превосходящего реализацию потока вдохновения.

Здесь решаются и вопросы композиции, очередности строф, браковка, отсечение всего ненужного.

Проверка на звук, на мысль, на новизну.

В редких случаях — дополнительное дописывание.

Эту вторую стадию — очень важную — я когда-то выносил на отдельные листки или в отдельные тетради. Но это было слишком неэкономно и я приспособился, особенно если расстояние между первой и второй стадиями не велико по времени.

При отделке важно ведь быть в том настроении, в той же силе, идти в том же направлении, что и в момент записи потока слов в первый раз.

Я приспособился к работе, к окончательной отделке, к технике сокращений первой записи, тут же сокращая, исправляя, устанавливая очередность строф.

Иногда эти дополнения сделаны другим карандашом,

но это случай. Цифры, окруженные кружком,— это номер строфы в стихотворении и знак для самого себя, что работа над данным стихотворением кончена, его можно выписывать из тетради.

Чрезвычайно трудоемка эта вторая стадия работы. Стихотворение подвергается жесткой правке на глаз, на слух и на ум. Действуют все крученыховские предупреждения по части «сдвигологии» — все его советы принимаются.

Тут устраняется, выжигается огнем все, что может читателю напомнить стихи другого поэта.

Третья стадия работы над записью стихотворения — переписка на школьные тетради — обычные, которыми я пользуюсь для черновиков прозы. В этой стадии делается мало исправлений, разве что удаление каких-либо досадных, не замеченных ранее промахов. Стихотворение уже записано.

Впоследствии я заменил эту стадию перепиской на машинке.

Какая бы переделка ни ждала стихотворение в будущем, датой его рождения я считаю *первую запись в общую тетрадь*.

Казалось бы, почему датой рождения считать первую запись, а не время окончательной работы над стихотворением, время окончательной отделки, без которой стихотворение появиться в свет не может.

У меня есть важная причина для своего решения.

Именно в первой записи поэту является стихотворение в его неповторимом ритме, в его звуковом содержании — устанавливается определяющая ценность стихотворения.

Возникает впервые то настроение, то ощущение победы, преодоление чего-то важного в самом себе, возникает предчувствие победы над другими людьми.

Воспоминания об этом первом шаге мне слишком дороги. Может быть, из-за воспоминаний я и возвращаюсь потом к отделке, к чистке.

Стихотворение ведь нельзя повторить другим размером. Найденный ритм и размер входит в литературный паспорт стихотворения. Близкие по теме (поэтической теме) стихотворения возникают и в другом размере — обычно как «парное».

Вот эта оригинальность, первичность появления строфы отличается и от ощущений, с которыми работаешь над окончательным вариантом стихотворения, и от ду-

шевного состояния, которое бывает при работе над другим стихотворением.

В тетрадях моих есть несколько случаев записей стихов как бы измененным почерком, нетвердой рукой.

Это стихи, записанные во сне и в темноте,— чтобы включенный свет не прервал поток стихов.

Во сне рождены, написаны многие. Утром — запись в тетрадку.

Есть и рассказы, полностью написанные во сне. Рассказ «Три смерти доктора Аустино»³⁶ — в нем две журнальные странички, написан весь во сне... Утром я записал, не одеваясь, весь этот текст, не изменяя ни одного слова, ни одного абзаца...

Легко писавшиеся стихи не обязательно лучшие.

Очень легко писался «Аввакум в Пустозерске». Легко писался «Инструмент». А стихотворение «Как Архимед...» написано на подоконнике больничного барака в Барагоне в Якутии. Я просто отошел в сторону от процессии и записал стихотворение, несовершенство которого мне было очевидно в миг написания. Но сколько бы я ни пытался его улучшить целых семнадцать лет — из этих попыток ничего не выходит.

Неудача работы над «Архимедом» заставила меня хорошо проверить одну странную истину.

Когда в 1949 году я записывал в свои самодельные тетради все потоком, лишь бы фиксировать, лишь бы закрепить видимое, найденное, понятое, опозитизированное, — я понимал отлично, что эти «Колымские тетради» могут быть только черновиком, предварительным текстом с его малой ответственностью и техническими несовершенствами. Для самого себя было удивительным — как нетвердо встают слова, строфы и строки.

Иногда мелькала какая-то удачная строфа, строка — не больше. Потом эти рассыпающиеся буквы было удивительно трудно и необычайно для самого себя связать стихотворной строкой — чудо было и то, что я мог вообще писать в смысле физического действия, — а тут вдруг — стихи, вырывающиеся из-под пера, торопящиеся строчки.

Хорошо обдумав этот вопрос, я решил, что эти тетради будут черновиками. И я к ним когда-нибудь вернусь, как к запасу сырья, как к сырьевому складу.

Оказалось, что к этому запасу вернуться нельзя — ни в Калининской области, ни в Москве.

Гораздо легче написать новое стихотворение.

Именно тогда написал я стихотворение «Над старыми тетрадами». Стихотворение это отражает мои настроения при размышлении над «Колымскими тетрадами».

Лишний раз подтвердилось, что стихотворение может быть написано только один раз, может быть угадано только один раз.

Я не возвращался больше к «Колымским тетрадам» после неудачи с «Архимедом».

«Картограф», «Рублев», «Стланик», «Модница» — все эти стихи записаны в тетрадях 1949 года. Написаны эти стихи раньше, но когда — я сказать не могу, кроме «Модницы», которую я датировал по просьбе моего редактора 1940 годом. Это — условная дата, приблизительная.

Все стихи, датированные 1949 и 1951 годами, — приблизительные. Вместе с воспоминаниями я вписывал новые варианты. Главным моим грехом после воскресения из мертвых было неумение вовремя остановиться — поэтому стихи 1949—1950 годов многословны. Эти стихи привезены с Колымы в 1951 году, и сам я привез несколько сот стихотворений в ноябре 1953 года. Стихи были более укрепленные, более совершенные по сравнению с тетрадями 1949 года. Эти стихи составили первую мою «Колымскую тетрадь».

Первая «Колымская тетрадь» вручена Пастернаку в Москве 13 ноября 1953 года. Но и все пять последующих «Колымских тетрадей» не написаны в хронологической последовательности. В пятую и шестую тетради могут входить стихи — и 1950 года, 1951 и 1952 годов.

Истинная датировка моих стихов (включающая и все «Колымские тетради») проводилась мною только летом 1969 года по моим общим тетрадям, по заметкам в этих тетрадях.

Стихотворение датируется по первой записи, какой бы переделке далее стихи ни подвергались.

Впрочем, случаев переделок после работы над вторым, окончательным вариантом — не много.

Работу над окончательным вариантом, после того как удалось упорядочить и привести в единообразие способы записи, — стало возможно делать ближе по времени к первому варианту, чем я это мог делать раньше. Выгодой была общность настроения. Часто удавалось решить вопросы правки, композиции, отделки, тут же после черновика. Черновик превращался в беловик тут же. Так написаны стихи последних лет.

Каков вывод из всего, что я вспомнил?

Стихи, датированные 1949 и 1950 годами,—взяты мной из тетрадей, писанных летом 1949 года, зимой 1949/50 и летом 1950 годов. С осени 1950 года до осени 1951 года я писать стихов почти не имел возможности.

В 1951 году я меняю место работы и уезжаю на полюс холода в Оймякон, где и написан ряд моих стихов, вошедших и в сборники и в «Колымские тетради» («Камея», «Стрельцы» и т. д.).

В 1953 году мною привезена в Москву первая «Колымская тетрадь», «Синяя тетрадь» — названная так Пастернаком. Стихи из нее входили в разные мои сборники, но не очень много.

С декабря 1953 года по октябрь 1956 года я прожил в Калининской области. Решающее большинство стихов этих лет — реализация колымских впечатлений — записаны наново, а по поправке — стихов за 1949—1951 годы.

С возвращением в Москву в октябре 1956 года я отсекаю последней «Колымской тетрадью» «Высокие широты» — хотя в нее входят и стихи, написанные не на Колыме и даже посвященные не Колыме. Но у всех этих стихов есть какая-то тайная сердцевина, не очень четко понятая мною самим, что не дает возможности отчислить эти стихи от «колымского ведомства».

Далее с 1959 года написан ряд стихотворений — «Память», «Пень», которые иначе чем «постколымскими» назвать нельзя — нет. Это — стихи на колымские вопросы, которые Колымой поставлены, но не получили по разным причинам своевременно — хотя бы в Калининской области — ответа. Стихотворение «Бивень» — относится сюда же, «Горный водопад»...

Одновременно пишутся и стихи, выражающие новые мои впечатления; «Весна в Москве», «Голуби» — многочисленные московские стихи, вошедшие в сборник «Шелест листьев», — там больше всего московского.

Стихи всякого поэта — это поэтический дневник, дневник его души.

При установлении точной хронологии каждого моего стихотворения читателя ждет, мне кажется, убедительная картина мира.

За это же время пишется несколько важных для меня стихотворений общего плана; мое понимание природы много отличается от Пастернака, Фета и Тютчева. Выстраданное понимание природы.

В ряде стихотворений трактуются вопросы искусства. Эти стихотворения для меня выражение моей формулы связей жизни и искусства...

Написано несколько стихотворений чисто гражданско-го рода: «Прямой наводкой», «Гарибальди в Лондоне». Но у меня таких стихотворений мало.

Местом своим в русской поэзии, в русской жизни XX века я считаю свое отношение к природе, свое понимание природы.

Длительность многолетнего общения с природой один на один — и не в качестве ботаника — дает мою формулу поэзии.

Смотря на себя как на инструмент познания мира, как на совершенный из совершенных прибор, я прожил свою жизнь, целиком доверяя личному ощущению, лишь бы это ощущение захватило тебя целиком. Что бы в этот момент ни сказал — тут не будет ошибки.

Так и пишутся мои стихи — всегда многосмысленные, аллегоричные — и в то же время наполненные безусловной и точной, не замечаемой никем другим реальностью из бесконечного мира — еще не познанного, не открытого, не прочувствованного.

Общение с природой меня привело к выводу, что в человеческих делах нет ничего, чего не могла бы повторить природа, чего не имелось бы в природе.

Спиноза в «Этике» делит природу на природу оприродованную и природу природствующую.

Утверждаю, что понятие «природы природствующей» чуждо пейзажным стихам Пастернака и Фета.

Вопрос о «природе природствующей» всегда интересовал философов. Поэтов — также. У Мих(аила) Кузмина в сборник «Форель разбивает лед» даже включено стихотворение «Природа природствующая и природа оприродованная». Но Кузмин, человек городской, в качестве примера «оприродованной природы» находит лишь вывески на улицах.

Зачем искать зверей опасных,
Ревущих из багровой тьмы,
Когда на вывесках прекрасных
Они так кротки и милы.

Я пытался перевести голос природы природствующей — ветра, камня, реки — для самих себя, а не для человека.

Мне давно было ясно, что у камня свой язык — и не в тютчевском понимании этого вопроса, — что никакой пушкинской «равнодушной природы» нет, что природа в вечности Бога или против человека, или за человека — или сама за себя.

Я не разделяю мнения Пастернака о возвращении к Пушкину, глазной рифме.

Второй главной формулой моих стихов считаю: «Стихи — это судьба».

Даже если не было бы находок, нового взгляда на природу, мой поэтический дневник должен был дать ткань кровоточащую.

Без чистой крови нет стихотворений, нет стихотворений без судьбы, без малой трагедии.

Только величайшая искренность, величайшая отдача, капли чистой крови могут родить стихотворение.

Способность к познанию внешнего мира, которую мой рецензент Г. Г. Красухин назвал антропоморфизмом, мне не кажется полной формулой.

Антропоморфист — каждый поэт. Это — элемент поэтического творчества. Моя же формула гораздо сложнее — она объединяет понимание природы и судьбу. Универсализм этой формулы доказала моя работа над стихотворением «Хрусталь». Это — одно из программных моих стихотворений.

В том поэтическом дневнике, который я веду, — он состоит из всех моих стихов — фиксируется самая, может быть, существенная сторона моего бытия, с робким заглядыванием в будущее, неуверенным или уверенным — это в поэтическом смысле одно и то же — предсказанием, угадыванием будущего.

Одна из поэтических истин, найденная мной, — это наблюдение, что в мире нет таких явлений физического, духовного, общественного, нравственного мира, которые не могли бы быть отражены стихами.

Стихи — всеобщий язык, единственный знаменатель, на который делятся без остатка все явления мира. Любое явление природы может быть включено в борьбу людей.

За лучшими стихами всегда стоит аллегория, иносказание, подтекст, многозначность смысла. Ощущение, настроение, намек, полуфаза, интонация — все это область стиха, где разыгрываются сражения за душу людей.

ЛУЧШАЯ ПОХВАЛА

В моей жизни я получил две похвалы, которые я считаю самыми лучшими, самыми лестными. Одну — от Генерального секретаря Общества политкаторжан, бывшего эсера Александра Георгиевича Андреева, с которым я несколько месяцев вместе был в следственной камере Бутырской тюрьмы в 1937 году. Андреев уходил раньше меня, мы поцеловались, и Андреев сказал: «Ну — Варлам Тихонович, что сказать вам на прощанье: только одно — вы *можете* сидеть в тюрьме».

Вторую похвалу я получил почти через двадцать лет — в ноябре 1953 года, при встрече с Пастернаком в Лаврушинском переулке: «Могу сказать вам, Варлам Тихонович, что ваше определение рифмы как поискового инструмента — это пушкинское определение. Теперь любят ссылаться на авторитеты. Вот я тоже ссылаюсь — на авторитет Пушкина». Конечно, Борис Леонидович был увлекающийся человек, и скидка тут нужна значительная, но мне было очень приятно.

⟨1960-е⟩

О ПРОЗЕ

Лучшая художественная проза современная — это Фолкнер. Но Фолкнер — это взломанный, взорванный роман, и только писательская ярость помогает довести дело до конца, достроить мир из обломков.

Роман умер. И никакая сила в мире не воскресит эту литературную форму.

Людям, прошедшим революции, войны и концентрационные лагеря, нет дела до романа.

Авторская воля, направленная на описание придуманной жизни, искусственные коллизии и конфликты (малый личный опыт писателя, который в искусстве нельзя скрыть) раздражают читателя, и он откладывает в сторону пухлый роман.

Потребность в искусстве писателя сохранилась, но доверие к беллетристике подорвано.

Какая литературная форма имеет право на существование? К какой литературной форме сохраняется читательский интерес?

Последние годы во всем мире заметное место заняла научная фантастика. Успех научной фантастики вызван фантастическими успехами науки.

На самом же деле научная фантастика — всего лишь жалкий суррогат литературы, эрзац литературы, не приносящая пользы ни читателям, ни писателям. Научная фантастика не дает никаких знаний, выдает незнание за знание. Способные авторы произведений такого рода (Брэдбери, Азимов) стремятся лишь сузить зияющую пропасть между жизнью и литературой, не пытаясь перекинуть мост.

Успех литературных биографий, начиная от Моруа и кончая автором «Жажды жизни»³⁷, — тоже свидетельство потребности читателя в чем-то более серьезном, чем роман.

Огромный интерес во всем мире к мемуарной литературе — это голос времени, знамение времени. Сегодняшний человек проверяет себя, свои поступки не по поступкам Жюльена Сореля, или Растиньяка, или Андрея Болконского, но по событиям и людям живой жизни — той, свидетелем и участником которой читатель был сам.

И здесь же: автор, которому верят, должен быть «не только свидетелем, но и участником великой драмы жизни», пользуясь выражением Нильса Бора. Нильс Бор сказал эту фразу в отношении ученых, но она принята справедливо в отношении художников.

Доверие к мемуарной литературе безгранично. Литературе этого рода свойствен тот самый «эффект присутствия», который составляет суть телевидения. Я не могу смотреть футбольный матч по видеографу тогда, когда знаю его результат.

Сегодняшний читатель спорит только с документом и убеждается только документом. У сегодняшнего читателя есть и силы, и знания, и личный опыт для этого спора. И доверие к литературной форме. Читатель не чувствует, что его обманули, как при чтении романа.

На наших глазах меняется вся шкала требований к литературному произведению, требований, которые такая художественная форма, как роман, выполнить не в силах.

Пухлая многословная описательность становится пороком, зачеркивающим произведение.

Описание внешности человека становится тормозом понимания авторской мысли.

Пейзаж не принимается вовсе. Читателю некогда думать о психологическом значении пейзажных отступлений.

Если пейзаж и применяется, то крайне экономно. Любая пейзажная деталь становится символом, знаком и только при этом условии сохраняет свое значение, жизненность, необходимость.

«Доктор Живаго» — последний русский роман. «Доктор Живаго» — это крушение классического романа, крушение писательских заповедей Толстого. «Доктор Живаго» писался по писательским рецептам Толстого, а вышел роман-монолог, без «характеров» и прочих атрибутов ро-

мана XIX века. В «Докторе Живаго» нравственная философия Толстого одерживает победу и терпит поражение художественный метод Толстого.

Те символистские плащи, в которые Пастернак окутал своих героев, возвращаясь к идеям своей литературной юности,— скорее уменьшают, чем увеличивают силу «Доктора Живаго», повторяю, романа-монолога.

Ставить вопрос о «характере в развитии» и т. д. не просто старомодно, это не нужно, а стало быть, вредно. Современный читатель с двух слов понимает, о чем идет речь, и не нуждается в подробном внешнем портрете, не нуждается в классическом развитии сюжета и т. д. Когда А. А. Ахматову спросили, чем кончается ее пьеса, она ответила: «Современные пьесы ничем не кончаются», и это не мода, не дань «модернизму», а просто читателю не нужны авторские усилия, направленные на «закругление» сюжетов по тем проторенным путям, которые читателю известны из средней школы.

Если писатель добивается литературного успеха, настоящего успеха, успеха по существу, а не газетной поддержки — то кому какое дело, есть в этом произведении «характеры» или их нет, есть «индивидуализация речи героев» или ее нет.

В искусстве единственный вид индивидуализации — это своеобразие авторского лица, своеобразие его художественного почерка.

Читатель ищет, как и искал раньше, ответа на «вечные» вопросы, но он потерял надежду найти на них ответ в беллетристике. Читатель не хочет читать пустяков. Он требует решения жизненно важных вопросов, ищет ответов о смысле жизни, о связях искусства и жизни.

Но задает этот вопрос не писателям-беллетристам, не Короленко и Толстому, как это было в XIX веке, а ищет ответа в мемуарной литературе.

Читатель перестает доверять художественной подробности. Подробность, не заключающая в себе символа, кажется лишней в художественной ткани новой прозы.

Дневники, путешествия, воспоминания, научные описания публиковались всегда и успех имели всегда, но сейчас интерес к ним необычаен. Это — главный отдел любого журнала.

Лучший пример: «Моя жизнь» Ч. Чаплина — вещь в литературном отношении посредственная — бестселлер № 1, обогнавшая все и всяческие романы.

Таково доверие к мемуарной литературе. Вопрос: должна ли быть новая проза документом? Или она может быть больше чем документ.

Собственная кровь, собственная судьба — вот требование сегодняшней литературы.

Если писатель пишет своей кровью, то нет надобности собирать материалы, посещая Бутырскую тюрьму или тюремные «этапы», нет надобности в творческих командировках в какую-нибудь Тамбовскую область. Самый принцип подготовительной работы прошлого отрицается, ищутся не только иные аспекты изображения, но иные пути знания и познания.

Весь «ад» и «рай» в душе писателя и огромный личный опыт, дающий не только нравственное превосходство, не только право писать, но и право судить.

Я глубоко уверен, что мемуарная проза Н. Я. Мандельштам станет заметным явлением русской литературы не только потому, что это памятник века, что это страстное осуждение века-волкодава. Не только потому, что в этой рукописи читатель найдет ответ на целый ряд волнующих русское общество вопросов, не только потому, что мемуары — это судьбы русской интеллигенции. Не только потому, что здесь в блестящей форме преподаны вопросы психологии творчества. Не только потому, что здесь изложены заветы О. Э. Мандельштама и рассказано о его судьбе. Ясно, что любая сторона мемуара вызовет огромный интерес всего мира, всей читающей России. Но рукопись Н. Я. Мандельштам имеет еще одно, очень важное качество. Это новая форма мемуара, очень емкая, очень удобная.

Хронология жизни О. Э. Мандельштама перемежается с бытовыми картинками, с портретами людей, с философскими отступлениями, с наблюдениями по психологии творчества. И с этой стороны воспоминания Н. Я. Мандельштам представляют огромный интерес. В историю русской интеллигенции, в историю русской литературы входит новая крупная фигура.

Большие русские писатели давно чувствовали этот ущерб, это ложное положение романа как литературной формы. Бесплодны были попытки Чехова написать роман. «Скучная история», «Рассказ неизвестного человека», «Моя жизнь», «Черный монах» — все это настоящие, неудачные попытки написать роман.

Чехов еще верил в роман, но потерпел неудачу. Почему? У Чехова была укоренившаяся многолетняя привычка

ка писать рассказ за рассказом, держа в голове только одну тему, один сюжет. Пока писался очередной рассказ, Чехов принимался за новый, даже не обдумывал про себя. Такая манера не годится для работы над романом. Говорят, что Чехов не нашел в себе сил «подняться до романа», был слишком «приземлен».

К очерку никакого отношения проза «Колымских рассказов» не имеет. Очерковые куски там вкраплены для вящей славы документа, но только кое-где, всякий раз датированно, рассчитанно. Живая жизнь заводится на бумагу совсем другими способами, чем в очерке. В «Колымских рассказах» отсутствуют описания, отсутствует цифровой материал, выводы, публицистика. В «Колымских рассказах» дело в изображении новых психологических закономерностей, в художественном исследовании страшной темы, а не в форме интонации «информации», не в сборе фактов. Хотя, разумеется, любой факт в «Колымских рассказах» неопровержим.

Существенно для «Колымских рассказов» и то, что в них показаны новые психологические закономерности, новое в поведении человека, низведенного до уровня животного, — впрочем, животных делают из лучшего материала, и ни одно животное не переносит тех мук, какие перенес человек. Новое в поведении человека, новое — несмотря на огромную литературу о тюрьмах и заключении.

Эти изменения психики необратимы, как отморожения. Память ноет, как отмороженная рука при первом холодном ветре. Нет людей, вернувшихся из заключения, которые бы прожили хоть один день, не вспоминая о лагере, об унижительном и страшном лагерном труде.

Автор «Колымских рассказов» считает лагерь отрицательным опытом для человека — с первого до последнего часа. Человек не должен знать, не должен даже слышать о нем. Ни один человек не становится ни лучше, ни сильнее после лагеря. Лагерь — отрицательный опыт, отрицательная школа, растление для всех — для начальников и заключенных, конвоиров и зрителей, прохожих и читателей беллетристики.

В «Колымских рассказах» взяты люди без биографии, без прошлого и без будущего. Похоже ли их настоящее на звериное или это человеческое настоящее?

В «Колымских рассказах» нет ничего, что не было бы преодолением зла, торжеством добра,— если брать вопрос в большом плане, в плане искусства.

Если бы я имел иную цель, я бы нашел совсем другой тон, другие краски, при том же самом художественном принципе.

«Колымские рассказы» — это судьба мучеников, не бывших, не умевших и не ставших героями.

Потребность в такого рода документах чрезвычайно велика. Ведь в каждой семье, и в деревне и в городе, среди интеллигенции, рабочих и крестьян, были люди, или родственники, или знакомые, которые погибли в заключении. Это и есть тот русский читатель — да и не только русский, — который ждет от нас ответа.

Нужно и можно написать рассказ, который неотличим от документа. Только автор должен исследовать свой материал собственной шкурой — не только умом, не только сердцем, а каждой порой кожи, каждым нервом своим.

В мозгу давно лежит вывод, какое-то суждение о той или другой стороне человеческой жизни, человеческой психики. Этот вывод достался ценой большой крови и сбережен, как самое важное в жизни.

Наступает момент, когда человеком овладевает непреодолимое чувство поднять этот вывод наверх, дать ему живую жизнь. Это неотвязное желание приобретает характер волевого устремления. И не думаешь больше ни о чем. И когда <ощущаешь>, что чувствуешь снова с той же силой, как и тогда, когда встречался в живой жизни с событиями, людьми, идеями (может быть, сила и другая, другого масштаба, но сейчас это не важно), когда по жилам снова течет горячая кровь...

Тогда начинаешь искать сюжет. Это очень просто. В жизни столько встреч, столько их хранится в памяти, что найти необходимое легко.

Начинается запись — где очень важно сохранить первичность, не испортить правкой. Закон, действующий для поэзии, — о том, что первый вариант всегда самый искренний, действует, сохраняется и здесь.

Сюжетная законченность. Жизнь — бесконечно сюжетна, как сюжетны история, мифология; любые сказки, любые мифы встречаются в живой жизни.

Для «Колымских рассказов» не важно, сюжетны они или нет. Там есть и сюжетные и бессюжетные рассказы, но никто не скажет, что вторые менее сюжетны и менее важны.

Нужно и можно написать рассказ, неотличимый от документа, от мемуара.

А в более высоком, в более важном смысле любой рассказ всегда документ — документ об авторе, — и это-то свойство, вероятно, и заставляет видеть в «Колымских рассказах» победу добра, а не зла.

Переход от первого лица к третьему, ввод документа. Употребление то подлинных, то вымышленных имен, переходящий герой — все это средства, служащие одной цели.

Все рассказы имеют единый музыкальный строй, известный автору. Существительные-синонимы, глаголы-синонимы должны усилить желаемое впечатление. Композиция сборника продумывалась автором. Автор отказался от короткой фразы, как литературщины, отказался от физиологической меры Флобера — «фраза диктуется дыханием человека». Отказался от толстовских «что» и «который», от хемингуэевских находок — рваного диалога, сочетающегося с затянутой до нравоучения, до педагогического примера фразой.

Автор хотел получить только живую жизнь.

Какими качествами должны обладать мемуары, кроме достоверности?.. И что такое историческая точность?..

По поводу одного из «Колымских рассказов» у меня был разговор в редакции московского журнала.

— Вы читали «Шерри-бренди» в университете?

— Да, читал.

— И Надежда Яковлевна была?

— Да, и Надежда Яковлевна была.

— Канонизируется, значит, ваша легенда о смерти Мандельштама?

Я говорю:

— В рассказе «Шерри-бренди» меньше исторических неточностей, чем в пушкинском «Борисе Годунове».

Помните:

1) В «Шерри-бренди» описана та самая пересылка во Владивостоке, на которой умер Мандельштам и где автор рассказа был годом раньше.

2) Здесь — почти клиническое описание смерти от алиментарной дистрофии, а попросту говоря, от голода, того самого голода, от которого умер Мандельштам. Смерть от алиментарной дистрофии имеет особенность. Жизнь то возвращается в человека, то уходит из него, и по пять суток не знаешь, умер человек или нет. И можно еще спасти, вернуть в мир.

3) Здесь описана смерть человека. Разве этого мало?

4) Здесь описана смерть поэта. Здесь автор пытался представить с помощью личного опыта, что мог думать и чувствовать Мандельштам, умирая,— то великое равноправие хлебной пайки и высокой поэзии, великое равнодушие и спокойствие, которое дает смерть от голода, отличаясь от всех «хирургических» и «инфекционных» смертей.

Разве этого мало для «канонизации»?

Разве у меня нет нравственного права написать о смерти Мандельштама? Это — долг мой. Кто и чем может опровергнуть такой рассказ, как «Шерри-бренди»? Кто осмелится назвать этот рассказ легендой?

— Когда написан этот рассказ?

— Рассказ написан сразу по возвращении с Колымы в 1954 году в Решетникове Калининской области, где я писал день и ночь, стараясь закрепить что-то самое важное, оставить свидетельство, крест поставить на могиле, не допустить, чтобы было скрыто имя, которое мне дорого всю жизнь, чтобы отметить ту смерть, которая не может быть прощена и забыта.

А когда я вернулся в Москву, я увидел, что стихи Мандельштама есть в каждом доме. Обошлось без меня. И если бы я это знал, я написал бы, может быть, по-другому, не так.

Современная новая проза может быть создана только людьми, знающими свой материал в совершенстве, для которых овладение материалом, его художественное преобразование не являются чисто литературной задачей, а долгом, нравственным императивом.

Подобно тому, как Экзюпери открыл для людей воздух,— из любого края жизни придут люди, которые сумеют рассказать о знакомом, о пережитом, а не только о виденном и слышанном.

Есть мысль, что писатель не должен слишком хорошо, чересчур хорошо и близко знать свой материал. Что писатель должен рассказывать читателю на языке тех самых читателей, от имени которых писатель пришел исследовать этот материал. Что понимание виденного не должно уходить слишком далеко от нравственного кодекса, от кругозора читателей.

Орфей, спустившийся в ад, а не Плутон, поднявшийся из ада.

По этой мысли, если писатель будет слишком хорошо знать материал, он перейдет на сторону материала. Изменяется оценка, сместятся масштабы. Писатель будет изме-

рять жизнь новыми мерками, которые непонятны читателю, пугают, тревожат. Неизбежно будет утрачена связь между писателем и читателем.

По этой мысли — писатель всегда немножко турист, немножко иностранец, литератор и мастер чуть больше, чем нужно.

Образец такого писателя-туриста — Хемингуэй, сколько бы он ни воевал в Мадриде. Можно воевать и жить активной жизнью и в то же время быть «вовне», все равно — «над» или «в стороне».

Новая проза отрицает этот принцип туризма. Писатель — не наблюдатель, не зритель, а участник драмы жизни, участник и не в писательском обличье, не в писательской роли.

Плутон, поднявшийся из ада, а не Орфей, спускавшийся в ад.

Выстраданное собственной кровью входит на бумагу как документ души, преображенное и освещенное огнем таланта.

Писатель становится судьей времени, а не подручным чьим-то, и именно глубочайшее знание, победа в самых глубинах живой жизни дает право и силу писать. Даже метод подсказывает.

Как и мемуаристы, писатели новой прозы не должны ставить себя выше всех, умнее всех, претендовать на роль судьи.

Напротив, писатель, автор, рассказчик должен быть ниже всех, меньше всех. Только здесь — успех и доверие. Это — и нравственное и художественное требование современной прозы.

Писатель должен помнить, что на свете — тысяча правд.

Чем достигается результат?

Прежде всего серьезностью жизненно важной темы. Такой темой может быть смерть, гибель, убийство, Голгофа... Об этом должно быть рассказано ровно, без декламации.

Краткостью, простотой, отсечением всего, что может быть названо «литературой».

Проза должна быть простой и ясной. Огромная смысловая, а главное, огромная нагрузка чувства не дает развиваться скороговорке, пустяку, погребушке. Важно воскресить чувство. Чувство должно вернуться, побеждая контроль времени, изменение оценок. Только при этом условии возможно воскресить жизнь.

Проза должна быть простым и ясным изложением жизненно важного. В рассказ должны быть введены, подсажены детали — необычные новые подробности, описания по-новому. Само собой новизна, верность, точность этих подробностей заставят поверить в рассказ, во все остальное не как в информацию, а как в открытую сердечную рану. Но роль их гораздо больше в новой прозе. Это — всегда деталь-символ, деталь-знак, переводящая весь рассказ в иной план, дающая «подтекст», служащий воле автора, важный элемент художественного решения, художественного метода.

Важная сторона дела в «Колымских рассказах» подсажена художниками. Гоген в «Ноа-Ноа» пишет: если дерево кажется вам зеленым — берите самую лучшую зеленую краску и рисуйте. Вы не ошибетесь. Вы нашли. Вы решили. Речь здесь идет о чистоте тонов. Применительно к прозе этот вопрос решается в устранении всего лишнего не только в описаниях (синий топор и т. д.), но и в отсечении всей шелухи «полугонов» — в изображении психологии. Не только в сухости и единственности прилагательных, но в самой композиции рассказа, где многое принесено в жертву ради этой чистоты тонов. Всякое другое решение уводит от жизненной правды.

«Колымские рассказы» — попытка поставить и решить какие-то важные нравственные вопросы времени, вопросы, которые просто не могут быть разрешены на другом материале.

Вопрос встречи человека и мира, борьба человека с государственной машиной, правда этой борьбы, борьба за себя, внутри себя — и вне себя. Возможно ли активное влияние на свою судьбу, перемальываемую зубьями государственной машины, зубьями зла. Иллюзорность и тяжесть надежды. Возможность опереться на другие силы, чем надежда.

Автор разрушает рубежи между формой и содержанием, вернее, не понимает разницы. Автору кажется, что важность темы сама диктует определенные художественные принципы. Тема «Колымских рассказов» не находит выхода в обыкновенных рассказах. Такие рассказы — опошление темы. Но вместо мемуара «Колымские рассказы» предлагают новую прозу, прозу живой жизни, которая в то же время — преображенная действительность, преображенный документ.

Так называемая лагерная тема — это очень большая тема, где разместится сто таких писателей, как Солжени-

цын, пять таких писателей, как Лев Толстой. И никому не будет тесно.

Автор «Колымских рассказов» стремится доказать, что самое главное для писателя — это сохранить живую душу.

Композиционная цельность — немалое качество «Колымских рассказов». В этом сборнике можно заменить и переставить лишь некоторые рассказы, а главные, опорные, должны стоять на своих местах. Все, кто читал «Колымские рассказы» как целую книгу, а не отдельными рассказами, — отметили большое, сильнейшее впечатление. Это говорят все читатели. Объясняется это неслучайностью отбора, тщательным вниманием к композиции.

Автору кажется, что «Колымские рассказы» — все рассказы стоят на своем месте. «Тифозный карантин» — кончающий описание кругов ада, и машина, выбрасывающая людей на новые страдания, на новый этап (этап!), — рассказ, который не может начинать книги.

Применяемый и вставленный, публицистический по существу ткани «Красный крест», ибо значение блатного мира очень велико в лагере, и тот, кто не понял этого, — тот не понял ничего ни в лагере, ни в современном обществе.

«Колымские рассказы» — это изображение новых психологических закономерностей в поведении человека, людей в новых условиях. Остаются ли они людьми? Где граница между человеком и животным? Сказка Веркора или Уэллса «Остров доктора Моро», с его гениальным «чтецом закона», — только прозрение, только забава по сравнению со страшным лицом живой жизни.

Эти закономерности — новые, новые, несмотря на огромную литературу о тюрьмах и заключенных. Этим еще раз доказывается сила новой прозы, ее необходимость. Преодоление документа есть дело таланта, конечно, но требования к таланту, и прежде всего с нравственной стороны, в лагерной теме очень высоки.

Эти психологические закономерности необратимы, как отморожение III и IV степени. Автор считает лагерь отрицательным опытом для человека — отрицательным с первого до последнего часа — и жалеет, что собственные силы вынужден направить на преодоление именно этого материала.

Автор тысячу раз, миллион раз спрашивал бывших заключенных — был ли в их жизни хоть один день, когда бы

они не вспоминали лагерь. Ответ был одинаковым — нет, такого дня в их жизни не было.

Даже те люди высокой умственной культуры, побывавшие в лагере, — если не были раздавлены и уцелели случайно — старались воздвигнуть барьер шутки, анекдота, барьер, оберегающий собственную душу и ум. Но лагерь обманул и их. Он сделал этих людей проповедниками принципиальной беспринципности, и их огромная культура знания послужила им предметом для домашних умственных развлечений, для гимнастики ума.

Анализ «Колымских рассказов» в самом отсутствии анализа. Здесь взяты люди без биографии, без прошлого и без будущего, взяты в момент их настоящего — звериного или человеческого? И на кого идет материал лучше — на зверей, на животных или на людей?

«Колымские рассказы» — это судьба мучеников, не бывших и не ставших героями.

В «Колымских рассказах» — как кажется автору — нет ничего, что не было бы преодолением зла, торжеством добра.

Если бы я хотел другого — я нашел бы совсем другой тон, другие краски, применяя тот же художественный принцип.

Собственная кровь — вот что цементировали фразы «Колымских рассказов». Любой вопрос, который ставит жизнь, — а эти вопросы не только не разрешены, но даже не поставлены как следует. Память сохранила тысячи сюжетных вариантов ответа, и мне остается только выбрать и тащить на бумагу подходящий. Не для того, чтобы описать что-то, а затем, чтобы ответить. У меня нет времени на описание.

Ни одной строки, ни одной фразы в «Колымских рассказах», которая была бы «литературной», — не существует.

И еще: жизнь до сих пор хранит ситуации сказок, эпоса, легенд, мифологии, религий, памятников искусства (что немало смущало Оскара Уайльда).

Автор надеется, что в 33 рассказах сборника никто не усомнится, что это — правда живой жизни.

Подмена, преобразование достигались не только вмонтированием документов. «Инжектор» — не только пейзажная прокладка вроде «Стланика». На самом деле вовсе не пейзажная, ибо никакой пейзажной лирики нет, а есть лишь разговор автора со своими читателями.

«Стланик» нужен не как пейзажная информация, а как состояние души, необходимое для боя в «Шоковой терапии», «Заговоре юристов», «Тифозном карантине».

Это — 〈род〉 пейзажной прокладки.

Все повторения, все обмолвки, в которых меня упрекали читатели, — сделаны мной не случайно, не по небрежности, не по торопливости...

Говорят, объявление лучше запоминается, если в нем есть орфографическая ошибка. Но не только в этом вознаграждение за небрежность.

Сама подлинность, первичность требуют такого рода ошибок.

«Сентиментальное путешествие» Стерна обрывается на полуфразе и ни у кого не вызывает неодобрения.

Почему же в рассказе «Как это началось» все читатели дописывают, исправляют от руки не дописанную мною фразу «Мы еще рабо...»?

И как бороться за стиль, защитить авторское право?

Применение синонимов, глаголов-синонимов и синонимов-существительных, служит той же двойной цели — подчеркиванию главного и созданию музыкальности, звуковой опоры, интонации.

Когда оратор говорит речь — новая фраза составляется в мозгу, пока выходят на язык синонимы.

Необычайная важность сохранения первого варианта. Правка недопустима. Лучше подождать другого подъема чувства и написать рассказ снова со всеми правами первого варианта.

Все, кто пишет стихи, знают, что первый вариант — самый искренний, самый непосредственный, подчиненный торопливости высказать самое главное. Последующая отделка — правка (в разных значениях) — это контроль, насилие мысли над чувством, вмешательство мысли. Я могу угадать у любого русского большого поэта в 12—16 строках стихотворения — какая строфа написана первой. Без ошибки угадывал, что было главным для Пушкина и Лермонтова.

Вот и для прозы этой, условно называемой «новой», необычайно важна удача первого варианта. 〈...〉

Скажут — все это не нужно для вдохновения, для озарения.

Автор отвечает: озарение является только после непремного ожидания, напряженной работы, искания, зова.

Бог всегда на стороне больших батальонов. По Наполеону. Эти большие батальоны поэзии строятся и маршируют, учатся стрелять в открыти, в глубине.

Художник работает всегда, и переработка материала ведется всегда, постоянно. Озарение — результат этой постоянной работы.

Конечно, в искусстве есть тайны. Это — тайны таланта. Не больше и не меньше.

Правка, «отделка» любого моего рассказа необычайно трудна, ибо имеет особенные задачи, стилевые.

Чуть-чуть исправишь — и нарушается сила подлинности, первичности. Так было с рассказом «Заговор юристов» — ухудшение качества после правки было сразу заметно (Н. Я.)³⁸.

Верно ли, что новая проза опирается на новый материал и этим материалом сильна?

Конечно, в «Колымских рассказах» нет пустяков. Автор думает, может быть заблуждаясь, что дело все же не только в материале и даже не столько в материале...

У автора есть рассказ «Крест» — это один из лучших рассказов по композиционной законченности, по сути, принципы новой прозы соблюдены, и рассказ — получился, мне кажется.

Почему лагерная тема. Лагерная тема в широком ее толковании, в ее принципиальном понимании — это основной, главный вопрос наших дней. Разве уничтожение человека с помощью государства — не главный вопрос нашего времени, нашей морали, вошедший в психологию каждой семьи? Этот вопрос много важнее темы войны. Война в каком-то смысле тут играет роль психологического камуфляжа (история говорит, что во время войны тиран сближается с народом). За статистикой войны, статистикой всякого рода хотят скрыть «лагерную тему».

Когда меня спрашивают, что я пишу, я отвечаю: я не пишу воспоминаний. Никаких воспоминаний в «Колымских рассказах» нет. Я не пишу и рассказов — вернее, стараюсь написать не рассказ, а то, что было бы не литературой.

Это проза документа, а проза, выстраданная как документ.

(1965)

< О МОЕЙ ПРОЗЕ >

Вы всегда интересовались³⁹, что же стоит психологически за моими рассказами, кроме судьбы и времени?

Имеют ли мои рассказы чисто литературные особенности, которые дают им место в русской прозе?

Каждый мой рассказ — пощечина по сталинизму, и, как всякая пощечина, имеет законы чисто мускульного характера. Вы высказали желание, чтобы были написаны пять хороших отделанных рассказов вместо ста неотделанных, шероховатых.

В рассказе отделанность не всегда отвечает намерению автора. Наиболее удачные рассказы — написанные набело, вернее, переписанные с черновика один раз. Так писались все лучшие мои рассказы. В них нет отделки, а законченность есть: такой рассказ, как «Крест», записан за один раз, при нервном подъеме, для бессмертия и смерти — от первой до последней фразы. Рассказ «Заговор юристов» — лучший рассказ первого сборника, весь написан с одного раза.

Все, что раньше, — все как бы томится в мозгу, и достаточно открыть какой-то рычаг в мозгу — взять перо, — и рассказ написан.

Рассказы мои представляют успешную, сознательную борьбу с тем, что называется жанром рассказа. Если о том, как написать роман, я никогда практически не думал, то как написать рассказ, я думал десятки лет еще в юные годы. Сто рассказов остросюжетного характера были мною написаны в двадцатые годы, частично напечатаны («Три смерти доктора Аустино», «Вторая симфония Листа» и прочее). Сейчас я осуждаю пустяки, которыми

я тогда занимался. Но, наверное, была в этом необходимость школьных упражнений, экзерсисов. Я когда-то брал карандаш и вычеркивал из рассказов Бабеля все его красоты, все эти пожары, похожие на воскресение, и смотрел, что же останется. От Бабеля оставалось не много, а от Ларисы Рейснер⁴⁰ и совсем ничего не оставалось.

Так возникло одно из основных правил: лаконизм. Фраза рассказа <должна быть> лаконична, проста, все лишнее устраняется еще до бумаги, до того, как взял перо. Выбатывается своего рода автоматизм в том, что из бесконечного запаса, хранящегося в мозгу, отбирается в языковом смысле только то, что сможет принести пользу, никаких новых вариантов и сравнений, пестроты не возникает, — я мог бы тащить вон эту пестроту лишь как пародию. Так, в мозгу контролер, отборщик, который толкает ненужное бревно на сплав в сторону от узкого горла заводских пилорам. Я воспользовался таким несовременным сравнением <с> самой примитивной техникой — запанью; бревна приплывают после половодья, сплава, большинство погибли на дне, иные прибиты к берегу горной каменистой речки и либо позднее <их> столкнут в воду, или высохнут и не понадобятся навсегда. Но часто бревна отбирают, приводят багром в горловину лесозавода, пилорамы, перед которой плавают вполне кондиционные бревна, которые имеют право превращаться во фразы. Слова эти вески, плотны, кондиционны, отборщик сталкивает багром фразу за фразой на двигающуюся цепь пилорамы. Работа над словом началась. Распиловка бревна началась.

Для чего это сравнение, столь немодное в наш кибернетический век. Это показывает, что в отдел мозга — творчества не поступает ничего лишнего. Инвалидное бревно туда попросту не попадет. Словарь рассказа подготовлен еще до того, как рука взяла перо.

Конечно, берутся тысячи начал. И пока первая фраза не найдена, рассказ не может двигаться. Первая фраза, как и последняя, имеет большое значение — но это не новый рецепт для прозаика. Существует другой мой совет — в рассказе нет лишних фраз...

Пощечина должна быть короткой, звонкой. Можно мерить фразу и флюберовской мерой — длиной дыхания — что-то в этом физиологическом обосновании есть. Литературоведы неоднократно говорили, что традиция русской прозы — это лопата, которую нужно воткнуть в землю и потом выверотить наверх, извлечь самые глу-

бинные пласты. Таково их мнение <о> толстовской фразе. Мне такая традиция кажется ложной. Даже в прошлом у нас осталась короткая, звонкая пушкинская фраза, ничего общего не имеющая с этой лопатой, которой вынимают пласты. Пусть выкапыванием этих пластов занимаются экономисты, но не писатели, не литераторы. Для литератора такое выкапывание пластов кажется странным советом.

Фраза должна быть короткой, как пощечина,— вот мое сравнение.

В рассказе должна быть снята вся пышность.

В искусстве допустимо сравнение с другими родами — живописью, музыкой, чистота тонов заимствована мною у постимпрессионистов — у Гогена, у Ван Гога. Свой вклад в мой литературный стиль внесли и эти мастера. Чистота тона.

Каждый мой рассказ — это абсолютная достоверность. Это достоверность документа. Рассказ «Шерри-бренди» не является рассказом о Мандельштаме. Он просто написан ради Мандельштама, это рассказ о самом себе. При абсолютно достоверной документальности каждого моего рассказа я всегда имел в виду, что для художника, для автора самое главное — это возможность высказаться — дать свободный мозг тому потоку. Сам автор — свидетель, любым словом, любым своим поворотом души он дает окончательную формулу, приговор. И автор волен не то что подтвердить или отвергнуть каким-то чувством или литературным суждением, но высказаться самому, по-своему. Если рассказ доведен до конца, написан — такое суждение появляется. Для рассказа вовсе не нужно отделки. Вся отделка осталась за бортом рассказа. И хотя я все свои рассказы проговариваю, крича и волнуясь за каждую фразу, бывают и камни, и деревья, и реки, каждая со своим рассказом, — вся эта борьба является на бумагу как результат борьбы, равнодействующая многих сил — своих и чужих.

Одна из самых главных задач — это борьба с литературными влияниями. Когда-то мне доставляло немало хлопот — во время сюжетных стихов — ощущение вечных следов борьбы с такими писателями, как Амброз Бирс⁴¹, например. У нас его мало знают, но «Три смерти доктора Аустино» испытал явное влияние какого-то рассказа Бирса. Во влиянии опаснее, чем <само> влияние, — помимо собственной воли попасть в чей-то плен — материал драгоценный истрачен, а выясняется, что он напоминает что-

то чужое, то есть убивает рассказ. Искусство не терпит подражаний. В «Колымских рассказах» я уже не болел никакой подражательностью по двум причинам — во-первых, я был натренирован на любой чужой тон, который зазвенел бы как предупреждающий сигнал опасности при появлении в моем рассказе чего-то чужого. Такая простая философия. А во-вторых, и самых главных, я обладал таким запасом новизны, что не боялся никаких повторений. Материал мой спас бы любые повторения, но повторений не возникло, ибо квалифицированность, натренированность сказались, мне просто не было нужды пользоваться чьей-то чужой схемой, чужими сравнениями, чужим сюжетом, чужой идеей, если я мог предьявить и предьявлял собственный литературный паспорт.

Читатель XX столетия не хочет читать выдуманные истории, у него нет времени на бесконечные выдуманные судьбы. Живая трагедия, не парадокс, реальное предательство Оппенгеймера.

Или все уходит в словотворчество, в новый роман со всяческой свободой — и тут никто осуждать не вправе.

Либо — в фантастику, расцвет которой кажется странным, ибо любое научное открытие реальное много богаче, глубже, чем фантазии автора фантастического романа. Но все же авторы научной фантастики стремятся как бы встать (наравне) с требованиями времени, бежать за временем «петушком, петушком».

Из всего прошлого остается документ, но не просто документ, а документ эмоционально окрашенный, как «Колымские рассказы». Такая проза — единственная форма литературы, которая может удовлетворить читателя XX века.

Второе — здесь изображены люди в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию за-человечности. Проза моя — фиксация того немногого, что в человеке сохранилось. Каково же это немногое? И существует ли предел этому немногому, или за этим пределом смерть — духовная и физическая? В этом смысле мои рассказы — своеобразные очерки, но не очерки типа «Записок из Мертвого дома», а с более очерченным авторским лицом — объективизм тут намеренный, кажущийся, да и вообще — не существует художника без лица, души, точки зрения. Рассказы — это моя душа, моя точка зрения, глубоко личная, то есть единственная. Этой личностной точ-

кой зрения держится не только художественная литература. Нет мемуаров — есть мемуаристы.

Откуда все это возникает? Как это все происходит? Мне кажется, что человек второй половины двадцатого столетия, человек, переживший войны, революции, пожары Хиросимы, атомную бомбу, предательство, самое главное — венчающее все — позор Колымы и печей Освенцима, человек — а ведь у каждого родственник погиб либо на войне, либо в лагере, — человек, переживший научную революцию, — просто не может не подойти иначе к вопросам искусства, чем раньше.

Бог умер. Почему же искусство должно жить? Искусство умерло тоже, и никакие силы в мире не воскресят толстовский роман.

Художественный крах «Доктора Живаго» — это крах жанра. Жанр просто <умер>.

Как ни парадоксально звучит, но мои рассказы и есть, в сущности, последняя, единственная цитадель реализма. Все, что выходит за документ, уже не является реализмом, а является ложью, мифом, фантомом, муляжом. А в документе — во всяком документе — течет живая кровь времени.

Я ставил себе задачей создать документальное свидетельство времени, обладающее всей убедительностью эмоциональности. Все, что переходит документ, уже не имеет право поставить себя выше любой туманной сказки. На свете тысяча правд, а в искусстве — одна правда, — это — правда таланта. Поэтому мы прислушиваемся к пророчествам Достоевского. Поэтому нас захватывает и учит Врубель.

Для того чтобы существовала проза или поэзия — это все равно, искусство требует постоянной новизны. Только новизна — любой поворот темы, интонации, стиля — возможности изменений безграничны.

Художник черпает, и притом постоянно, вне зависимости от собственности, не только из методов «смежников» в лице архитекторов, музыкантов, живописцев, но и из науки, философии. Всё на равных правах ловится в этот невод, более похожий на запань лесозавода.

<Так же> черпает художник из газеты, из газетной работы. Надо только помнить, что газета и писательское творчество не только разные этажи литературной культуры, но разные миры. Если помнить, что художник судья, а не подручный, все будет хорошо. Масштаб сохранится, и газета не подавит, как это она сделала <с> Горьким

и Короленко. Хорошие писатели, творчеству которых газета нанесла непоправимый ущерб. Сергей Михайлович Третьяков пытался укрепить газету, дать газете приоритет. Ничего путного из этого не вышло ни у самого Третьякова, ни у Маяковского. «Мое лучшее стихотворение» и прочая агитация в пользу «литературы факта». Литература факта — это не литература документа. Это только частный случай большой документальной доктрины.

ЛЕФовцы в ряде статей советовали «записывать факты», «собирать факты». Но копить, «искать факты» в их газетном преображении, как это делали когда-то фактовики. Но ведь это — искажение, расчисленное заранее. Нет никакого факта без его изложения, без формы его фиксации.

Документальная проза будущего и есть эмоционально окрашенный, окрашенный душой и кровью мемуарный документ, где все — документ и в то же время представляет эмоциональную прозу. Тут задача простая — найти стенограмму действительных героев, специалистов, о своей работе и о своей душе. Какие-то следы такая проза всегда оставляла — вроде записок Бенвенуто Челлини. Но уже воспоминания Панаева такой прозой не являются — этот мемуар составлен по самому общеизвестному принципу: кто кого переживет, тот того и перемемуарит.

Нет литературного произведения, которое бы рождалось без формы. Какие бы мотивы ни лежали в основе толчка к творчеству — без формы произведение не рождается. Это бесспорный факт, по которому, конечно, нельзя судить о приоритете именно формы. Сам выбор формы может говорить о содержании. Но выбор, отбор, контроль — это уже вторичная стадия дела, а в основе у всякого художника ясный поиск чистой формы. Неопределенное чувство ищет выхода в стихи, в размер, в ритм или в рассказ. Дело художника — именно форма, ибо в остальном читатель, да и сам художник может обратиться к экономисту, к историку, к философу, а не к другому художнику, чтобы превзойти, победить, перегнать именно мастера, именно учителя. В «Жонглере» Каменского больше поэзии, чем в стихах Владимира Соловьева. Мысль, содержание губит стихи, и нужно было процедить мысль Соловьева через творческое сито Блока, чтобы явились «Стихи о Прекрасной Даме». «Двенадцать» — это именно поток действительности в новой сугубо форме — частушке. Что в аналогичном положении и аналогичном окружении привело к тем же методам, к тем же результа-

там такого антипода Блока, как Хлебников,— «Ночь перед Советами». Чем это не Блок?

Первоначальный творческий толчок исходит именно от формы, когда нет еще ничего ясного, определенного. А ведь закон поэзии основной в том, что поэт, садясь за стихи, не знает, чем он их кончит.

Знающий конец—это баснописец, иллюстратор. Тот же закон действует и в прозе. У нас с умилением цитируют <Флобера о> Бовари. Пушкин огорчился по поводу Татьяны—примеров такой несвободы в литературе миллион.

Даже Бунин, вовсе не поэт, и тот пытался эту очевидную истину выдать за философскую истину в стихах о Чехове «Художник». Все это надо написать прозой, прозой и вышло. Стихи о Чехове—статья прозаика, а если бы ту же мысль, вернее, то же чувство одел в слова поэт, то получились бы бубенцы.

Равнялись в строку, останавливались стихи, и видна была бы сразу каждая заминка стиха—звуковые законы ломают, диктуют, меняют содержание. Видно сразу, что содержание—дело вторичное, дело удачи, улова, вот его место. Такого же строгого рода существует закон и в прозе.

Почему я, профессионал, пишущий с детства, печатающийся с начала тридцатых годов, десять лет думавший над прозой, не могу внести ничего нового в рассказ Чехова, Платонова, Бабеля и Зощенко? Русская проза не остановилась на Толстом и на Бунине. Последний великий русский роман—это «Петербург» Белого. Но и «Петербург», какое бы колоссальное влияние ни оказал этот роман на русскую прозу двадцатых годов, на прозу Пильняка, Замятина, Веселого, это тоже только этап, только глава истории литературы. А в наше время читатель разочарован в русской классической литературе. Крах ее гуманистических идей, историческое преступление, приводящее к сталинским лагерям, к печам Освенцима,—доказали, что искусство и литература—нуль. При столкновении с реальной жизнью—это главный мотив, главный вопрос времени. Научно-техническая революция не отвечает на этот вопрос. Она и не может отвечать. Вероятностный аспект и мотивации дают многосторонние, многозначные ответы, тогда как читатель—человек—нуждается в ответе «да» или «нет», пользуясь той же двужаночной системой, которую кибернетика хочет применить для изучения всего человечества в его прошлом, настоящем и будущем.

Разумного основания у жизни нет — вот что доказывает наше время.

То, что «Избранное» Чернышевского продают за 5 копеек, спасая от Освенцима макулатуры, — это символично в высшей степени. Чернышевский кончился, когда столетняя эпоха дискредитировала себя начисто. Мы не знаем, что стоит за Богом, за верой, но за безверием мы ясно видим — каждый в мире — что стоит. Поэтому такая тяга к религии, удивительная для меня, наследника совсем других начал.

В прошлом всего только один писатель пророчествовал, предсказывал насчет будущего — это был Достоевский. Именно поэтому он и остался в пророках и в XX веке. Я думаю, что изучение русской, «славянской» души по Достоевскому для западного человека, над чем смеялись многие наши журналы и политики, привело как раз ко всеобщей мобилизации против нас после второй мировой войны. Запад изучил Россию именно по Достоевскому, готов был встретить всякие сюрпризы, поверить любому пророчеству и предсказанию. И когда шигалевщина приняла резкие формы, Запад поторопился отгородиться от нас барьером из атомных бомб, обрекая нас на неравную борьбу в плоскости всевозможной конвергенции. Эта конвергенция — $\langle a \rangle$ не охота тратить бесчисленное количество средств — и есть плата за страх, который испытывает Запад перед нами. Говорить, что конвергенции сработались, могут только авантюристы. Мы давно брошены Западом на произвол судьбы. Все действующие аппараты пропаганды — шептуны, и ничего больше. Атомная бомба стоит на пути войны.

В моих рассказах нет сюжета, нет так называемых характеров. На чем они держатся? На информации о редко наблюдаемом состоянии души, на крике этой души или еще на чем-то другом, чисто техническом.

Как и всякий новеллист, я придаю чрезвычайное значение первой и последней фразе. Пока в мозгу не найдены, не сформулированы эти две фразы — первая и последняя — рассказа нет. У меня множество тетрадей, где записаны только первая фраза и последняя — это все работа будущего. По обстоятельствам биографии, мне было удобно пользоваться обычными школьными тетрадями. Варианты, правка, вставки — слева, и все. Остальное — себе дороже.

Рассказ «Заговор юристов» был абсолютно новым. Легкость будущего мертвеца нигде в литературе не описа-

на. Все в этом рассказе — ново: возвращение к жизни безнадёжно и не отличается от смерти. Сыр, не доеденный зубами начальника СПО, капитана, столовая, хлеб, который я глотал, торопясь, чтобы не умереть, пока я не проглотил кусок.

Каждый писатель отражает время, но не путем изображения виденного на пути, а познанием с помощью самого чувствительного в мире инструмента — собственной души, собственной личности. Отношение, ощущение даёт в руки писателя безошибочный ориентир. Это — не ориентир для читателя, вернее, не обязательный ориентир. Но для самого писателя — его радар устроен в его собственной душе. Чем обусловлен этот радар, какие технические претензии и особенности имеет этот инструмент — не важно. Важно, что это — не иллюстративный отклик на события, а живое участие в живой жизни — не важно, с помощью писательского пера или в какой-либо другой форме.

Может быть писательское решение не писательских вопросов. Писатель остается писателем, даже если он не пишет, но если он пишет серьезно, его радар должен работать хорошо.

Ведь радар — это активное вмешательство в жизнь, а не только отражение жизни.

Для писателя действуют законы грамматики, законы языка, на котором он пишет.

Сейчас, после войны, наводят такого туману в зону профессиональную, в сущности, вполне постижимую область человеческой деятельности, что и спорить не стоит. Вас убивают какой-нибудь цитатой из Фомы Аквинского или «Повести временных лет», а вы должны знать, что, если не овладеете современным стилем, современным языком, современной идеей, — все, что вы сочините, будет фальшью.

Конечно, Чехов — большой писатель, но он не пророк — отходит, стало быть, от русской традиции, и сам себя чувствует неловко в общении с такими горлопанам, как Лев Толстой и Горький. Чехов — не горлопан, вот в чем беда. «Деревня» или «Степь» — это рассказы гуманиста реалистической традиции.

Реализм как литературное направление — это сопля, слюнявость; пытались прикрыть покровом благопристойности совсем не благопристойную жизнь. Ханжеский призыв запретить доступ секса в литературу лишь отделяет, отсекает художника реалистического направления от жи-

вой жизни. Просвещение по вопросам семьи не разрушает семью, которую разрушает семейная тайна, где в каждом браке скрыты тысячи сюрпризов самых зловещих. Просто государство из практических соображений не решалось осуществить фурьеристского идеала — отсечь детей от родителей, уничтожить семью как социальный институт буржуазного общества.

Продолжаем наш разговор, разговор о моей прозе.

«Колымские рассказы» — это поиски нового выражения, а тем самым и нового содержания. Новая, необычная форма для фиксации исключительного состояния, исключительных обстоятельств, которые, оказывается, могут быть и в истории, и в человеческой душе. Человеческая душа, ее пределы, ее моральные границы растянуты безгранично — исторический опыт помочь тут не может.

Право на фиксацию этого исключительного опыта, этого исключительного нравственного состояния могут иметь лишь люди, имеющие личный опыт.

Результат — «Колымские рассказы» — не выдумка, не отсебятина, не отсебятина — этот отсев совершен в мозгу, как бы раньше, автоматически. Мозг выдает, не может не выдать фраз, подготовленных личным опытом, где-то раньше. Тут не чистка, не правка, не отделка — все пишется набело. Черновики — если они есть — глубоко в мозгу, и сознание не перебирает там варианты, вроде цвета глаз Катюши Масловой — в моем понимании искусства — абсолютная антихудожественность. Разве для любого героя «Колымских рассказов» — если они там есть — существует цвет глаз? На Колыме не было людей, у которых был бы цвет глаз, и это не абберрация моей памяти, а существо жизни тогдашней.

«Колымские рассказы» — фиксация исключительного в состоянии исключительности. Не документальная проза, а проза, пережитая как документ, без искажений «Записок из Мертвого дома». Достоверность протокола, очерка, подведенная к высшей степени художественности, — так я сам понимаю свою работу. В «Колымских рассказах» нет ничего от реализма, романтизма, модернизма. «Колымские рассказы» — вне искусства, и все же они обладают художественной и документальной силой одновременно. Познавательная часть — дело десятое, для автора, во всяком случае. Познавательность, ценность ее — это как бы саморазумеющаяся важность и новизна. Даже в познавательной части «Колымских рассказов» — новая запись русской истории, самых скрытых и страшных

〈страниц〉 — от Антонова до Савинкова — от «Эха в горах» до «Исландской саги»⁴².

Память — это ленты, где хранятся не только кадры прошлого, все, что копили все человеческие чувства всю жизнь, но и методы, способы съемки. Вероятно, возможно при некотором, может быть, значительном напряжении вернуться к способу «Колымских рассказов» — и мозг будет выдавать лаконичные фразы.

Безусловно, возможно вернуть любое человеческое лицо, попавшее тебе на глаза в течение дня, вплоть до цвета халата какой-нибудь продавщицы. День может быть восскрешен во всех его подробностях. Я обычно 〈стремлюсь〉 как можно меньше запоминать, но глаз все ловит сам. И вспоминать вечером — страшно. Если это возможно за день, то возможно и за год, и за десять лет, за пятьдесят лет. Я стремился сохранить в памяти, не детство я могу вызвать — при достаточном одиночестве и надлежащих метеорологических условиях (давление, солнце, жара, холод — должны быть в какой-то оптимальной форме). Холод же так страшен, что может вспоминаться при любой температуре. Напротив, при холоде (дрожь озябших рук, окунание в холодную воду) — холод и не вспоминается. Обстоятельства жизни тут не вспоминаются, просто существует боль, которую надо снять. Это не имеет отношения к писательской работе. Окуная пальцы в холодную воду, разглядывая снег, на Колыму не вернешься. Колыма в моей душе в любой жаре. Вот чтобы ее фиксировать, нужно одиночество — городского типа, типа камеры Бутырской тюрьмы, когда городской шум, прибой лишь подчеркивают твою тишину, твое одиночество. Одиночества я никогда не боялся. Считаю одиночество оптимальным состоянием человека.

Написать ли пять рассказов, отличных, которые всегда останутся, войдут в какой-то золотой фонд, или написать сто пятьдесят — из которых 〈каждый〉 важен как свидетель чего-то чрезвычайно важного, упущенного всеми, и никем, кроме меня, не восстановимого. Этот второй случай отнюдь не требует меньшей работы, чем в случае пяти рассказов. А пять рассказов не требуют большего усилия на каждый рассказ. И в том, и в другом случае количество усилий нравственных, нервных, физических, духовных примерно одинаково. Речь идет только об очередности — и те и другие требуют разного настроения, разной подготовки, разной организации. Чему отдать предпочте-

ние... Вопросы настолько важны — все! — новы, что трудно отдать чему-либо предпочтение в очередности.

Что начать в 64 года? Лишний том или два добавить вслед «Артисту лопаты» или воскресить «Вологду»? Или закончить «Вишерский антироман» — существенную главу и в моем творческом методе, и в моем понимании жизни? Или написать пять пьес, которые вот-вот должны написаться? Или подготовить большой сборник стихов? Или гнать мемуарный том: Пастернак и так далее.

Конечно, работа над пятью рассказами при равной затрате времени потребует колоссального напряжения в работе над формой. Тут ничего нельзя выклеить, вымарать, поправить. Надо выдать совершенный текст. Вот это меня и пугает — напряжение иного, не стихотворного порядка.

Стихотворное напряжение — это опущен повод, когда конь сам найдет дорогу в таежной темноте. Результат записывается как самописцем — след коня потом правится, приводится в соответствие с человеческой грамматикой, и стихи готовы.

В прозе же типа «Колымских рассказов» эта правка остается за языком, за гортанью, за мыслью даже. Откуда-то изнутри проталкиваются на бумагу законченные фразы. Рассказы имеют свой ритм, конечно. Всякие — и те, что из ста пятидесяти, и те, что из пяти. Рассказ может быть импровизацией. Мой рассказ — документ — тоже импровизация. И все же он остается документом, личным свидетельством, личным пристрастием.

Я летописец собственной души. Не более.

Таких рассказов очень много. До ста пятидесяти сюжетов, как я помню, было записано, и все сюжеты новые, ибо новизну материала я считал главным, единственным качеством, дающим право на жизнь. Новизну истории, сюжета, темы. Новизну мелодии.

Как объяснить, что «Колымские рассказы» — рассказы на звуковой основе, что прежде чем вырвется первая фраза, прежде чем она определится, в мозгу бушует звуковой поток метафор, сравнений, примеров, чувство заставляет вытолкнуть этот поток на решетку мысли, где что-то будет отсеяно, что-то загнано внутрь до удобного случая, а что-то поведет за собой новые, соседние слова?

Для рассказа мне нужна абсолютная тишина, абсолютное одиночество. Я, горожанин, давно привык к городскому прибою, я считаюсь с ним не больше, чем на ка-

кой-нибудь даче в Гурзуфе. Но людей со мной не должно быть. Каждый рассказ, каждая фраза его предварительно прокричана в пустой комнате — я всегда говорю сам с собой, когда пишу. Кричу, угрожаю, плачу. И слез мне не остановить. Только после, кончая рассказ или часть рассказа, я утираю слезы.

Но это все внешнее.

У меня ведь проза документа, и в некотором смысле я — прямой наследник русской реалистической школы — документален, как реализм. В моих рассказах подвергнута критике и опровергнута самая суть литературы, которую изучают по учебнику.

Но и это — внешнее.

Трудность заключается в том, чтобы найти, почувствовать какую-то чужую руку, которая водит твоим пером. Если это рука человека — моя работа подражание, эпигонство. Если же это рука камня, рыбы и облака — то я отдаюсь этой власти, возможно, безвольно. Как тут проверить, где кончается моя собственная воля и где граница власти камня. Тут ничего нет мистического — обыкновенное общение поэта с жизнью.

Я пишу несколько вещей сразу. Двести сюжетов у меня записано в тетрадке, двести фраз начато. Я пишу утром ту фразу, которая бы более подходила к моему сегодняшнему настроению. Работаю только летом, зимой холод сжимает мозг. Я могу обманываться, быть может, лето — вопрос привычки, тренировки, как когда-то был табак с утра — папироса за папиросой, пока я не доводил мозг до нужной кондиции. Эта нужная кондиция и есть вдохновение, а скорей настройка аппаратуры, отрыв от повседневности, прыжок головой в рабочее настроение. Вдохновение как чудо, как озарение приходит не каждый день, и тут уж ты полностью бессилён остановиться в письме, останавливаешься при чисто мускульной усталости мускулов пальцев от карандаша. Ноют, как от рубки или пилки дров.

Но и это — внешнее.

Внутренним же является попытка разгадать самого себя на бумаге, выворотить из мозга, осветить какие-то дальние его уголки. Ведь я отчетливо понимаю, что в силах воскресить в своей памяти все бесконечное множество виденных за все шестьдесят лет картин — где-то в мозгу хранятся бесконечные ленты с этими сведениями, и волевым усилием я могу заставить себя вспомнить все, что я видел в жизни, в любой день ее и час моих шестидесяти

лет. Не за один прошедший день, а за всю жизнь. В мозгу ничего не стирается. Работа эта мучительна, но не невозможна. Тут все зависит от напряжения воли, от сосредоточения воли. Но дело в том, что напряжение иногда приносит ненужные картины — и для насыщения, удовлетворения, наполнения ежедневной страсти творческой достаточно немногих картин. Однажды не использованные картины опять наслаиваются, чтобы быть вызванными через десять или двадцать лет.

Управления памятью не существует, а художественная память, ее потребность много отличается от памяти научной. Я перестал давно пытаться навести порядок во всей своей кладовой, во всем своем арсенале. И не знаю, и даже не хочу знать, что в нем есть. Во всяком случае, если часть скопленного, малая, ничтожная часть хорошо идет на бумагу, я не препятствую, не затыкаю рот ручейку, не мешаю ему журчать. Творчески совершенно все равно — пишется ли публицистическая статья или поэма, или рассказ, или очерк, или роман, только напряжение должно быть определенного вида, вовсе не такого, который требуется для подбора материалов исторической работы, научной работы, литературоведческого произведения.

Из мозга все это выталкивается само — на манер толчка сердечной мышцы, — все это формируется внутри само, а всякое препятствие — причиняет боль. Потом головная боль стихает, но ты уже ничего не запишешь — родник иссяк.

Большая разница — ловить на бумагу, записывать, или наговаривать фразу на губах. Тут не один процесс, как бы два — смежных, но разных. На бумаге контроль столь же труден, поток трудно остановить — теряются находки, опаздываешь передать слово, чувство, оттенок чувства — вот почему не дописаны слова в рукописи — поток толкает письменную речь.

В предварительной звуковой отделке — без записи — процесс, очевидно, другой — там нет таких мучений, торможений, вырвавшихся слов, там само торможение считаю не столь важным элементом творчества, как в записи.

Лишний вариант отбрасывается, один остается и записывается. Это процесс другой явно. Малоэкономный — ибо в нем очень много потерь, которые исчезнут бесследно.

Я, как Тургенев, не люблю разговоров о смысле жизни, о бессмертии души. Считаю это бесполезным занятием. В моем понимании искусства нет ничего мистиче-

ского, что потребовало бы особого словаря. Сама многозначность моей поэзии и прозы — отнюдь не какие-то теургические искания.

Я считаю наиболее достойным для писателя разговор о своем деле, о своей профессии. И тут я с удивлением обнаруживаю в истории русской литературы, что русский и не писатель вовсе, а или социолог, или статистик, или все что угодно, но не внимание к собственной профессии, собственному занятию есть русский писатель. Тема писателя важна лишь Чернышевскому или Белинскому. Белинский, Чернышевский, Добролюбов. По журналистским понятиям, каждый ничего не понимал в литературе, а если и давал оценки, то применительно <к> заранее заданной политической пользе автора. Вот так и хвалят такого писателя, как Толстой. А Пушкин был бы унижен анализом «Евгения Онегина» как «энциклопедии русской жизни».

Думать о том, что стихи могут иметь познавательное значение, — это оскорбительно невежественная точка зрения.

Поэзия неизмеримо сложнее социологии, сложнее «да» и «нет» прогрессивного человечества, сложнее Некрасовских стихов. Некрасов сам был сужением русской поэзии. Сцена на его похоронах не делает чести русскому обществу. Если в стихе ищут познавательного значения, то нормальный человек обратится к истории культуры, литературы, просто к историку, будет статьи археолога читать, как роман. Но принижать «Евгения Онегина», ища в нем каких-то совпадений с научным выводом историка, — это и безнадежно, и оскорбительное для поэта суждение.

Ученый, который в своей научной <работе> цитирует какие-то строки то Гельдерлина, то Гете, то античных авторов, доказывает только, что он обращается только к содержанию, к мысли, отвергая самую душу, самую суть поэзии. Какое же тут сближение. Так называемая научная поэзия — это список второстепенных имен от Бернара до Брюсова. В Гомере ищут не гексаметры, а прозаический, смысловой отрывок, а действительный подтекст поэзии непереводим — ничего другого у Гомера и взять нельзя. Жуковский перевел нам Шиллера, но ведь это не Шиллер, а создание русских стихов на заграничном материале, гениальное, вроде «Замка Смальгольм»⁴³.

Норберт Винер приводит цитаты из поэтов и философов. Это делает честь эрудиции кибернетиков, но при

чем тут поэзия. Надо ясно понять, что границы языка, языковые барьеры — непреодолимы. Или надо подменить суть и душу ее (внешним) выражением, ни за что не отвечая, никого ничему на переводе не уча. Ученый не может приводить цитаты из поэтического произведения, ибо это разные миры. То, что для поэзии было подсобной задачей, случайной обмолвкой, то ученый подхватывает, включает в свою антипоэтическую аргументацию.

Для поэта философская обмолвка — все это попутно, производно в результате его главной работы с чисто звуковым материалом.

Считается модным, как в средние века, «капелька латыни» украшает человека — это мы знаем из средневековья, а также из бурных дискуссий двадцатых годов. Ландау выступает с цитатой из Виньона, а Винер — из Гете, Оппенгеймер — из каких-то средневековых французских поэтов, — все это очень эффектно, но мало имеет отношения к поэзии и к науке и скорее наносит вред поэзии, затемняя ее истинную сущность, затемняя психологию творчества...

Наука, искусство и поэзия — миры несходные, это параллели, которые не пересекаются ни у Эвклида, ни у Лобачевского.

Поэзия настолько далека от науки, насколько творческая проза отлична от научной. В поэзии нет прогресса никакого. Поэзия непереводаема, не поддается прозаическому изложению. Те намеки, обмолвки, которыми оперируют в поэзии, научным методом не постичь. Да, наука в структурном смысле — присутствует, но ведь эта работа обречена на бесплодие, на отсутствие выводов. Поэзия — непостижима, хотя, конечно, существует и частотный словарь, и метрические особенности.

Поэзия скальдов, как она доходит до нас, — и не есть ли это литературоведческий гипнотизм?

Литература никак не отражает свойства русской души, никак не предсказывает, не показывает будущего. Литература менее всего футурология, к сожалению.

(1971)

ПИСЬМА



ПИСЬМА К Б. Л. ПАСТЕРНАКУ

24-ХП-52. Кюбюма.

Дорогой Борис Леонидович.

Только неделю назад Ваше чудесное летнее письмо оказалось в моих руках. Я проехал за ним полторы тысячи километров в морозы свыше 50°, и только позавчера я вернулся домой. Спасибо Вам за сердечность, за доброту Вашу, за деликатность — словом, за все, чем дышит Ваше письмо — такое дорогое для меня тем более, что я вполне готов был удовлетвориться сознанием того, что Вы познакомились с моими работами, и видел в этом чуть не оправдание всей своей жизни, так угловато и больно прожитой. Я так боялся, что Вы ответите пустой, ненужной мне похвалой, и это было бы для меня самым тяжелым ударом. Я хотел строгого суда, без всяких и всяческих скидок на что бы то ни было. Я и сейчас еще не знаю — есть тут скидки или нет. Я ведь не так уж ждал и ответа. Я послал их потому, что в жизни есть всегда какое-то неисполненное обещание, неслеланный поступок, неосуществленное намерение и боязнь раскаяния в том, что обещание, поступок, намерение — не выполнено. Я ощутил долг перед собственной совестью, беспокойство душевное — что я не могу ничем, кроме простого и показавшегося бы странным письма, благодарить Вас за все то хорошее, чистое и прямое, что было в Ваших стихах и освещало мне дорогу в течение многих лет.

Я видел Вас один раз в жизни. Не то в 1933 или в 1932 году в Москве в клубе МГУ Вы читали «Второе рождение», а я сидел, забившись в угол, в темноте зала, и думал, что счастье — вот здесь, сейчас — в том, что я вижу на-

стоящего поэта и настоящего человека — такого, какого я представлял себе с тех пор, как познакомился со стихами. Всего за несколько лет я был огорошен и подавлен строками: «Февраль. Достать чернил и плакать. Писать о феврале навзрыд...» и т. д. Я волновался и не понимал, какую силу и глаз надо иметь, чтобы написать такие стихи. И с того времени каждая Ваша строка, бывшая в печати, привлекала и тревожила меня.

Стихи я пишу давно, с детства, но, кажется, никогда показывать их кому-либо не пробовал и впервые показал вот Вам. Все, что было написано раньше, — безвозвратно потеряно, да мне и не жаль тех стихов. Мне жаль стихов последних лет — их растеряно немало и только десятая, может быть, часть показана Вам.

Позднее, когда я встретился со стихами Анненского и они стали очередным откровением для меня, мне было ясно, что поэтические идеи Анненского близки Вашим. Вы пишете о влияниях. Я никогда как-то не доверял этому понятию. Мне казалось, что в ряде случаев (и в моем также) дело не во влиянии, а в исповедовании одной и той же веры. Влияние — это порабощение, а единоверие — это свобода.

Я всей душой согласен с Вами, что писание стихов как самоцель — чужь. Но ведь как рождалось-то и росло: игра, в которой ощущаешь силу, голос старых мастеров, слушая который перехватывает дыхание, топотанье стихов в мозгу — такое неотвязное, что легче становится только тогда, когда запишешь их, мир, который с каждым годом все покорнее ложится на бумагу.

А потом — ведь с юности думалось, как бы послужить людям, принести хоть какую-нибудь пользу, недаром прожить жизнь, сделать что-то, чтобы люди были лучше, чтобы жизнь была теплей и человечней. И если чувствуешь в себе силу сделать это стихами, в искусстве — тогда все другие пути теряются в тумане и все становится не важным, подчас и сама жизнь. Так много растеряно, брошено, убито, не достигнуто, и только самое дорогое пронесено через всю жизнь: любовь к жене и стихи.

К тому же я верю давно в страшную силу искусства, силу, не поддающуюся никаким измерениям и все же могучую, ни с чем не сравнимую силу. Вечность этих Джоконд и Инфант, где каждый находит свое смутное, не осознанное и волнующее, и художник, умерший много веков назад, силой своего искусства воспитывает людей до сих пор, — что может быть завидней такой силы и какое счастье

может ощущать тот, кто положил свой камень в это вечное здание. Я никого ни с кем не сравниваю, я снимаю понятие масштабов.

И как бы ни была грандиозна сила другого поэта — она не заставит меня замолчать. Пусть в тысячу раз слабее выражено виденное мной — это впервые сказано. Я счастлив оттого, что я понимаю, ощущаю, как писалась эта картина, я понимаю волнение художника и завидую ему, понимаю его душу, понимаю, как он говорил с жизнью и как жизнь говорила с ним. И больше того: я глубоко убежден, что искусство — это бессмертие жизни. Что то, чего не коснулось искусство, — умрет рано или поздно.

Может быть, Вам смешно читать эти наивные строки. Я ничего не понимаю в теоретической стороне дела. Я просто объясняю Вам — почему я пишу стихи. Притом я уже ничего не могу с собой сделать — то, что заставляет брать карандаш и бумагу, — сильнее меня. Притом я смею надеяться, что все написанное мной — меньше всего литература.

Я пишу и не вижу конца всему тому, что мне хочется сказать и рассказать Вам. Вижу у себя тысячи недостатков, кроме указанных Вами, но все же написанное мною — стихи, и общение с жизнью на этой дороге — оправдано.

Вы говорите много верного, но кое в чем я не могу согласиться с Вами. И прежде всего — о зачеркивании прошлого, Ваших прошлых работ. Этот мотив переполняет Ваши последние сборники, и, стало быть, я знал это и раньше Вашего письма. Не чересчур ли жестоко это отречение? Я понимаю, что строгий мастер растет и живет, отрицая и уничтожая самого себя, но я помню, знаю и другое. Ведь я знаю людей, которые жили, выжили благодаря Вашим стихам, благодаря тому ощущению мира, которое сообщалось Вашими стихами — именно теми, которые предаются сейчас сожжению. Думали ли Вы об этом когда-нибудь? О людях, которые остались людьми только потому, что с ними были Ваши слова, Ваши рисунки и мысли? Что стихи читались, как молитвы. Не в том дело, что «ученики» брошены: стихи-то ведь живут и без Вас. К тому же это вовсе не ученики. Но была же в стихах этих такая жизнь и сила, которая, повторяю, людей сохранила людьми.

Второй вопрос — это ассонирующая рифма. Тут, мне кажется, Вы не правы — ибо рифма ведь не только крепь

и замок стиха, не только главное орудие, ключ благозвучия. Она — и главное ее значение в этом — инструмент поисков сравнений, метафор, мыслей, оборотов речи, образов — мощный магнит, который высовывается в темноту, и мимо него пролетает вся вселенная, оставляя в стихотворении ничтожнейшую часть примеренного. Она — инструмент выбора, она — орудие поэтической мысли, орудие познания мира, крючок невода — стихотворения. И нет, мне кажется, надобности во имя только благозвучия отсекал заранее часть невода. Добыча будет беднее. Зачем отказываться от ассонанса? Стих он держит хуже, конечно, чем полная рифма, но держит. Только бы дело не шло к увлечению рифмой, к серебрению, золочению этих крючков.

Но, с другой стороны, составные рифмы казались мне инородным каким-то телом в стихе, фокусом. Глагольные рифмы тоже в определенных случаях стих могут держать хорошо.

С письмом меня торопят — уезжает машина — здесь ведь все оказией. Поэтому простите меня за сбивчивость и торопливость.

Спасибо Вашей жене за теплый отзыв о моих записях. Она все же не права, ибо я вовсе не ищу одобрений. Я знаю сам, что я — в воротах поэзии, и как бы ни был труден этот решающий шаг — он будет сделан.

У меня немного осталось. Когда-то было много планов и ощущение возможности кое-что сделать. Я много ошибался, путал и искал синюю птицу не там, где она была.

Двадцатые годы я был в Москве юношей, и триумф конструктивизма наблюдал я с удивлением и тоской. Ведь среди них не было поэтов. Багрицкий только, может быть. Сельвинский нигде, ни в чем, ни в одной строке не был поэтом, и на его работах особенно тягостно ощутил я весомость версификации.

Впервые в Вашем письме услышал я живое осуждение конструктивизма с позиций подлинной поэзии, осуждение по существу. «Во весь голос» в этом плане был только выражением борьбы школ. Вы называете три фамилии настоящих поэтов, пришедших на смену версификации двадцатых годов, — Твардовского, Исаковского и Суркова. Из них только Твардовский кажется мне безусловным, подлинным и сильным поэтом.

И вот тогда, в середине 20-х годов, в Румянцевской библиотеке я впервые встретился с Вашими стихами. Я не

буду писать здесь о том, почему мне казались нужными поговорки, осужденные Вами как словесная игра. Они ощущаются Вами, в большинстве случаев, как натянутость, фальшь. Как бы ни казались они мне оправданными и даже необходимыми — раз это понятно только для меня — это уже плохо и подлежит уничтожению. Я и так взволнован до глубины души и горд тем, что Вы нашли время и терпение прочесть эти две книжки внимательно — не книжки, конечно, а черновики-тетрадки. Чтоб стать книжкой, над каждой строкой надо еще много поработать. Я переписывал их для Вас подряд и уже потом пожалел, что многих не включил вместо посланных. Я не могу, не привык писать на людях, а в морозы, зимой, куда денешься. Спасибо за присланные пять чудесных стихотворений. О каждом из них можно много говорить, вернее, с каждым из них, потому что — разве надо говорить о стихотворении? Жена прислала мне еще стихи Цветаевой, но большинство — из «Верст», которые я хорошо знаю, и большим удовольствием было перечесть их снова и снова. Вот какой праздник сейчас у меня на полюсе холода — письма жены. Ваше письмо и стихи. Ваши и цветаевские. У меня есть, конечно, немногие Ваши стихи — переписанные из «Земного простора»¹ — заполненные старые, подклеенные листочки из книжки, случайно попадавшиеся мне в последние годы.

Еще раз я горячо благодарю Вас за письмо. Вы ставите передо мной большие и высокие задачи. Бог знает, сумею ли я победить в этой борьбе, но мне кажется, я понял правду и душу поэзии, и сознание этой силы заставит меня держаться бумаги и чернил.

Я благодарю Вас также за постскрипtum и за письмо моей жене. Кажется, большей нежности и деликатности не видел я в жизни.

Желаю Вам здоровья, счастья, душевного мира и покоя. Желаю творческой силы — такой, какая отличала Вас всегда, как взыскательного художника. Берегите себя.

Передайте мой сердечный привет Вашей жене.

Поздравляю Вас и Вашу жену с Новым годом. Желаю его видеть для Вас счастливым творчески и в добром здравьи.

В. Шаламов.

Томтор, 28 марта 1953 г.

Дорогой Борис Леонидович.

Наши расстояния, измеряемые днями, а не верстами, в сложном расчете пешеходно-олене-собачье-конно-автомобильно-самолетного пути подчас преодолеваются сюрпризно легко. Если первое Ваше письмо я получил через полгода после написания, то письмо жены попало в мои руки всего через 18 дней.

Мне очень совестно отнимать у Вас время на чтение моих наверняка наивных и неуклюжих рассуждений о стихах. Я бы и не позволил себе этого, если бы не верил Вам, не верил, что Ваше внимание к моим скромным работам вызвано не какими-то другими побуждениями и причинами (лишь косвенно связанными со стихами), как бы эти побуждения ни были благородны и обличали лишний раз качества высочайшей человечности, давно мною ощущенные из Ваших стихов.

Вера в искренность, в критичность Вашего мнения и, вместе с тем, вера в себя — вот что дает мне разрешение попытаться выговориться перед человеком, который давно является для меня образцом творческой жизни, образцом поэтических исканий.

Я не умею писать писем, да и не только писем. Всякий раз после кажется, что написал не то, не главное, написал не так, плохо. Это и в письмах, и в стихах, и в рассказах, которые я пробовал писать.

Я плохо знаком, почти не знаком с литературной терминологией и зачастую сам для себя придумываю определения и без них потом не могу обойтись. Перед Вами заранее прошу прощения, если определение не представит для Вас ничего нового. Собственно, суть дела не в новом, не в старом — просто, верно ли понято, ощущено то главное, специфическое, чем красна поэзия. Статья Цветаевой² о Ваших работах мне не очень понравилась. Она весьма меня интересовала, как работа поэта о поэте, творца о творце. Я глубоко убежден, что ощутить, оценить (в деталях) поэта может только другой поэт, подобно тому, как столяр-краснодеревец может и завидовать, и поучиться, и понять «секреты» другого мастера, когда судит о его работах. Подобно тому, как живописец видит и понимает, какой сложности творческий процесс прошел его сосед, работая над картиной, — по иногда даже беглому взгляду на результат. Это понимание дается обмолвками,

намеками, догадками, подчас несвязно выраженными, но, угаданное, оно понятно художнику и им объяснено.

В этом отношении, конечно, в статье много интересного, замеченного верно и тонко. Но при всем моем уважении к поэтическим работам Цветаевой, восхищении ее стихами (я, правда, кроме «Верст» знаю лишь несколько ее замечательных стихотворений) — эта ее статья не понравилась мне своей манерностью, нарочитостью примеров, притянутых за волосы, прямых передержек, лишь бы иллюстрировать предвзятый тезис о сходстве или контрасте двух поэтов. Между прочим, упущена или обойдена весьма характерная общность Вас и Маяковского — ни одно стихотворение не стало песней, не положено на музыку («Возьмем винтовки новые» — нельзя считать за песню). Или объяснение не найдено. А объяснение этому есть (в природе дарования). Почему Ваши стихи, стихи человека, близкого музыке больше, чем кто-либо из поэтов, — не «музыкальны»? Штука в том, что их музыка, — она есть, но она сложнее песенной музыки (кроме других качеств, затрудняющих переход в песню). Пастернак может вдохновить музыканта, подтолкнуть его на ощущение, творчески обогатить душу композитора — но дать ему слова для романса или песни, это, конечно, чепуха. Почему Пастернак понимается кусками, кусками даже строф, а чувствуется стихотворениями, книгами? Потому что Ваши стихи — это дневник человека. Все, все так:

Опять Шопен не ищет выгод,
Но, окрыляясь на лету,
Один прокладывает выход
Из вероятья в правоту.

Мир, как дом, сняла, заселила,
Корабли за собой сожгла

и т. д. и т. д.

Я убежден, что Вы не вели и не ведете дневника. Стихи — Ваши книги — дневник Ваш.

Задача поэзии — это нравственное совершенствование человека — та, та самая задача, которая стоит в программе всех социальных учений, спокон веков лежит в основе всех наук и всех религий. Никакой другой задачи ни у каких поэтов, хотя бы и Виллонов, — нет, тем более что негативный нравственный результат начала работы по улучшению человеческой породы с улучшения материальных условий без предварительного внедрения общечеловече-

ской морали — очевиден. Пусть это называется толстовщиной, гандизмом, ярлыки можно давать какие угодно — это так тем не менее.

Тот специфический материал, которым для этого пользуется поэзия — это художественное слово, определенным образом интонированное и ритмизированное. Свойством, качеством поэзии является еще и то, что она по своей природе, по своей подлинности — говорит человеку, а не людям, убеждает «глаз на глаз». Картины природы пишутся затем, что поэт думает, что, ощутив пейзаж так же, как ощущал его поэт, человек будет лучше жить. Кстати (назад на 20 лет), куда делся конец «Весной бездонной»³ («о том ведь и веков рассказ» и т. д.)? В однотомнике уже этого конца не было. И сам однотомник. Будто сейчас держу его в руках — изданный, как раскольниковый «Часослов», — с заставками, шрифтом, черной и красной краской, — оформление этой книги, качество оформления никем как-то не были даже замечены, а намеренность и существенность его — очевидна.

О творческом процессе: поэт преследует не тема, а ощущение. Душевное состояние определяется именно ощущением, знобющим и немым. Оно возникает внутри в каком-то ритме, данном самой природой ощущения. И едва успевая торопливо пройти через мысль, оно уже пытается оформиться в ритмизированные слова, в рифмованную строку, в интонацию. Тревожность ощущения нарастает, поэт торопится ощущение свести в слово, когда и мыслей-то ясных по этому поводу у него еще нет, а в мозгу скользят только намеки, обмолвки, догадки — а ощущение совершенно ясное, определенное и может быть проверено, возвращено повторением записанного.

Поэзия — это особым образом отфильтрованное ощущение. О роли рифмы я Вам уже писал. Понятно, одновременно в подборе слов дается музыкальный строй фразы, звуковая опора стиха, без которой стих жить не может и в борьбе созвучия со смыслом рождается поэтическое слово.

Большие поэты — Пушкин, Лермонтов, Блок, Пастернак — делают это почти неощутимо и, наверное, не нарочито, доверяясь только уху.

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное течение,
Береговой ее гранит.

Или:

Люблю тебя, Петра создание,
Люблю твой строгий, четкий вид,
Невы стенанья и рыданья,
Ее удары о гранит —

стихотворение пропало, хотя слово «стройный» ни к чему, а если и к чему, так поймано на звук, а не ради смысла. «Петра творенье» по звуку превосходно, а «создание» — точнее по смыслу. «Воды удары о гранит» лучше по смыслу, чем «береговой ее гранит». И т. д. и т. п. — примеры бесчисленны.

Работа по отбору ощущений идет в самом процессе возникновения стихотворения — в этом поэтическая работа резко отличается от работы романиста, хотя там тоже есть музыкальный ключ фразы. «Бог помарок» Флобера — другой Аполлон, хотя и первый, поэтический Аполлон — тоже бог помарок.

Дальше идет процесс замены слов, и мысль догоняет ощущение, уже ушедшее в стихи.

Занятно, что почти всегда можно угадать в чужих, в любых стихах (в небольшом стихотворении), какая строфа в стихотворении родилась раньше и какие пришли потом.

Ко всему этому словесный ряд, возникший в определенном ритме (ощущение сообщило уже ему интонацию), другим ритмом изложен быть не может — он потеряет силы, потеряет «что-то» — то самое, что называется поэзией. А тема, сюжет, и часть словаря, и даже метафорный арсенал будут сохранены. А стихотворения не будет. Можно также намеренно напеть, натвердить себе стихотворение, но сильным, настоящим оно никогда не будет.

Возвращусь к ощущению. Возникши, оно требует словесного, стихотворного выхода, выхода на бумагу. В мозгу каждого грамотного человека, любящего стихи, топчется огромное количество стихов, обрывков стихов, отдельных строк — разных поэтов. И если возникшее ощущение может соответствовать уже сказанным другими и подсказанным сейчас памятью стихам — Блок ли это, Тютчев, Державин, Некрасов, стихи вспоминаются, перечитываются (если есть под рукой книга), и ощущение уже разряжено, и форма выхода найдена. Но если ощущение не находит выхода в чужих стихах — оно ищет своих слов и требует записи на бумагу.

Писалось когда-то много о Ваших «приемах». Разные Тарасенковы⁴ проделывали анализы, копаясь в вещах, к которым и прикоснуться-то недостойны. (Между прочим, занятно, что эти «работы» в плане формальных исследований исходили как раз не из группы формалистов, — те, будучи поумнее, даже не рисковали решаться на такой шаг — а совсем из другого литературного лагеря.)

Мне думается, что никакой «техники», никаких «приемов» у Вас нет. Как Михайлов в «Анне Карениной» не понимал, что такое «техника», так не понимаете этого ни Вы, ни любой большой художник.

Искусство — дерзость глазомера,
Волнение, сила и захват —

тут нет ничего от «техники».

Штука вся в тонкой, тончайшей наблюдательности, и в острой душевной тревоге, и в душевной честности. Попробуйте напишите хоть строчку против собственной совести. Этого сделать Вы не можете, и лучшее, что было в русской интеллигенции, глубже всех в мире понимавшей правду и болезненно боящейся всякой фальши, лжи, кривизны души, — все это воплощено в Вас, в Вашем творчестве, и оттого-то так волнующе и тепло стихотворное общение с Вами. Как в Гефсиманском саду. Без преувеличения, право. Я уже не говорю о письмах, об этой светлой и чистой родниковой воде. Цветаева — горожанка, которая и природы-то никакой не видала, а только читала о ней. «Тютчевская гроза», «пастернаковский орешник» — так хвалить таких поэтов — недорогая похвала.

Разве в «Цицероне» или в «Край ты наш многострадальный» — пейзажи? Разве главное в «Silentium!»⁵ — картины природы? Тютчев будет Тютчевым и без грозы, и Вы будете Пастернаком и без Урала.

Говорят, у Вас нет юмора и иронии. Это верно. Но это потому, что жизнь слишком серьезная штука (а где юмор у Блока?), и Ваша поэтическая приподнятость и вдохновенность почти религиозно серьезны (Вы и Гейне никогда не переводили). Вы просто настоящий живой хороший человек, серьезно и глубоко понимающий, как трудно жить. Рассказывают, что Флоренский надевал эпитрахиль, когда садился писать «Столп и утверждение истины». И я этому верю. И отношусь к этому с величайшим уважением.

Письмо никак не придет к концу. О «Лейтенанте Шмидте»⁶ — тут Цветаева очень не права. И здесь такая

же передержка, как передернут парадокс Уайльда о том, что жизнь больше подражает искусству, чем искусство — жизни.

О многом мне хотелось бы спросить у Вас: об Иннокентии Анненском. О всей этой линии русской поэзии Лермонтов — Тютчев — Анненский — Пастернак в отличие от пушкинской линии, где в поэтическую цепь входят звеньями другие имена, о том, что такое «понятность» и «непонятность» стихов, о внутренней связи «Высокой болезни» и «Гефсиманского сада». О Вашей переводческой работе. О «Фаусте», который Вы так любезно обещали дать прочесть моей жене. И о многом, многом другом.

Прошу извинения за это затянувшееся письмо. У жены есть несколько стихотворений последнего года, если Вас заинтересуют они.

Желаю Вам здоровья, здоровья и творческих сил. И душевного мира.

Привет Вашей жене.

Глубоко уважающий Вас

В. Шаламов.

Томтор, 25 мая 1953 г.

Дорогой Борис Леонидович.

Жена прислала мне запись телефонного разговора с Вами 16 апреля о моих письмах Вам. Не знаю, чем заслужил я столь сердечное отношение Ваше. Нет, не качества мои, а *Ваши* врожденная деликатность и сердечность подсказывают Вам столь преувеличенные похвалы моим попыткам осмыслить вопрос, который мучает меня давно, — то, чему я не находил ранее выхода и ответа.

Но если отбросить все преувеличенное, незаслуженное, лишнее, сказанное Вами, то останется все же самое для меня дорогое и важное — Ваш интерес к тем сущностям, грубым, нестройным и, м. б., наивным — но выношенным жизнью, найденным в личном ощущении и им проверенным. Вы многократно видели все это в настоящем свете и цвете и определите ложность и правильность моих догадок.

За эту переписку задет такой большой кусок моей жизни, что и не писать Вам я не могу, хотя и чувствую, как я врываюсь в Ваше спокойствие, в Ваши здоровье и силы и чересчур жадно и беззастенчиво пользуюсь Вашим вни-

манием, деликатностью и сердечностью. Я чувствую себя как-то виноватым перед Вами. И все-таки пишу.

Я слишком давно оторван от общественной жизни, от культурной жизни, чтобы жалеть об этом. И чтобы желать чего-либо другого, кроме прояснения вопросов этих всех для себя.

Я продолжаю тот, наверное, бесконечный список вопросов, который я начал разворачивать перед Вами в прошлых письмах.

Нет слов с одинаковым значением для каждого, с одинаковым смысловым содержанием. Даже такое, казалось бы, универсального значения слово, как «смерть», отнюдь не воспринимается всеми людьми одинаково. В нашем вопросе поэтическая интонация сообщает слову (за которым стоит понятие) смысловые оттенки. Это обстоятельство, бесспорность которого очевидна для поэта (да и не только для поэта), определяет то, что поэт пишет для самого себя, хочет, по Флоберу, «нравиться самому себе», ищет ясности ощущения в самом себе, находит ее и увлекает других собственным ощущением слова, события, темы. Подлинная поэзия, конечно, всегда земная поэзия. Но не арифметическая поэзия. Подлинная поэзия предстает как некий алгебраический ряд, алгебраическая задача, куда каждый читатель может вносить свою арифметику, делать свои жизненные, арифметические подстановки.

Именно эти находки — теоремы и формулы — делают гениев, и в этом одна из главнейших причин вечности, скажем, Шекспира.

Есть другая поэзия — оперирующая арифметическими величинами, когда читательской работы не требуется и приводится цифровая выкладка, дается однократное и тем самым не вечное, а временное решение задачи. Примеров этой второй, арифметической поэзии приводить не надо.

Алгебраическими величинами поэт может сделать любые слова, ибо поэтических слов, как таковых, нет. Но есть поэтический ряд, расположение слов. Зачем ходят в театр смотреть Шекспира? Зачем (почему) его читают? Почему «Ромео и Джульетта» даже в кино, искусстве, по сравнению с театром, второсортном, волнует до слез людей, которым, казалось бы, вовсе и всячески чужда жизнь Вероны, итальянского города, о котором написал англичанин, никогда не видевший ни ее, ни ее людей в глаза? Не быт же хотят изучать по Шекспиру? Я еще не видел в исторических музеях плачущих людей, я видел их только в ху-

дожественных галереях. Почему возникает возможность для гения создать этот алгебраический ряд? (Математическое сравнение — грубое сравнение, но суть дела оно передает. Взаимоотношения, взаимозависимость науки и искусства — предмет особой темы, особого, если Вы разрешите писать Вам, письма, ибо я убежден, что наука не делает человека ни лучше, ни счастливее, и обмолвка Чехова насчет пара и электричества, в которых любви к человеку больше, чем во всех писаниях,—это грустная шутка художника.)

Потому что мир меняется невероятно медленно и, м. б., в основе своей не меняется вовсе. И если художник в своем творчестве вошел в эту извечность отношений (ведь не платье же Моны Лизы вечно, а ее глаза, мир) и чувств, он будет волновать всегда людей во все времена и вне их социальных категорий.

М<ожет> б<ыть>, только тот и гений, кто смог эту извечность угадать и показать в каких ему угодно масках. «Ромео и Джульетта» никогда не будут чем-то вроде исторической драмы. Не будут ею и «Гамлет», и «Отелло», и «Король Лир». Я вспоминаю вахтанговскую, т. е. театра им. Вахтангова, акимовскую интерпретацию «Гамлета»⁷. Зритель, читавший Шекспира, глядел этот спектакль с недоумением. Зрителю, не читавшему Шекспира, было просто скучно, ибо он чувствовал, что ничего, кроме быта, тут не предлагается ему. И как ни тонки были актерские, режиссерские, декораторские находки, как ни чудесен был кровавый плащ Клавдия — спектакль не пошел.

Я могу привести Вам много, много таких примеров, вплоть до потрясшего меня признания Станиславского за год до смерти в беседе с учениками — уже большими и почтенными мастерами, его адептами, что Художественный театр — это хрупкий организм, что он при небрежности исчезнет в две недели, погибнет в два спектакля.

«Алгебра» в поэзии — это, конечно, не «символы» русских поэтов начала двадцатого века. Она трижды, четырежды земная, из земли родившаяся, но не возвратившаяся в землю, а продолжающая жить на земле.

Это касается ощущений «Гефсиманского сада» — я горжусь Вашей внутренней свободой и благоговею перед ней.

Удивительно и больно то, что слишком часто люди принимают за стихи вовсе другое. Стихи эти, поэтически безупречные, полны необычайной силы, прелести и заду-

шевности. А книга эта — родник чистоты, и кто обойдется без образов этого мира? И кем бы был, например, Толстой (весь от ранних вещей до последних) без нее?

Письмо мое снова затянулось, а сказать не удалось и тысячной доли того, что надо бы.

Доброго Вам здоровья, Борис Леонидович, творчества, творчества. Мне очень, очень жаль, что я не могу познакомиться с Вашим романом — куски переписывать нет смысла — нужна вещь вся.

И примите мои глубокие извинения за те стихи мои, с которыми познакомила Вас моя жена. Эти семь-восемь стихотворений — лишь десятая часть новой книжки «Времена года», которую я посылаю в письмах, но почта работает плохо, и до нее дошли только, к несчастью, наименее интересные и важные. Я был в полной уверенности, что она давно все получила, и надеялся, что Вы сможете увидеть все сразу. А так не стоило их и показывать Вам. Я прошу у Вас разрешения повидаться с Вами хоть на пять минут, если я буду когда-либо проезжать через Москву.

Привет Вашей жене.

Еще раз желаю Вам счастья, здоровья и творчества.

В. Шаламов.

Дорогой Борис Леонидович.

Я не знаю только, как мне писать. То, что пишется, это и письмо Вам, и дневник, и замечания на «Доктора Живаго» — все вместе.

Я прочел Ваш роман. Я никогда не думал, не мог себе даже в самых далеких моих чаяниях последних пятнадцати лет представить, что я буду читать Ваш ненапечатанный, неоконченный роман, да еще получаемый в рукописи от Вас самих. Всего два месяца назад, чужой всем окружающим, затерянный в зиме, которой вовсе и нет дела до людей, вырвавших у нее какие-то уголки с печурками, какие-то избушки среди неизбежного камня и леса, среди чужих пьяных людей, которым нет дела ни до жизни, ни до смерти, я пытался то робко, то в отчаянии стихами спасти себя от подавляющей и растлевающей душу силы этого мира, мира, к которому я так и не привык за семнадцать лет.

Затерянный, но не забытый. Я вернулся и пришел в Лаврушинский. Встретился с Вами. Поймите, чем это было

для меня. Поймите даже мою немоту. Ведь от встречи после разлуки с городом можно плакать на подъезде вокзала, а тут была встреча с моей женой, женщиной, подвиг которой я не могу поставить в ряд ни с чем слышанным или читанным. Ведь ожидание мужей с войны — этой <нрзб> — ребячество, даже по времени ребячество. Когда все искусство, все газеты, доклады — все кричат на каждом шагу, увязывая ее с мужем и провозглашая ее героизм, и совсем, совсем другого масштаба дело, когда все ей кричат: «Твой муж — преступник, порви с ним, и ты будешь свободна от дискриминации», ее лишают службы, ей мстят всей силой государства. Она годами бедствует и плакать уже разучилась. На руках ее полуторагодовалый ребенок. И какую нужно иметь душевную силу и веру в человека, чтобы семнадцать лет писать по сто писем в год, встретить его на вокзале. Вот на другой день после этой встречи я и был у Вас впервые. И эту встречу, зная, чем она является для меня, она подготовила.

И встреча с дочерью, второе ее для меня рождение, а меня для нее — первое — я ведь оставил ее ребенком полутора лет, а сейчас ей 18, и она студентка второго курса.

И, наконец, в эти же два дня — эта необыкновенная встреча с Вами. Кем Вы были для меня, чем были Ваши стихи для меня целых двадцать лет — об этом надо и рассказывать и писать отдельно.

Не правда ли — не слишком ли много событий для двух дней одного человека. Простите меня, что я пишу не о романе, это тоже о романе, впрочем — это состояние, созданное его чтением, это фразы, подсказываемые Вашими героями, — так что они толкнули меня на исповедь.

Видите ли, Б. Л., я никогда не выступал в роли литературного критика. И никогда не пробовал писать роман. Это казалось мне каким-то первовосхождением на какой-то Эверест, восхождением, к которому я вовсе не подготовлен. Но рассказы я писал и даже лет 18 назад печатал — рассказы плохие. Я напряженно работал тогда над коротким рассказом, лет пять, кажется, учился понимать, как сделан рассказ Мопассана «Мадемуазель Фифи», а потом понял, что вовсе не это знание нужно для писателя.

Я понял, что писателя делает поэтический напор почувствовать впечатление, как будто слова спасаются от пожара, возникшего от случайной причины где-то внутри, и вырываются, выбегают на бумагу.

Я не задаю вопроса, для чего роман написан, и не отвечаю на этот вопрос. Он написан потому, что нечто трево-

жащее Вас требует выхода на бумагу, требует записи, и притом не стихотворной. Сильны какие-то чувства, которые поэт не вправе или не в силах выполнить в стихах и не вправе удержать в себе. Они живут рядом со стихами, они в сущности своей то же самое, что стихи. Остаются идеи, требующие трибуны не стихотворной.

Ваш роман поднимает много вопросов, слишком много,— для того, чтобы перечислить и развить их в одном письме. И первый вопрос — о природе русской литературы. У писателей учатся жить. Они показывают нам, что хорошо, что плохо, пугают нас, не дают нашей душе завязнуть в темных углах жизни. Нравственная содержательность есть отличительная черта русской литературы. Это осуществимо лишь тогда, когда в романе налицо правда человеческих поступков, т. е. правда характеров. Это — другое, нежели правда наблюдений. Я давно уже не читал на русском языке чего-либо русского, соответствующего адекватно литературе Толстого, Чехова и Достоевского.

«Доктор Живаго» лежит, безусловно, в этом большом плане.

И знаете что? Я могу следить за организацией, за композицией романа, обращать на нее внимание только тогда, когда у автора оказывается мало силы, чтобы увлечь меня своими ощущениями, мыслями, образами, словарем. Но когда мне хочется с автором, с его героями спорить, когда их мысли я могу противопоставить свою — или, побежденный ими, согласиться, пойти за ними или их дополнить, — я говорю с его героями как с людьми у себя в комнате — что мне за дело до архитектуры романа. Она, вероятно, есть, как эти «внутренние своды» в «Анне Карениной», но я встречаюсь с писателем, как бедный читатель лицом к лицу с его мыслями и чувствами, — без романа, забывая о художественной ткани произведения.

Вот почему нет мне дела — роман ли «Д. Ж.» или картины полувекового обихода, или еще что. Там много таких мыслей (высказанных Веденяпиным, Ларой, самим Живаго), о которых мне хочется думать, и все это отдельно от романа живет во мне, и душевная тревога, поднятая этими мыслями.

Обратили ли Вы внимание (конечно, Вы ведь все видите и знаете), что в сотнях и тысячах произведений нет *думающих героев*? Мне кажется, это потому, что нет *думающих авторов*. Это в лучшем случае.

К мыслям Веденяпина, Лары, Живаго я буду возвращаться много раз, записывать их, вспоминать ночью.

Когда-то на Севере, в удивительнейшем образом возникших литературных разговорах, спорили мы о литературе будущего, о языке художественных произведений грядущих лет; ближайшим поводом, мне помнится, был сценарий Чаплина «Комедия убийств». Сценарий этот Вы знаете, он с сильным налетом достоевщины (в хорошем смысле), талантливый сценарий. Один из участников разговора энергично защищал ту точку зрения, что языком художественной литературы будущего явится язык киносценария, экономный и компактный, и что все к этому идет. Романы пишутся рыхлые, и никто их не может прочитать, кроме кормящихся возле этих романов критиков.

Я решительным образом говорил против, видя в киносценарии своеобразный «бейсик инглиш», устраняющий тонкость и глубину передачи ощущения. Я, соглашаясь с характеристикой выходящих романов, выражал тогда надежду, что русская литература не прервется, что кто-нибудь настоящий и большой напишет такой роман, который, может быть, и будет разодран критикой в куски, но все разорванные части срастутся и роман будет снова жить. Мне думается, «Д. Ж.» и есть такой роман.

Дело ведь не в том, устремлен ли он в будущее или это — факел, озаряющий лучшее из прошедшего.

По времени, по событиям, охваченным «Д. Ж.», есть уже такой роман на русском языке. Только автор его, хотя и много написал разных статей о родине — вовсе не русский писатель. Проблемность, вторая отличительная черта русской литературы, вовсе чужда автору «Гиперболоида» или «Аэлиты». В «Хождении по мукам» можно дивиться гладкости и легкости языка, гладкости и легкости сюжета, но эти же качества огорчают, когда они отличают мысль. «Хождение по мукам» — роман для трамвайного чтения — жанр весьма нужный и уважаемый. Но при чем тут русская литература?

Но уж лучше по порядку, от страницы к странице.

Великолепен рыдающий мальчик на свежем могильном холме, протягивающий руки в повествование.

Сейчас отвыкли от такой прозы, весомой, требующей внимания. Это я не о мальчике, а обо всем романе.

Никем вслух не уважается то, что тысячелетиями волновало человеческую душу, что отвечало на самые сокровенные ее помыслы. Выработан, м. б., лучшими умами человечества и гениальными художниками язык общения

человека со своей лучшей внутренней сущностью — всеми этими апостолами и позднее таким писателем, как Иоанн Златоуст, умевший управлять всеми тайнами человеческой души вперед на тысячелетия. Я читывал когда-то тексты литургий, тексты пасхальных служб и богослужения Страстной недели и поражался силе, глубине, художественности их — великому демократизму этой алгебры души. А в корнях своих она имела Евангелие. Толстой понимал всеконечность Христа хорошо, стремясь со своей страшной силой поднять из той же почвы новые гигантские деревья жизни. А Лютер?

И как же можно любому грамотному человеку уйти от вопросов христианства?

И как можно написать роман о прошлом без выяснения своего отношения к Христу. Ведь такому будет стыдно перед простой бабой, идущей ко всеобщей, которую он не видит, не хочет видеть и заставляет себя думать, что христианства нет.

А как же быть мне, выдавшему богослужения на снегу, без риз, среди тысячелетних лиственниц, с наугад рассчитанным востоком для алтаря, с черными белками, пугливо глядящими на таежное богослужение.

Об истории как установлении вековых работ по последовательной разгадке смерти — очень интересно. Я не думал об истории в таком оптимистическом разрезе. Можно соглашаться, можно не соглашаться, но раскрытие думающего человека, абсолютно утраченное, возвращает нас к Толстому и Достоевскому. Я Достоевского намеренно тут везде вставляю. Он, видите ли, представляется мне совершенным образом писателя как такового, более совершенным, чем Толстой, хотя, м. б., и не таким великим, всеобъемлющим.

Стр. 13.— Голос умершей матери, слышимый мальчиком в голосах птиц и пчел,— это просто чудесно, весь этот кусок.

«Все движения на свете в отдельности были рассчитано-трезвы, а в общей сложности безотчетно пьяны общим потоком жизни» и т. д.— это хорошо и верно.

Не кажется ли Вам, что свое — «та сумма страданий отдельных людей, которая почему-то называется счастьем государства, общества. И чем эти страдания больше, тем счастье государства — больше».

Мальчик, приказывающий деревьям «замри», — это очень верно. Правильно и то, что они, вероятно, зами-

рают, как у Ники. Я в детстве боялся приказывать, думал, прикажу, и если природа послушается — то я сойду с ума.

Самоубийца в «пятичасовом скором» компонент очень важный, предваряющий роль Комаровского в Лариной жизни, бытовой штрих и символ.

Превосходная сцена с кувшинками, живущая отдельно от романа. Так кончается детство и начинается юность. Чудесно рассказано.

Так что же такое роман, да еще доктор Живаго, которого долго-долго, до половины романа, нет, нет еще и тогда, когда во весь рост и во весь роман развернулась подлинная героиня первой половины картины — во всем своем обаянии (только отчасти — тургеневско-достоевском) — чистейшая, как хрусталь, сверкающая, как камни ее свадебного ожерелья, — Лара Гишар. Очень Вам удался портрет ее, портрет чистоты, которую никакая грязь никаких комаровских не очернит и не запачкает. Я таких Лар, ну не таких, а поменьше, помельче, знал. Она живая в романе. Она знает что-то более высокое, чем все другие героини романа, включая Живаго, что-то более настоящее и важное, чем она ни с кем не умеет поделиться (хотя бы и хотела).

Имя Вы ей дали очень хорошее — это лучшее русское женское имя. Это имя женщин русской горестной судьбы — имя Бесприданницы, героини удивительной пьесы, необычайной для Островского, и в то же время имя женщины, героини моей юности, женщины, в которую я по-мальчишески был влюблен без памяти, и эта влюбленность очищала, поднимала меня — если можно влюбиться, раза два видел ее издали на улицах, сотни раз перечитывая каждую строку, которую она написала, и видеть, как ее в гробу выносят из Дома печати. На похороны Ларисы Михайловны Рейснер я не имел силы идти. Но обаяние ее и теперь со мной — оно сохраняется не памятью ее физического облика, не ее удивительными книгами, начисто изъятыми давно из всех библиотек, не ее биографией, короткой, блестящей и стремительной, — оно сохраняется в том немногом хорошем, что все-таки, смею надеяться, еще осталось во мне противу всяких естественных законов. Вы-то знали ее, Вы даже стихотворение о ней написали.

Но я не о ней, а о Ларисе Гишар. Все, все правдиво в ней. И труднейшая сцена падения Лары не вызывает ни-

чего, кроме ощущения нежности и чистоты (61 стр.). И даже в воспоминании о мерзком она «шагает, словно по воздуху, гордая, воодушевляющая сила».

Лара и Павел — да, правдиво, но грустен этот союз, этот брак.

Лара в лесу (193) — превосходно.

Лара идет за деньгами к Комаровскому. Здесь чуть-чуть не мелькнула тень Эммы Бовари.

Но я возвращаюсь к порядку замечаний — по страницам. И похвалы Ларе — лучшему, по-моему, образу в романе — мне придется еще повторять много раз.

Женщины Вам удаются лучше мужчин — это, кажется, присуще самым большим нашим писателям.

Психологически правилен Тиверзин, дающий гудок к забастовке, подстегнутый личной обидой и собственной взвинченностью и верящий после многих лет, что это именно он открыл и начал забастовку (42), хотя все это иронически освещает социал-командира.

Митинг представлен как отдых от хождения по улицам участников «демонстрации», которые, отдохнув, выходят, не дослушав оратора, — это, пожалуй, справедливо изображено, равно как и уличная каша, стихийность, слепота демонстрации.

И с этим потрясающим вечерним солнцем, тычущим пальцами в красные флаги. Однажды в жизни я был в рядах разгоняемой лошадьми демонстрации. Тревожно сжимается сердце, тающие ряды впереди, внезапно возникающий резкий запах потной лошади — вот все, что осталось в памяти.

Неистовство чистоты (54), это тоже очень хорошо.

Теперь подойдем к вопросу, который мучает меня, который так дисгармоничен книге, который наряду с важнейшими мыслями, с тончайше-чудесными наблюдениями природы, плотно увязанными с настроениями героев, с единством «нравственного и физического мира», блестящим образом достигнутого, осуществленного в романе, представляет собой грубое, резко кричащее, выпадающее из всего строя романа явление, и от которого мне больно за Вас, художника.

Я говорю о языке простого народа в Вашем романе.

Именно о языке, а не психологическом оправдании поступков этих людей. Ваш язык народа — все равно — рабочий ли это, крестьянин ли или городская прислуга. Кроме того, он одинаков для всех этих групп, чего не может быть даже сейчас, а тем более раньше, при большей

разобщенности этих групп населения. Ваш народный язык — это лубок, не больше. Я знаю этот язык, и знаю слишком. Словарь там беден, бедность словаря компенсируется преимущественно интонациями за счет пересыпания речи матерщиной, а без нее он не представляет никаких «блезиров». В крестьянском быту больше поговорок, обыкновенных, широко известных, язык городской прислуги скуден, но в общем чист, рабочие тоже говорят обыкновенным языком и даже не любят словесных узор, всяких художественных расцветок.

Чего стоит монолог Маркела из 3-й части (86): «платейная, антимолия, дамский блезир». Да и все-все женщины и мужчины из народа говорят одинаково лубочно и неверно.

Если Анна Ивановна с ее «Аскольдовой могилой» очень хороша — то все, все по всему роману, что относится к народной речи, — нехорошо.

Может быть, лучшее место книги — это кусок на 59 стр. о Риме и Христе — дневник Веденяпина. Я переписал себе этот чудесный кусок и, может быть, его выучу.

И вот еще что: когда солдатчина, военщина начинает править миром, мне кажется, что если это пойдет так дальше — будет третье пришествие и начнется история нового, второго христианства.

Беспощадно и сильно к мыслям о Христе подставлена страничка о Комаровском (60).

В христианстве все дело в пришествии, в перемещении в быт.

57 стр. — Не палка, а музыка, сила безоружной истины — правильно.

Вот обо всем таком и надо говорить, думать, писать романы. Я раньше, до знакомства с Вами, поражался, случайно встречаясь с кем-либо из печатающихся, — никто не интересовался таким вопросом, как что такое искусство. Я думал, они притворяются, должны же они хотя бы хотеть понимать такое.

Еще один момент важный, отличающий со всей положительностью «Д. Ж.», — это *спокойствие* повествования. Оно иного характера, чем библейский язык или, скажем, военные отчеты, и далеко от того и другого — при обилии мест высокой лиричности голос никогда не повышается. Это я считаю огромным достоинством и драгоценной особенностью языка, знакомого мне и по «Детству Люверс».

«Когда человека одолевают загадки вселенной, он углубляется в физику, а не в гекзаметры «Илиады». Это и так и не так.

В физике он найдет очень немного весьма сомнительных истин, и то истин до завтрашнего дня. И Гете, зная косность современности (а сказка наша продолжает жить такой же, как и 100 лет назад и так же действует на детей), вернулся к старейшей сказке, чтоб с помощью ее атрибутов провозглашать то, что душе людей было ближе поэтически, чем если б было доказано в какой-либо научной работе. Научные истины менее долговечны, чем истины искусства, и к тому же наука — не проповедь, а искусство — проповедь.

62 стр.— Комаровский должен вспоминать Лару не так поэтично, не грубо, конечно, но и не так. А может быть, именно так и надо, ибо чистота и красота могут разбудить душу даже Комаровского.

64-65-66.— Все это — правдиво, — так это и есть.

67.— Лара в церкви. Демина, мне кажется, тут напрасно, и об этом жалеет и сама Лара. Тут необходимо одиночество. Оно может быть нарушено потом, если это почему-либо надо, но пойти в церковь Лара должна одна. У меня есть тоже такая церковь в детстве в 1917 году — рождественская, новенькая, только что срубленная, низенькая церковь в лесу, пахнущая сосновой смолой, перебивающей все запахи ладана, масла, воска и пота (как в Москве во время цветения лип запахи всего города не могут подавить этот нежный и тонкий запах), разные, не вполне православные иконы; густые, огромные ели подходили прямо к церкви. Электричества не было, чудесный свет восковых свечей и лампад, рождественскую службу негромко, вполголоса, служил один священник — без дьякона, без хора, — церковь была полна народом, в первых рядах стояли английские инженеры с бумажной фабрики — это было на «Соколе» в Вологодской губернии, фабрику строила ссыльная миллионерша баронесса Дес-Фонтейнес. И после службы — крупные мягкие хлопья снега из черного неба, и узкие тропинки, еще не натопанные, уходящие от церкви прямо в густой лес.

68.— «Завидна участь растоптанных, им есть что рассказать о себе, у них все впереди. Так он считал. Это Христово мнение». — Очень хорошо.

73.— Нарочитое небрежение к топографии: «дом стоял на углу Сивцева Вражка и *другого* переулка» — правильно для такого романа.

68.— В морге 1 МГУ я когда-то был с целью пополнения общеобразовательных знаний. Конечно, у Вас здорово описан морг, но мне кажется, тело человеческое красиво далеко не всегда (и живое и мертвое), и при делении (ампутированная нога, например, безобразна и страшна) так же. Мне кажется, только дикая природа красива — камень, который, куда ни брось, находит себе место. У деревьев и у диких животных нет уродов. Уродство природы только в ее соприкосновении с человеком.

Труп в мертвецкой — как скульптура, как актеры пантомимы, разыгрывающие последний акт великого спектакля. Может быть, поэтому и называется «анатомический театр»?

89 — 92.— Беседа Живаго — наследника мыслей Веденяпина — преемственность от XIX века, великого века человечества. Физическое воскресение людей. Именно такого-то воскресения, кажется, и испугался когда-то Мальтус.

«Вы уже воскресли, когда родились. Не глядите внутрь себя. Сознание — яд. Человек — в других людях, это и есть душа человека».

Ну, я с этой докторской концепцией не согласен, я видел хороших людей, которые были обижены и отвергнуты другими людьми, и в этих других людях ничего не осталось от тех, у которых была душа. Но разговор об этом уведет нас в дебри. А что роман трогает так эти вопросы — это хорошо.

95.— Евграф — что это такое? Зачем он? Нужен ли он композиционно?

106.— Лед и холод улицы и идущая Лара — превосходно, а также тот же снег и лед у Юры — показано очень тонко.

Превосходен вальс, платок и выстрел. Женский платок у губ Живаго, как романтическая окраска тех самых лет, которые в ином разрешении приводят к выстрелу. И выстрел раздается.

108 — 114.— Тоня. Обыкновенная женщина Тоня. Достойная дочь Анны Ивановны с ее «Аскольдовой могилей». Тоня, которой «очень шел траур».

Много похвал заслуживает лес-жизнь, в котором заблудился мальчик Юра, который вырос и, встречая опять смерть близкого ему человека, уже ничего не боялся, ибо «все вещи были словами его словаря».

122.— Пошлые разговоры на похоронах — правдивая, но много раз бывшая в литературе сцена... Но «мамочка, — прошептал он почти губами тех лет» — прелестно.

Искусство, неотступно размышляющее о смерти и неотступно творящее жизнь. То искусство, которое называется Откровением Иоанна, и то, которое его дописывает,— как это чудесно верно. И как это мало понятно. Жизнь бессмертна только благодаря искусству. Искусство — это бессмертные жизни.

143.— Страницы с описанием родов Тони — хорошо, не хуже описания родов Китти. И верно, конечно, что мучаешься только ее судьбой, не думая о ребенке.

Смелый образ разгруженной баржи, высадившей в мир душу, — очень хорош.

Свадебная ночь Паши, с доской света, «конец» — часть со стиранным бельем на могиле матери Юры. Несчастливая Лара в этом правдивом браке с Антиповым, которого она гораздо сложнее, больше. И непонимание Паши от ее высоты.

Прекрасны огни воинского поезда, врывающиеся в звездный свет (150), и вообще все о звездах, о которых пишут, пишут, пишут и бесконечно находятся новые слова. Как это далеко от науки Воронцовых-Вельяминовых. Звезды, с которыми советуются люди, не нуждаются в каталогах астрономов.

Хорошо и это: «Фактов нет, пока человек не внес в них что-то свое, какую-то сказку».

169.— О царе и народе тоже очень хорошо.

Хорошо 171—172.— Конечно, верно, что христианство было предложением жизни человеку, а не обществу.

И еще раз с силой поставлены вопросы еврейства — в которых ведь все непросто, а этот вопрос должен быть ясно и сознательно разрешен в мозгу каждого.

Переходим к части V.

Жена, которая читала роман гораздо раньше меня, писала мне: «Знаешь, люди романа, наверное, очень живые — о них думаешь на службе, в трамвае».

Люди живые — и Лара, и Устинья, даже — Тиверзин. Вам, конечно, скажут, что драгун Тиверзин не годится в социал-командиры, скажут, что отдых — митинг во время демонстрации, а в Мелюзееве ходят на митинги, как на посиделки, — все это принижение «великого». Но это ведь так и было. Это — масса, народ. И только ведь много после всему этому выдумана окраска порядка, придумана единая воля, управляющая, якобы, событиями и людьми. (Значение этого романа для Пастернака. Он никогда еще в прозе не осмысливал свое время.)

Фадеев доказал, что он не писатель, исправив по указа-

ниям критики напечатанный роман⁸, то, что объявлено доблестью, на самом деле трусость писателя, неверие в самого себя, в верность собственного глаза.

Сцена у комиссара Гинца — описание какой-то станковой картины на сюжеты гражданской войны, картина, которых есть великое множество. Как каталожная аннотация. Это — намеренно, наверное?

К стр. 13.— От бездарно возвышенных фраз хочется только одиночества, хочется встречи с природой, и больше ничего другого.

Стр. 21.— «Со всей России сорвало крышу, и мы со всем народом очутились под открытым небом. И некому за нами подглядывать». Это формула верная и точная.

Очень хорошо также открывающееся богатство личности (22 стр.). Так возникают народные вожди, так возникла Зыбушинская республика, какой-нибудь Донбасс, ДВР, жизнь людей ярчеет. Сколько талантливого скрывается, остается неизвестным и глохнет в рамках служебной рутины, не подозревая этого в самом себе.

Очень хороши слова о второй революции — личной для каждого, весь этот кусок вообще. И только Лариса ее невесомым взглядом, Лариса своей внутренней жизнью богаче доктора Живаго, не говоря уже о Паше. Лариса — магнит для всех, в том числе и для Живаго.

200 страниц романа прочитано — где же доктор Живаго? Это — роман о Ларисе.

Великолепна сцена с утюгами — одна из центральных сцен романа. Прекрасна буря при отъезде Живаго, смятение его души после победившего его вырвавшегося объяснения с Ларисой. И хороши (27, 28 стр.) черты удаляющейся грозы.

Какую массу Вы увидели, запомнили, Б. Л., какое богатство в стихах, в прозе.

28.— Прелестна, удивительна концовка главы — с уверенностью в возвращении Ларисы, прелестен след — водяной знак женщины. Это — тоже одно из чудесных мест.

36 стр.— Но почему смерть Гинца забежала вперед — такой прием есть, но Вами он никогда не применялся.

46 стр.— Потрясающее явление глухонемого. Я этого глухонемого жду давно, но был ошеломлен *таким* разрешением задачи. И селезень, и утка еще послужат для То-ни, для Москвы.

Стр. 48.— Глубоко верны чувства при возвращении домой. Все прошлое отступает куда-то очень далеко, кажет-

ся маленьким, пустяшным — м. б., даже небывшим, по сравнению с единственной реальностью момента встречи, вокруг которого все сосредоточено.

«Тема искусства — это возвращение к себе». Это опять-таки удивительно верно.

Стр. 55. — Живаго: я хочу сказать, что в жизни состоятельных была... бездна лишнего, лишняя мебель в доме, лишние тонкости чувств...

Парадоксы этого рода найдут опору в моих наблюдениях за людьми, которые на удивительно скверном пайке живут годами, выполняя тяжелую физическую работу, — сколько же они ели лишнего в своей прошлой жизни? и т. д. и т. п.

Очень верно о семье, о мире в семье, о долге взрослого мужчины. Превосходная гроза, которую проговорили, не видя и не слыша ее, на вечеринке. Еще лучше будет дальше водопад, лучше и важнее.

71 страница — очень важная для автора, но неверная, ибо того, что кажется захмелевшему Живаго, — нет, а все гораздо проще, серьезней и кровавей.

Очень хорошо о торопливости высказывания любви, о материи, превратившейся в понятие, о романтических декретах горожан.

Чуть ли не каждая фраза романа — значительна. Она так наполнена содержанием, вовсе необычным по существу, что требует или покорного удивления или раздраженного спора. Резко и немедленно определить отношение к себе или в виде покорного удивления, или раздраженного спора.

Стр. 73 — «пигмей перед огромным будущим». Жертвенность и рядом с этим «игра в людей».

Кленовые листья — птицы — чудесно.

Н. Н. Веденяпин — много вложивший в приближение этого будущего, в Москве кажется кем-то приезжим, который может в любой момент ускочить в свои Альпы, на свои знакомые высоты.

Меня отец выводил на улицу в феврале, чтобы навсегда задел меня тяжелый след истории. В ноябре он меня никуда не водил.

Доктор устал от трехдневных разговоров со своим учителем Веденяпиным и другом Гордоном. Их время прошло. Время уже было не время слов, поэтому метель, телеграмма, мальчики в дохе, революция и бревно — топливо, 〈забота о тепле〉, перед которой отступает все большое, — очень верно.

Снег, превращающийся в бурю, в метель, вместе с ходом событий и смятением в душе Живаго. Это сходство не только не скрывается, но заявляется прямо — «что-то сходное творилось в нравственном и физическом мире».

«Великое, являющееся неуместно и несвоевременно».

Мне кажется, дом кажется огромным оттого, что стоишь вблизи его у его подошвы. Это — впечатление, вызванное ракурсом.

Нигде нет больше оптических обманов, как в строениях общества.

83.— Шкаф за дрова, хотя можно было бы топить шкафом (для этого надо иметь душу ученого, а не поэта).

104—105.— Темы цикла Гефсиманского сада и решение: «Надо воскреснуть». Ах, как все это непросто, Б. Л., и как хочется писать Вам отдельно по тысяче важнейших вопросов, поставленных в этом романе, обсудить, продумать предложенные решения их. Вам-то они и не важны, и вряд ли интересны. Я сделаю их, конечно, для себя, но мне нужен экземпляр романа. Когда роман будет закончен, дайте мне какой-нибудь 3—4-й экземпляр, не ожидая появления его в печати.

Глава VII.

Смятение продолжается. Пойманный год назад При тульев, мальчик Вася — за скрывшегося дядю всунутый под конвой и едущий за тысячи верст. И деревня, деревня, которая в революцию увидела возможность самостоятельного решения своей судьбы. Ее усмирненное разочарование. Деревня осталась все той же, не верящей городу и мечтающей о собственной избяной судьбе. Новый поход «в народ» имеет целью сблизить, укрепить связи с деревней. На этот раз это поход специалистов-техников. Это вообще-то дело не новое — мы знали в Китае миссионеров-врачей, миссионеров-инженеров.

38.— Прекрасно и сильно замечено, что не люди заботятся о человеке, о его отдыхе и спокойствии, а природа (поразительный водопад, заглушающий ночное громаханье и галдеж людей).

Прекрасны также места о березовых почках, о новой жизни, неловко возникающей и неловко входящей в старую жизнь.

48.— Верное замечание о прямолинейности декретов лишь в момент создания их.

Доктор, подслушивающий мир... Он так хочет что-то услышать такое, что разъяснило бы ему жизнь. Потеряв

надежду найти эти разъяснения у людей, он, когда остается один, протягивает руки к природе.

58.— Сцена с гимназистом, важная для характеристики Стрельникова, беспартийного фанатика революции, и затем для философского каламбура о том, что «дело не в верности формам, а в освобождении от них». Этим замечанием мы вновь возвращаемся к понятию силы романа. Форма всегда нарочита и в душевных делах не должна быть видна.

62.— Стрельников очень хорош с его одаренностью, заставляющей в одежде грязное считать чистым, мягое — глаженным. Очень важно, показывает автор и подчеркивает Стрельников, чтоб читатель не забыл, что Галиулин, командующий белыми частями, более пролетарского происхождения, чем Стрельников, командир красных частей. Интересны и верны рассуждения о беспринципности сердца, о даре нечаянности.

Мне кажется, высший принцип морали — это как раз и есть эта беспринципность сердца.

Я все поддакивал и хватился сейчас: не обманываю ли я сам себя, не заставил ли *роман* меня думать, что я все это чувствовал раньше, хотя данное ощущение явилось только что данным чужими словами. Нет. Эти ощущения близки моим, может быть, не так полным, не так ярко и законченно выраженным.

Россия — половодье, стихия, но не свобода звериных сил. Явление лучшего *человеческого* в человеке, которому дана возможность вырасти и блистать.

Живы фигуры первого плана: Лара, Живаго, Тоня. Из фигур второго плана — Комаровский. Уже Веденяпин, как он ни важен для романа, много бледней, как и Громеко.

Роман не кончен. Зачем же все же Евграф?

Для выздоровления, как призрак смерти?

Ваше посещение больного Пришвина — чудесно. И так это и должно быть. Он хотел Вас видеть, он звал Вас, далекого в жизни, казалось бы, от него человека. Апостольское есть в жизни каждого большого поэта, и это ведь чувствуют люди, общающиеся с Вами, читающие Ваши стихи.

И я считаю своим счастьем, что могу знать Вас, слушать Вас.

Не знаю, как будет встречен роман официальной критикой. Читатель, не отученный еще от настоящей литературы, ждет именно такого романа. И для меня, рядового читателя, стосковавшегося по настоящим книгам, роман

этот надолго, надолго будет большим событием. Здесь с силой поставлены вопросы, мимо которых не может пройти никакой уважающий себя человек. Здесь со всем лирическим обаянием встали живые герои трагического нашего времени, которое ведь и мое время. Здесь удивительный глаз художника увидел так много нового в природе и кисть его использовала тончайшие краски для того, чтобы с помощью их раскрыть душевное состояние человека.

Здесь набросана картина предчувственного Гоголем «мира в дороге», российского половодья времен гражданской войны, «России в вагонах», мира, сдвинувшегося с тысячелетних устоев и куда-то плывущего. Я еще раз возвращусь к похвалам весны, весеннего разлива.

Весомый язык, где каждая фраза сдвигает какие-то тяжести в мозгу, открывает какие-то новые двери, мимо которых мы проходили раньше, даже не зная, что это двери и они заперты.

Здесь (и во многом исчерпывающе) столько о том, о чем человек не может не думать.

Спасибо Вам, Б. Л., за то счастье, счастье и волнение, которое пришло ко мне вместе с Вашим романом.

О всем ведь не напишешь в такой короткой записке. Хотелось бы о Блоке, о еврействе, о вопросе, в котором все непросто, а тем не менее вопрос для любого человека — один из главных, из основных. Семья, в которой я рос в российской провинции, отец, водивший меня, мальчика, в синагогу, говоривший: смотри — вот храм, где люди нашли Бога раньше нас. Истина — это желание истины. И что-то в этом роде.

Это — попытка вернуть русскую литературу к ее настоящим темам и ее генеральным идеям. Это попытка ответить на те вопросы, которые задали тысячи людей и у нас, и за границей, ответов на которые они напряженно и напрасно ждут в тысячах романов последних десятилетий, не веря газетам и не понимая стихов.

Еще два таких романа, и русская литература — спасена.

Наконец — это пример установления тесной связи между человеком и природой, связи, которой занимаются все поэты и писатели.

Смерть Гинца, как своеобразный вывороченный вариант «смешное убивает».

Романтика — это штука минутной силы. И если эта сила упущена или скомпрометирована какой-либо бытовой мелочью — человек платится жизнью, как поскользнув-

шийся Гинц. Но что-то подобное я видел где-то у Толстого.

Лара Гишар — материнское чувство, входящее с любовью.

Самыми слабыми художественно и порочными идейно (не с официальных позиций, конечно, а по большому существу искусства) являются страницы показа забастовки, вообще портреты людей из рабочего класса. Конечно, не наивные «Журбины» могут тут служить примером и не горьковский Павел.

Но и Ваши портреты — неверны. Они не принижают, а как-то проходят мимо.

Неужели для плана романа, для его сущности нельзя вовсе отказаться от этих картин.

Все эти «энти», «эфти».

Очень хорошо, что Веденяпин — расстриженный священник. Именно эти люди — Григорий Петров⁹, Измайлов¹⁰ являются поборниками чистой идеи, перестрадавшими свои убеждения исключительно напрасно.

Это и символы, и вполне правдиво.

Булгаков¹¹, Флоренский¹²...

Андреев и сила интеллекта. Профессора.

Из этих людей, для которых идея воспринималась с величайшей самоотверженностью и остротой...

Надя Кологривова, сверкнувшая так перед нами в сцене с Кувшинниковым, теряется вовсе. Теряется Гордон, который по завязке мог быть одним из главных действующих лиц. Теряется Нина Дудорова. С обоими, Гордоном и Дудоровой, Вы разделались буквально одной фразой.

Как и в «Детстве Люверс», мир мальчиков и девочек и природа вокруг них показаны прекрасно. Вообще Вам очень удается переход от детства к юности.

Забастовка — стр. 36, 42—46.

Демонстрация — лучше, но там нет людей.

Сцена в домкоме — 99.

Рынок в гл. VII — 16.

Матросы и машинист — 26.

Ссора Тягушевой и Огрызковой — 44.

В заключение позвольте рассказать Вам одну историю — сущую быль. Один правый эсер, бывший террорист, вечный царский каторжник, считающий день 12 марта 1917 года лучшим днем своей жизни, едет в Нарым, в трехлетнюю ссылку в 1924 году. Ссылные разведены по глухим деревням. Место жительства ему назначено очень дальнее, отлучаться с места не позволяют, встречаться

Слабые
места.

разрешают лишь друг с другом, заставляя вариться в собственном соку. В долгом санном пути он попадает на ночевку в одну деревушку, где колония ссыльных — семь человек. У одного из них он и останавливается, ночует, здесь его застигает пурга, и он живет тут неделю, знакомясь со всей колонией. Это — два комсомольца-анархиста (были такие в 20-х годах), два сиониста — муж и жена и два правых эсера — тоже муж и жена. Седьмой колонист — епископ, один из профессоров Духовной Академии. Пестрота состава, насильственное общение друг с другом — мелкие ссоры, разрастающиеся в болезненные скандалы, взаимное недоброжелательство, много свободного времени. Но все — каждый по своему, очень хорошие, думающие, честные люди... Наконец пурга легла, рассказчик наш уезжает и целых два года «отбывает» где-то в Нарымской глуши. Через два года ему разрешают вернуться в Москву, и, уже не ссыльный, он едет назад той же дорогой. Во всем этом длинном пути у него лишь в одном месте есть знакомые — там, где его задержала пурга. Он вновь заезжает с ночевкой в эту деревню.

— И что вы думаете, там случилось? — спрашивает он меня.

Я пожал плечами.

— Там ведь были сионисты, эсеры и комсомольцы-анархисты, помните?

— Да!

— Ну, так вот — они все приняли православие. Поп их сагитировал, этот ученый епископ. Молятся теперь Богу вместе, живут этаким евангельской коммуной.

— И сионисты?

— И сионисты.

— Действительно, странная история. Почему это могло случиться?

Рассказчик помолчал.

— Видите, я много думал об этом, да и сейчас, вот через столько лет, не могу забыть. У них, видите ли, у всех — у эсеров, у сионистов, у комсомольцев — была одна общая черта.

— ???

— Они все слишком верили в силу интеллекта.

В чем роман поистине замечателен и уникален для всей русской литературы — в том самом качестве, которым дышит и «Детство Люверс», и несравненные Ваши стихи, — это в необыкновенной тонкости изображения природы, и не просто изображения природы, а того единства

нравственного и физического мира, единственного умения связать то и другое в одно, и не связать, а срастить так, что природа живет вместе и в тон душевным движениям героев. Пользуются этой штукой как контрастом, противопоставлением. Иногда это удается. Тонкость тут необходима затем, что ведь нет у Вас самодовлеющих оттенков природы, вмонтированных куда-то более или менее подходяще. Идет жизнь героев, сюжет романа развивается вместе с природой, и природа — сама часть сюжета. Я не очень правильно владею терминологией, но Вы меня поймете.

Я начну выписывать — не все, конечно (это значило бы переписать добрую треть романа), с муаровой капусты, с вьюги и воздуха, дымившегося снегом, с воробьев, вылетающих из капусты и шумящих, как шумит вода.

...Стебли хвоща, как посохи с египетским орнаментом.

Солнце, по-вечернему застенчиво освещающее происходящее на рельсах.

Сухой морозный день со снежинками — на стр. 46.

Вечер был сух, как рисунок углем.

Всему вторящий настороженный горный воздух.

Крыша, перестукивающаяся с крышей, как весна.

Выточенные круглые звуки в морозное утро.

Снег вообще везде чудесен. Он рассыпан по всей книге.

Совершенно исключительно — горящая свеча, подглядывающая за городом сквозь протаявшую дырку в обледенелом стекле.

(«Мои глаза, подвижные, как пламя...» — Цветаева).

Иней, бородатый, как плесень.

Небо в спиртовом пламени горящих ярко звезд.

Апрельское утро — сырое, горное, теплое.

Между тем быстро темнело. На улицах стало теснее.

Деревья подошли из глубины дворов к окнам под огонь горящих ламп.

Пахло всеми цветами сразу, как будто земля днем легла без памяти и теперь этими запахами приходила в сознание.

Все кругом бродило, росло и т. д.

Удаляющаяся гроза.

Гуси, белеющие под черным грозовым небом.

Густая, как ночь, листва, мелко усыпанная восковыми звездочками мерцающих соцветий.

Буря при отъезде Живаго.

Запах лип, опережающий поезд.

Тень березовых ветвей, как женская шаль.

Исключительная картина половодья, предварительно невидимая, скрытая работа весны под снегом.

Весна ударила, хмелея, в голову неба.

И даже эта рискованная метафора — уподобление солнцу сквозь туман — появление голого человека в ба-не сквозь мыльный пар.

В. Шаламов.

⟨Январь 1954⟩

Озерки, 22 января 1954 г.

Дорогой Борис Леонидович.

Благодарю за Вашу всегдашнюю заботу обо мне, за сердечное внимание, которое мне дороже всего на свете. Благодарю за чудесную надпись на «Фаусте», за слова, вновь и вновь утверждающие душевные мои стремления.

Вам не надо так говорить о моем письме по поводу «Доктора Живаго». Вряд ли оно было для Вас сколько-нибудь интересным и значительным. Мне же, конечно, не жаль никакого времени, жизни не жаль для того, чтобы иметь возможность говорить с Вами, писать Вам, проверять Ваши мысли на себе и в себе самом открывать какие-то новые уголки, которые были настолько затемнены, что, думалось, их вовсе не существовало. От наших встреч я вырос, разбогател душевно и благодарю Бога за великое счастье, которое досталось мне в жизни, — счастье личного общения с Вами.

Думается — схлынет, пройдет вся эта эпоха зарифмованного героического сервизизма, с полной утерей и перспективных оценок и взгляда назад, и светлый ручей поэзии вновь покажет свою неиссякаемую силу со всей ее свежестью и чистотой. Грустно, конечно, что подлинные стихи для нынешней молодежи (осведомленность о них, вкус к ним) представляют сейчас, как никогда ранее, какую-то (в лучшем случае) звездную туманность, новую галактику, скопление далеких миров, в котором под силу разобраться только старикам-астрономам. Одна из причин этого — воспитанное годами недоверие к поэзии, боязнь ее, подмена ее рифмованными «кантатами». Но все это удесятерляет требования к искусству, к его честным и искренним слугам. В сохранении верности поэзии три-

жды укрепить себя. Мне думается, никогда в истории русской поэзии не было такого трудного времени для искусства, когда смещены понятия, когда старые слова наполнены новым, иным, фальшивым и притом меняющимся смыслом, когда читатель (и поэт, как читатель) полностью дезориентирован этой фальшивостью понятий. Чрезвычайно трудно (и не по мотивам личной славы, гордости, что ли) не сбиться с дороги.

Не у всякого сердца — надежный и верный компас. Даже т. н. «общение» поэта с широким читателем — тоже очень сложная штука. Дело в том, что поэт чувствует себя как бы в кольце охраны — всех этих лжеистолкователей, лжеисследователей, лжепророков и вынужден через головы стражи, через ряды конвоя обращаться к верующей в него толпе, если и не полностью понимающей, то чувствующей его истину и доверяющей его чутью. Даже в ближних конвою рядах этой толпы могут быть люди, которые как бы и народ, но которые вовсе не народ, а только подголоски конвоя. Жить поэту очень трудно, и только глубочайшая вера в справедливость своих идей, вера в свое искусство заставляет жить и работать, создавая новые вещи, год от году все большей силы, глубины и художественной убедительности. Он не только чувствует — он знает, что он необходим времени, что он не простой свидетель. Он — совесть времени, его неподкупный судья. И он с удовлетворением отмечает, что гений его все крепнет год от году, что голос его становится все проникновенней и чище, что смысл всех событий и идей становится все яснее и безоговорочней. Я отнюдь не смотрю пессимистически на будущее поэзии. Ее способность к бессмертию бесспорна для меня. Бесспорна для меня и ее нерукотворность, что ли, — что она живет и в поэте и как-то помимо поэта, как блоковская Прекрасная Дама, как гриновская Бегущая по волнам. Что ее нельзя отменить, растоптать, как нельзя и создать. Что мир предстает как какой-то материал для ее детских игр, для ее роста и раздумий. Что она входит в людей случайно и вовсе не со всеми, в кого вошла, бывает до конца их дней. Что она поработает человека. Что она отводит его в сторону от других людей. Что она спасает и легко может губить, что она заставляет человека доверять только ей. И, наконец, что она обращается постоянно к единственно вечному в человеке, присутствующему ему, — к его страданию. Страдание вечно само по себе, мир почти не меняется временем в основных своих чертах — в этом ведь и сущность бессмертия Шекспира.

Именно страдание человека есть коренной предмет искусства, есть сущность искусства, его неизбывная тема.

Опять, как всегда, письмо не находит конца, а я боюсь Вас утомить вещами, которые мучают меня, а Вам-то давно и хорошо известны.

Я хочу просить вас, Борис Леонидович, прочесть еще одну тетрадку стихов моих. Частью это — вовсе новые стихи, частью — стихи прошлого года, написанные после тех, что Вы видели в последний раз. И теперь, как и раньше, в последние годы, удержаться от записей этих нельзя. Жизнь как-то требует переварить и в стихах, как-то выбросить это беспокойство ощущений на бумагу, что понемногу и делается.

Вместе с этим письмом посылаю одно прошлогоднее, которое до Вас не дошло. Посылаю потому, что все, что есть в этом письме, представляется мне уже сказанным Вам и сказанным именно тогда, когда это письмо написано.

Привет Вашей жене.

Желаю счастья, творчества.

Ваш *В. Шаламов.*

Туркмен, 8 января 1956 г.

Дорогой Борис Леонидович.

Благодарю за чудесный новогодний подарок. Ничто на свете не могло быть для меня приятней, трогательней, нужней. Я чувствую, что я еще могу жить, пока живете Вы, пока Вы есть — простите уж мне эту сентиментальность.

Теперь — к делу. Лучшее во второй книге «Д. Ж.» это, бесспорно, — суждения, оценки, высказывания — ясные, записанные с какой-то чертежной четкостью, — это то, что хочется переписать, учить, запоминать. Прежде всего, это — суждения самого Юрия Живаго, но не только доктор говорит голосом автора. Это в плохих романах бывает такой «избранный» рупор. Голосом автора говорят все герои — люди, и лес, и камень, и небо. И слушать надо всех: и Симу, и Ларису, и Тягунову, и бельевщицу Таню, и других. В этом — в новых, в таких непривычно верных суждениях — главная сила романа. В суждениях о времени, которое ждет не дождетя честного слова о себе. Целые главы: «Варыкино», «Против дома с фигурами»,

«Рябина в сахаре», Лариса у гроба — очень, очень хороши, суждения об искусстве, о вдохновении, о догмате зачатия, о марксизме, оценки времени — все это верно, т. е. понятно и близко мне. Да и всех, кто читал роман, сколько я мог заметить, эта сторона сильно волнует. Каждого на свой лад. Все оценки времени верны, хотя они и даны, оглядываясь — из будущего, ставшего настоящим. Но они тем самым становятся еще более убедительными. Все, что Живаго успел сказать, — все действительно, значительно и живо, все это очень много, но мало по сравнению с тем, что он мог бы сказать.

В романе в огромном количестве — ценнейшие наблюдения, неожиданно вспыхивающие огни, вроде столба, которого не заметил Живаго, уезжая, вроде соловья, незримой несвободы, вроде книжек доктора, которые читает хозяин квартиры на глазах дроворуба, вроде ладанки с одинаковой молитвой у партизана и у белогвардейца. И многое, многое другое. Удачно по роману ввязаны в ткань романа стихи, данные в приложении. Меня занимал способ их «подключения» в роман.

Второе бесспорное достоинство — те необычайные акварели пейзажа, которые, как и в первой части, — на великой высоте. Вообще, не только в пейзажном плане, вторая книга не уступает первой, а даже превосходит ее. Рябина превосходна, снег, закаты, лес, да все, все. Дождливый день в два цвета, рукопись березок, листья в солнечных лучах, скрывающие человека, — все, все.

Пейзаж Толстого — безразличен к герою, описание его самодовлеюще: репейник в «Хаджи-Мурате» и трава в тюремном дворе «Воскресения» — это символы или своеобразные эпитафии, а не ткань вещи.

У Достоевского нет никакого пейзажа (что, конечно, косвенным образом свидетельствует о Вашей правоте в определении искусства как некоего самостоятельного начала, входящего в любую обстановку и заставляющего все окружающее служить ему. Помните цветаевскую статью о поэзии как едином Поэте? Эта формула тоже каким-то краем касается этого дела).

Пейзаж Чехова — противопоставление внешнего и внутреннего мира («Припадок», «Степь»). Ваш пейзаж — внешнее, подчеркивающее внутренний мир героя, — эмоциональное постижение этого внутреннего мира.

О героях. Доктор Живаго по-настоящему вышел в главные герои. Умный и хороший человек, привлекающий к себе всех; все его любят, ибо каждый ищет в нем

свое, подлинно человеческое, утерянное в житейской суете, в жизненных битвах. Помогая ему, облегчая его быт, его житейское, каждый платит как бы свой долг, род штрафа за то, что человек не удержал в себе того, что давалось ему с детства, жизнь не дала удержать. Так делает и Самдевятков, и Стрельников, и Ливерий, и, конечно, и в первую очередь, и это совершенно естественно,— женщины, с их конкретным мышлением, с их жертвенностью. Поэтому-то и третья жена — Марина, по-настоящему любящая, не снижает образа Живаго и — нужна. Вся эта разная и все-таки единая любовь Тони, Ларисы, Марины — показана очень хорошо. О Ларисе — обреченность на несчастье, на житейские неудачи. Освещающая все лучшее в романе — под колеса, раздавить, растоптать. Все, что я писал о ней Вам раньше, — не сбавлено во второй части ни на йоту, и просто — горька судьба. Но, верно, так и надо.

Ничего не нашел я фальшивого в судьбах главных героев. Мне, правда, по первой части иначе рисовалось развитие романа, но и так хорошо. Мне думалось, что вот интеллигент, брошенный в водоворот жизни революционной России с ее азиатскими акцентами, водоворот, который, как показывает время, страшен не тем, что это — затопляющее половодье, а тем растлевающим злом, которое он оставляет за собой на десятилетия. Доктор Живаго будет медленно и естественно раздавлен, умерщвлен, где-то на каторге. Как добивается, убивается XIX век в лагерях XX века. Похороны где-нибудь в каменной яме — нагой и костлявый мертвец с фанерной биркой (все ящики от посылок шли на эти бирки), привязанной к левой щиколотке на случай эксгумации.

Что Лариса не уйдет от его судьбы. Что «пустое счастье ста» — это и есть залог счастья общественного. Как где-то рождается мальчик, девочка, для которых все скопленное Ларисой и Юрием — не пустые слова, что это то, с чем он не боится идти по своей трудной дороге, м. б., Сизифовой дороге, ползти шаг за шагом, отвоеывая самое важное, что было добыто его дедами и утеряно его отцами. Как умирает Живаго, теряя силы, сберегая на самом доньшке сердца самое последнее, самое дорогое, и как это кое-что сохранено, как он поправляется, как к нему возвращаются слова, понятия, жизнь — и как он обманывается снова и снова умирает.

Бледен Стрельников, хотя его трагическая судьба (я говорю не о самоубийстве) намечена верно — так это

и есть и было. Евграф объяснен частично, да, кажется, я уже понял, зачем живет в романе этот Евграф. Брат, который найдет, подберет, утвердит лучшее, что было у Юрия Живаго, воспитает его дочь, издаст его книги, не даст исчезнуть тому, что хочет растоптать жизнь.

Прекрасно о человеке, который рождается жить, а не готовится к жизни, прекрасно о причинах инфарктов, да, наверно, так оно и есть.

«Лубок» ощутим почему-то меньше во 2-й книге, хотя Вы и предупреждали о его упрямом существовании. Даже Вах не портит дела.

Кое о чем хочется и поспорить. О «нравственном цвете поколения», например, о подготовке героизма, проявленного в этой войне. Бесспорно, что на войне умирала молодежь легко. Но на какой войне не умирает молодежь легко? Она ведь не знает, не ощущает, что такое смерть, не понимает, не чувствует внутренне, что жизнь — одна. Оттого и самоубийств в молодежном возрасте — больше, чем в другом. Нашу молодежь убеждали еще со школы, с детского сада, что мир, в котором она живет, — это и есть лучшее завоевание человечества, а все сомнения по этому поводу — вредная ложь и бред стариков. Есть, стало быть, что защищать. Не последнюю роль играла знаменитая «вторая линия» с пулеметами в спину первой и смертная казнь на месте, вошедшая в юрисдикцию командира взвода, — аргументы весьма веские. Вы, конечно, помните у Некрасова (Виктора) в книжке «В окопах Сталинграда» (кстати, это чуть не единственная книжка о войне, где сделана робчайшая попытка показать кое-что как это есть) рассказывается, как на проведение атаки 11 солдатами (которых «поднимают» (термин!) два командира с вынутыми револьверами) приезжают представители политотдела, СМЕРШ полка, роты — человек восемь в общей сложности. Космодемьянская и Матросов — это истерия, аффект. Психологический мотив Орлецово́й — желание утвердить себя, «доказать» свой разрыв с прошлым — возможно, тем оно трагичней и грустней.

О физическом труде. *Я в полном согласии с классиками марксизма* утверждаю, что физический труд — проклятие человечества, и ничего не вижу привлекательного в усталости от физической работы. Эта усталость мешает думать, мешает жить, отбрасывает в ненужное прожитый день. Поэтизация физического труда — это, конечно, другое, и рассчитана она не на людей, которые обречены им заниматься.

О детдомовцах. Это, вероятно, благородное дело — красиво о них говорить. Но это все фальшь и ложь. Это будущие кадры уголовщины, с которой десятилетиями заигрывало государство, начиная с пресловутой беломорской «перековки» и кончая «друзьями народа» на Колыме, которых представители государства призывали помочь уничтожить «врагов народа». И их кровавый отклик на этот провокационный призыв никогда не изгладится из моей памяти. Это — люди, не достойные имени человека, и им нет места на земле.

Ужасна и верна история Тани-бельевщицы. Увы, ничего наследственности в таком деле не дает (т. е. никогда не скажется, если не будет благоприятных условий). Таких детей я знаю много — например, лагерные дети, родившиеся от арестантов, — это большая и грустная тема.

Лагерь (он давно — с 1929 г. называется не концлагерем, а исправительно-трудовым лагерем (ИТЛ), что, конечно, ничего не меняет — это лишнее звено цепи лжи) описан неверно. Никаких столбов там не бывает — ГУЛАГ — это название Главного управления. Прямой угольник арестантов лицами наружу — не бывает, так как это незачем — ведь они неизбежно будут работать вместе. Переключек там действительно много — раз двадцать в день. Фамилия, имя, отчество, статья, срок — по такой вот краткой схеме.

Первый лагерь был открыт в 1924 г. в Холмогорах, на родине Ломоносова. Там содержались главным образом участники Кронштадтского мятежа (четные номера, ибо нечетные были расстреляны на месте, после подавления бунта).

В период 1924 — 1929 гг. был один лагерь Соловецкий, т. н. УСЛОН с отделениями на островах, в Кеми на Ухта-Печоре и на Урале (Вишера, где теперь г. Красновышерск). Затем вошли во вкус и с 1929 г. (после известной расстрельной комиссии из Москвы) передали исправдома и домзаки ОГПУ. Дело стало быстро расти, началась «перековка», Беломорканал, Потьма, затем Дмитлаг (Москва — Волга), где в одном только лагере (в Дмитлаге) было свыше 800 000 человек. Потом лагерям не стало счета: Севлаг, Севостлаг, Сиблаг, Бамлаг, Тайшетлаг, Иркутлаг, и т. д. и т. п. Заселено было густо. Белая, чуть синеватая мгла зимней 60° ночи, оркестр серебряных труб, играющий туши перед мертвым строем арестантов. Желтый свет огромных, тонущих в белой мгле бензино-

вых факелов. Читают списки расстрелянных за невыполнение норм.

Беглец, которого поймали в тайге и застрелили «оперативники». Отрубили ему обе кисти, чтобы не возить трупа за несколько верст, а пальцы ведь надо печатать. А беглец поднялся и доплелся к утру к нашей избушке. Потом его застрелили окончательно. Рассказывает плотник, работавший в женском лагере: «За хлеб, конечно. Там, В. Т., было правило: пока я имею удовольствие — она должна «пайку» проглотить, съесть. Чего не доест — отбираю обратно. Я, В. Т., с утра пайку кину в снег, заморожу, суну за пазуху и иду. Не может угрызть — баб на трех хватает одной «пайки».

Свитер шерстяной, домашний часто лежит на лавке и шевелится — так много в нем вшей.

Идет шеренга, в ряду люди сцеплены локтями, на спинах жестяные номера (вместо бубнового туза), конвой, собаки во множестве, через каждые 10 минут — «Ло-ожись!». Лежали подолгу в снегу, не поднимая голов, ожидая команды.

Кто поднимает 10 пудов — тот морально, именно морально, нравственно ценней, выше других — он достоин уважения начальства и общества. Кто не может поднять — недостойн, обречен. И побои, побои — конвоя, старост, поваров, парикмахеров, воров.

Пьяный начальник на именинах хвалится силой — отрывает голову у живого петуха (там все начальство держит по 50 — 100 кур, яйца 120 руб. десяток — подспорье солидное). Состояние истощения, когда несколько раз за день человек возвращается в жизнь и уходит в смерть.

Умирающему в больнице говорит сердобольный врач: «Закажи, что ты хочешь!» — «Галушки», — плача, говорит больной.

У кого-то видели листок бумаги в руках — наверное, следователь выдал для доносов. Шестнадцатичасовой рабочий день. Спят, опираясь на лопату, — сесть и лечь нельзя, тебя застрелят сразу.

Лошади ржут, они раньше и точнее людей чувствуют приближение гудочного времени. И возвращение в лагерь, в т. н. «Зону», где на обязательной арке над воротами по фронту выведена предписанная приказами надпись: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства».

Тех, кто не может идти на работу, привязывают к во-

локушам, и лошадь тащит их по дороге за два-три километра.

Ворот у отверстия штольни. Бревно, которым ворот вращают, и семь измученных оборванцев ходят по кругу вместо лошади. И у костра — конвоир. Чем не Египет?

Все это — случайные картинки. Главное не в них, а в растлении ума и сердца, когда огромному большинству выясняется день ото дня все четче, что можно, оказывается, жить без мяса, без сахара, без одежды, без обуви, а также без чести, без совести, без любви, без долга. Все обнажается, и это последнее обнажение страшно. Расшатанный, уже дементивный ум хватается за то, чтобы «спасти жизнь», за предложенную ему гениальную систему поощрений и взысканий. Она создана эмпирически, эта система, ибо нельзя думать, чтобы мог быть гений, создавший ее в одиночку и сразу. Паек семи «категорий» (так и написано на карточке «категория такая-то») в зависимости от процента выработки. Поощрения — разрешение ходить за проволоку на работу без конвоя, написать письмо, получить лучшую работу, перевестись в другой лагерь, выписать пачку махорки и килограмм хлеба, — и обратная система штрафов, начиная от голодного питания и кончая дополнительным сроком наказания в подземных тюрьмах. Пугающие штрафы и максимум поощрения — зачеты рабочих дней. На свете нет ничего более низкого, чем намерение «забыть» эти преступления. Простите меня, что я пишу Вам все эти грустные вещи, мне хотелось бы, чтоб Вы получили сколько-нибудь правильное представление о том значительном и отменном, чем окрашен почти 20-летний период — пятилеток, больших строек, т. н. «дерзаний» и «достижений». Ведь ни одной сколько-нибудь крупной стройки не было без арестантов — людей, жизнь которых — непрерывная цепь унижений. Время успешно заставило человека забыть о том, что он — человек.

Вот и письмо мое, неизбежно большое, подходит к концу. Вы должны простить мне это многословие.

И еще в двух поступках я должен покаяться перед Вами. Я получил роман 1-го января. Хотелось прочесть его не за чайным столом, а как следует. Я задержал его на две недели. Второе — не удержался и послал Вам стихи последних лет. Мне так хотелось, чтоб они были у Вас. Просто чтоб были у Вас. Не затрудняйте себя откликами, ответами обязательными. Кое-что путное там есть. Названия приблизительные, это сборнички, а не книги, темати-

чески стихи могут быть передвинуты из тетрадки в тетрадку — налаживать сейчас нет возможности. Переписку от руки тоже прошу простить.

Еще раз — искренне благодарю Вас за роман, которому нет цены, за все, что Вы в нем сказали.

Сердечный привет Зинаиде Николаевне.

Ваш *В. Шаламов.*

Когда-то давно Вы получали мои письма с заклеенными клеєм конвертами. Это я заклеивал сам для крепости.

Туркмен, 12 июля 1956 г.

Дорогой Борис Леонидович.

День 24 июня был одним из самых больших дней всей жизни моей. Более 25-ти лет назад я себе выдумал смелую сказку — что когда-нибудь я буду читать свои стихи у Вас в доме. Это было одно из самых скрытых, самых дорогих мне, самых страстных моих желаний, самое затаенное, в котором я никогда никому не признавался. Бесчисленное количество раз появлялось это видение. Я так привык к нему, что даже гостей сам приглашал, самовольно рассаживая их по креслам (так, вместо Берггольц у меня сидела Ахматова), так было задумано, с этой верой я жил, никогда ее не теряя. Было много таких лет, когда подобное казалось бредовой фантастикой, сумасбродней которой и придумать нельзя. И все это сбылось самым феерическим образом 24-го июня.

Вы для меня давно перестали быть просто поэтом. Иное я искал, находил и нахожу в Ваших стихах, в Вашей прозе. Но даже Вы, боюсь, не измерите для себя всей глубины, всей огромности, всей особенности этой моей радости.

Ведь для меня этот день не просто встреча, льстящая самолюбию, что ли, не просто «честь», не только «признание», «рукоположение». Это — осуществление сердечнейшего, затаеннейшего из *загаданного*, — это та самая сказка, которая, как ей и положено, становится все-таки жизнью и в жизни утверждает себя, как некая новая данность. Такова природа всех настоящих сказок.

У меня не было в жизни так называемых «удач», мое счастье если и приходило, то приходило по другим дорогам. С годами это привело к недоверчивости в отноше-

ниях с людьми, к вере только в самого себя, к запрещению для себя пользоваться очень многими людскими путями. Я привык встречаться с жизнью прямо, не различая большого от малого. Так меня учили жить, так сам я учил жить других.

Обещаний и зароків в юности было немало. Слишком многое, конечно, разбито, разломано, уничтожено, не осуществлено. В свое время мне не дали учиться, самым коварным и жестоким образом обрекая меня на вечную полуграмотность, на невежество, сковывая меня безвозвратно и безнадежно навеки. А годы шли. Двадцать лет жизни моей отдал я Северу, годами я не держал в руках книги, не держал листка бумаги, карандаша. О всем прочем я и говорить не хочу. Но когда я приходил в себя — а это все-таки бывало, — я возвращался к стихам и возвращался к своему заветному видению. И я — счастлив сейчас.

Каждый человек в 16 лет дает себе какие-то клятвы, какие-то обещания. Иными они забываются, иными не забываются. Для многих слишком хорошая память служит причиной увлечения водкой или еще чем-либо подобным. Я очень боялся в молодости прожить жизнь напрасно, и вот, по тем письмам, которые я получаю с Севера до сих пор, я имею право считать, что жизнь моя там не была совсем напрасной, что меня помянут добрым словом, и помянут люди хорошие. Несчастные, но хорошие.

Для меня никогда стихи не были игрой и забавой. Я считал стихи беседой человека с миром на каком-то третьем языке, хорошо понятным и человеку и миру, хотя родные-то языки у них разные. Но вовсе не у всех поэтов находил я то, что считал главным в поэзии. Мне казалось, что историческое развитие поэзии шло следующим путем. Стихи, конечно, родились из песни. Но, отделившись от песни и развиваясь самостоятельно и далеко от песни уходя (мне кажется пустяшным значение фольклора для творчества большого поэта, и со светлой легендой об Ари-не Родионовне давно пора кончать), обогащаясь не только за счет соседних искусств и науки, а исследуя жизнь прежде и раньше всего, стихи обнаружили в себе такие способности и скрытые силы, о которых никакая песня и мечтать не могла. Да, по сути дела, с песней-то эти силы имеют очень мало общего. Песня просто перестала быть нужной стихам. Стихотворная форма в своем развитии показала возможности особенные, оказалась неизмеримо шире и глубже любого другого искусства — музыки, живописи, скульптуры.

Она показала возможность размышления над судьбами жизни, возможность, превосходящую в некотором важном отношении средства художественной прозы хотя бы (не говоря уже о собственно философии). Это стихотворное размышление не использует исключительно арсенал философии (как это было в ритмизованном трактате Лукреция Кара, например). Но самую природу свою звуковую и свое ритмичное музыкальное начало делает средством искания истины. Никакое другое искусство не обладает такой важной особенностью.

Не развлекательная балалайщина, не балагурство, не дидактика гражданской поэзии, а только размышления специфически-стихотворного порядка утверждают высокую поэзию. Рифма, как поисковый инструмент, только один из сотен примеров использования специфики стиха для искания истины. Любой ассонанс, любой звуковой подбор служит той же цели, если он не хочет обратиться в погремушку, где нарочитость уничтожает стихотворение.

Только в этом направлении, думается, лежит сегодня путь, ведущий поэзию к новым высотам. Ее развитие безгранично потому, что поэзия прежде всего лична, индивидуальна и только тогда она поэзия. Специфика (кроме прочего) заключается в том, что в этом размышлении нет никакого угнетения смыслом эмоции. Нет никакой иссушающей рассудочности.

Поэзия просто должна помнить простую истину, что чувства богаче слов и мыслей и именно поэзии дано показать нечто большее, чем может сделать логика, ограниченная правилами использования слова. Логика часто не знает силы интонации, не понимает, что такое поэтический напор, лирический поток.

Содержание стихотворения отнюдь не исчерпывается его логической убедительностью, его философской новизной и к ней вовсе нарочито не стремится. Эта убедительность — только попутное завоевание.

Я не хочу, конечно, сказать, что «размышление» включает все остальное в стихах. Но остальное — второстепенность, и на этих путях победы и открытия поэзии не могут быть столь важны людям в их непосредственном реальном влиянии.

Этот элемент (размышление) есть, конечно, в творчестве каждого большого поэта. Он силен в Державине, Пушкине, а Лермонтов даже начинает эту важнейшую линию русской поэзии, вершинами которой (по хронологии)

являются три поэта: Баратынский, Тютчев и Пастернак. Я не знаю языков, но по переводам вижу, что и работы Рильке и Гете того же самого ряда, утверждающего главное в поэзии.

Горестно думать, что именно эта сторона стихотворчества (важнейшая, выводящая поэзию далеко за границы возможностей всех других искусств) находилась так много лет и сейчас находится в совершенном пренебрежении. Если нынешние отцы отечества хотят успехов русской поэзии, то они должны сделать все для того, чтобы вернуть поэзии ее серьезность. Я знаю, Вам не покажутся наивными и смешными все эти рассуждения. Да я и не хотел другого языка, чтоб говорить о самом главном в жизни.

Еще раз — благодарю за 24 июня. Я об этом дне еще не один раз погадаю с рифмами в руках — если Бог даст силы и время.

Сердечный мой привет.

Всегда Ваш *В. Шаламов.*

Лучшие мои приветы Зинаиде Николаевне.

11 августа 1956 г.

Дорогой Борис Леонидович.

Позвольте мне еще раз (в тысячный раз, вероятно, если подсчитать все мои заочные разговоры с Вами) сказать Вам, что я горжусь Вами, верю в Вас, боготворю Вас.

Я знаю, Вам вряд ли нужны мои слабые слова, знаю, что у Вас достаточно душевной твердости, ясности и силы, чтобы идти своей дорогой на той невиданной высоте, сказочной для нашего растленного времени, что никакой соблазн, очередная приманка не обманут Вас.

Я никогда не писал Вам о том, что мне всегда казалось — что именно Вы — совесть нашей эпохи — то, чем был Лев Толстой для своего времени.

Несмотря на низость и трусость писательского мира, на забвение всего, что составляет гордое и великое имя русского писателя, на измелъчание, на духовную нищету всех этих людей, которые, по удивительному и страшному капризу судеб, продолжают называться русскими писателями, путая молодежь, для которой даже выстрелы самоубийц не пробивают отверстий в этой глухой стене,—

жизнь в глубинах своих, в своих подземных течениях осталась и всегда будет прежней — с жадной настоящей правды, тоскующей о правде; жизнь, которая, несмотря ни на что, — имеет же право на настоящее искусство, на настоящих писателей.

Здесь дело идет — и Вы это хорошо знаете — не просто о честности, не просто о порядочности моральной человека и писателя. Здесь дело идет о большем — о том, без чего не может жить искусство. И о еще большем: здесь решение вопроса о чести России, вопроса о том, что же такое, в конце концов, русский писатель? Разве не так? Разве не на этом уровне Ваша ответственность? Вы приняли на себя эту ответственность со всей твердостью и непреклонностью. А все остальное — пустота, никчемное дело. Вы — честь времени. Вы — его гордость. Перед будущим наше время будет оправдываться тем, что Вы в нем жили.

Я благословляю Вас. Я горжусь прямоотой Вашей дороги. Я горжусь тем, что ни на одну йоту не захотели Вы отступить от большого дела своей жизни. Обстоятельства последнего года давали очередную возможность послужить мамоне, лишь чуть-чуть покривив душой. Но Вы не захотели этого сделать.

Да благословит Вас Бог. Это великое сражение будет Вами выиграно, вне всякого сомнения¹³.

Ваш всегда *В. Шаламов*.

ПИСЬМА К А. И. СОЛЖЕНИЦЫНУ

Дорогой Александр Исаевич.

Я две ночи не спал — читал повесть¹⁴, перечитывал, вспоминал...

Повесть — как стихи, — в ней все совершенно, все целесообразно. Каждая строка, каждая сцена, каждая характеристика настолько лаконична, умна, тонка и глубока, что я думаю, что «Новый мир» с самого начала своего существования ничего столь цельного, столь сильного не печатал. И столь нужного — ибо без честного решения этих самых вопросов ни литература, ни общественная жизнь не могут идти вперед, — все, что идет с недомолвками, в обход, в обман, — приносило, приносит и принесет только вред.

Позвольте поздравить Вас, себя, тысячи оставшихся в живых и сотни тысяч умерших (если не миллионы), ведь они живут тоже с этой поистине удивительной повестью.

Позвольте и поделиться мыслями своими по поводу и повести, и лагерей.

Повесть очень хороша. Мне случалось слышать отзывы о ней — ее ведь ждала вся Москва. Даже позавчера, когда я взял одиннадцатый номер «Нового мира» и вышел с ним на площадь Пушкинскую, три или четыре человека за 20—30 минут спросили: «Это одиннадцатый номер?» — «Да, одиннадцатый». — «Это где повесть о лагерях?» — «Да, да!» — «А где Вы взяли, где купили?»

Я получил несколько писем (я это говорил Вам в «Новом мире»), где очень-очень эту повесть хвалили. Но только прочтя ее сам, я вижу, что похвалы преуменьшены неизмеримо. Дело, очевидно, в том, что материал этот такого рода, что люди, не знающие лагеря (счастливые люди, ибо лагерь — школа отрицательная, даже часа не надо быть человеку в лагере, минуты его не видеть), не смогут оценить эту повесть во всей ее глубине, тонкости, верности. Это и в рецензиях видно, и в симоновской, и в баклановской, и в ермиловской. Но о рецензиях я писать Вам не буду.

Повесть эта очень умна, очень талантлива. Это — лагерь с точки зрения лагерного «работяги», который знает мастерство, умеет «заработать», работяги, не Цезаря Марковича и не кавторанга. Это — не «доплывающий» интеллигент, а испытанный великой пробой крестьянин, выдержавший эту пробу и рассказывающий теперь с юмором о прошлом.

В повести все достоверно. Это лагерь «легкий», не совсем настоящий. Настоящий лагерь в повести тоже показан, и показан очень хорошо: этот страшный лагерь — Ижма Шухова — пробивается в повести, как белый пар сквозь щели холодного барака. Это тот лагерь, где работяг на лесоповале держали днем и ночью, где Шухов потерял зубы от цинги, где блатари отнимали пищу, где были вши, голод, где по всякой причине заводили дело. Скажи, что спички на воле подорожали, и заводят дело. Где на конце добавляли срóка, пока его не выдадут «весом», «сухим пайком» в семь граммов. Где было в тысячу раз страшнее, чем на каторге, где «номера не весят». На каторге, в Особлаге, который много слабее настоящего лагеря. В обслуге здесь вольнонаемные надзиратели (надзи-

ратель на Ижме — бог, а не такое голодное создание, у которого моет пол на вахте Шухов). В Ижме... Где царят блатари и блатная мораль определяет поведение и заключенных, и начальства, особенно воспитанного на романах Шейнина и погодинских «Аристократах». В каторжном лагере, где сидит Шухов, у него есть ложка, ложка для настоящего лагеря — лишний инструмент. И суп, и каша такой консистенции, что можно выпить через борт, около санчасти ходит кот — тоже невероятно для настоящего лагеря, — кота давно бы съели. Это грозное, страшное былое Вам удалось показать, и показать очень сильно, сквозь эти вспышки памяти Шухова, воспоминания об Ижме. Школа Ижмы — это и есть та школа, где и выучился Шухов, случайно оставшийся в живых. Все это в повести кричит полным голосом, для моего уха, по крайней мере.

Есть еще одно огромное достоинство — это глубоко и очень тонко показанная крестьянская психология Шухова. Столь тонкая высокохудожественная работа мне не встречалась, признаться, давно. Крестьянин, который сказывается во всем — и в интересе к «красилям»¹⁵, и в любознательности, и природно цепком уме, и умении выжить, наблюдательности, осторожности, осмотрительности, чуть скептическом отношении к разнообразным Цезарям Марковичам, да и всевозможной власти, которую приходится уважать. Умная независимость, умное покорство судьбе и умение приспособиться к обстоятельствам, и недоверие — все это черты народа, людей деревни. Шухов гордится собой, что он — крестьянин, что он выжил, сумел выжить и умеет и поднести сухие валенки богатому бригаднику, и умеет «заработать». Я не буду перечислять всех художественных подробностей, свидетельствующих об этом. Вы их знаете сами.

Великолепно показано то смещение масштабов, которое есть у всякого старого арестанта, есть и у Шухова. Это смещение масштабов касается не только пищи: когда глотает кружок колбасы — высшее блаженство, а и более глубоких вещей, и с Кильгасом ему было интереснее говорить, чем с женой, и т. д. Это — глубоко верно. Это — одна из важнейших лагерных проблем. Поэтому для возвращения нужен «амортизатор» не менее двух-трех лет. Очень тонко и мягко о посылке, которую все-таки ждешь, хотя и написал, чтоб не посылали. Выживу — так выживу, а нет — не спасешь и посылками. Так и я писал, так и я думал перед списком посылок.

Вообще детали, подробности быта, поведение всех героев очень точны и очень новы, обжигающе новы. Стоит вспомнить только *невыжатую* тряпку, которую бросает Шухов за печку после мытья полов. Таких подробностей в повести — сотни, — других, не новых, не точных вовсе нет.

Вам удалось найти исключительно сильную форму. Дело в том, что лагерный быт, лагерный язык, лагерные мысли немислимы без матерщины, без ругани самым последним словом. В других случаях это может быть преувеличением, но в лагерном языке — это характерная черта быта, без которой решать этот вопрос успешно (а тем более образцово) нельзя. Вы его решили. Все эти «фуяслице», «...яди», все это уместно, точно и — необходимо. Понятно, что и всякие «падлы» занимают полноправное место, и без них не обойтись. Эти «паскуды», между прочим, тоже от блатарей, от Ижмы, от общего лагеря.

Необычайно правдивой фигурой в повести, авторской удачей, не уступающей главному герою, я считаю Алешку, сектанта, и вот почему. За двадцать лет, что я провел в лагерях и около них, я пришел к твердому выводу — сумме многолетних, многочисленных наблюдений, — что, если в лагере и были люди, которые, несмотря на все ужасы, голод, побои и холод, непосильную работу сохраняли и сохранили неизменно человеческие черты, — это сектанты и вообще религиозники, включая и православных попов. Конечно, были отдельные хорошие люди и из других групп населения, но это были только одиночки, да и, пожалуй, до случая, пока не было слишком тяжело. Сектанты же всегда оставались людьми.

В Вашем лагере хорошие люди — эстонцы. Правда, они еще горя не видели — у них есть табак, еда. Голодать всей Прибалтике приходилось больше, чем русским, — там все народ крупный, рослый, а паек ведь одинаковый, хотя лошадям дают паек в зависимости от веса. «Доходили» всегда и везде латыши, литовцы, эстонцы раньше из-за рослости своей, да еще потому, что деревенский быт Прибалтики немного другой, чем наш. Разрыв между лагерным бытом больше. Были такие философы, которые смеялись над этим, дескать, не выдерживает Прибалтика против русского человека, — эта мерзость встречается всегда.

Очень хорош бригадир, очень верен. Художественно этот портрет безупречен, хотя я не могу представить себе, как бы я стал бригадиром (мне это предлагали когда-то

неоднократно), ибо хуже того, чтобы приказывать другим работать, хуже такой должности, в моем понимании, в лагере нет. Заставлять работать арестантов — не только голодных, бессильных стариков-инвалидов, а всяких — ибо для того, чтобы дойти при побоях, четырнадцатичасовом рабочем дне, многочасовой выстойке, голоде, пятидесятишестидесятиградусном морозе, надо очень немного, всего три недели, как я подсчитал, чтобы вполне здоровый, физически сильный человек превратился в инвалида, в «фитиля», надо три недели в умелых руках. Как же тут быть бригадиром? Я видел десятки примеров, когда при работе со слабым напарником сильный просто молчал и работал, готовый перенести все, что придется. Но не ругать товарища. Сесть из-за товарища в карцер, даже получить срок, даже умереть. Одного нельзя — приказывать товарищу работать. Вот потому-то я не стал бригадиром. Лучше, думаю, умру. Я мисок не лизал за десять лет своих общих работ, но не считаю, что это занятие позорное, это можно делать. А то, что делает кавторанг, — нельзя. А вот потому-то я не стал бригадиром и десять лет на Колыме провел от забоя до больницы и обратно, принял срок десятилетний. Ни в какой конторе мне работать не разрешали, и я не работал там ни одного дня. Четыре года нам не давали ни газет, ни книг. После многих лет первой попалась книжка Эренбурга «Падение Парижа». Я полистал, полистал, оторвал листок на сигарку и закурил.

Но это — личное мнение мое. Таких бригадиров, как изображенный Вами, очень много, и вылеплен он очень хорошо. Опять же — в каждой детали, в каждой подробности его поведения. И исповедь его превосходна. Она и логична. Такие люди, отвечая на какой-то внутренний зов, неожиданно выговариваются сразу. И то, что он помогает тем немногим людям, кто ему помог, и то, что радуется смерти врагов, — все верно. Ни Шухов, ни бригадир не захотели понять высшей лагерной мудрости: никогда не приказывай ничего своему товарищу, особенно — работать. Может, он болен, голоден, во много раз слабее тебя. Вот это умение поверить товарищу и есть самая высшая доблесть арестанта. В ссоре кавторанга с Фетюковым мои симпатии всецело на стороне Фетюкова. Кавторанг — это будущий шакал. Но об этом — после.

В начале Вашей повести сказано: закон — тайга, люди и здесь живут, гибнет тот, кто миски лижет, кто в санчасть ходит и кто ходит к «куму». В сущности, об этом — и напи-

сана вся повесть. Но это — бригадирская мораль. Опытный бригадир Кузёмин не сказал Шухову одной важной лагерной поговорки (бригадир и не мог ее сказать). Что в лагере убивает большая пайка, а не маленькая. Работаешь ты в забое — получаешь килограмм хлеба, лучшее питание, ларек и т. д. И умираешь. Работаешь дневальным, сапожником и получаешь пятьсот граммов, и живешь двадцать лет, не хуже Веры Фигнер и Николая Морозова держишься. Эту поговорку Шухов должен был узнать на Ижме и понять, что работать надо так — тяжелую работу плохо, а легкую, посильную — хорошо. Конечно, когда ты «доплыл», и о качестве легкой работы не может быть речи, но закон верен, спасителен.

Каким-то концом эта новая для Вашего героя философия опирается и на работу санчасти. Ибо, конечно, на Ижме только врачи оказывали помощь, только врачи и спасали. И хотя поборников трудовой терапии и там было немало, и стихи заказывали врачи, и взятки брали — но только они могли <спасти> и спасали людей.

Можно ли допустить, чтобы твоя воля была использована для подавления воли других людей, для медленного (или быстрого) их убийства. Самое худшее, что есть в лагере, — это приказывать другим работать. Бригадир — это страшная фигура в лагерях. Мне много раз предлагали бригадиром. Но я решил, что умру, но бригадиром не стану.

Конечно, такие бригадиры любят Шуховых. Бригадир не бьет кавторанга только до той поры, пока тот не ослабел. Вообще это наблюдение, что в лагерях бьют лишь людей ослабевших, очень верно и в повести показано хорошо.

Тонко и верно показано увлечение работой Шухова и других бригадников, когда они кладут стену. Бригадиру и помбригадиру размяться — в охотку. Для них это ничего не стоит. Но и остальные увлекаются в горячей работе — всегда увлекаются. Это верно. Значит, что работа еще не выбила из них последние силы. Это увлечение работой несколько сродни тому чувству азарта, когда две голодных колонны обгоняют друг друга, эта детскость души, сказывающаяся и в реве оскорблений по адресу опоздавшего молдавана (чувство, которое и Шухов разделяет всецело), — все это очень точно, очень верно. Возможно, что такого рода увлечение работой и спасает людей. Надо только помнить, что в бригадах лагерных всегда бывают новички и старые арестанты — не хранители зако-

нов, а просто более опытные. Тяжелый труд делают новички — Алешка, кавторанг. Они один за другим умирают, меняются, а бригадиры живут. Это ведь и есть главная причина, почему люди идут работать в бригадиры и отбывают несколько сроков.

В настоящем лагере на Ижме утреннего супа хватало на час работы на морозе, а остальное время каждый работал лишь столько, чтобы согреться. И после обеда также хватало баланды только на час.

Теперь о кавторанге. Здесь есть немного «клюквы». К счастью, очень немного. В первой сцене — у вахты. «Вы не имеете права», и т. д. Тут некоторый сдвиг во времени. Кавторанг — фигура тридцать восьмого года. Вот тогда чуть не каждый так кричал. Все, так кричавшие, были расстреляны. Никакого «кондея» за такие слова не полагалось в 1938 году. В 1951 году кавторанг так кричать не мог, каким бы новичком он ни был. С 1937 года в течение четырнадцати лет на его глазах идут расстрелы, репрессии, аресты, берут его товарищей, и они исчезают навсегда. А кавторанг не дает себе труда даже об этом подумать. Он ездит по дорогам и видит повсюду караульные лагерные вышки. И не дает себе труда об этом подумать. Наконец, он прошел следствие, ведь в лагерь-то попал он после следствия, а не до. И все-таки ни о чем не подумал. Он мог этого не видеть при двух условиях: или кавторанг четырнадцать лет пробыл в дальнем плавании, где-нибудь на подводной лодке, четырнадцать лет не поднимаясь на поверхность. Или четырнадцать лет сдавал в солдаты бездумно, а когда взяли самого, стало нехорошо. Не думает кавторанг и о бендеровцах, с которыми сидеть не хочет (а со шпионами? с изменниками родины? с власовцами? с Шуховым? с бригадиром?). Ведь эти бендеровцы — такие же бендеровцы, как кавторанг шпион. Его ведь не кубок английский угробил, а просто сдали по разверстке, по следовательским контрольным спискам. Вот единственная фальшь Вашей повести. Не характер (такие есть правдолюбцы, что вечно спорят, были, есть и будут). Но типичной такая фигура могла быть только в 1937 году (или в 1938 — для лагерей). Здесь кавторанг может быть истолкован как будущий Фетюков. Первые побои — и нет кавторанга. Кавторангу — две дороги: или в могилу, или лизать миски, как Фетюков — бывший кавторанг, сидящий уже восемь лет.

В тридцать восьмом году убивали людей в забоях, в бараках. Нормированный рабочий день был четырна-

дцать часов, сутками держали на работе, и какой работе. Ведь лесоповал, бревнотаска Ижмы — такая работа — это мечта всех горнорабочих Колымы. Для помощи в уничтожении пятьдесят восьмой статьи были привлечены уголовники — рецидивисты, блатари, которых называли «друзьями народа», в отличие от врагов, которых засылали на Колыму безногих, слепых, стариков — без всяких медицинских барьеров, лишь бы были «спецуказания» Москвы. На градусник в 1938 году глядели, когда он достигал 56 градусов, в 1939—1947 — 52°, а после 1947 года — 46°. Все эти мои замечания, ясное дело, не умаляют ни художественной правды Вашей повести, ни той действительности, которая стоит за ними. Просто у меня другие оценки. Главное для меня в том, что лагерь 1938 года есть вершина всего страшного, отвратительного, растлевающего. Все остальные и военные годы, и послевоенные — страшно, но не могут идти ни в какое сравнение с 1938 годом.

Вернемся к повести. Повесть эта для внимательного читателя — откровение в каждой ее фразе. Это первое, конечно, в нашей литературе произведение, обладающее и смелостью, и художественной правдой, и правдой пережитого, пережитого, — первое слово о том, о чем все говорят, но еще никто ничего не написал. Лжи за время с XX съезда было уже немало. Вроде омерзительного «Самородка» Шелеста¹⁶ или фальшивой и недостойной Некрасова повести «Кира Георгиевна». Очень хорошо, что в лагере нет патристических разговоров о войне, что Вы избежали этой фальши. Война полностью говорит там трагическим голосом искалеченных судеб, преступных ошибок. Еще одно. Мне кажется, что понять лагерь без роли блатарей в нем нельзя. Именно блатной мир, его правила, этика и эстетика вносят растление в души всех людей лагеря — и заключенных, и начальников, и зрителей. Почти вся психология рабочей каторги и внутренней ее жизни определялась, в конечном счете, блатарями. Вся ложь, которая введена в нашу литературу в течение многих лет «Аристократами» Погодина и продукцией Льва Шейнина, — неизмерима. Романтизация уголовщины нанесла великий вред, спасая блатных, выдавая их за внушающих доверие романтиков, тогда как блатари — не люди.

В Вашей повести блатной мир только просачивается в щели рассказа. И это хорошо, и это верно.

Вот разрушение этой многолетней легенды о блатарях-романтиках — одна из очередных задач нашей художественной литературы.

Блатарей в Вашем лагере нет!

Ваш лагерь без вшей! Служба охраны не отвечает за план, не выбивает его прикладами.

Кот!

Махорку меряют стаканом!

Не таскают к следователю.

Не посылают после работы за пять километров в лес за дровами.

Не бьют.

Хлеб оставляют в матрасе. В матрасе! Да еще набитом! Да еще и подушка есть! Работают в тепле.

Хлеб оставляют дома! Ложками едят! Где этот чудный лагерь?

Хоть бы с годок там посидеть в свое время.

Сразу видно, что руки у Шухова не отморожены, когда он сует пальцы в холодную воду. Двадцать пять лет прошло, а я совать руки в ледяную воду не могу.

В забойной бригаде золотого сезона 1938 года к концу сезона, к осени, оставались только бригадир и дневальный, а все остальные за это время ушли или «под сопку», или в больницу, или в другие, еще работающие на подсобных работах бригады. Или расстреляны: по спискам, которые читались каждый день на утреннем разводе до глубокой зимы 1938 года, — списки тех, кто расстрелян позавчера, три дня назад. А в бригаду приходили новички, чтобы в свою очередь умереть или заболеть, или встать под пули, или издохнуть от побоев бригадира, конвоира, рядчика, парикмахера и дневального. Так было со всеми забойными бригадами у нас.

Ну, хватит. Поехал я в сторону, не удержался. Пересчет бесконечный — все это верно, точно, знакомо очень хорошо. Пятерки эти запомнятся навек. Горбушки, серединки не упущены. Мера рукой пайки и затаенная надежда, что украли мало, — верна, точна. Кстати, во время войны, когда шел белый американский хлеб, с подмесом кукурузы, ни один хлеборез не резал загодя, трехсотка за ночь теряла до пятидесяти граммов. Был приказ выдавать бригаде хлеб весом не резаный, а потом стали резать перед самым разводом.

Именно КЭ 460. Все в лагере говорят «кэ», а не «ка». Кстати, почему «зэк», а не «зэка». Ведь это так пишется: з/к и склоняется: зэка, зэкою. Невыжатая тряпка, которую

Шухов бросает на вахте за печку, стоит целого романа, а таких мест сотни.

Разговор Цезаря Марковича с кавторангом и с москвичом очень уловлен хорошо. Передать разговор об Эйзенштейне — чужеродная для Шухова мысль. Здесь автор показывает себя как писателя, чуть отступая от шуховской маски.

〈У лагерника〉 обеднен язык, обеднено мышление, смещены все масштабы дум.

Произведение чрезвычайно экономно, напряжено, как пружина, как стихи.

И еще один вопрос, очень важный, решен Шуховым очень верно: кто находится на дне? Да те же, что и наверху. Ничем не хуже, а даже, пожалуй, получше, крепче!

Очень правильно подписал Шухов на следствии протокол допроса. И хотя я за свои два следствия не подписал ни одного протокола, обличающего меня, и никаких признаний не давал — толк был один и тот же. Дали срок и так. Притом на следствии меня не били. А если бы били (как со второй половины 1937 года и позднее) — не знаю, что бы я сделал и как бы себя вел.

Отличен конец. Этот кружок колбасы, завершающий счастливый день. Очень хорошо печенье, которое нежданный Шухов отдает Алешке. — Мы — заработаем. Он — удачлив. На!..

Стукач Пантелеев показан очень хорошо. «А проводят по санчасти!» Вот что такое стукач, вовсе не понял бедняга Вознесенский, который так хочет шагать в ногу с веком. В его «Треугольной груше» есть стихи о стукачах, американских стукачах ни много ни мало. Я сначала не понял ничего, потом разобрался: Вознесенский называет стукачами штатных агентов наблюдения, «филеров», так их зовут в воспоминаниях.

Художественная ткань так тонка, что различаешь латыша от эстонца. Эстонцы и Кильгас — разные люди, хоть и в одной бригаде. Очень хорошо. Мрачность Кильгаса, тянущегося больше к русскому человеку, чем к соседям прибалтийцам, — очень верна.

Великолепно насчет лишней пищи, которую ел Шухов на воле и которая была, оказывается, вовсе не нужна. Эта мысль приходит в голову каждому арестанту. И выражено это блестяще.

Сенька Клевшин и вообще люди из немецких лагерей, которых обязательно сажали после, — их было много. Характер очень правдив, очень важен.

Волнения о «зажиленных» воскресеньях очень верны (в 1938 году на Колыме не было отдыха в забое. Первый выходной получил я 18 декабря 1938 года. Весь лагерь угнали в лес за дровами на целый день). И что радуются всякому отдыху, не думая, что время все равно начальство вычтет. Это потому, что арестант не планирует жизнь дальше сегодняшнего вечера. Дай сегодня, а что там будет завтра — посмотрим.

О двух потах в горячей работе — очень хорошо.

О сифилисе от бычков. Никто в лагере не заразился таким путем. Умирили в лагере не от этого.

Бранящиеся старики-парашники, валенок, летящий в столб. Ноги Шухова в одном рукаве телогрейки — все это великолепно.

Большой разницы в вылизывании мисок и в отирании дна коркой хлеба нет. Разница только подчеркивает, что там, где живет Шухов, еще нет голода, еще можно жить.

Шепот! «Продстол передернули». И «у кого-то вечером отрежут».

Взятки — очень все верно.

Валенки! У нас валенок не было. Были бурки из старой ветоши — брюк и телогреек десятого срока. Первые валенки я надел, уже став фельдшером, через десять лет лагерной жизни. А бурки носил не в сушилку, а на починку. На дне, на подошве наращивают заплаты.

Термометр! Все это прекрасно.

В повести очень выражена и проклятая лагерная черта: стремление иметь помощников, «шестерок». Работу по уборке в конце концов делают те же работяги после тяжелой работы в забое подчас до утра. Обслуга человека — над человеком. Это ведь и не только для лагеря характерно.

В Вашей повести очень не хватает начальника (большого начальника, вплоть до начальника приисковых управлений), торгующего среди заключенных махоркой через дневального зэка по пяти рублей папироса. Не стакан, не пачка, а папироса. Пачка махорки у такого начальника стоила от ста до пятисот рублей.

— Дверь притягивай!

Описание завтрака, супчика, опытного, ястребиного арестантского глаза — все это верно, важно. Только рыбу едят с костями — это закон. Этот черпак, который дороже всей жизни прошлой, настоящей и будущей, — все это страдано, пережито и выражено энергично и точно.

Горячая баланда! Десять минут жизни заключенного

за едой. Хлеб едят отдельно, чтобы продлить удовольствие еды. Это — всеобщий гипнотический закон.

В 1945 году приехали репатрианты сменить нас на прииск Северного управления на Колыме. Удивлялись: «Почему ваши в столовой съедают суп и кашу, а хлеб берут с собой. Не лучше ли...» Я отвечал: «Не пройдет и двух недель, как вы это поймете и станете делать точно так же». Так и случилось.

Полежать в больнице, даже умереть на чистой постели, а не в бараке, не в забое, под сапогами бригадиров, конвоиров и нарядчиков, — мечта всякого зэка. Вся сцена в санчасти очень хороша. Конечно, санчасть видела более страшные вещи (например, стук о железный таз ногтей с отмороженных пальцев работяг, которые срывает врач щипцами и бросает в таз и т. д.).

Минута перед разводом — очень хороша.

Холмик сахару. У нас сахар никогда не выдавали на руки, всегда в чаю.

Вообще весь Шухов, в каждой сцене очень хорош, очень правдив.

Цезарь Маркович — вот это и есть герой некрасовской «Киры Георгиевны». Такой Цезарь Маркович вернется на волю и скажет, что в лагере можно изучать иностранные языки и вексельное право.

«Шмон» утренний и вечерний — великолепен.

Вся Ваша повесть — это та долгожданная правда, без которой не может литература наша двигаться вперед. Все, кто умолчат об этом, исказят правду эту, — подлецы.

Очень хорошо описана предзона и этот загон, где стоят бригады, одна за другой. У нас такая была. А на фронтоне главных ворот (во всех отделениях лагеря по особому приказу сверху) цитата на красном сатине: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства!» Вот как!

Традиционное предупреждение конвоя, которое всякий зэка выучил наизусть, называлось у нас: «Шаг вправо — шаг влево считаю побегом, прыжок вверх агитацией!» Шутят, как видите, везде.

Письмо. Очень тонко, очень верно.

Насчет «красилей» — ярче картины не бывало.

Все в повести этой верно, все правда.

Помните, самое главное: лагерь отрицательная школа с первого до последнего дня для кого угодно. Человеку — ни начальнику, ни арестанту — не надо видеть. Но уж если ты видел — надо сказать правду, как бы она ни была

страшна. Шухов остался человеком не благодаря лагерю, а вопреки ему.

Я рад, что Вы знаете мои стихи. Скажите как-нибудь Твардовскому, что в его журнале лежат мои стихи более года, и я не могу добиться, чтобы их показали Твардовскому. Лежат там и рассказы, в которых я пытался показать лагерь так, как я его видел и понял.

Желаю Вам всякого счастья, успеха, творческих сил. Просто физических сил, наконец.

В 1958 году (!) в Боткинской больнице у меня заполняли историю болезни, как вели протокол допроса на следствии. И полпалаты гудело: «Не может быть, что он врет, что он такое говорит!» И врачиха сказала: «В таких случаях ведь сильно преувеличивают, не правда ли?» И хлопала меня по плечу. И меня выписали. И только вмешательство редакции заставило начальника больницы перевести меня в другое отделение, где я и получил инвалидность.

Вот поэтому-то Ваша книга и имеет важность, не сравнимую ни с чем — ни с докладами, ни с письмами.

Еще раз благодарю за повесть. Пишите, приезжайте. У меня всегда можно остановиться.

Ваш *В. Шаламов.*

Со своей стороны, я давно решил, что всю мою оставшуюся жизнь я посвящу именно этой правде. Я написал тысячу стихотворений, сто рассказов, с трудом опубликовал за шесть лет один сборник стихов-калек, стихов-инвалидов, где каждое стихотворение урезано, изуродовано.

Слова мои в нашем разговоре о ледоколе и маятнике не были случайными словами¹⁷. Сопrotивление правде очень велико. А людям ведь не нужны ни ледоколы, ни маятники. Им нужна свободная вода, где не нужно никаких ледоколов.

В. Ш.

⟨*Ноябрь 1962*⟩

⟨*Запись В. Т. Шаламова*⟩

30 мая после получения письма¹⁸ дал телеграмму и стал ждать 2-го в воскресенье приезда.

2 июня. Солженицын. Рассказ «Для пользы дела».

«Я считаю Вас моей совестью и прошу посмотреть, не

сделал ли я чего-нибудь помимо воли, что может быть истолковано как малодушие, приспособленчество.

Пьеса «Олень и шалашовка» задержана по моей инициативе. Театр (Ефремов) настаивал, чтоб дал в театр читать, чтобы понемногу готовить, но я отказался наотрез. Я написал две пьесы («Олень и шалашовка» и «Свеча на ветру»), роман, киносценарий «Восстание в лагере»¹⁹.

Получил огромное количество писем. Написал пятьсот ответов. Вот два — одно какого-то вохровца, ругательное за «Ивана Денисовича», другое горячее, в защиту. Были письма от з/к, которые писали, что начальство лагеря не выдает «Роман-газету». Вмешательство через Верховный суд. В Верховном суде несколько месяцев назад я выступал. Это — единственное исключение (да еще вечер в рязанской школе в прошлом году). Верховный суд включил меня в какое-то общество по наблюдению жизни в лагерях, но я отказался. Вторая пьеса («Свеча на ветру») будет читана в Малом театре».

⟨1963⟩

⟨Запись В. Т. Шаламова⟩

А. Солженицын. 26 июля 1963 года. Приехал из Ленинграда, где месяц работал в архивах над новым своим романом. Сейчас — в Рязань, в велосипедную поездку (Ясная Поляна и дальше вдоль рек), вместе с Натальей Алексеевной²⁰. Бодр, полон планов. «Работаю по двенадцать часов в день». «Для пользы дела» идет в седьмом номере «Нового мира». «Были исправления незначительные, но неприятные. За границей об «Иване Денисовиче» писали много, английские статьи (до 40) читал со словарем. Разных позиций, самых разных. И то, что это «одна политика» (перевод «Ивана Денисовича» был посредственный, тональность исчезла), и то, что это «начало правды», большой творческий успех. Весь мир переводил, кроме ГДР, где Ульбрихт запретил публикацию.

«Новый мир». Твардовский расположен. Члены редакции остались к Солженицыну безразличны, как и писатели!

— Хотел писать о лагере, но после Ваших рассказов думаю, что не надо. Ведь опыт мой четырех, по существу, лет (четыре года благополучной жизни).

Сообщил свою точку зрения на то, что писатель не должен слишком хорошо знать материал.

Разговор о Чехове. Я: — Чехов всю жизнь хотел и не мог, не умел написать роман. «Скучная история», «Моя жизнь», «Рассказ неизвестного человека» — все это попытки написать роман. Это потому, что Чехов умел писать, только не отрываясь, а безотрывно можно написать только рассказ, а не роман.

Солженицын: — Причина, мне кажется, лежит глубже. В Чехове не было устремления ввысь, что обязательно для романиста, — Достоевский, Толстой.

Разговор о Чехове на этом кончился, и я только после вспомнил, что Боборыкин, Шеллер-Михайлов легко писали огромные романы без всякого взлета ввысь.

Солженицын: — Стихи, которые я привозил печатать («Невеселая повесть в стихах»), — это доведенные до кондиции выборки из большой поэмы, там есть хорошие. как мне кажется, места.

Приглашал на сентябрь в Рязань для отдыха.

⟨1963⟩

14 августа 1963 г.

Дорогой Александр Исаевич.

Все хотелось дожидаться выхода седьмого номера «Нового мира» с рассказом, взглянуть на него уже другими глазами. Ведь рукопись — одно, машинописный текст — другое, журнальный текст — третье, а книга — четвертое. В переиздании, «Избранных» опять текст выглядит всегда по-своему.

Восторг мой по поводу «Для пользы дела» усилился. Название рассказа уж очень точно, исчерпывающее; лучше, значительней, удачней, тоньше, важнее назвать нельзя.

Потеря в образе Хабалыгина ощутима, там зажевано важное размышление Грачикова насчет Хабалыгина и очень важный абзац (он весь остался — о коммунистах, которых надо гнать из партии), но как-то повис в воздухе, он был раньше укреплен гораздо лучше. Больших потерь, по-моему, нет, да и для читателя это — не потеря. Во всяком случае, было лучше.

«Для пользы дела», как я уже Вам говорил, — очень тонкая работа, по существу, своеобразное отражение во все других, неравнозначных событий, авторский ответ на вопросы, которые вовсе не исчерпываются содержанием рассказа.

Главное в рассказе — это глубоко педагогическая мысль, что ложь перед молодежью трижды большее преступление, о том, что энтузиазм, конечно, еще будет, и еще раз, но... Все это ведь осталось, пострадал только Хабалыгин и суждение насчет «внутреннего капитализма».

Я лежал и с удовольствием вчитывался в пейзаж — в эти белые, быстро летящие облака, в собравшийся дождь, в то, что хоть немного продуло и освежило.

В первом чтении, где сочленения Кнорозова описаны очень хорошо, и левая рука, поддерживающая правую, у Федора Михеевича тоже хороша, я упустил бухгалтершу, которая закусила губу и — вышла.

Поздравляю Вас от всего сердца.

Вчера проделал опыт на том же отрезке улицы, который в ноябре я проходил с одиннадцатым номером «Нового мира», с «Одним днем Ивана Денисовича», когда меня остановили четыре человека: «Вышел журнал? Вышел? Вышел? С этой повестью? Да? Где Вы взяли?» Нынче прошел тот же путь, держа в руках стеклянную банку с топленным маслом. Спросили «Где взяли?» только два человека. Мораль: не хлебом единым жив будет человек.

Как Ваша поездка с Натальей Алексеевной на велосипедах? Дороги? Как южные планы? Жду Вас в Москве. Желаю здоровья, силы, Наталья Алексеевна лучший мой привет. Ольга Сергеевна²¹ приветствует обоих.

Ваш В. Шаламов.

Дорогой Александр Исаевич.

28 августа я сдал новую книжку стихов в «Советском писателе». Не то что она сдана в производство (до этого еще далеко), но рукопись включена в план (сентябрь) и прошла подбор и гребенку первого редактора, имя которого будет значиться на титуле. Еще — два чтеца, кроме Главлита. Экземпляр рукописи «Шелеста листьев» (так называется книжка) я берегу для Вас и Натальи Алексеевны и передам, когда увижу Наталью Алексеевну. Многое Вы знаете, кое-что есть новое. Как и «Огниво», «Шелеста листьев» больше редакторское достижение, чем авторское, но я устал сопротивляться. И это — не тот сборник, который мне хотелось бы иметь.

Книжка пройдет почти все этапы до 10 сентября, вероятно.

Я думал взять с собой в Рязань «воровской материал»²², кроме чистой бумаги, как мнение Ваше? Благодарю за приглашение на дачу, я обязательно при всех обстоятельствах приеду. Сердечный мой привет Наталье Алексеевне. Ольга Сергеевна приветствует Вас обоих.

Ваш *В. Шаламов.*

Взять «Бутырская тюрьма», «Подполковник медицинской службы»²³.

⟨Август — сентябрь 1963⟩

Дорогой Александр Исаевич.

Наталья Алексеевна была у меня, любезный ее разговор я никогда не забуду, и мы сговорились, что я приеду не 9-го, а 11-го. Эта отсрочка... вызвана желанием моим ускорить сдачу книжки. Двухлетнее движение подошло к концу (к концу ли), и книжка включена в план сентября. Раньше ее хотели включить в октябрь, а я просил во второй квартал, и ее передвинули на сентябрь (это было еще до получения Вашего письма). Я рассчитывал твердо сдать книжку (и сдать) в августе. Но рассчитать сроки редакционного чтения очень трудно, и получилось так, что консультант издательства (главная фигура на моем пути) возьмет книгу только 9-го числа (вместо предполагавшегося 1-го). Я просил его прочесть в один-два дня.

Я мог бы бросить любые ⟨нрзб.⟩ дела и приехать 9-го, ибо эта встреча мне бесконечно важна, но оставить сдачу книжки я не могу.

Так что я приеду не 9-го и не 10-го, как мы сговорились с Натальей Алексеевной, я пришлю телеграмму. Но, может быть, это будет более позднее число, чем 10-е и 11-е.

Теперь о самом сборнике. Помните, при нашей первой встрече в «Новом мире» Вы говорили, что вот теперь пора выпустить хороший сборник. Такой сборник и сейчас выпустить невозможно. Все колымские стихи сняты по требованию редактора. Все остальное, за исключением двух-трех стихотворений, получило пригладку, урезку. Редакторы-лесорубы превращают дремучую тайгу в обыкновенное редколесье, чтоб высшему (политическое, выступающее под флагом поэтического) начальству легко было превратить труды своих сотрудников в респектабельный парк. Еще одну-две статуи захотят в парк поставить.

Я пишу все это Вам затем, чтобы Вы прониклись моим настроением. Ведь эти несколько дней решают почти всё для книжки. В «почти» входит Главлит и некоторые форс-мажоры. Но там я бессилён, а сейчас хоть и в арьергарде боя, но сражаюсь за каждую строку.

Желаю Вам и Наталье Алексеевне всего самого, самого лучшего.

Я приеду сейчас же, как определится решение и мое присутствие не будет необходимым. Я мог бы приехать 9-го с тем, чтобы уехать 15-го. Но ведь такой визит хуже, да и беспокойным он будет. Поэтому простите меня за эту вынужденную задержку. Я уже все собрал — вещи, придумал, что взять с собой для работы.

Сердечно Ваш *В. Шаламов*.

Сердечный привет.

〈Август — сентябрь 1963〉

〈Вариант〉

На фельдшерских курсах, где я учился, был преподаватель «внутренних болезней» Малинский. Он все там твердил: «Самое главное в вашей будущей практике — научиться верить больному. Не будет в вас этой веры — медицинский работник из вас не выйдет».

Историю эту припоминаю я сейчас вот по какому 〈поводу〉. Никто в семье (в том числе не исключая и самых близких) не понимает, насколько тяжело (или трудно) и как именно я болен.

После вчерашней подробной и сердечной беседы с Натальей Алексеевной я все же вынужден отказаться от приглашения и к Вам не поеду. И вот почему.

Переезд в вагоне до Рязани и на телеге до Солотчи неизбежно выведет меня из строя на несколько дней, потребуется, вероятно, и присутствие врача и т. д., а лежать двое-трое суток придется.

Второе. Я уже семь лет варю себе еду сам и ни в какой столовой обедать не могу. В этой тщательности диеты — одна из моих побед, и я не могу поставить на карту все, что сберегалось в течение многих лет. Я не ем никакого мяса, никаких мясных супов, никаких консервов, ничего приготовленного из консервов, ничего жареного.

Третье, наконец — увы, холода. А поддерживать печи в избе я совершенно не способен.

Вот все мои очень человеческие доводы против поездки. Не ищите ничего другого, что бы было за этим отказом (как сделал бы Теуш²⁴ или Твардовский). Мне очень хотелось поехать. Я уже собираться начал (собрал воровской материал), да и беседы с Вами мне очень интересны,— но, увы,— я не в силах ехать в дачные условия. Простите меня. Может быть, в будущем году, когда у вас будет более просторная квартира в Рязани.

Желаю Вам успеха, рабочего настроения, пишите.

Ваш *В. Шаламов.*

(1963)

Москва, 28 декабря 1963 г.

Дорогая Наталья Алексеевна и Александр Исаевич.

Ольга Сергеевна, Сережа²⁵ и я от всего сердца поздравляем вас с Новым годом. Новый год — единственная дата, которую я отмечаю.

Желаю Александру Исаевичу успеха и удачи в сложном пасьянсе, который раскладывает Комитет по Ленинским премиям. Казалось бы, какие могут быть сомнения, и все же. Книжку мою, как только выйдет, я сейчас же пришлю. Это — крошечная книжка.

Желаю вам обоим душевного мира, здоровья и покоя, благодарю за доброе слово. Из хорошего, настоящего прочел за это время «Джан» Платонова.

Ольга Сергеевна сейчас в Голицыне, так называемом Доме творчества. Это — очень хороший дом.

Ваш *В. Шаламов.*

21 января 1964 г.

Дорогой Александр Исаевич.

Теснимые сверху московские литераторы превратятся в эстетов, прославив Платонова, как Кафку, и будут его расхваливать на все возможные лады (не на всевозможные лады), эта тонкость тут необходима. Зачем? Затем, чтобы противопоставить Платонова Солженицыну, которого москвичи не любят, не верят — во что? Под спудом тут: москвичи не хотят верить в возможность появления большого таланта где-то в Рязани, и т. д. «Путь наверх» всех поголовно писателей наших, включая, конечно, и Федина, — это долгий многолетний путь продвижения со ще-

почки на щепочку, со ступеньки на ступеньку, взаимная поддержка не только литературная, это черепаший ход, во время которого черепахи учатся верить, что никаких других путей в литературу нет. Союз писателей — эта та, во все не символическая организационная форма, которая именно этому движению со щепочки на щепочку и соответствует.

Даже Пастернак не нарушает этой схемы. Но Солженицын нарушает — а поэтому у него выскивают всяких блох, готовы принизить, обойти и т. д.

Чуть-чуть самоуверен. Чуть-чуть слишком верит в свою способность угадать человека. Вроде Вольфа Мессинга пользуется рукой собеседника — дергает произвольно, наверное, *〈это〉* что-то ему говорит. Из-за самоуверенности впадает в слепоту — недостаточно ясно понял и почувствовал причину моего отъезда из Рязани ²⁶. Но — пустяки все это.

В. Шаламов.

Дорогой Александр Исаевич.

Вы, наверное, уже вернулись в Рязань. Пусть Вас не смущают никакие газетные статьи. Комитет по Ленинским премиям не может, просто не может не назвать Вашу повесть. «Иван Денисович» лучшее, что есть в советской литературе, в русской литературе за десятки лет.

Жму Вашу руку, верю в победу правды. Благодарю за внимательный разбор «Шелеста листьев». Конечно, названные Вами стихотворения (да еще «Ни зверя, ни птицы») самые важные в сборнике. Что касается «неприемлемых» и чересчур свободного обращения с явлениями природы, то ведь тут дело в том, что поэзия — это всеобщий язык и тем велика, что любое явление жизни, науки, общества может «перевести» на свое, умножая тем самым свои дороги. Тут дело не в новых «реалиях», как часто любят выражаться, — а в желании и возможности освоить любой жизненный материал (кроме порнографии, что ли). Поэзия — это мир всеобщих соответствий, и именно поэтому развитие ее безгранично.

Поговорим при случае. Знаете, кто у меня был недавно? Варпаховский ²⁷. Я ведь как-то говорил, что знаю его по Колыме. Мы ехали в одном этапе в 1942 году в спецзону Джелгала — один из сталинских Освенцимов того вре-

мени. Меня туда довели, там и осудили через несколько месяцев. (На десять лет.) Для этого, наверное, и везли. А Варпаховского отстояли на последней ночевке этапа его колымские друзья. И года через два после этого я с Варпаховским встречался. Сейчас он приехал ко мне за «Колымскими рассказами» — где-то услышал о них, и я ему дал читать. Я говорю:

— Вы, Леонид Викторович, держали ведь в руках отличную пьесу — «Свечу на ветру» Солженицына.

— Я читал. Мне показалось похоже на Леонида Андреева. Вот где бы прочесть «Олень и шалашовка»? У Вас нет?

— Нет. А на Андреева походить плохо?

— Да. Сила Солженицына в его реализме. Не правда ли?

— Я, Леонид Викторович, не очень твердо вижу границы реализма в любом искусстве. Японский график нарисовал Хиросиму — реализм или нет?

И еще у меня есть для Вас разговор, но — для личной встречи.

Привет Наталье Алексеевне.

Ваш *В. Шаламов.*

Ольга Сергеевна и Сережа шлют свой привет.

〈Май 1964〉

Дорогой Александр Исаевич.

Сердечно был рад получить Ваше письмо. Провокация с трибуны по Вашему адресу²⁸ настолько типичное явление растления сталинских времен и столько вызывает в памяти подобных же преступлений, безнаказанных, ненаказуемых, виденных во множестве в течение десятков лет, — так живо я их вспомнил с огромной душевной тяжестью. Будем надеяться, что с этим покончат все же.

О «Свече на ветру» у меня мнение особое. Это — не неудача Ваша. «Свеча на ветру» ставит и решает те же вопросы, что и в других Ваших вещах, — но в особой манере, и эта особая манера — родилась не в андреевской тени.

Рассказы мои по Москве ходят, я слышал. Дело ведь в полной невозможности работать регулярно из-за головных болей и т. д. Конечно, я не оставляю и не оставляю работы этой. Но идет она плохо, туго. Очередная задача

моя описать Джелгалу, всю Колымскую спецзону (один из сталинских Освенцимов), где я был несколько месяцев и где меня судили. Я недавно столкнулся с очень интересным фактом. Я пытался оформить десятилетний подземный стаж (чтобы с инвалидной уйти на возрастную пенсию), но мне сообщили из Магадана, что в горных управлениях (по их сведениям) я проработал 9 лет и 4 месяца, поэтому просьба о выдаче справки за 10 лет отклоняется²⁹. Одновременно я узнал вот что. Оказывается, уничтожены все «дела» заключенных, все архивы лагерей, и никаких сведений о начальниках, следователях, конвоирах тех лет в Магадане найти нельзя. Нельзя найти ни одного из многих меморандумов, которыми было переполнено мое толстущее «дело». Операция по уничтожению документов произошла между 1953 и 1956 годом. Официально мне дали ответ: сведений о характере Вашей работы не сохранилось. Такая же история повторена и на Воркуте, так в двух самых крупных спецлагерях Сталина.

Приезжайте, жду Вас, в квартире у нас ремонт. Ольга Сергеевна и Сережа на даче, но иногда приезжают. Я же — все время дома, — могу только уйти в магазин.

Сердечный привет Наталье Алексеевне. Ольга Сергеевна <шлет> сердечный привет вам обоим.

Года два назад журнал «Знамя» предложил мне написать воспоминания «Двадцатые годы», Москва 20-х годов. Я написал пять листов за неделю. Тема — великопепна, ибо в двадцатых годах зарождение всех благодетей и всех преступлений будущего. Но я брал чисто литературный аспект. Печатать эту вещь не стали, и рукопись лежит в журнале по сей день³⁰.

В. Шаламов.

<Май 1964>

1 ноября 1964 г.

Дорогой Александр Исаевич.

В Вашем письме об «Анне Ивановне»³¹ есть одна фраза, одно замечание, которое я оставил на потом, чтобы подробнее Вам ответить.

Вы написали, что лучше бы у героя «Анны Ивановны» вместо тетради стихов было бы что-нибудь другое. Тетрадку сделать чем-то вроде чертежей Кибальчича было

бы очень легко. Но нужно совсем не это. Мне кажется, что традиционно как раз описание героизма деятелей науки, техники и т. д. Традиционна боязнь изобразить человека искусства наиболее чутким (ведь это так и есть и иначе быть не может). Второе — я знаю несколько случаев самых тяжелых наказаний за литературную деятельность в лагере. Сюжет «Анны Ивановны» подкреплен живой правдой о мертвых, убитых людях.

Не говоря уже о том, что преступление писать стихи — одно из худших лагерных преступлений. Наказаний за литературную деятельность только я знаю и видел десять, наверное, случаев, если не больше. Стало быть, жизненной правды тут нет недостатка или искажения.

Но суть вопроса гораздо шире, глубже лагерного горизонта, сюжетного хода пьесы. Дело в том, <что> все ученые (любого масштаба) и все инженеры (любой квалификации) всегда «на подсосе», на прикорме у правительства при любой власти. Они и страдают гораздо меньше, да и духовная жизнь их идет несколько в стороне от столбовой дороги страстей. Стоит припомнить недавний ответ профессора Китайгородского на анкету «Вопросов литературы»³². События, во время которых бедные космонавты оказались начисто забыты³³, дают нам истинный масштаб литературы, и жизни, и науки. (Как ни требует внимания инстанций мистерия «Голубой крест» — в свистопляске идеологических страстей требовалось иное — «Голубая кровь».)

Кто же истинный герой? Я считаю, что долг каждого честного писателя — героизация именно интеллигенции гуманитарной, которая всегда и везде, при всякой смене правительств принимает на себя самый тяжелый удар. Это происходило не только в самих лагерях, но во всей человеческой истории. Борьба с «идеологией» из той же области.

Здесь почти нет исключений, кроме Ферми и Демидова³⁴, может быть.

Профессор Китайгородский в ответе на анкету журнала «Вопросы литературы» сообщил, что физики ничего не читают — ни классиков, ни современников — ничего. И не нуждаются в чтении. Все это Китайгородский говорит «от имени», постоянно поминая «мы», у «нас» и т. д. Он говорит, что ученые читают только детективы и на психологический роман у них не хватает духовных сил. Это признание значит, что ученые не читают ничего, ибо чтение детективов — это так называемое «отвлекающее» чтение,

необходимое каждому писателю, каждому ученому, каждому работнику искусства. Суть тут в том, что мозг работает на пониженных оборотах, но не выключается совсем (как во время какой-нибудь лодочной экскурсии или пилки дров). Детективы как отвлекающее чтение читал и Хемингуэй и очень дельно рассказал об этом. Для очень многих (например, Грин) таким отвлекающим чтением является чтение энциклопедических словарей, справочников и т. д. Я тоже читаю справочники с этой же целью. Есть еще вид писательского чтения — это так называемое «стимулирующее» чтение (Пастернак читал классиков, В. М. Инбер — Диккенса, Вы читаете словарь Даля). Для работы Вашей словарь Даля совершенно не нужен, но как известного рода допинг — допустим.

Теперь пойдут дела домашние. Недавно мне пришло письмо из Вологодского отделения Союза писателей с просьбой дать книгу, написать «писательскую» автобиографию. Писательская автобиография должна (по тексту письма) быть написана «сочно», «образно». Честное слово, так и пишут, письмо у меня.

Вологда никогда не обращалась ко мне. В рассказах, которые я написал в тридцатых годах, были вещи и на вологодском материале, — никто оттуда ничего не говорил, не писал. С 1957 года печатают мои стихотворения, указывая, что автор — вологжанин. Никаких рецензий в вологодской газете. В 1961 году выходит «Огниво», имеет рецензии в нескольких городах, только не в Вологде. В 1962 году я сидел в кабинете одного ответственного товарища в «Литературной газете». Товарищ этот говорит: «Слушайте, Варлам Тихонович, хотите, я Вам устрою книжку стихов?» Еще бы.

Берет телефон, заказывает Вологду и через пять минут говорит не то с Мальковым, не то с Малковым³⁵.

— Завтра вологодская книжка <будет>. Слушайте телефон.

— Я слушать не могу.

И каждый ответ он мне повторяет шепотом.

— Нет, это очень трудно, у нас своих много, а Вы еще с каким-то Шаламовым. Надо, чтобы написал предисловие какой-нибудь московский писатель.

— Каждый московский писатель будет считать долгом дать предисловие к книжке Шаламова.

— Ну, хорошо, мы напишем ему сами. Дайте его адрес.

Записывается мой адрес, и все.

Моему доброхоту было очень стыдно встретиться со мной.

Выход «Шелеста листьев» не произвел на Вологду никакого впечатления. И только после рецензии Инбер в «Новом мире» они вдруг обратились ко мне с просьбой написать «сочно» и «образно» и прислать две книжки, уже изданных, из которых они выберут.

Я хотел сказать, что разговор начат не с того конца, что они должны бы просить у меня ненапечатанных стихов или прозу, но передумал и написал просто короткий отказ.

Я тут увлекся рассказом о моих вологодских разговорах и упустил главное, что я хотел Вам сказать. Я начал свою автобиографию и написал уже листа четыре. Хочу показать Вам. Это вещь не для Вологды — велика по объему, так сказать, называется «Несколько моих жизней»³⁶. Не претенциозно название? Прочтете?

Сердечный привет Наталье Алексеевне.

Ваш *В. Шаламов.*

Москва, 15 ноября 1964 г.

Дорогой Александр Исаевич.

Написал Вам целых два письма, но из-за нетранспортабельности, негабаритности в чисто физическом смысле — не отправил и думаю вручить Вам лично, при встрече. Там есть мои замечания на Ваше чтение «по долгу службы».

Желаю здоровья, хорошей работы, успеха «Свече на ветру».

Сердечный привет Наталье Алексеевне.

Ваш *В. Шаламов.*

Дорогой Александр Исаевич!

Очень рад был получить Ваше письмо³⁷. Жаль только, что Вы сузили тему разговора — за бортом осталась наиболее важная часть. Но и в оставшемся «оттенки» выражены явственно, и итоги обсуждения «подбивать» еще рано.

Долг писателя — героизация именно судеб интеллигентов, писателей, поэтов. Они имеют на это право не-

сравненно большее, чем какие-либо другие «прослойки» общества. (Не следует думать, что другие прослойки этого права не имеют.) Дело в степени, в сравнении, в нравственном долге общества. Противопоставление судеб гуманитарной и технической интеллигенции тут неизбежно — слишком велика разница «ущерба». Хорошо Вам известные приключения господина Рамзина³⁸, который позволил себе принять участие в известной комедии — с орденосным «хэппи-эндом» и ведром прописной морали, вылитой по этому поводу на головы зрителей и слушателей, — это единственный пример «ужасного», «крайнего» наказания «вольнодумного» представителя мира науки и техники. Все другие отделялись еще легче (шахтинцы³⁹ и т. д.).

С поэтами и писателями был другой разговор. Мандельштам, Гумилев, Пильняк, Бабель (и сотни других, чьи имена не записаны еще на мраморную доску Союза писателей, хотя их явно больше, чем погибших в войну, и по количеству и по качеству) — были уничтожены сразу. Хотя любой прямоточный котел и любой космический корабль в миллионы раз стоят меньше, чем стихи Мандельштама.

Жизнь Пушкина, Блока, Цветаевой, Лермонтова, Пастернака, Мандельштама — неизмеримо дороже людям, чем жизнь любого конструктора любого космического корабля. Поэты и писатели выстрадали всей своей трагической судьбой право на героизацию. Здесь суть вопроса — «оттенки». Именно так должен быть поставлен и решен этот вопрос. Это нравственный долг общества. И говорить, что изображение убитого художника подобно тому, как бы «художник рисовал собственное ателье»! Ведь художник-то убит в своем ателье.

В вопросе об «ателье» Вы ошибаетесь, Александр Исаевич, даже если взять этот вопрос в Вашем понимании. История литературы, да и история человеческой души знает не одно «ателье» подобного рода, которое рисовал художник, «Детство и отрочество», например. Разве это не «ателье», которое описывает художник Толстой. Конечно, «ателье». В прозе таких «ателье» очень много — их воспитывающая роль неоспорима.

В поэзии примеры привести столь же легко.

В трюмо испаряется чашка какао,
Кольшется тюль, и — прямой
Дорожкой в сад, в бурелом и хаос
К качелям бежит трюмо⁴⁰.

«Ателье»? Ателье. Дача. И в то же время эти строки — высочайшая вершина русской поэзии XX века, века очень богатого в русской литературе, украшенного немалым количеством блестящих имен.

Это — решение вопроса в Вашем понимании «ателье». Для меня же «ателье» художника — это его душа, его личный опыт, отдача скопленного всей жизнью, и в чем это будет выражено, к чему будет привлечено внимание — не суть важно. Будет талант, будет и новизна. Будет новизна, неожиданность, будет и победа. У искусства много начал, но цели его — едины.

Недостаточно правильную позицию, мне кажется, Вы занимаете и в отношении к современным «бытописателям», вроде Шелеста и Алдан-Семенова⁴¹. Тут аргумент «правды» и «неправды» недостаточен. И вот почему. Ведь Алдан-Семенов тоже может сказать, что он, Алдан-Семенов, описывает «пережитое» правдиво, а Солженицын — лжет. Алдан-Семенов скажет: кто дал Солженицыну право судить о том, что в лагере верно и что неверно, если Солженицын лагеря не знает (потому-то и потому-то), а он, Алдан-Семенов, был столько-то лет на Колыме (на Колыме!) и может представить документы, вместе со справкой о реабилитации. Ведь с представлением документов уже был казус, о котором Вы когда-то мне писали⁴². На мой взгляд, Вам (или тем, кто представлял Ваши интересы) вовсе не нужно было представлять какие-то документы о своем заключении. Действовать так — значит вытолкать обоих авторов из литературы — пусть ведут поединок на газетных страницах. Где же истина? Где обе правды, о которых так хорошо знал XIX век России, — правда-истина и правда-справедливость?

Почему Вам кажется, что лжет Алдан-Семенов или Дьяков⁴³, а не лжет Шаламов в его «Колымских рассказах»?

Вот Ажаев⁴⁴, классик литературы подобного рода, включился в разработку золотых рудников, написав «Вагон», — где герои партийцы избивают уркачей и играют в «жучка» в вагоне, хотя с тех пор, как существуют каторга и «жучок», — в вагонах в «жучка» не играют. Ну, Ажаев и удостоверений предъявлять не будет. Это просто рыцарь золотого руна.

Вы меня простите, что я поставил Ваше имя рядом с Алдан-Семеновым, но это на секунду, для иллюстрации ошибочной Вашей мысли. Пусть о «правде» и «неправде» спорят не писатели. Для писателя разговор может идти

о художественной беспомощности, о злонамеренном использовании темы, спекуляции на чужой крови, о том, что Алдан-Семенов, сочиняя свои небылицы, не может говорить от имени лагерников — не в силу своего личного опыта, а из-за своей бездарности. Тут опять-таки вопрос таланта, Александр Исаевич. Исполнение писательского долга и связано именно с талантом. Именно поэтому важно, скажем, Ваше мнение, а не мнение Алдан-Семенова. Или — шире: важно мнение Пушкина о Борисе Годунове, который был исторически, фактически не таким, не тем, как изобразил его Пушкин. Талант — это очень серьезная ответственность. Ну — это — несколько другой вопрос.

Я бы ответил на Ваш вопрос так. Этим людям-лжецам: Шелесту, Алдан-Семенову, Серебряковой⁴⁵ — не надо было давать дорогу в художественную литературу. Все они лжецы как раз потому — что они бездарны. На свете есть тысячи правд (и правд-истин, и правд-справедливостей) и есть только одна правда таланта. Точно так же, как есть один род бессмертия — искусство.

В. Шаламов.

〈*Ноябрь 1964*〉

Дорогой Александр Исаевич!

Рад был получить от Вас письмо. На Асеевском вечере выступить не пришлось — меня просто известили, что вечер переносится, а потом из газет я узнал, что вечер состоялся. «Маленькие поэмы»⁴⁶ будут Вас ждать и вовсе не на «временно». Радуюсь известию о «Свече на ветру»⁴⁷. На мой взгляд, ничего переделывать там не надо. О произведениях Дьякова, Шелеста и Алдан-Семенова пишу Вам подробнее, хотя все эти авторы заслуживают лишь кратко, но крепкого слова по их адресу.

Когда выходил «Иван Денисович», предполагалось: либо повесть будет ледоколом, который откроет дорогу правде к обществу, к молодежи, растолкает лед, и в очистившуюся воду войдут новые многочисленные корабли. Или — публикация «Ивана Денисовича» лишь крайняя точка размаха маятника, который начнет ход назад. И в этом, горьком, втором случае следовало ожидать мутной волны ловкачей на все руки, которые будут торговать собственной кровью (а главное — чужой, что гораздо хуже).

В публику допущены три «бывалых» человека — Алдан-Семенов, Шелест и Дьяков. Сомнительный опыт Галины Серебряковой тут явно не годился. Что касается авторов нескольких сочинений на тему «люди остаются людьми», то знакомиться с этими произведениями не было нужды, поскольку главная мысль выражена в заголовке. В лагерных условиях люди никогда не остаются людьми, лагеря не для этого и созданы. А вот могут ли люди терпеть больше, чем любое животное — главная закономерность тридцать восьмого года, — это, по-видимому, авторами не имелось в виду.

Алдан-Семенов — личность хорошо известная в журнально-газетных кругах. За всевозможные «искажения», разнообразную «клякву» его упрекали не раз. В одном его только никогда не упрекали: в недостаточном подхалимстве. При полном отсутствии таланта и вкуса это качество позволило «создать» (как выражаются с некоторых пор) «Барельеф на скале».

Мне на глаза попала большая статья, напечатанная в «Магаданской правде», где сравниваются произведения Дьякова и Алдан-Семенова. Отдается предпочтение Дьякову как достигшему истинно художественных вершин и т. д., а Алдан-Семенов критикуется за то, что изобразил начальника не типичным, ибо лагерные работы после войны были упорядочены, лагеря выведены из-под контроля начальников (далее перечисляются «пункты», из которых явствует осведомленность автора рецензии в перипетиях лагерной организации тех лет). Алдан-Семенова хвалят за то, что он уделил внимание «барельефу» — как явлению, по существу «имевшему место» в тех или иных формах.

Алдан-Семенов Вам кажется «расконвоированным». Тут вот в чем дело. Лагерная Колыма — это огромный организм, размещенный на восьмой части Советского Союза. На территории этой в худшие времена было до 800—900 тысяч заключенных. (Поменее, стало быть, Дмитлага, где во времена Москанала было 1 200 000 человек списочного состава.)

На Колыме тех времен было несколько исполинских горнопромышленных управлений (Северное, Южное, Юго-Западное, Западное, Тенькинское, Чай-Урьинское и т. д.), где были золотые прииски, оловянные рудники и таинственные места разработки «малого металла». На золоте рабочий день был летом четырнадцать часов (и норма исчислялась из 14 часов). Летом не бывало никаких

выходных дней, «списочный состав» каждой забойной бригады менялся в течение золотого сезона несколько раз. «Людские отходы» извергались — палками, прикладами, тычками, голодом, холодом — из забоя — в больницу, под сопку, в инвалидные лагеря. На смену им бросали новичков из-за моря, с «этапа» без всяких ограничений. Выполнение плана по золоту обеспечивалось любой ценой. Списочный состав бригад (где не было никого живого, кроме бригадиров) поддерживали на «плановом уровне».

Золото, золотые прииски — это главное, ради чего Колыма существует. Ведь то, что на Колыме есть золото, — известно триста лет. Но никогда и никто не решался использовать труд заключенных в таких суровых условиях. В этих вопросах есть какой-то моральный предел, рубеж. Оказывается, этот рубеж можно перейти очень легко и не только «выбивать» из заключенных план, но и заставлять арестантов подписываться на займы (это делалось регулярно). И не только на займы, но было предложение собирать подписи под Стокгольмским воззванием.

Большого презрения к человеку, большого презрения к труду нельзя встретить. Поэтому те, кто восхваляет лагерный труд, ставятся мной на одну доску с теми, кто повесил на лагерные ворота слова: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства».

Попасть на золото — значило попасть в могилу. Случайность судьбы, когда список разрезают надвое — одни идут умирать, а другим достается жизнь и работа, которую можно вынести, перенести, пережить. И разве не каждый день такой список разрезают на две части. Список судьбы каждого. Большой частью — это случайность. Но иногда может быть приложено и волевое усилие — как я и показываю, например, в «Тифозном карантине», рассказе, заключающем сборник.

Спасение, избавление от золота — только инвалидность (здесь все саморубы, самострелы, им имя — легион). Хотя саморубы юридически не пользуются статусом инвалида — фактически заставить его работать нельзя.

Для определения инвалидности, дающей право на «инвалидность», нужно решение, протокол Центральной врачебной комиссии при Санотделе управления, в Магадане. В остальных случаях все больницы возвращают инвалидов на старые места.

На золотых приисках сосредоточено 90% лагерного населения Колымы.

Второе по величине управление — Дорожное. Центральная «трасса» Колымы — около 2000 километров. Эта дорога имеет десятки ответвлений, подъездных путей к приискам, морским портам и полярным аэродромам.

Дорожники строят «шоссе». Там все «шоссе» — так называемая «американка» (легкое покрытие и постоянный бдительный уход-ремонт). Все дорожники (размещенные по всей территории края) делятся на две большие группы: строителей и эксплуатационников. Работа строителей в дорожных управлениях неизмеримо легче работы на золоте. (Здесь кадры пополняются только в исключительных случаях, стало быть, надо беречь людей, как берегут скот, и сам режим другой, чем на приисках.) Работа дорожников гораздо легче работы на золоте, хотя тут тоже грунт, тачка и кайло. Эксплуатационники (в мое время большинство их были «вольняшки», т. е. бывшие зэка) действуют лопатой и метлой.

Строители-дорожники — разностатейны, малосрочны, но все без московских «спецуказаний» «об использовании только на тяжелых физических работах» и т. д. В дорожных управлениях нет промывочного сезона, нет «металла». Там десятичасовой рабочий день, регулярные выходные (три в месяц). И хоть кормят дорожников «по идее» хуже, чем работников золотых приисков, на деле все оказывается наоборот. Хлеб давался тут всем одинаково — независимо от выработки — «восьмисотка». Блатных по понятным причинам среди дорожников мало, а если и есть — на «конвойных» дорожных командировках. Такие командировки существуют (как средство устрашения остальных дорожников) на тех участках, где «фронт пошире», в особых штрафных зонах, где состав постоянно меняется. Остальные дорожники «расконвоированы». Вот в этом-то управлении где-то около Аркагалы и работал сколько-то лет Алдан-Семенов. Он — 1) расконвоированный, 2) к работе на золоте он не имеет ни малейшего отношения.

Кроме Дорожного управления, на Колыме существует Угольное управление (Дальстройуголь), где на отдельных шахтах в разных местах Колымы живут и работают люди опять-таки по-своему, по-угольному, а не по-«золотому». Неизмеримо легче золотого. Есть речное управление — обслуга пароходства на Колыме и Индигирке. Там был вообще рай. Есть геологоразведочные управления (так называемые ГРУ), где только живут многочисленные расконвоированные с «сухим пайком».

Там общение вольнонаемных и заключенных гораздо теснее, чем на золоте, ибо в глухих разведочных закоулках иногда, когда нет наблюдающего стукаческого ока и власти центральных инструкций,—люди и остаются людьми.

Есть управление «второго металла», оловянный рудник касситерита (Бутугычаг, Валькумей), руды, которую все зовут «костерит». Есть управления секретные, где заключенные получают зачеты семь дней за день. Это относится к урану, к танталу, к вольфраму. Заключенных на этих предприятиях мало: тут действуют контингенты «В», «Г», «Д» и так далее.

Есть управление совхозов, где заключенные живут дольше, какими бы слабыми они туда ни попали,—там, как и в Мариинских лагерях, всегда находится что-то такое, что можно есть,—зерна пшеницы, свекла, картофель, капуста. Попадающие туда считают (и справедливо) себя счастливыми, в управления совхозов входят и большие рыбалки на всем Охотском побережье. Попасты туда — достаточно, чтобы жить, а не умереть. Вот генерал Горбатов на такую спасительную рыбалку и попал после больницы на 23-м километре Магаданской трассы, той самой больницы, в которой я — через шесть лет после того, как там побывал инвалид Горбатов,—окончил фельдшерские курсы, спасшие мне жизнь.

Я был и на Оле (где работал Горбатов) уже вольнонаемным фельдшером в 1952 году, но моя анкета не подошла для «национального района» (тоже особая жизнь на Колыме — у эвенков, юкагиров, якутов, чукч,—где своя, но очень особенная советская власть, не входящая в руки Дальстроя). Заключенные там тоже есть — единицами, случайностью занесенные.

Есть управление автохозяйства, очень большое, со своими мастерскими, автобазами,—не меньше тысячи машин, работающих день и ночь, зиму и лето. Заключенных там очень много. И шоферы, и автослесари, и т. д. Но все это, конечно,—не золото.

Есть управление подсобными предприятиями — всевозможными мастерскими пошива, отнюдь не индпошива. Если для высадки в Нормандии требовалось астрономическое количество солдатских пуговиц, для чего пришлось создавать в Англии большую организацию,—то сколько надо рабочих, чтобы шить непрерывно (а главное, непрерывно чинить) известные лагерные «бурки» из старых брюк и телогреек.

Есть заводы ремонтные, которые давно перестали быть ремонтными, а стали механическими, строящими станки (чтоб освободить Колыму от «импортной» зависимости в виде машин с «материка»).

Есть заводы по производству аммонита, электролампочек и т. д., и т. д. Всюду работают арестанты. Есть поселки Санитарного управления, где свои законы, своя жизнь.

Словом, на Колыме важна не только «общая» удача — попасть на хорошую работу, в придурки, или получить «кант», — но и попасть в то или иное из десятков управлений Колымы, где в каждом — разная, особая жизнь.

Страшнее всего, зловещее всего — это золото, золотые прииски. Ничто другое в сравнение не идет. Если в других местах были месяцы трудностей или есть штрафзоны непеносимые, то на золоте каждый самый благополучный прииск кажется труднее и страшнее любой штрафной зоны любого другого управления. Загнать на золото — вот чем грозят везде, во всех управлениях. А работа на золотых приисках — это 90% всех людей Колымы. Для этих забоев по всем управлениям непрерывно работают комиссии, чтобы вогнать каждого трудоспособного именно на золотые прииски.

В этом непрерывном страхе — заключенных за свою судьбу, а начальства — за свою недостаточную бдительность — тоже один из важных растлевающих моментов лагерной жизни.

Теперь о генерале Горбатове, о четвертом нашем мемуаристе. Его воспоминания⁴⁸ — самое правдивое, самое честное о Колыме, что я читал. Горбатов — порядочный человек. Он не хочет забыть и скрывать своего ужаса перед тем, что он встретил на прииске «Мальдяк» — когда его привезли на Колыму в 1939 году. Посчитайте время с момента, когда он приехал и начал работу в забое, и до того часа, когда он заболел и был отправлен как необратимый инвалид в Магадан (в больницу на 23-м км). Там была Центральная больница для заключенных. Там я окончил фельдшерские курсы и об этих курсах написал (не тогда, конечно, а много позднее). Посчитав все сроки, Вы увидите, что Горбатов пробыл на «Мальдяке» всего две-три недели, самое большее полтора месяца, и был выброшен из забоя навечно как человеческий шлак. А ведь это был 1939 год, когда волна террора уже спала, спадала. Горбатов приехал на Колыму «к шапочному разбору» и все же был напуган, ошеломлен навек. О самом прииске

«Мальдяк» Горбатов недостаточно осведомлен. Это — большой прииск, а Горбатов был на одном из участков «Мальдяка», где было всего 800 человек с фельдшером ээка. Начальником санчасти прииска «Мальдяк» была в то время молодая женщина, молодая врачиха Татьяна Репьева, которой колымская ее административная власть и офицерские пайки так понравились, что она осталась там на всю жизнь. Еще год-два назад ей к 25-летию Дальстроя выходил какой-то важный орден. Список награжденных печатался в «Правде».

Горбатов и о ворах правдиво написал, об их лживости, об их правилах нравственности в отношении фраеров, об открытом разбое.

Попасть в то или иное управление — случайность. Конечно, если не иметь в виду всевозможных «спецкарт», «разработок» и «меморандумов». Но каждый бывший заключенный, желающий говорить от имени лагерной Колымы, не имеет права забыть о том, что творилось на золоте, — все равно — дорожник ли он, расконвоированный или лагерный стукач, работающий статистиком в КВЧ. Ведь никакого секрета, никакой тайны приисков не было. Кроме того, для каждого колымского арестанта, день или год проработавшего на Колыме в любом управлении, должен быть делом чести и совести главный вопрос. Можно ли славить физический труд из-под палки — палки вполне реальной, палки отнюдь не в переносном смысле как некий род тонкого духовного принуждения. Можно ли говорить о прелестях принудительного труда? И не есть ли восхваление такого труда худшее унижение человека, худший вид духовного растрепания? Лагерь может воспитать только отвращение к труду. Так и происходит в действительности. Никогда и нигде лагерь труду не учил. В лагерях нет ничего хуже, оскорбительнее смертельно тяжелой физической подневольной работы.

Нет ничего циничнее надписи, которая висит на фронтонах всех лагерных зон: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства».

В «Колымских рассказах» я старался указать на важные закономерности человеческого поведения, которые неизбежно возникают в результате тяжелой работы на морозе, побоев, голода и холода.

Блатари (мир, который подлежит беспощадному уничтожению) за свое нежелание работать заслуживали бы уважения, если бы уклонения их от работы не оплачивались щедро чужой кровью, кровью несчастных фраеров.

Этот важный вопрос Горбатов решает так: «тяни, пока можешь». Кинематографическое движение теней с бревнами на плечах, изображенное Горбатовым как образец лагерного труда полумертвых людей (радующихся, что они — не в золотом забое), весьма выразительно. Такое «тяни, пока можешь» — очень далеко от прославления лагерного физического труда, от героизма принудительного труда, от лизанья палки.

Я тоже «тянул, пока мог», но я ненавидел этот труд всеми порами тела, всеми фибрами души, каждую минуту. В лизанье лагерной палки ничего, кроме глубочайшего унижения, для человека нет.

В статье Карякина⁴⁹ как раз этот вопрос трактовался неверно. И это и есть главная ошибка статьи. Но, к счастью, это ошибка. Если бы «Иван Денисович» был героизацией принудительного труда, автору этой повести перестали бы подавать руку.

Это один из главных вопросов лагерной темы. Я готов обсудить его в любое время и в любом обществе.

На принудительный труд в лагерях (в Соловецкое время) всегда делалась скидка (почему-то в 40% (нормы), как я отлично помню). Однако «перековка» и все, что известно под именем «Беломорканала», показали, что заключенный может работать лучше и больше вольного, если установить шкалу «желудка» — принцип, всегда сохраняющийся в лагерях, проверенный многолетним опытом, и разработать систему зачета рабочих дней. Первое — более важно. Второе — менее важно. Тут уж затронуты какие-то важные, донные элементы человеческой души, о которых животные и понятия не имеют. Лошади не подписываются на займы, не ставят копытом отпечатки под Стокгольмским воззванием.

«Перековка» была важным этапом на пути растления душ людей.

Когда подлеца сажают ни за что в тюрьму (что нередко случалось в сталинское время, ибо хватали всех, и подлец не всегда успевал увернуться), он думает, что только он один в камере невинный, а все остальные враги народа и так далее. Этим подлец отличается от порядочного человека, который рассуждает в тюрьме так: если я невинно мог попасть, то ведь и с моим соседом могло случиться то же самое. Дьяков — представитель первой группы, а Горбатов — второй. Как ни наивен генерал, который усматривает причины растления в слабости сопротивления пыткам. Держались бы, дескать, и всех освободили бы.

Нет, те, кто держался, — тоже умерли, да и невероятно думать, что сопротивление пыткам есть свидетельство особой духовной ценности Горбатова. Я тоже не подписывал ничего, что могло бы «наказываться», но меня и не били на допросах. (В лагере били несчетное количество раз, но следствия, оба следствия, прошли без побоев.) И я не знаю, как бы я держал себя, если бы мне иголки запускали под ногти. В лагере мне довелось встретить человека, исповедовавшего в этом вопросе одну и ту же веру с Горбатовым. Это был начальник Нижегородского НКВД, получивший срок. В отличие от огромного большинства следователей, прокуроров, партийных работников этот начальник не скрывал того, чем он занимался на воле. Наоборот. Он ввязывался во всякий спор по этому поводу (я встречался с ним где-то на транзитке, а не на прииске) и кричал: «Ах, ты подписал ложные показания, которые мы, работники НКВД, выдумали. Подписал — значит, ты и есть враг. Ты путаешь следствие, лжешь советской власти. Если бы не был враг, то должен был терпеть... Бьют тебя, а ты терпи, не позорь советскую власть». Я, помню, слушал, слушал этого господина, а потом сказал: «Вот слушаю тебя и не знаю, что делать — не то смеяться, не то дать тебе по роже. Второе, пожалуй, правильнее».

Вот это единственное мое критическое замечание в адрес мемуариста Горбатова.

Возвращаемся к мемуаристам первой группы. Желание обязательно изобразить «устоявших». Это тоже вид растления духовного. Растление лагерное многообразно. Когда-то в «Известиях» я прочел шелестовский «Самородок» и поразился наглости и беззастенчивости именно с фактической его стороны. Ведь за хранение самородков расстреливали на Колыме, называя это «хищением металла», и вопрос о том, сдавать самородок или не сдавать — раз его нашли и увидели четыре человека (или три, не помню), — не мог задать никто, кроме стукача. Все эти авторы — Дьяков, Шелест и Алдан-Семенов — бездарные люди. Их произведения бездарны, а значит, антихудожественны. И большое горе, нелепость, обида какая-то в том, что Вам и мне приходится читать эти рассказы «по долгу службы» и определять — соответствует ли этот антихудожественный бред фактам или нет? Неужели для массового читателя достаточно простого упоминания о событиях, чтобы сейчас же возвести это произведение в рамки художественной литературы, художественной прозы. Этот вопрос очень серьезный, ведущий очень дале-

ко. Неужели мне, который еще в молодости старался понять для себя тело и душу рассказа как художественной формы и, казалось, понял, для чего у Мопассана в его рассказе «Мадемуазель Фифи» льет беспрерывно дождь, крупный руанский дождь,— неужели все это никому не нужно, а достаточно составить список преступлений и список благодеяний и, не исправляя ни стиля, ни языка, публиковать, пускать в печать. Ведь у моих стихов и моих рассказов есть какое-то стилевое единство, над выработкой которого пришлось много поработать, пока я не почувствовал, что явилось свое лицо, свое видение мира. Значит, не надо быть Чеховым, Достоевским, Толстым, Пушкиным, не надо мучиться вопросом «выражения» — ибо для читателя ничего не надо, кроме разнообразных Алдан-Семеновых, Дьяковых и Шелестов.

Почему мы — Вы и я — должны тратить время на чтение этих произведений, на оценку их «фактического» содержания? Если читатель принимает такие произведения, то, значит, искусство, литература не нужны людям вовсе.

Вот, пожалуй, и все из самого главного, что захотелось мне сказать Вам по поводу Вашего впечатления от чтения «по долгу службы».

Прошу прощения, что письмо затянулось. Желаю Вам здоровья, работы хорошей. Ни пуха ни пера роману⁵⁰.

Сердечный привет Наталье Алексеевне.

В. Шаламов.

⟨1966⟩

Москва, 6 августа 1966 г.

Дорогой Александр Исаевич.

Рад был Вашему письму⁵¹. История напечатания стихов в «Литературной газете»⁵² такова. Три года назад с приходом Наровчатова в редколлегия «Литературной газеты» я отнес туда 150 стихотворений, исключительно колымских (1937—1956), и примерно через год имел беседу с Наровчатовым — ответ, носящий характер категорического отказа напечатать что-либо колымское. «Вот если бы Вы дали что-нибудь современное — мы отвели бы Вам полполосы». Я всегда держу в памяти практику работы в журналах: где просматривается несколькими инстанциями сотня стихотворений, а потом выбираются десятки

безобиднейших, случайнейших. Такой «помощью» авторам — «даем место, печатаем!» — занимаются все: «Новый мир», «Знамя», «Москва», «Семья и школа», «Сельская молодежь» — все тонкие и толстые журналы Советского Союза. Это вреднейшая практика, никакими ссылками на вышестоящих или сбоку стоящих не оправдываемая. Это называется помогать, выбивать, хорошо относиться и т. д.

К сожалению, материальные дела авторов не позволяют разорвать эти связи. Так у меня кромсали колымские стихи в «Новом мире», в «Знамени», в «Москве», в «Юности». Но с «Литературной газетой» ради первой публикации я решил поступить иначе, предвидя этот разговор.

— Я не вижу возможности предложить что-либо другое. «Литературная газета» напечатала обо мне четыре статьи, где всячески хвалит именно колымские стихи. А когда дело доходит до напечатания — мне говорят: дайте какие-нибудь другие.

— Можете взять свои стихи назад.

— Охотно.

При разговоре был Нечаев, автор одной из статей обо мне, — он работал тогда в аппарате «Литературной газеты».

— Нет, оставьте. Может быть, мы выберем что-либо.

Этот разговор был два года назад, и я не справлялся о стихах, но в пятницу, 29 июля, меня вызвали в «Литературную газету» (там работали уже другие люди), и Янская, новая заведующая отделом поэзии, сказала: «Вот, посмотрите, не напечатаны ли эти стихи где-нибудь, ведь прошло два года».

Я посмотрел.

— Когда же вы будете давать?

— Завтра или никогда.

Зачем я это все Вам пишу? Чтобы разоблачить всех «либералов», чья «помощь» — подлинная фальшь.

В. Шаламов.

Дорогой Александр Исаевич.

Я прочел Ваш роман⁵³. Это — значительнейшая вещь, которой может гордиться любой писатель мира. Примите запоздалые, но самые высокие мои похвалы. Великолепен

сам замысел, архитектура задачи (если можно так расставить слова). Дать геологический разрез советского общества с самого верха до самого низа — от Сталина до Спиридоны. Попутно: в характере Сталина, мне кажется, Вами не задета его существеннейшая черта. Сталин писал статью «Головокружение от успехов» и тут же усиливал колхозную эскалацию, объявлял себя гуманистом и тут же убивал.

Я не разделяю мнения о вечности романа, романной формы. Роман умер. Именно поэтому писатели усиленно оправдываются, дескать, взяли из жизни, даже фамилии сохранены. Читателю, пережившему Хиросиму, газовые камеры Освенцима и концлагеря, видевшему войну, кажутся оскорбительными выдуманные сюжеты. В сегодняшней прозе и в прозе ближайшего будущего важен выход за пределы и формы литературы. Не описывать новые явления жизни, а создавать новые способы описания. Проза, где нет описаний, нет характеров, нет портретов, нет развития характеров, — возможна. Жизнь — такой документ (Вайс в «Дознании»⁵⁴ — только попытка, проба, но зерно истины там есть). Любимов и Таганка⁵⁵. Все это должно быть не литературой, а читаться неотрывно. Не документ, а проза, пережитая, как документ. Я много раз хотел изложить Вам суть дела и выбрал время, когда я хвалю Вас за роман, за победу в классической, канонической, а потому неизбежно консервативной форме. Опыт говорит, что наибольший читательский успех имеют банальные идеи, выраженные в самой примитивной форме. Я не имею в виду Вашего романа, но в «Раковом корпусе» такие герои и идеи есть (больной, который читает в палате «Чем люди живы»).

В этом романе очень хороши Герасимович, Абрамсон, особенно Герасимович. Очень хорош Лева Рубин. Драма Рубин — Иннокентий показана очень тонко, изящно. Улыбка Будды⁵⁶ — вне романа. По самому тону. За шуткой не видно пролитой крови. (В наших вопросах недопустима шутка.)

Спиридон — слаб, особенно если иметь в виду тему стукачей и сексотов. Из крестьян стукачей было особенно много. Дворник из крестьян обязательно сексот и иным быть не может. Как символический образ народа-страдальца фигура эта неподходящая. Слабее других — женские портреты. Голос автора разделен на тысячу лиц — Нержин, Сологодина, Рубин, Надя, Абрамсон, Спиридон, даже Сталин в какой-то неуловимо малой части.

Роман этот — важное и яркое свидетельство времени, убедительное обвинение. Мысль о том, что вся эта шарашка и сотни ей подобных могли возникнуть и работать напряженно только для того, чтобы разгадать чей-то телефонный разговор для Великого Хлебореза, как его называли на Колыме.

Жму руку. Сердечный привет Наталье Алексеевне.

Ваш *В. Шаламов.*

⟨1966⟩

ПРИМЕЧАНИЯ

ЧЕТВЕРТАЯ ВОЛОГДА

Автобиографическая повесть о детстве и юности, о становлении личности, о формировании убеждений, которые определили судьбу В. Т. Шаламова.

Начало работы над повестью относится к 1968 году. В том году я побывала в Вологде, и впечатления об этой поездке пробудили в памяти Варлама Тихоновича воспоминания о родном доме, о городе детства.

«Я думал, город давно забыт мной... После смерти матери все было кончено... А вот теперь, после твоей поездки, какие-то теплые течения где-то глубоко внутри... Удивительно здорово, что ты видела дом, где я жил первые пятнадцать лет своей жизни, и даже заходила в парадное крыльцо... с лестницей на второй этаж, с разбитым стеклом на лестнице...» (из письма В. Т. Шаламова, 8 июля 1968 г.).

Воспоминания хлынули потоком. Он непрерывно рассказывает об отце, матери, братьях и сестрах. Мир детства поднимался со дна памяти, как град Китеж.

Д. С. Лихачев в письме Шаламову 20 сентября 1979 года написал: «У меня тоже был период в жизни, который я считаю самым важным. Сейчас уже никого нет из моих современников и «соотечественников». Сотни людей слабо мерцают в памяти. Не будет меня, и прекратится память о них. Не себя жалко — их жалко...»

Шаламов спас от забвения годы своего детства.

В 1971 году автор завершил работу над рукописью. Повесть заканчивается отъездом Шаламова в Москву, и лишь мельком

упоминается встреча с родителями после первого, Вишерского срока.

Впервые опубликована в сокращении в журнале «Наше наследие» (1988, № 3—4), полностью — в журнале «Лад» (1991, № 3—10).

¹ С. Г. Нечаев содержался в Алексеевском рavelине Петропавловской крепости. См.: Былое, 1906, № 7. Публикация П. Е. Щеголева.

² Предки В. Т. Шаламова принадлежали к русскому православному священству. Происходили из г. Великий Устюг. В 1867 г. дед писателя Николай Иоаннович, женившись на дочери местного пономаря, «по жребию» был направлен служить в Вотчинский приход Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии (ныне Коми республика). Тихон Николаевич, отец писателя, родился и провел детство среди зырян.

³ *Поссе* В. А. (1864—1940) — литератор, пропагандист кооперации, корреспондент Л. Н. Толстого.

⁴ Уточнить состав и возраст членов семьи позволяют сохранившиеся данные из клировой ведомости Софийского собора за 1907 год: «В семействе у него (священника Тихона Николаевича Шаламова.— *И. С.*): жена Надежда Александровна — 37 лет, дети: Валерий — 13, Галя — 11, Сергей — 9, Наталия — 7, Варлаам — 6 месяцев». Гос. архив Вологодской обл., ф. 496, оп. 1, д. 18474, л. 609/об.

⁵ С художником Василием Николаевичем *Сигорским* (1902—1976) В. Т. Шаламов был знаком еще по вологодской юности. Жена Сигорского Лидия Васильевна (ум. 1986) — та самая Лида Перова, исполнительница роли княгини Трубецкой, о которой пойдет речь далее.

⁶ Заметка опубликована в «Вологодском листке» от 31 марта 1915 г.

⁷ Василий Тимофеевич Локоть (псевдоним *А. Зорич*) был репрессирован в 1937 г. В 30-е гг. А. Зорич активно сотрудничал в газетах, выпускал книги.

⁸ Т. Н. Шаламов, как явствует из архивных данных, умер 3 марта 1933 г. от воспаления легких.

⁹ Как свидетельствуют официальные церковные документы, Т. Н. Шаламов вернулся с Кадьяка в Вологду в 1904 г. и первое время служил священником в Вознесенской церкви. В 1906 г. переведен на должность штатного священника в Вологодский кафедральный собор «в видах пользы службы».

¹⁰ Родной брат Т. Н. Шаламова Прокопий Николаевич, тоже священник, безвыездно служил в Вотчинском приходе Усть-

Сысольского уезда. В 1930 г. расстрелян по ложному обвинению. (*Примеч. В. Есинова.*)

¹¹ Убийство черносотенцами профессора Московского сельскохозяйственного института, идеолога партии кадетов по аграрному вопросу М. Я. Герценштейна (1859—1906) вызвало волну возмущения в России. Панихида по убитому была отслужена в Вологде, в Спасо-Всеградском соборе, 27 июля 1906 г. Речь, произнесенная служившим панихиду о. Тихоном (Шаламовым), получила большой общественный резонанс — ее изложение было помещено в вологодской газете «Северная земля» (№ 173, 1906). «Он умер за великое дело служения меньшей братии Христа» (т. е. крестьянам), — подчеркивал о. Тихон, добавляя, что «уклонение церкви от оценки политических явлений не привело к добру».

¹² Имеются в виду события, происшедшие в Вологде 1 мая 1906 г., в ходе которых были разгромлены Пушкинский народный дом и типография газеты «Северная земля». Погрому, проходившему под пьяные крики «бей жидов и студентов», явно попустительствовали власти. Суд, состоявшийся в 1908 г., закончился помилованием всех привлеченных по делу, т. к. было признано, что они «действовали из чувства глубокого патриотизма». Обо всем этом В. Т. Шаламову, вероятно, рассказывал отец. Сам Варлам Шаламов мог наблюдать руины сожженного Народного дома, которые стояли в Вологде до 1918 г. (теперь на этом месте здание Театра для детей и молодежи). (*Примеч. В. Есинова.*)

¹³ Воробьева — девичья фамилия матери В. Т. Шаламова.

¹⁴ Американская система воспитания, основанная на идеях детского взаимодействия и самостоятельности. В 20-е годы практиковалась в СССР. Впоследствии отвергнута, как «буржуазная».

¹⁵ В период между двумя лагерными сроками, в 1932—1937 гг. В. Т. Шаламов сотрудничал в редакциях профсоюзных журналов «За ударничество», «За овладение техникой», «За промышленные кадры».

¹⁶ Американская благотворительная организация, созданная для оказания помощи странам, пострадавшим в первой мировой войне. В 1921 г., в связи с голодом в Поволжье, ее деятельность была разрешена в РСФСР.

¹⁷ Имеется в виду инцидент с картинами М. А. Врубеля на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 г. Подробнее см.: Горький М. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 23. М., 1953.

¹⁸ Осип *Комиссаров* — крестьянин, помешавший покушению Д. В. Каракозова на царя Александра II в 1866 г.

¹⁹ Дед Шаламова — Николай Иоаннович (1829—1910), священник Вотчинской Богородицкой церкви Усть-Сысольского уезда, пережил свою жену, страдавшую нервным расстройством после гибели ребенка (его на глазах матери убило молнией). Вологодские епархиальные ведомости (1911, № 1) отозвались на кончину Н. И. Шаламова некрологом: «Венок на могилу доброго пастыря», совершившего «подвиг служения в зырянском крае».

²⁰ *Виноградов А. М.* — видный представитель вологодской интеллигенции. Помимо адвокатской практики он занимался краеведением, был секретарем общества изучения Северного края (членом этого общества был и Т. Н. Шаламов). В 1917 г. баллотировался в городскую думу от партии Народной свободы (кадетов). (Примеч. В. Есипова.)

²¹ *Тетерка М. В.* — участник покушения на Александра II, осужден вместе с А. Д. Михайловым по «Делу двадцати», одному из самых важных процессов по делам народовольцев.

Ошанина М. Н. (1853—1898) — выдающаяся деятельница революционного народничества, член Исполнительного комитета «Народной воли».

Климова Н. С. — См. примеч. к т. 2 наст. изд., с. 503.

Клеточников Николай Васильевич (1847—1883) служил в III отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии по заданию «Народной воли».

²² *Сорокин Питирим Александрович* — русско-американский социолог. Лидер правого крыла партии эсеров. После Февральской революции 1917 г. — секретарь А. Ф. Керенского, с 1922 г. — в эмиграции. В 1930—1964 гг. — профессор Гарвардского университета.

²³ Поводом для написания статьи В. И. Ленину послужила публикация в «Правде» 20 ноября 1918 г. письма П. А. Сорокина с отказом от политической деятельности. См.: Сорокин П. А. Дальняя дорога (автобиография). М., 1992.

²⁴ *Панкратов Василий Семенович* (1864—1925) — деятель «Народной воли», шлиссельбуржец, комиссар Временного правительства по охране Николая II. Воспоминания В. Панкратова «В Тобольске» опубликованы в журнале «Былое», 1924, № 26.

²⁵ Заметка под названием «Поп у книги» обнаружена Л. С. Пановым в газете «Красный Север» от 2 июля 1919 г.

²⁶ *Поспелов П. Н.* (1898—1979) — в те годы редактор «Правды».

²⁷ Второй «обновленческий» собор (названный обновленцами Третьим Поместным Собором, так как они считали свои соборы преемственными собору 1917—1918 гг.) состоялся в Москве 28 сентября — 10 октября 1925 г. В нем участвовали

106 епископов, более 100 клириков и столько же мирян. В предыдущем обновленческом соборе в 1923 г. участвовало 476 делегатов, из них 72 епископа. Чтобы показать соотношение так называемой патриаршей и «обновленческой» церковью в период «церковной смуты», достаточно сказать, что в 1923 г. к первой принадлежало (по приблизительным данным) 13 тысяч приходов, а ко второй — 25 тысяч; в 1930 г. — соответственно — 22 тысячи и 4 тысячи.

²⁸ РАНИОН — Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук в Москве (1923—1930).

²⁹ *Веселовские Александр Николаевич* (1838—1906) и *Алексей Николаевич* (1843—1918) были родными братьями. Отца Алеши Веселовского звали Александром Александровичем, он был сыном старшего из братьев. Деятельность А. А. Веселовского в Вологде (с 1920 г. до смерти в 1936 г.) оставила глубокий след в культурной жизни города, в частности, он издал в 1923 г. книгу «Вологжане-краеведы», сохранившую ценность донныне. Соавтором этой книги был его сын. См. скорбное предисловие к этой книге: «К моменту выхода настоящего труда один из авторов, Алексей Веселовский — юноша семнадцати лет скончался от чахотки, и судьбе угодно, чтобы оставшийся в живых отец один уже увидел напечатанным настоящий труд. Мир праху юного труженика. Посвящая его светлой памяти эту работу». (Примеч. В. Есипова.)

³⁰ Имеются в виду события 1918 г., когда в Архангельске действовало эсеровское правительство Н. В. Чайковского.

³¹ *Шигалев* — герой романа Ф. М. Достоевского «Бесы», проповедовал идеи вульгарного казарменного коммунизма, где «все рабы и в рабстве своем равны» (для достижения этой цели предлагалось «срезать радикально сто миллионов голов»).

³² *Ветошкин М. К.* (1884—1958) — большевик, в 1918—1921 гг. председатель Вологодского губисполкома. Проводил политику, учитывающую местные условия. Принципиально выступая против «левой» линии М. С. Кедрова, добился его смещения.

³³ Текст телеграммы В. И. Ленина Кедрову:

«Т. Кедров! Вы мало сообщаете фактического. Присылайте с каждой оказией отчеты.

Сколько сделано фортификационных работ?

По какой линии?

Достаточно ли обезопасили Вологду от белогвардейской опасности?

Непростительно будет, если в этом деле проявите слабость или нерадение» (Ленин В. И. ПСС, т. 50, с. 172).

³⁴ См. книгу М. Сбойчакова и др. «Михаил Сергеевич Кедров» (Воениздат, 1969, с. 50).

³⁵ *Непенин* Б. С. (1904—1982) — вологодский литератор и библиограф. В 30-е гг. был репрессирован.

³⁶ Надежда Александровна Шаламова умерла 26 декабря 1934 г. в возрасте 65 лет. Варлам Тихонович приезжал на ее похороны, о чем есть запись в архиве ЗАГСа.

³⁷ Архимандрит Герасим (Михаил *Шмальц*, 1888—1969) с 1916 г. служил на Аляске и островах.

ВИШЕРА. АНТИРОМАН

В. Т. Шаламов начал работу над антироманом в 1970 году, однако к теме Вишеры, первого своего лагерного срока 1929—1931 годов, он обращался и раньше, в «Колымских рассказах», в незавершенных очерках «Вишера», «Бутырская тюрьма».

Книга так и не была окончательно составлена автором. Однако основной корпус рассказов и очерков был доведен до стадии белой рукописи. На папке с рукописью рукой автора написано название «Вишера. Антироман». В дневнике (тетрадь 1970 г., II) автор упоминает название «Вишерский антироман».

Первые: Российский летописец. М., 1989.

¹ *Берзин* Э. П.—См. примеч. к т. 2 наст. изд., с. 507.

² *УРС*—учет рабочей силы.

³ Управление Вишерских исправительно-трудовых лагерей.

⁴ *УРЧ*—учетно-распределительная часть.

⁵ Судебный процесс 1928 г.; группа инженеров и техников необоснованно обвинялась в контрреволюционной деятельности, которая якобы осуществлялась в Шахтинском и др. районах Донбасса.

⁶ После Февральской революции М. В. Фрунзе был председателем Совета крестьянских депутатов Минской и Виленской губерний, членом исполкома Минского городского Совета.

⁷ *КВЧ*—культурно-воспитательная часть.

⁸ *Волков-Ланит* Леонид Филиппович (1903—1985)— журналист, историк фотоискусства. В. Т. Шаламов познакомился с ним в кружке «Молодой ЛЕФ», которым руководил О. М. Брик.

⁹ *Крыленко* Николай Васильевич (1885—1938)—с 1928 г.— Генеральный прокурор РСФСР, с 1931 г.—нарком юстиции РСФСР, с 1936 г.—нарком юстиции СССР. Репрессирован.

¹⁰ *Гаранин* Степан Николаевич — начальник Управления Северо-Восточных исправительных лагерей (УСВИТЛа) в 1937—1938 гг.

Жуков — начальник УСВИТЛа, застрелился после ареста Л. П. Берии.

Павлов Карп Александрович — начальник треста «Дальстрой» в 1937—1938 гг.

БУТЫРСКАЯ ТЮРЬМА

Очерк тематически примыкает к циклу новелл и очерков антиромана «Вишера». Написан значительно раньше основного корпуса, в 1961 году, как и очерк «Вишера».

Впервые: Российский летописец. М., 1989.

ЭССЕ

Многогранное эссеистическое наследие В. Т. Шаламова представлено в Собрании сочинений произведениями, посвященными размышлениям об истинных ценностях в поэзии и прозе, а в конечном итоге, и в жизни.

Работа над циклом «Заметки о стихах», в котором В. Т. Шаламов, по его словам, пытался раскрыть «секреты стихов», продолжалась с конца 1950-х до конца 1960-х годов. Цикл публикуется в авторском составе с некоторыми сокращениями.

Эссе о прозе — это эмоциональные откровения писателя о мучительном появлении на свет его произведений, об их судьбе, обездоленной читательским вниманием, по сути, такой же изломанной, как судьба самого автора.

Заметки о стихах. Отдельные публикации: Таблица умножения для молодых поэтов. Юность, 1987, № 3; Заметки о стихах. Рифмы.— Сибирские огни, 1988, № 3; Стихи — всеобщий язык.— Возвращение, вып. 5. М., 1991; О словах «творчество», «гений», «цикл» и о т. н. «книжности». Закон «все или ничего». О книжности и прочем.— Сибирские огни, 1988, № 3. Остальные эссе цикла публикуются впервые.

Кое-что о моих стихах. Впервые: Возвращение, вып. 1. М., 1991. Лучшая похвала. Впервые: Новый мир, 1988, № 6. Поэт изнутри. Впервые: Октябрь, 1991, № 7. О прозе. Впервые: Новый мир, 1988, № 6 (в сокращении); Шаламов В. Колымские рассказы. М., 1992 (полностью). <О моей прозе>. Впервые: Новый мир, 1989, № 12.

¹ Пастернак Борис Леонидович (1890—1960) — русский поэт и писатель; «Спекторский».

² Романов Пантелеймон Сергеевич (1885—1938) — русский писатель; рассказ «Без черемухи» (1926).

³ Гумилевский Лев Иванович (1890—1976) — русский писатель; повесть «Собачий переулочек» (1927).

⁴ Малашкин Сергей Иванович (1888—1988) — русский писатель; повесть «Луна с правой стороны» (1926).

⁵ Воронский Александр Константинович (1884—1943) — русский критик, публицист, писатель.

⁶ Кирсанов Семен Исаакович (1906—1972) — русский поэт; сборник стихов «Ленинградская тетрадь» (1960).

⁷ Федоров Василий Дмитриевич (1918—1984) — русский поэт; сборник стихов «Белая роцца» (1958).

⁸ Павловский Евгений Никандрович (1884—1965); «Поэзия, наука и ученые» (1959).

⁹ Абрамов К. Дар слова (вып. 3. Искусство писать сочинения). СПб., 1901, 1912.

¹⁰ Имеется в виду стихотворение О. Э. Мандельштама (1891—1938) «Голубые глаза и горячая лобная кость...»; не входит в цикл стихов «Воронежские тетради».

На тебя надевали тиару — юрода колпак...

Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец...

¹¹ Неточно цитируется стихотворение А. А. Блока (1880—1921) «В ресторане». «И вздохнули духи, задремали ресницы, // Зашептали тревожно шелка».

¹² Пастернак Б. Л., «Лейтенант Шмидт».

¹³ Маяковский В. В. (1893—1930), «Сергею Есенину».

¹⁴ Маяковский В. В., «Война объявлена».

¹⁵ Бальмонт К. Д. (1867—1942), «Челн томленья».

¹⁶ Пушкин А. С. (1799—1837), «Сонет».

¹⁷ Северянин Игорь (Лотарев Игорь Васильевич; 1887—1941), «Это было у моря...».

¹⁸ Черный Саша (Гликберг Александр Михайлович; 1880—1932) — русский поэт; Потемкин Петр Петрович (1886—1926) — русский поэт.

¹⁹ «Когда будете, дети, студентами...» — Апухтин А. Н. (1840 или 1841—1893). Из шуточных стихотворений.

²⁰ Северянин И., «Поззоконцерт». (Примечания 10—20 — В. Неклюдовой.)

²¹ Сапгир Генрих Вениаминович (г. р. 1928) — русский поэт.

²² Чичерин Алексей Николаевич (1889—1960) — русский поэт.

²³ *Кириллов Владимир Тимофеевич* (1890—1943)—русский поэт.

²⁴ *Алымов Сергей Яковлевич* (1892—1948)—русский поэт.

²⁵ Северянин И., «Эгофутуризм». Пролог.

²⁶ *Готфрид Страсбургский* (к. XII в.—ок. 1220)—немецкий поэт.

²⁷ Генри Лонгфелло (1807—1882), «Песнь о Гайавате» в переводе И. Бунина.

²⁸ Толстой А. К. (1817—1875). Из письма Б. М. Маркевичу 8(20) декабря 1871 г. (Толстой А. К. Соч., т. 4. М., 1969, с. 375—377).

²⁹ Пастернак Б. Л., «Во всем мне хочется дойти...».

³⁰ *Шенгели* Георгий Аркадьевич (1894—1956)—писатель; автор книги «Техника стиха» (М., 1960).

³¹ В. Т. Шаламов читал «самотек» в журнале «Новый мир».

³² *Клюева* Вера Николаевна (1894—1964)—лингвист, поэт, переводчик.

³³ *Южанин Борис* Семенович.—См. примеч. к т. 2 наст. изд., с. 503.

³⁴ *ОПОЯЗ*—общество изучения поэтического языка, созданное в 1916—1918 гг. группой лингвистов, стиховедов, теоретиков и историков литературы, в т. ч. Осипом Максимовичем Бриком (1888—1945).

³⁵ «*Центрифуга*»—литературная группа, возникшая в Москве в 1913 г. (С. Бобров, Б. Пастернак, Н. Асеев), издавшая «Поверх барьеров» Б. Пастернака (1917), «Оксана» Н. Асеева и др. сборники. Распалась в 1922 г.

³⁶ «*Три смерти доктора Аустино*»—рассказ В. Т. Шаламова (Октябрь, 1936, № 1).

³⁷ Ирвинг Стоун, «*Жажда жизни*». Повесть о Винсенте Ван-Гоге.

³⁸ Мандельштам Н. Я. писала В. Т. Шаламову (2 сент. 1965 г.): «В «Деле юристов» я как будто читала более детальный вариант, и он был сильнее».

³⁹ Из письма к И. П. Сиротинской.

⁴⁰ *Рейснер Лариса* Михайловна (1895—1926)—русская писательница.

⁴¹ *Бирс Амброз* (1842—1914)—американский писатель.

⁴² Рассказы В. Т. Шаламова.

⁴³ Баллада В. Скотта «*Замок Смальгольм*».

ПИСЬМА

Переписка с Б. Л. Пастернаком начинается еще в колымские годы В. Т. Шаламова и кончается в 1956 году.

Переписка двух поэтов касается важнейших для них тем — творческих принципов. И речь идет не только о поэтическом мастерстве. Поэтические принципы обоими тесно связывались с этическими нормами, поэтому так захватывающе читаются эти письма — свидетельства твердости и высоты духа, нравственной чистоты.

Насколько существенна была переписка для обоих, можно судить по тому, что отголоски ее внимательный читатель найдет в их творчестве, вспомнив концовку романа Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго», стихи В. Т. Шаламова «Некоторые свойства рифмы», «Орудье высшего начала», а также «Колымские рассказы».

Причиной разрыва столь дорогих для Варлама Тихоновича отношений была его ссора с О. В. Ивинской.

Без сокращений письма публикуются впервые.

Сокращенный вариант. Впервые: «Разговоры о самом главном...» (Переписка Б. Л. Пастернака и В. Т. Шаламова). — Юность, 1988, № 10.

Переписка В. Т. Шаламова с А. И. Солженицыным продолжалась с 1962 по 1966 год. С годами Варлам Тихонович, по его словам, все меньше чувствовал в А. И. Солженицыне единомышленника и друга. Это и было, в конечном итоге, причиной разрыва их отношений.

Письма В. Т. Шаламова — это и воспоминания о лагерях, и размышления о творчестве, и философские раздумья о смысле жизни.

Впервые: Знамя, 1990, № 7.

¹ Пастернак Б. Л. Земной простор. М., 1945.

² Цветаева М. И. (1892—1941), «Эпос и лирика современной России. Владимир Маяковский и Борис Пастернак» (Соч., т. 2. М., 1980, с. 399—423).

³ Стихотворение «Весеннею порою льда...» из книги «Вто-

рое рождение». В переиздании 1934 г. отсутствовал конец стихотворения.

⁴ *Тарасенков* Анатолий Кузьмич (1909—1956) — критик, литературовед, библиограф. В 1952 г. вышла его книга «О советской литературе».

⁵ Упоминаются стихотворения Ф. И. Тютчева, неточно цитируется стихотворение. «Эти бедные селенья, // Эта скудная природа — // Край родной долготерпенья, // Край ты русского народа!»

⁶ М. И. Цветаева в статье «Поэты с историей и поэты без истории» писала: «Пастернак лишь зацепился за Шмидта, чтобы еще раз заново дать все взбунтовавшиеся стихии плюс пятаю — лирику. И он дал их так, что центр оказался пустым. Уберите из Шмидта все то, что держит напряжение деревьев, плеск волн, пространство, погоду, ослабьте это напряжение — и фигура пастернаковского Шмидта рухнет, как фантом» (Соч., т. 2. М., 1980, с. 454).

⁷ Спектакль «Гамлет» Театра имени Евг. Вахтангова (1932) — первая режиссерская работа Н. П. Акимова — был решен в вульгарно-социологической трактовке; стержнем спектакля была борьба Гамлета за престол. Роль Гамлета сыграл характерный актер А. И. Горюнов.

⁸ *Фадеев* А. А. (1901—1956), «Молодая гвардия» (1945, 2-я редакция — 1951 г.).

⁹ *Петров Григорий* Спиридонович (1868—1927).

¹⁰ *Измайлов* Александр Алексеевич (псевд. А. Смоленский, Аякс и др.; 1873—1921) — русский писатель, критик, окончил Петербургскую духовную академию.

¹¹ *Булгаков* Сергей Николаевич (1871—1944) — русский экономист, философ, теолог.

¹² *Флоренский* Павел Александрович (1882—1937) — русский религиозный философ, ученый, инженер.

¹³ В течение 1956 г. Б. Л. Пастернаку было отказано в публикации романа «Доктор Живаго» «Литературной Москвой», «Новым миром» (подробнее см.: Новый мир, 1988, № 6, с. 245—248).

¹⁴ *Солженицын* А. И. Один день Ивана Денисовича. — Новый мир, 1962, № 11.

¹⁵ «*Красили*» — крестьяне, занимавшиеся раскрашиванием дешевых ковриков по трафареткам.

¹⁶ *Шелест* (Малых) Георгий Иванович (1903—1965) — русский писатель, был репрессирован. Рассказ «*Самородок*» опубл. в газ. «Известия» 5 ноября 1962 г.

¹⁷ В. Т. Шаламов имеет в виду свой разговор с А. И. Солже-

ницыным «о ледоколе и маятнике» при их первой встрече в редакции журнала «Новый мир» в 1962 г.

¹⁸ Письмо А. И. Солженицына от 28 мая 1963 г. о приезде в Москву.

¹⁹ Солженицын А. И. Киносценарий «Знают истину танки!», опубл. в журн. «Дружба народов» (1989, № 11).

²⁰ Решетовская Наталья Алексеевна — первая жена А. И. Солженицына.

²¹ Неклюдова Ольга Сергеевна (1909—1989) — вторая жена В. Т. Шаламова, писательница.

²² В. Т. Шаламов имеет в виду «Очерки преступного мира», над которыми работал в то время.

²³ Произведения В. Т. Шаламова.

²⁴ Теуш Вениамин Львович — математик, знакомый А. И. Солженицына, хранитель его архива. Этот архив был изъят у В. Л. Теуша в сентябре 1965 г. сотрудниками КГБ.

²⁵ *Серезжа* — Сергей Юрьевич Неклюдов, сын О. С. Неклюдовой, филолог.

²⁶ О встрече в Солотче, которая все-таки состоялась осенью 1963 г., Шаламовым написано стихотворение «Сосен светлые колонны...». По словам В. Т. Шаламова, кроме чисто бытовых поводов отъезда его из Рязани, были и более глубокие причины, прежде всего — наметившееся различие взглядов на лагерную тему в литературе.

²⁷ *Варнаховский* Леонид Викторович (1908—1976) — театральный режиссер, был репрессирован, встречался с В. Т. Шаламовым на Колыме. Встреча с ним описывается в рассказе В. Т. Шаламова «Иван Федорович».

²⁸ Этот эпизод в книге «Бодался теленок с дубом» (Париж, 1975, с. 81—82) А. И. Солженицын описывает так: «На пленарном заседании (Комитета по Ленинским премиям. — И. С.) первый секретарь ЦК комсомола Павлов выступил с клеветой против меня — первой и самой еще безобидной из ряда клевет: он заявил, что я сидел в лагере не по политическому делу, а по уголовному».

²⁹ В это время В. Т. Шаламов получал пенсию 42 р. 30 к., и лишь в 1965 г. его хлопоты увенчались успехом — он стал получать 72 р. («У меня пенсия льготная, горняцкая», — гордо говорил он.)

³⁰ «Двадцатые годы», опубл. в журн. «Юность» (1987, № 11—12).

³¹ Пьеса В. Т. Шаламова.

³² Китайгородский А. Несколько мыслей физика об искусстве. — Вопросы литературы, 1964, № 8.

³³ В. Т. Шаламов имеет в виду смещение Н. С. Хрущева

с поста первого секретаря ЦК КПСС и члена Президиума ЦК КПСС.

³⁴ *Демидов* Георгий Георгиевич.— См. примеч. к т. 1 наст. изд., с. 615; т. 2, с. 507.

³⁵ *Малков* Владимир Михайлович — директор Вологодского книжного издательства.

³⁶ Опубликовано в сборнике В. Т. Шаламова «Стихотворения» (М., Советский писатель, 1988).

³⁷ Упомянутое письмо А. И. Солженицына в архиве В. Т. Шаламова не сохранилось.

³⁸ *Рамзин* Леонид Константинович (1887—1948) — ученый-теплотехник. В 1930 г. репрессирован по делу «Промпартии». В 1936 г. амнистирован. Создал конструкцию промышленного прямоточного котла («котел Рамзина»), награжден орденом Ленина, Сталинской премией.

³⁹ Верховный суд СССР по Шахтинскому делу приговорил 5 человек к расстрелу, 40 — к заключению на разные сроки. Принадлежность к научной или технической интеллигенции, к сожалению, не спасала от репрессий.

⁴⁰ Строфа из стихотворения Б. Л. Пастернака «Зеркало»; у Пастернака — «Качается тюль...».

⁴¹ *Алдан-Семенов* Андрей Игнатьевич (1908—1985) — русский писатель, был репрессирован, автор ряда книг, в том числе повести «Барельеф на скале» (Москва, 1964, № 7).

⁴² В письме от 13 мая 1964 г. А. И. Солженицын писал: «Я был с трибуны обвинен, что я уголовник, вовсе не жертва культа и вовсе не реабилитирован. Понадобилось зачтение судебного решения, присланного Военной Коллегией Верховного суда СССР».

⁴³ *Дьяков* Борис Александрович (р. 1902) — русский писатель, был репрессирован. Автор воспоминаний «Пережитое» (1963), «Повесть о пережитом» (1964) и др.

⁴⁴ *Ажаев* Василий Николаевич (1915—1968) — русский писатель, был репрессирован. Автор романов «Далеко от Москвы» (1948), «Вагон» (Дружба народов, 1988, № 6—8) и др.

⁴⁵ *Серебрякова* Галина Иосифовна (1905—1980) — писательница, была репрессирована. Автор книг «Одна из вас» (1959), «Странствие по минувшим годам» (1962—1965) и др.

⁴⁶ «Аввакум в Пустозерске», «Гомер» — маленькие поэмы В. Т. Шаламова.

⁴⁷ Пьесу А. И. Солженицына «Свеча на ветру» осенью 1964 г. собирався ставить Театр им. Ленинского комсомола.

⁴⁸ Горбатов А. В. Годы и войны. — Новый мир, 1964, № 3—5.

⁴⁹ Карякин Ю. Эпизод из современной борьбы идей.— Новый мир, 1964, № 9 («Но даже тяжелый труд для большинства из них — это как воскрешение...»).

⁵⁰ В это время А. И. Солженицын дал прочитать А. Т. Твардовскому рукопись романа «В круге первом».

⁵¹ Имеется в виду письмо А. И. Солженицына от 1 августа 1966 г.: «Очень неожиданно и тем более приятно было увидеть в «Литературке» Ваши стихи! Рад! Нравится. А «О песне» — 1 и 4 великолепны, очень значительны!..»

⁵² «Литературная газета» от 30 июля 1966 г., № 89.

⁵³ Роман А. И. Солженицына «В круге первом».

⁵⁴ *Вайс* Петер (1916—1982) — немецкий драматург. «*Дознание*» (1965) — его документальная пьеса.

⁵⁵ В 1960-е гг. В. Т. Шаламов не раз бывал на Таганке. Была у него даже мысль написать пьесу для этого театра. В архиве сохранились наброски этой пьесы. В. Т. Шаламов говорил, что «театр Ю. Любимова, избегающий ложного жизнеподобия полутонов, создающий спектакль в резких и точных красках, вводящий документ в ткань спектакля, — современен, отвечает самому духу современности. Театр — это не подобие жизни, а сама жизнь» (Дневник, тетрадь I, 1966).

⁵⁶ «*Улыбка Будды*» — глава из романа А. И. Солженицына «В круге первом».

И. Сиротинская

ПРАВДА ТАЛАНТА

Первое Собрание сочинений Варлама Тихоновича Шаламова вышло в свет. Читатель получил возможность в одном издании ознакомиться с прозой, поэзией, драматургией, эссеистикой и эпистолярным наследием выдающегося русского писателя XX века, ощутить масштаб его таланта и мощную энергетику личности.

В 1964 году А. И. Солженицын писал Шаламову: «И я твердо верю, что мы доживем до дня, когда и «Колымские тетради», и «Колымские рассказы» тоже будут напечатаны. Я в это твердо верю! И тогда-то узнают, кто такой есть Варлам Шаламов» (Знамя, 1990, № 7, с. 62).

Этот день пришел, но Варлам Тихонович не дожил до него. А писатель так страстно жаждал высказаться, встретиться с читателем, доверить ему «летопись своей души».

Конечно, читать Шаламова — большой и серьезный труд, который требует не только сопереживания, но и сотворчества, переосмысления собственной жизни, какого-то нравственного вывода, поступка. «Я пишу для того, чтобы люди знали, что пишутся такие рассказы, и сами решились на какой-либо достойный поступок — не в смысле рассказа, а в чем угодно, в каком-то маленьком плюсе» (Знамя, 1995, № 6, с. 145).

Виктор Некрасов, прочитав зарубежные, еще неполные издания «Колымских рассказов», поразился не только эстетическому, но и нравственному их заряду: «Шаламов, конечно же, писатель великий. Даже на фоне всех великанов не только русской, но и мировой литературы... «Колымские рассказы» — это громадная мозаика, воссоздающая жизнь (если это можно назвать жизнью), с той только разницей, что каждый камешек его мозаики сам по себе произведение искусства. В каждом камешке пре-

дельная законченность... Шаламова надо перечитывать. Твердить, как некую молитву» (Всемирное слово, 1992, № 3, с. 81).

Действительно, каждый «камешек»-рассказ Шаламова имеет настолько завершённую форму, что она становится естественной, безыскусной, отражая предельную убедительность и достоверность содержания, к тому же общая композиция сборников-циклов рассказов строго выстроена автором.

Каждый сборник из шести, составляющих «Колымские рассказы», открывает как бы рассказ-камертон, рассказ-символ, задающий звучание книге: бесконечность — снег («По снегу»), память — смерть — бессмертие («Прокуратор Иудеи», «Припадок»), искусство — воскресение («Тропа»), душа — тело — истина («Перчатка»)...

Каждый сборник имеет «опорные» рассказы, как называл их Шаламов, завязку, кульминацию, развязку, то возвращающую героя на круги ада («Тифозный карантин»), то озаряющую его душу мгновением чуда-воскрешения («Сентенция»), то уводящую его в жизнь-память, жизнь-верность погибшим («Поезд»).

Проза Шаламова — это проза поэта. Ее художественные качества — плотность, символичность, многообразный ритм, то обрывающийся, как непрочная нить человеческой жизни, то взрывающийся страстной ритмичкой гневной речью, то звучащий эхом тяжкой поступи по земному аду человеческих страданий, то устремляющийся к вечному голубому небу...

«Я тоже считаю себя наследником, — писал Шаламов, — но не гуманной русской литературы XIX века, а наследником модернизма... начала века. Проверка на звук. Многоплановость и символичность...» (Знамя, 1995, № 6, с. 155).

Поэтические по существу, художественные качества шаламовской прозы обращены, естественно, не столько к разуму читателя, сколько к его чувству, к его душе. Хотя, конечно, расшифровка символики прозы, ее философского подтекста, апелляция к теологии, литературе, живописи требует определенной эрудиции читателя.

«Колымские рассказы» настолько потрясают, что не только читатели, но и многие литературоведы не в силах оценить их иначе как историческое свидетельство о трагедии человечества XX века. И в этом — писательское мастерство Шаламова. Автор стремился к тому, чтобы рассказ стал неопровержимым документом, именно для этого он должен был обрести ту совершенную форму, которая позволяет так сильно воздействовать на читателя, так мощно запечатлеть время.

После издания небольшого сборника «Колымских рассказов» в США (1980 г.) видный литературный критик Н. Солсбери писал: «Литературный талант В. Шаламова подобен бриллиан-

ту... Даже если эта небольшая подборка оказалась бы всем, под чем Шаламов поставил свою подпись, то и тогда этого было бы достаточно, чтобы его имя осталось в памяти людей... Эти рассказы — пригоршня алмазов».

Возможность обратиться в третьем томе Собрания сочинений к поэзии Шаламова позволит читателю глубже проникнуть в космос Шаламова и понять его невероятную многогранность, неисчерпаемую многозначность. Мир писателя не иссечен в камне, его мир — живая, вечно меняющаяся плазма, и время лишь помогает постичь его смысл и значение.

Исследовательница творчества Шаламова профессор Е. Волкова верно заметила: «Шаламов — писатель многогранный и стереоскопический. Его тексты подобны кристаллу, поворачивающемуся к нам разными плоскостями. Эти плоскости, то ювелирно отточенные, то намеренно оставленные необработанными, создают мерцание множественных смыслов и эстетических бликов. И глядишь, уже пространство расширяется географически, космически до «пролетающей вселенной», а время уходит в глубь веков до библейских истоков» (Литературная газета, 1996, 24 апреля).

Не только в глубь веков уходит взгляд Шаламова. Хотя он и считал «неприемлемой для писателя» позу пророка, но словно невольными обмолвками, удивительными предвидениями пронизаны и его проза, и его стихи. Задолго до Чернобыля катастрофа описана им в «Атомной поэме», задолго до нынешней криминализации, в 1972 году он пишет: «Блатарская инфекция охватывает общество, где моральная температура доведена до благоприятного режима, оптимального состояния. И <общество> будет охвачено мировым пожаром в 24 часа» (Знамя, 1993, № 5, с. 154). На наших глазах мораль преступного мира, этот СПИД конца XX века, заражает постсоветское общество.

Собрание сочинений Шаламова завершает автобиографическая проза, позволяющая понять пути становления его личности.

Он из мира патриархальной семьи вологодского священника, там над двухэтажным домиком возносятся золотые купола Софийского собора, а под горкой течет неторопливая речка в зеленых берегах, и полощут белье с плотов, как и века назад. Он родом из мира нравственной чистоты и незыблемости, пронизывающей ежедневность, быт. Здесь поэзия входит в жизнь, как естественный язык природы и человека.

1918 год — год крушения мира детства. Ему только одиннадцать лет, но трагедия уже входит в его жизнь. Ликующие толпы еще вчера добропорядочных православных прихожан сбрасывают кресты с церковей. Болезнь и слепота отца. Нищета семьи.

Обыски еженощные. Смерть брата. Мать, удерживающая семью на грани гибели. Об этом — повесть «Четвертая Вологда».

1926 год — поступление в Московский университет. Поиски своего пути в литературу. Поиски правды-справедливости и ненависть к «этому буйволу» Сталину приводят Шаламова в оппозицию. Демонстрации. Подпольная типография.

1929, 19 февраля — первый арест. Бутырская тюрьма. Первый этап на Северный Урал, на Вишеру. Об этом — антироман «Вишера».

Этот голубоглазый высокий мальчик оказался крепче душой, чем многие другие, он выдержал первую пробу в борьбе с тоталитарным государством: «Необычайная уверенность в своей жизненной силе. Испытанный тяжелой пробой — начиная с этапа из Соликамска на Север в апреле 1929 года — один, без друзей и единомышленников я выдержал пробу — физическую и моральную. Я крепко стоял на ногах и не боялся жизни. Я понимал хорошо, что жизнь — штука серьезная, но бояться ее не надо. Я был готов жить».

В 1932 году он вернулся в Москву. Эта юношеская проба сил пригодилась Шаламову очень скоро — через пять лет он был этапирован на Колыму. Может быть, именно вишерский опыт позволил ему выжить и морально устоять среди лагерного расщепления, выжить и написать «Колымские рассказы», еще раз пройдя памятью и чувством свой крестный путь.

«Каждый рассказ, каждая фраза его предварительно прокричана в пустой комнате — я всегда говорю сам с собой, когда пишу. Кричу, угрожаю, плачу. И слез мне не остановить. Только после, кончая рассказ, я утираю слезы» («(О моей прозе)»).

В последнем томе Собрания сочинений В. Шаламова мы обращаемся мыслью к «Колымским рассказам», читая эссе «О прозе», письма к Б. Л. Пастернаку и А. И. Солженицыну, где автор вновь и вновь возвращается к лагерной теме, главной трагедии XX века.

К сожалению, за пределами четырех томов остались дневники и записные книжки Шаламова, воспоминания и незавершенные работы, многие стихи и эссе, а также значительная часть эпистолярного наследия. Но и представленные в четвертом томе произведения позволяют понять, что Шаламов обладал великолепным эпистолярным даром, а его эссе и заметки — это целая россыпь размышлений, парадоксов, афоризмов, наблюдений...

Так неистощим и многообразен талант писателя. В 1971 году он написал письмо-исследование о своей прозе, в котором предельно ясно и однозначно сформулировал свое творческое кредо: «Я ставил своей задачей создать документальное свидетельство времени, обладающее всей убедительностью эмоционально-

сти... «Колымские рассказы» — это поиски нового выражения, а тем самым, и нового содержания. Новая необычная форма для фиксации исключительного состояния, исключительных обстоятельств, которые, оказывается, могут быть и в истории, и в человеческой душе... На свете есть тысяча правд, а в искусстве — одна правда, это — правда таланта».

И. Сиротинская

СОДЕРЖАНИЕ

ЧЕТВЕРТАЯ ВОЛОГДА .	7
ВИШЕРА. <i>Антироман</i>	
Бутырская тюрьма (1929 год) .	151
Вишера	155
Лазарсон	183
Ушаков	191
Миллер, вредитель	193
Дело Стукова .	208
Кузнецов	221
Жидков и Штоф	223
Осипенко	225
Павловский	226
Русалка	228
Васьков	233
Поездка в Чердынь .	235
Степанов	238
Лагерная свадьба	242
М. А. Блюменфельд	247
В лагере нет виноватых .	255
Эккерман	264
Бутырская тюрьма	266
ЭССЕ	
Заметки о стихах	
Таблица умножения для молодых поэтов	295
Заметки о стихах	300
Поэтическая интонация	304

Рифмы	314
«Свободная отдача»	320
Стихи — всеобщий язык	321
Стихи — это опыт	322
〈О правде в искусстве〉	323
Восемь или двенадцать строк. О сонете	325
Национальные границы поэзии и свободный стих	326
Пейзажная лирика	328
О словах «творчество», «гений», «цикл» и о т〈ак〉 н〈а- зываемой〉 «книжности». Закон «все или ничего»	332
О книжности и прочем	335
Окончание	338
Кое-что о моих стихах	339
Лучшая похвала	356
О прозе	357
〈О моей прозе〉	371

ПИСЬМА

Письма к Б. Л. Пастернаку	389
Письма к А. И. Солженицыну	434
Примечания	474
<i>И. Сиротинская. Правда таланта</i>	488

Шаламов В. Т.

Собрание сочинений. В 4 т. Т. 4. Четвертая Вологда; Вишера. Антироман; Эссе; Письма/Сост., подгот. текста, примеч. и послесл. И. Сиротинской.— М.: Худож. лит., Вагриус, 1998.— 494 с.

ISBN 5-280-03214-X (Т. 4)

ISBN 5-280-03162-3

В четвертый том Собрания сочинений В. Т. Шаламова вошли: автобиографическая повесть о детстве и юности «Четвертая Вологда», антироман «Вишера» о его первом лагерном сроке, эссе о стихах и прозе, а также письма к Б. Л. Пастернаку и А. И. Солженицыну.

ББК 84(2Рос=Рус)6

ВАРЛАМ ТИХОНОВИЧ ШАЛАМОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 4

Редактор Е. Иванова

Художественный редактор А. Максимов

Технический редактор Л. Синицына

Корректор И. Лебедева

Изд. лиц. № 010153 от 14.02.97.

Сдано в набор 25.06.97. Подписано в печать 16.03.98. Формат 84 × 108 ¹/₃₂. Бумага тип. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 26,04. Усл. кр.-отт. 26,04. Уч.-изд. л. 28,94. Тираж 10000 экз. Заказ № 1723. «С» — 332

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат», 143200, г. Можайск, ул. Мира, 93

ISBN 5-7027-0719-2



9 785702 707198 >